Г. И. УСПЕНСКИЙ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
6

Г. И. УСПЕНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 6

ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ

СКУЧАЮЩАЯ ПУБЛИКА

ЧЕРЕЗ ПЕНЬ-КОЛОДУ

ОЧЕРКИ

1884-1885

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Издание осуществляется
под общей редакцией
В. П. ДРУЗИНА

*Текст и комментарии
подготовлены*
К. Д. МУРАТОВОЙ

ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ

(Отрывки из записок Тяпушкина)

I. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

1

Уж и не пересчитаешь, сколько раз я принимался за этот роман, или повесть, или мемуары; сколько раз я был вполне уверен, что это надо сделать, и сколько раз разуверялся! Сотни раз — какое? — сотни тысяч раз по крайней мере рука моя написала: «глава первая», двести тысяч раз она написала «часть первая, глава первая», и все эти сотни тысяч начинаний оканчивались тут же, на месте, большей частью на этой же несчастной первой главе, а иногда и первой строке. Потому что. что такое? Я человек неопределенного положения, неопределенного звания, человек случайных средств, человек случайного «встречного» общества, человек неуравновешенного нервного развития — следовательно, какой же может быть толк от моих наблюдений для людей, живущих не таким «как бы по ветру гонимым» обычаем? Только скучно! А еще будет скучнее, если я скажу, что наблюдения моего «отрывочного» существования я, приступая к ненаписанному роману, думал свести к доказательству того, что такое явление, как я, положим, хоть Иван Тяпушкин, во-первых, явление не единичное, а, так сказать, «продукт» таких-то и таких-то неизбежных влияний, продукт, личные свойства которого присущи.. всему русскому обществу и народу! Если же я еще прибавлю к этому, что личные эти свойства заключаются в неизбежности «пропасть» за что-то, лично меня не касающееся, нисколько даже мне иногда не нужное, что, с другой стороны, отдавшись этому личному, я так же *должен* пропасть, пустить себе пулю в лоб, то ясно будет, что

навязать такую «неизбежность» всему обществу невозможно. И вот почему, написав «часть первая», «глава первая», я тотчас же и прекращал работу. А уж сколько этих начал было! И «в один летний вечер». И «солнце склонялось к горизонту».. И «Марья Васильевна лежала на кушетке»... Один раз было даже «полулежала». Ну да что! Молчание! Молчание!

Но в последнее время, или, вернее, в самые последние дни последнего времени, целый ряд явлений жизни, поистине достойных носить название «наглядных несообразностей», вновь и с особенною силою возбудил во мне желание вытащить опять на свет божий мою любимую идею, что известному поколению русского общества обязательно было «пропасть» во имя чужого дела, чужой работы, пропасть волей-неволей, потому что к этому его привела вся всечеловеческая жизнь и вся всечеловеческая мысль, и что если оно не уверует в это, не укрепит себя в этом, то ничего, кроме самой ужасающей бесплоднейшей и адски-мучительной глупости, выработать оно не может. Эту любимую идейку о необходимости «пропасть» во имя лично для меня ненужных, даже нежелательных обязанностей, обязанностей тяжелых, неприветливых, я и захотел вновь показать на опыте моей случайной, во многом суженной, изуродованной жизни. Явления современной жизни, о которых я говорю, сделали то, что даже самая узость моих наблюдений, которая всегда меня пугала, теперь как бы ободряла, именно потому, что я сам «сужен» и все мои наблюдения «сужены» как раз на этой неизбежности «пропасть» не за свое, а за чужое, за что-то, от чего мне ни тепло, ни холодно, и т. п. Или нет — холодно! Ужас даже как холодно!.

А точно, мне неизвестно даже, где и когда могли бы происходить такие явления, о которых я только что говорил. Последние месяцы настоящего года я, за неимением места, провел так: поживешь в Петербурге, устанешь — поедешь в деревню к приятелю; там поживешь, устанешь, поедешь в Петербург. и так четыре месяца подряд мыкался я и туда и сюда, уставал, уставал и уставал... и, наконец, до такой степени измучился, что одно время думал о неизбежности смерти, вследствие неотразимо надвигавшегося на меня психического расстройства, грозившего умопомешательством. Но, к сча-

стью, вдруг как-то напал на мысль — писать опять ту же ненаписанную повесть.

Впрочем, прежде всего необходимо подробно рассказать, как и от чего именно я уставал; надобно рассказать, как я провел осень, что́ видел и испытал. Необходимо иной раз коснуться и таких сцен и фактов, которые пригодятся только потом, долго спустя после этой первой главы моих заметок. Рассказывать всего по порядку — решительно невозможно; впору справиться только с самым памятным и приметным. Начну эти воспоминания о прошлой осени с такого события, которое памятно не для одного меня, а для всей России. Я говорю о похоронах Тургенева. Спрашиваю всякого из ста тысяч человек народа, присутствовавшего на этих похоронах, что это такое было, как не непрерывная цепь самых невозможных несообразностей, волею запутавшейся жизни сделавшихся обязательными, неизбежными? Начиная с появления гроба в дверях Варшавского вокзала и кончая могильным холмом — весь восьмичасовой промежуток времени, ушедший на процессию, обязывал решительно всякого из сотен тысяч народа, присутствовавшего на этих похоронах, переживать ряд самых непоследовательных, нелогических, болезненных, бессвязных впечатлений и в то же время сознавать, что нелогичность, бессвязность, непоследовательность их нужны, необходимы, неизбежны — словом, что «так надо», хотя в то же самое время и совершенно «ненужно». Ясное, светлое осеннее утро; цветы, лавры, ленты и гроб писателя, при имени которого и при воспоминании о котором никакого иного представления, кроме того, что и посетитель и читатель его выносили — и от знакомства и от чтения — исключительно хорошие, светлые впечатления. Воспоминаются самые тихие, приятные, простые образы, густолиственные аллеи, красота... молодость. любовь.. глаза, заплаканные невинными слезами. кисея какая-то подвенечная чудится неведомо почему... холодные пальцы робкой женской руки. А на душе у всех тягота, камень сознания, что «не нам и не ему сей фимиам пахучий, цветы и лавры, — нет!».. [1] Что «терн колючий» *должны* мы вспоминать. по случаю, как видите, совершенно

[1] Стих Я. П. Полонского.

неподходящему. При более или менее здоровых условиях жизни и «терн колючий» вспомнили бы мы в свое время и в своем месте, а теперь он вспоминается вовсе не у места, и выходит так, что *надо* вспоминать колючий терн в таких обстоятельствах, которые соответствуют именно лаврам и цветам. Так вышло! Так надо! И вот с таким-то извращенным волею судеб состоянием духа, с камнем на душе, тысячи народа идут четыре-пять часов; мертвое молчание, напряженность, обязанность идти и знать, что внутренний душевный холод обязателен. Идем, и вдруг видим взвод казаков, молодец к молодцу, которые почему-то невольно напоминают стих Пушкина: «вмиг слетелись в общем крике». и даже не весь стих, а одно только слово «вмиг».

Бога ради, читатель, не думайте, пожалуйста, что, заговорив о казаках, я сделал это из желания представить себя «каким-нибудь эдаким» либералом, фанфароном, который представляется возмущенным, фыркает, осуждает, фордыбачит — словом, «отличается» смелостью и свободою своих просвещенных идей. Ничуть и ни в каком случае. Я и говорю об этих закубанских молодчинах именно в подтверждение той странности современных «наглядных несообразностей» жизни, что они, закубанские молодчинищи, *должны* были непременно присутствовать здесь и что начальство непременно должно было послать их сюда. Так сложилась жизнь, что на похоронах Тургенева должно было и вспомнить терн колючий и созерцать закубанцев. И все это отлично понимали, и все чувствовали несомненно, что все это весьма странно и удивительно. В самом деле, какая тут связь с литературной деятельностью Тургенева и всеми воспоминаниями о нем, которые роятся у всех присутствующих, начиная от частного пристава до студента с венком в руках? — Никакой. Тургенев — и закубанец... ведь это бог знает что! А — *надо*, и все знают, что надо. Нелепо, а необходимо; и вообще так вышло.

Итак, пройдя пять часов с каменной тяготой воспоминаний о колючем терне вместо цветов и лавров, миновав несообразную и в то же время вполне понятную встречу с закубанцем, мы, наконец, достигаем могилы и слушаем

речь Бекетова об астрономии. Теперь позвольте сосчитать все впечатления, которые мы пережили: Тургенев, Ася, густолиственная аллея, кисея подвенечная, закубанский эскадрон, речь об астрономии. Какую связь, живую, здоровую, все это имеет между собою? Живой и здоровой связи нет. Хороним Тургенева, создателя целой толпы чудных и нежных образов, а говорим об астрономии; при чем тут Тургенев? Ровно ни при чем. А закубанец при чем? Тоже ни при чем... Елена, Инсаров, Лаврецкий, густолиственная аллея.. а плеть закубанская как попала? Неизвестно! Теперь, если так взять: какая связь между плетью и астрономией, между венком от женских курсов и закубанским эскадроном; какая связь между Тургеневым и астрономией, между астрономией и тернием колючим? Ровно никакой!

Но жизнь пошла такими дебрями, дала такой нелепый оборот, что на каждом шагу стала создавать явления тяготы, неизбежной, вполне неминуемой и вполне нелепой и, главное, бесплодной. Возвратившись с этих похорон, я чувствовал себя совершенно избитым впечатлениями дня. «Тургенев, эскадрон. астрономия. . а надо!» Вот что сверлило мой мозг как буравом. Почему «надо»? — спрашивал я себя, и тут мне почему-то припоминалось освобождение крестьян, 19-е февраля, стремление в народ, «народное благо». И тогда я впадал в отчаяние еще большее, потому что мои мысли еще более спутывались, так как в них начинала чередоваться еще большая масса непонятных и несоединимых представлений. Освобождение.. Ася. астрономия... 19-е февраля.. закубанец. Тургенев. аллея.. Как же все это могло выйти из 19-го февраля? Но когда начнешь думать об этом, то приходишь к роковому — «надо»! Так вышло! А когда опять начнешь перебирать в подробностях картину, которая вышла, то сталкиваешься с подавляющим вопросом: к чему же все это нужно? Чего надо достигнуть всем этим? Зачем это и какой прок от этой адской тяготы, тяготы одинаково не удовлетворяющей никого: ни закубанца, ни Тургенева, ни астрономию, ни начальство?

Нет! Надо отдохнуть! Отдохну, очувствуюсь, а потом и соображу.

2

Отдохнуть я поехал в деревню, к приятелю. И точно, здесь в деревне по крайней мере понимаешь то, что видишь, и, глядя на то или другое явление, можешь ответить на вопросы: почему, зачем, отчего? Например, тотчас по приезде на станцию и по выходе на платформу я, несмотря на тьму зимней ночи, вижу, что поблизости платформы скопилась масса извозчиков. Вижу это и понимаю, что, стало быть, «приели» хлеб-то за первые же месяцы зимы. Что надобно его покупать, и вот почему десять человек приехало за двумя пассажирами. А вот осенью, в сентябре, когда только что убрались с поля и когда хлеб был у всякого, тогда ни единого человека нельзя было отыскать у той же самой платформы. Тьма и дождь, а ты ходи по платформе да жди белого света. А если и навернется какой мужичонка, то только фордыбачит и иного слова как «руп» даже и понимать не хочет. Все это видимо и ясно.

Из десяти толпившихся на платформе в ожидании двух-трех пассажиров крестьян, окутанных в какую-то рвань, с обледенелыми бородами и усами, мы — буквально два пассажира, какой-то лавочник и я — выбрали самого подходящего по части нужды в хлебе: маленького двенадцатилетнего мальчика. Крошечная фигурка, в большой ямщичьей шапке, с кнутом из-за пояса, достигавшим до полу, приглашала пассажиров таким же точно голосом, с такими же точно жестами и ухватками, как и взрослые бородачи, съевшие свой хлеб до рождества. Уж если этот ребенок зябнет здесь в три часа ночи, когда ему самое время спать, стало быть, в его семье и в самом деле жутко.

Сели и поехали, то есть сначала сели, и сидели довольно долго, покуда мальчишка драл свою лошадь кнутом. Драл он ее весьма долго, после чего она потянулась вперед, потом еще потянулась, а потом уж и сани поехали...

— Видно, кормишь плохо?— спросил лавочник.

— Знамо, плохо!

— Сена нету?

— Нету!

— Так! От этого она и нейдет.

— Знамо, от этого. Кабы корм был, так пошла бы.

— Верно! — сказал лавочник.

И я подтвердил это. Все тут понятно и правильно.

Мальчик постоянно должен был стегать лошадь кнутом и дергать вожжами, чтобы принудить ее страхом наказания исполнять свои обязанности. И лошадь шла, подпрыгивая от каждого удара. Но у кабака она вдруг стала. Мальчонка стал опять изо всей силы стегать ее и приговаривал:

— Это тятенька тебя, проклятую, приучил..

— Али пьет родитель-то? — спросил лавочник.

— Эво! Знамо, пьет. У него только и делов, что пить. .

— Отчего так ослаб?

— Ленивый стал...

— Ленивый? Да ты чей будешь?

Мальчик сказал.

— Ну, знаю, знаю! Много ль вас в семье-то?

— Девять человек, да мать, да отец...

— А мужчинов-то много ль?

— Да я один.

— А то всё девки?

— Всё девки.

— Ну так, так! Ослаб! От этого от самого... Кабы мальчиков побольше, он бы, отец-то, пободрей был: все бы ему надежда на подмогу, то есть по муской-то части, в хозяйстве... Ну, а то всё девки, это худо!.. Так, так, знаю! И мать-то твою знаю. Уж баба! Идет с речки, на одной руке один ребенок, на другой — другой, за руку третьего ведет, четвертый за подол, да коромысло с ведрами через плечо, да на коромысле-то белья, рубах и прочего настирано, навешано пуда с два, да валек за поясом. Ноги как у цапли, тонкие да жилистые. Всех кормит, от всех отгрызается, направо лягнет, налево амкнет... воюет за свое гнездо — одно слово! Вот от этого-то и расстройство — нет равновесу! Все на бабий бок вышло! Ну, мужику-то уж и обидно, вроде как подначальный у них, потому эво их какая сила!. Что ж, отец-то дюже ослаб?

— Отец-то? И совсем как полоумный стал.

— Что ж он делает по дому-то?

— Да чего ему? Лежит на печке да пьет. По осени пошли молотить, а он колеса пропил.

— Ай, ай, ай!

— А то вот хомут хотел продать, слава тебе господи, я хватился, пымал его: «куда ты, мол, полоумный, тащишь хомут-то?» Ну, отнял от него... «Нет, брат, говорю, погодишь!»

— А он что же?

— Чего ему? Пошел на печку, ругается... «Мне, говорит, литок хотелось попить!»

— Чего?

— Литок хотелось ему попить... «Водки, говорит, хотелось. .»

— Попить?

— Да! «Попить бы мне водочки, говорит, литок! скучно мне, говорит, стало, попить захотел». — «Нет, говорю, любезный, погодишь!. Ты бы, говорю, хошь лошадь мне помог запречь на станцию-то съездить... Ты видишь, я еще мал, мне иное дело и не в силу... Я вот пахать принялся было, так только и руки и ноги вывихлял, еще силов нет, а ты, только бы попить тебе, дураку». — «Мне, говорит, скучно... Стану я тебе подсоблять, когда ты у меня хомут, подлец этакой, отнял». Да чего! На станцию-то не пущает. Во всем доме хлеба нету куска, а стал я ночью собираться — не пущает. «Спи, говорит, чорт! Покоя от вас никакого нету. Вот встану — бить зачну...» Ведь вот какой полоумный! Чуть было не прибил!..

— Да, ослаб, ослаб! Да и ослабнешь!

Лавочник соскочил на перекрестке, а мы поехали дальше. Пустынный промежуток между двумя деревнями; самый молчаливый час ночи; темно, мрачно, тихо... И в темноте виднеется что-то более темное: присматриваясь, можно различить темную фигурку, еще более маленькую, чем мой извозчик, и маленькие также черные салазки. Темная фигурка маленького мальчика с салазками посторонилась и забрела в сугроб снега.

— Куда это он в такую пору?

— В лес идет!

— Зачем?

— А за дровами!

— Зачем же ночью-то?

— Да ведь воровать будет. Нешто днем можно? Ведь увидят, а теперь спят.

— Разве своего лесу нет?

— Кабы свой был, так не воровал бы...

— А ну как его волки съедят?

— Так чего ж им не съесть? Захотят, так и слопают. Но. голодная!

«Верно!» — подумалось мне. И все опять-таки правильно и понятно.

И на другой день все также хорошо. Утром выхожу на крыльцо вместе с моим деревенским приятелем. Стоит человек в пиджаке, шарфе и картузе. Человек этот давно мне знаком — ремеслом сапожник, но делает всякие дела: и деревья сажает, и канавы копает, и обоями обивает. Ему лет пятьдесят, но он еще бодр, держится по-солдатски и старается всегда и спрашивать и отвечать развязно и весело. Тут же, около крыльца, стоит зачем-то деревенская женщина, старуха с завязанным и больным лицом.

— Здравствуй, Василий! Что скажешь? — спрашивает приятель.

— К вашей милости! Нет ли каких делов? Я теперича не пью-с, ни боже мой!..

— Ты мне много раз говорил, что перестал пить, — и все пьешь!

— Нет, уж сделайте милость! Теперь нет, ни капли! Вот уж четвертый месяц даже росинки не было. Опять взялся исключительно за сапог. И теперь что вам угодно, хоть всю фамилию обошью и перечиню. Как можно пить! Я, позвольте вам сказать, почему пил? Я стал пьянствовать по случаю смерти жены... Когда она померла, то я впал в тоску. Девочку, которая осталась после нее, отдал матери, остался в пустом доме, ну и зачал пьянствовать. Тут я действительно стал поступать без всякого смысла. Первым долгом начал с того, что пошел в сад, вырыл там малину, смородину, вишни, яблони; вырыл, продал и пропил. На кой они мне ляд? Покончивши таким родом в саду, пошел я в амбар; закрома вынул, выломал, бочки из-под капусты, из-под огурцов выкатил, ведра, ушаты, лопаты, лом и весь прочий подобный хлам свалил; отвез, продал и пропил. Эту часть пропивал я, прямо сказать, недели четыре, даже,

пожалуй, весь почитай, рождественский пост. Тут подошли праздники, гости, надо уж и других угостить. Тогда я принялся за мебель: пропил я тут пять стульев, кожаные сиденья, шкаф, чашки, серебряные ложки две, ризу, потом киоту, стол ломберный, круглый был стол на колесиках — тесть подарил — тоже пропил; под одно пошли занавески, перины, самовар, котел для белья, чугун — все прикончили в течение, так сказать, промежутка до масленицы. На масленой неделе подступил я к дивану — диван, тоже дареный, со спинкой, пружинный, три аршина длины, аршин ширины, столярной работы, прочный-препрочный — сдвинул я его, поднял, вознес, выволок, взвалил, продал, пропил. Картины: вид Иерусалима и Александр Благословенный дарует мир Европе, в белых панталонах, на карту ногой наступивши и со шляпой, — к буфетчику Ивану Антипову поступили. Кирпичу было припасено на поправку две сотни — прекратил! Далее, таким же родом прекратил одежу, перво женину, а после того и свою собственную, до последнего сапога, опорка и даже последний ремень, гвоздь из стены — и то все пропил и окончательно достиг до того, что является мне сам дьявол и говорит: «Одобряю тебя, мерзавца, за твои дела». И вот эдак лапой по лицу провел, со лба и по носу, перед богом, хотите верьте, хотите нет! Ну, тут я испугался: огляделся — вижу, пусто, и страшно мне, ни жены у меня, ни дочери, ни мебели, ни сада, ни одежи, ни полена дров, холодно мне, жутко, страшно, боязно; думаю: «нет! надо бросить, а то и с голоду помереть недолго». И потянуло меня на брак. Потому, страшно мне без бабы. Думаю: возьму дочку, женюсь, примусь за работу, опять бог даст помаленьку-помаленьку как-нибудь. Все хоть в печке-то что-нибудь закипит. Вот тут я и бросил, стал искать невесту. С тех пор, вот как женился, благодаря создателя, капли во рту не было.

— А давно ли ты женился?

— А женился я, так сказать, вот уж, пожалуй, с полгода...

— Ну и что же?

— Да пока что — худова не было! Конечно, надо сказать прямо, старенек я.. Я хоть и твердого корпусу, ну а уж все не тот во мне взгляд, как ежели взять молодого

человека... Да и то сказать, ведь по моему положению и по годам, ведь и найтить настоящую трудно. Как порешил я вступить во вторичный брак, думаю — кто за меня пойдет? Которая девица жила в хозяйственном доме, округ скотины, пашни — той и муж такой надобен: ей надо, чтобы и ее бабья часть была полная... А у меня какое хозяйство! Вдову ежели.

— Тебе, Василий, в сиротах надо бы искать!.. — прогнусила присутствовавшая при этом разговоре баба сквозь платок, которым были завязаны у нее нос и рот.

— Вот-вот, — подхватил Василий. — Именно твоя правда! Думал-думал я, прикидывал и так и сяк, и насчет вдов, и насчет девок, и насчет прочих сортов — нет, не подходит. Оказывается так, что окромя как в сиротах, в безродных для меня способов нету. Пробовал было я присогласить у старухи у Пучковой дочь, потому старуха бедная, ну и она было ничего, только, говорит, надобно погодить. «Обещал, говорит, мне один добрый человек кирпичу подарить полтыщи да тесу двадцать тесин на бедность, на помин души отцовской, так ежели подарит, так я, говорит, подправлю вторую половину в избенке, поставлю печку и кое-что подошью тесом; тогда, говорит, эту половину у меня обещал урядник нанять. Вот, говорит, ежели получу кирпич и тес и урядник у меня будет жить, то буду я иметь доходу рубля четыре, и мне старухе хватит; тогда я могу дочь мою отпустить, потому я и на четыре рубля проживу; ну, а коли ежели кирпичу он не даст, то, следовательно, не даст и тесу, и фатеры я сдавать не буду, — то мне без дочери прожить нельзя, и в брак я ее не отдам, пускай ходит хоть на поденщину, в стирку, все хоть что-нибудь добудет». — «Ну, думаю, говоришь ты, старушка, правильно, а все-таки из-за твоего кирпича как будто бы мне без жены оставаться не приходится. .» Да и девку-то жалко. Девка, сказать вам по совести, оченно мне по скусу пришлась... Потому — тепло от нее.. Кажется, взять ее в дом, так и без дров изо всех труб пойдет дым и жар. Работяга, и нужду знает, и из пустяков может большую суету созиждить, а мне от этого лучше, потому мне страшно стало одному-то. холодно! Вот я хотя и слушал старухины слова и понимал, а все же не сразу отстал от этого дела. Стал я с самой девкой разговор

вести. «Ежели, говорю, Авдотья, Иван Данилов кирпичу твоей матери не даст, так ведь ты так и останешься в девках. А ежели бы за меня пошла да как-нибудь справились, так тогда мы и мать бы взяли». — «Что ж, говорит, Василий, пожалуй». Подумала-погадала, наконец говорит: «Увози меня такого-то числа с посиделок». Это у нас теперь заведение такое «увозом», чтобы свадьбы не справлять. Справить свадьбу, мало-мало шестьдесят рублей, — а где их взять? Опять ежели делать свадьбу честь-честью, так и приданое надо давать. А как нету приданого-то, вот оно и неловко. Так чтобы уж не срамиться и понапрасну денег не тратить, вот надумали «увозом»... Тут и родителю-то уж есть случай сказать: «А! когда так, без моего согласия, так нет тебе и приданого!» Это даже и родителю приятно, особливо когда у него ничего нет. Ну, и гостей тоже приглашать не надо, да и не пойдут к непочетчикам, это уж не настоящая свадьба, а воровская. И выходит таким образом экономия. Только отдай попу, больше ничего. «Увози, говорит, меня такого-то числа, а потом я посмотрю». Подсогласил я тут мужика, подъехал, вышла она с посиделок, узелок при ней, сели, поехали. Приехали домой. «Ну, говорит, Василий, теперь мы чаю напьемся, а уж завтра я погляжу — быть мне твоей женой или нет». Достала своего чаю, самоварчик я добыл, напились — легли спать. Я в куфне, она в горнице, сена я ей принес. Наутро опять же напились чаю, пошла, поглядела дом — ничего, дом понравился; поглядела чердак — и чердак ничего: «хорош, говорит, чердак». Потом того кухню рассудила во всех суставах, только головой покачала, потому действительно я все там растащил и пропил. Затем в анбар — худо и в анбаре: тоже ничего нет, не с чем взяться; спрашивает: «Корыто где?» Я говорю: «Что делать! нету, куплю...» — «Лопата?» — «Нету, куплю!» — «Ушат?» Опять нету... Ничего нету. Походит, походит, спросит: «А, например, ухват, или утюг, или горшок?» — «Нету, друг мой, надо покупать...» Обглядела все уголки, всё обшарила, обсудила, пришла опять в горницу, поставила самовар, опять своего чаю заварила. «Нет, говорит, Василий, не подходит мне за тебя идти. Что мы будем за хозяева? Ведь рук не к чему приложить... Куплю-куплю, а на что? это значит: иди

я, стирай опять да добывай на всякую малость окромя пропитания; это мне нет удовольствия. Что же мне, сам рассуди, с такой скуки жить начинать?» — «Подумай, говорю, Авдотья, может и подойдет как-никак». — «Я, говорит, подумаю, только навряд, чтобы это дело по мыслям мне вышло». Пробыла она у меня таким манером два дня, все думала; дров наколола, рубашку мне выстирала и все думала... На третий день, наконец, встала, умылась, богу помолилась. «Нет, говорит, Василий, не подходит. Прощай! Пойду я домой. Чаю тебе оставляю на две заварки и сахару, а уж что делать, лучше же я при матери потерплю, а может, господь и лучше судьбу пошлет». — «Ну, говорю, Авдотья, нечего делать, прощай!» Оделась она, узел за плечи навязала, юбку подтыкала, взяла палку — и в путь, пешком. Ха-а-рошая, золотая девка. Твердая, умная, лучше не надо. уж я и сам подумал-подумал, вижу — цена девке большая, расчету ей за меня идти нету. Проводил ее пешечком за деревню... «Смотри, говорю, Авдотья, волки как бы тут не побеспокоили...» — «Эво, боюсь я их!..» И ушла, хорошая такая, твердая. «Заходи когда!» говорит. Хорошая, хорошая — одно слово... И точно, на ее счастье, Иван-то Данилов не обманул ейной матери, и кирпичу и тесу дал, и урядник переехал, да как увидел, какое добро Авдотья и какая округ ее теплень и уют, так сейчас же честь-честью за ручку да в храм и вступил в закон. Погляди-ко, какая теперь дама вышла! Я уж и сам думаю: «Истинно тебя, Авдотья, господь от меня спас!..» Нет, каков ум-то у девки? Сколько рассудку-то, ведь это цены нет!..

— Этакая девка не по тебе, — промолвила опять слушательница: — тебе беспременно надо бы в сиротах пошарить, поразыскать..

— Ну, тут уж я к настоящим сиротам устремился... И разыскал я действительно почитай что совершенно голую девицу. Жила она при тетке на квартире, а тетка-то калачи пекла, летом на большой дороге пробавлялась. Одна у обеих шубенка... бедность. Ну все же кое-что для начатия было: подушка, образ, кофейник, ухват там, например, кочерга, платьишко ситцевенькое — ну, словом сказать, рублей на пяток всякой домашней сволочи было, да деньгами-то тетка-то рублей никак восемь вытрясла

из чулка — ну кое-как, да кое-как и женился, и стал опять помаленечку да полегоньку на путь настигать, с тех пор и не пью ни капли.

— Что ж, — спросил мой приятель: — хороша жена-то?

— Да как вам сказать... она ничего, и хлопотлива, и все... Только что голова у нее маленько с дуринкой. И молода, да и голодала уж больно долго... слаба... Работает-работает, да и начнет фыркать: «мало, вишь, меня любишь!»... А мне ведь пятый десяток, куда мне много-то? Ну, и надурит. А потом, само собой, должна уж замолчать... И девочкой-то моей стала брезговать. Как женился-то я да взял девчонку, ну, она с первого началу ничего, ласково, а теперятко нет-нет, да и треснет ни за что ни про что...

— А сама-то тяжела уж или нет? — опять прогнусавила слушательница.

— Должно быть, что как будто есть.

— Вот от эвтого-то она и стала твою-то девчонку пригибать к земле, что свое дите начинается.

— Уж и я думаю, не от этого ли?

— Да уж верно от этого. Коли свое начинается, так уж чужое так бы и сжил со свету... Ох, грехи-грехи... Так бы слопала совсем с костями чужое-то!

— То-то вот и у нее это стало обозначаться. Я вот и сейчас-то, признаться, из-за девчонки пришел, под работишку какую-нибудь деньжонок попросить... хоть целковых бы два... Хворает, бедняга, надо бы все чего-нибудь хошь от фершала взять приложить... И все из-за моей бабы вышло... Пошел я как-то полусапожки на станцию отнести, старшего буфетного лакея любовница заказывала, и надо было полтора рубля серебром получить... Пошел, отнес. «Подожди, говорит, почтовый поезд отойдет, тогда мой придет и отдаст». Ну, ждал-ждал, пока что, пока поезд ушел, то да се, прошло времени часа три, а с дорогой-то часа четыре протянулось. Прихожу домой, вижу, дверь заперта, и замок висит, а в горнице моя девчонка ревет благим матом. Жены нету, ушла куда-то; пошел, поспрошал там-сям — нету; идет знакомый парень: «Кого, говорит, ищешь?» — «Да жены нету, не знаю где?» — «А она на посиделках». Что за чудо, думаю? У нас бабы замужние и глаз туда не кажут. Пошел, разы-

скал, привел домой: «Что тебе, говорю, за дурь в голову влезла!» — «Да что же мне так всю жизнь и не видать свету-то?» Находит на нее дурь эдакая, безобразная. «Всю жизнь, говорит, свету не видишь. То нищей жила, то теперича за тобой, за старым чортом, мучаюсь, да с твоей с паскудной девчонкой нянчусь, да и то иной раз по дням есть нечего. Хоть одним глазом глянуть, как люди живут...» Оно и правда, что стар я, иной раз и по шее треснешь, и нуждишка донимает, ну, а все и глупость ее иной раз очень оказывается... Ну промолчал я, перетерпел. Пришли мы домой, отперла она дверь, огонь зажгла — гляжу, девчонка на полу валяется, вся в крови, и голова, прямо сказать, прошиблена. «Как так?» спрашиваю. «А так, говорит, что с печки свалилась». — «Да зачем же ты ее, глупая, на печку посадила?» — «А куда ж я ее дену? На руках, что ль, ее мне таскать, эко бревно? Оставь я ее внизу, она тут начнет баловаться, ножом еще зарежется или спички найдет — подожжет». И посадила она ее, глупая, на стряпущую печку: думает, что девчонка страхом одним усидит там, сама, мол, побоится к краю подползти... Усадила ее там в угол, огонь задула и ушла.. А девчонка-то говорит: «Я, говорит, испугалась, мне страшный чорт привиделся, вот и треснулась с печито об пол и пробила башку»... Ведь вот до чего глупость-то господствует в этой дуре. А так она — ничего! Коли очувствуется — добрая, страшливая. Ну, делать нечего — побил я ее, поколотил, поплакала.

— А девочка-то?

— Ну, а с девочкой тоже кое-как. Обмыл я ей прошибленное место. да тряпкой, значит, со столярным клеем и заклеил, потому ничего нет! Чем тут? Покуда бы к фершалу ходил, покуда бы разыскал, покуда что — ан девчонка-то пожалуй бы и совсем кровью изошла. Вижу клей — я сцопал его, развел, намазал крутым манером, да и налепил ей на пролом-то, ну, клеем-то его и стянуло с боков к середке, и оченно даже фершал хвалил. Да чего? И сейчас отодрать не в состоянии, так совсем со шкурой и спеклось. И фершал-то говорит: «Пущай, говорит, покуда так, а то, пожалуй, с кожей оторвем.. Пускай так остается покуда что. А в случае чего — так скажи...» Ну вот теперича у ее и начинается вроде горячки. бредит и жар. и надо хоть что-нибудь. Ведь жалко

девчонку-то, вся в покойницу, память дорога! Так, уж вот не будет ли вашей милости доверить мне рублика два, а я без сомнения, будьте покойны, отработаю... Девчонку-то жалко... мечется! А чтобы пить — нет, избави бог! И в мыслях этого нет...

— Хорошо, что по крайности захватил клеем-то! Крови-то ходу не дал! — произнесла слушательница-баба.

— И фершал тоже говорил: «хорошо»!

— А у тебя, Аксинья, — спросил мой приятель: — что такое — отчего лицо завязано?

— Да вон, вишь, что...

Она отстранила от носа и рта платок, и тогда мы увидели, что и нос, и рот, и щеки были опухлые, красные и покрытые крупною красною сыпью.

— Это что такое?

— А это по-нашему называется «притка».

— Что ж это, простуда?

— Нет, это не простуда. А это вот как приключилось: пришел Ванюшка из училища и стал читать книжку, а я на полатях лежала...

— Какую книжку? — спросил Василий: — духовную?

— Нет, так, пустяковую... про козу и про лису, либо про овцу... Слухала, слухала я, да и засни... А наутро — глядь, все обличье разнесло...

— Так отчего же?

— А заснула-то я, перекреститься забыла, вот отчего и приключилось.

— От этого, — сказал Василий, — и происходит «притка».

— Так ведь надо лечиться.

— Да уж я мазала... керосином, лавочник посоветовал, и крахмалом, говорит, засыпай...

— И легче?

— Куда уж легче, всю разнимает, мочушки нетути...

Словом, начиная от выхода из вагона на платформу до этой самой «притки», все деревенские впечатления были вполне реальны, понятны и объяснимы. Вопрос «почему» — ни разу до сих пор не оставался без самого ясного, обстоятельного и резонного ответа. Почему ездит мальчишка, а не отец? Почему мальчик плетется ночью в лес? Почему Василий пил, почему Авдотья не пошла за Василья, почему пошла за Василья голая сирота, почему

Васильева дочь расшибла голову, почему у старухи приключилась притка и т. д. Все эти вопросы, все эти «почему» имели, как видите, самые обстоятельные ответы, не путали меня нисколько и невольно действительно освежили после путаницы петербургских впечатлений. Правда, иной раз как-то тяжеловато становилось от этой ясности, а иной раз именно вследствие этой ясности в голове возникали вопросы о том, да почему ж это нужно, чтобы ездил мальчишка, чтобы мальчишка воровал, чтобы девочка разбивала голову и чтобы все это было уж так неизбежно, ясно и неопровержимо? Но ясность и неопровержимость этих явлений вновь успокоивали меня, и всякие сомнения прекращались во мне, так сказать, измором.

3

Но прошел еще день, и жизнь деревенская, давая попрежнему все такие же реальные и объяснимые факты, неожиданно стала осложнять их той самой путаницей и «необъяснимостью», которая меня напугала в городе, от которой я уехал в деревню, чтобы отдохнуть и сообразиться.

По улице идет толпа мужиков, машет руками, кричит, орет; в оранье и криках видно и раздражение и хмель; а рассмотревши поближе — видишь на некоторых лицах и на некоторых машущих руках следы драки, синяков и ссадин.

— Что такое, господа?

— Да что, ваш-бродие, нет никакого житья от этих от курлянов. Принуждены сокращать своими способами. Сегодня вот, погляди-кось, какая была поволочка около волости! Эво руки-то! ..

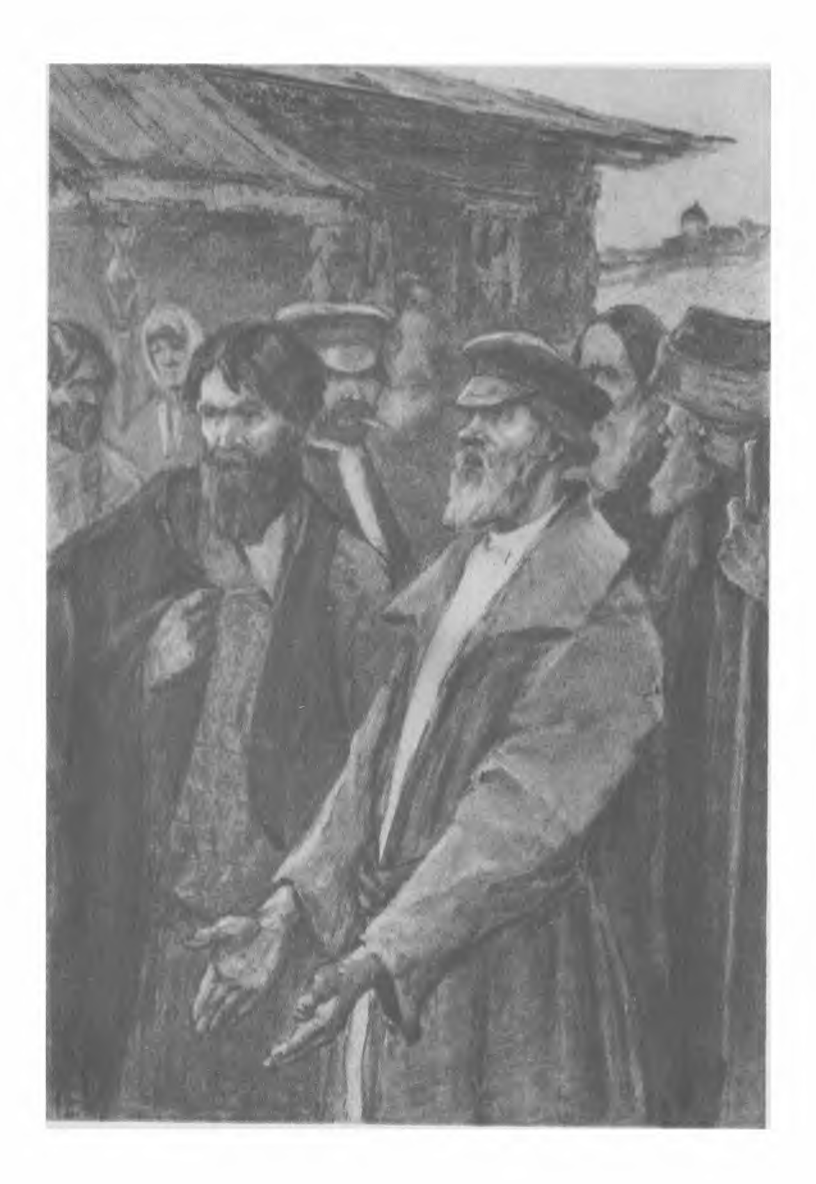
— Да за что же, за что такое?..

— Да препятствуют! Оченно много воли взяли... Отнимают от нашего брата, от природного жителя, всякие способа́, первым народом стали, анафемы... Эво как рыло дерут!.. Хоть возьми вон Карлушку, арендателя, — чем был? как заяц паленый приехал к нам, один только пес тупорылый и был у него, а теперь — вот он кто!.. Уж пятерых девок испортил, в воспитательный то и дело возят; а он только зубы скалит... Так нельзя! Нам самим земля

требуется, мы тоже ожидаем ее — как же так можно, чтобы против своих да иностранных подлецов предпочесть? Это, братец ты мой, надобно прекратить.

— Ничего, — присовокупляет другой деятель из толпы, молодой парень. — Попервоначалу и им ноне хорошо дадено. Для начатия. А с течением времени можно и более сделать им обучения. Попервоначалу и так хорошо! Двое еле-еле в санки влезли... Поди, как бы уж окончания дорогою-то не принял кто-нибудь.

— Да в самом деле! Каково вам покажется, ежели я вам все подробно расскажу. Теперича, как отошли мы от господ, то, надобно говорить по совести, земельки нам мало досталось. Прежние, например, лядины, луга, которые завсегда были наши, крестьянские, десятин по пятьсот, по шестьсот и более того, отошли от нас к господам, а господа заложили их в банк, да цену-то набили — эво, выше головы! одного проценту не выплатить, не токмо что доходу или что. А трудно; земля заложена, пустует, а мы приступиться не можем. Но думаем, что авось как-нибудь! Там слух пройдет — по-хорошему обещают сделать — так дело и тянется, а толку все никакого нет.. А курляны-то понемногу да понемногу и стали вылезать из своих мест. То один проплетется куда-то в лес на своей клячонке; телега из досок, точно песок возит, а в телеге сундучишко да кадушка, проплетется, и не видать. Идет время — глядишь, и другой едет, и третий, и все проедут, и не видать их. И уж семьями, человек по пяти, по десяти стали выползать, и всё бедные, ничего имущества, почитай, нет; плетутся куда-то. в пустые места. И так идет и год, и два, и три. Мы дожидаемся, терпим, друг дружку у кабака пропиваем, а они тем временем позанимали места, контракты понаписали... И стало даже так, что пошел ты в какое пустое, по прежним-то временам, место, хвать — забор. Кто тут? Курляны. Заборы да заборы, да с ружьями они все, анафемы; собаки у них тупорылые, злые. Едешь — видишь мост, думаешь, как у нас: для всякого, «поезжай кому угодно!» Нет: «мой!» говорит. Не пускает. Да и мосты-то понастроили под курляндские телеги — на нашей и не проехать по такому мосту-то. Иной из наших по-простецки занес ногу через курляндский забор, чтобы, значит, поближе пройти, а хозяин-то свистнет; так псище-то с од-



ного маху за ногу цапнет. Бывает так, что из ружья прицелит да дробью плюнет... Глядим — и тут места заняли, и там, и там. По всем пустым нашим же местам, которых мы дожидались, расселилось их видимо-невидимо... То они все мимо нас ехали и неведомо куда пропадали, а то стали уж и из своих мест выпирать — глядишь, масло везет и дешево продает, а нашим бабам ходу нет; вези в Питер или в губернию, а тут, на месте, которые у наших брали, стали у курлянов брать. Стали они даже так осмеливаться, что перепьются на свадьбе, да во всю мочь на двадцати телегах по нашей деревне — того и гляди ребят передавят. То есть даже и уважения уж не оказывают. Везде нам от них убыток, а они, между прочим, только храпят да нос дерут... А контракты-то понаписали на пятьдесят да на шестьдесят лет. Наш брат, природный житель, вором в лесу-то ходит, дровец промышляет; а они в своих-то арендованных местах живут, как господа, рубят лес, который потребуется, вполне свободно и покойно. а наш брат ворует, а места-то ведь наши исконные, ведь они нам самим надобны. А это что ж такое? Мы — бедняки, а какие-то неведомо откуда объявились народы, посмотрите, как жить зачали! Мне вон нету доверия в лавке, а ему есть.

— Что ж это будет?

— Так вы бы раньше их арендовали земли-то, которые теперь курляндцы арендуют.

— Да ведь кто ж его знал? Арендовать? Чего ее арендовать, когда она испокон века наша была. Ведь тоже надеялись.

— Чего вы надеялись?

— Да, само собой, послаблениев каких ни на есть. Как можно с этаким лоскутом управить таким делом, как крестьянство?

На это мой приятель весьма пространно и обстоятельно объяснил рассказчику, что начальство десятки раз рассылало по волостям предписание о том, чтобы не верить несбыточным слухам, чтобы никаких ни послаблениев, ни иных каких разносолов не ждали, а старались сами заботиться о себе, по мере своих средств и возможностей. Приятель сказал, что старшины должны были объявлять мужикам об этих распоряжениях, и если бы только крестьяне слушались их, то давно бы сумели прикупить

или арендовать на дальние сроки такие участки земли, которые им необходимы и которыми теперь вот «владеют» курляндцы.

— Ну да, скажут нам! Старшина-то иной еще нарочно начнет путать.. Скажи он как следует, мы бы, может быть, и столковались бы обществом на чем-нибудь. Да он не даст нам. Он лучше один завладеет куском-то.. Вон у нас у старшины все остатние места арендованы, сено косит он да в Питер возит; так какой ему расчет правду говорить? Ведь тогда мы у него отымем да сами будем владеть. Как же, скажет он! дожидайся! Он еще нарочно намутит: «не спешите, мол, ребята... Скоро будет то-то и то-то, и без денег, мол, завладаем. .» Дожидайся!

— Ну, а если у вас в волости так плутуют, неужели вам нельзя было узнать правду хоть у учителя? Ведь он книжки читает, он может справиться, рассказать.

— Ну уж учителя! Что они знают! Мы видим, чему они учат. Про козу да про овцу... Одни сказки! Нет, тут уж видно надо самим взяться, своим распоряжением вступиться.

.Вечером того же дня пришлось мне встретиться и с учителем.

Я рассказал ему утренний разговор с крестьянином. Учитель прибавил:

— Это все так. Помилуйте, есть целые деревни (да какое «есть» — повсюду почти, за исключением разве немногих близких к волости лиц), где решительно не имеют понятия о том например, что в губернском городе уже открыт крестьянский банк и что он уже действует. Знают об этом ловкачи, кулачье, и захватывают тихомолком, а масса только запутывается в своих мыслях.

— Так отчего же не говорить с ней? Неужели у вас, как у учителя, вследствие обязательного вашего знакомства с родителями учеников, не может найтись предлога поговорить, сказать то, что вы знаете?

— Да предлоги-то всегда есть. Напротив, они сами ходят ко мне, эти родители, расспрашивают... Но признаюсь вам — боишься!

— Чего же?

— Боишься разговаривать. Сейчас выдумают кляузу. Вот тот же старшина, которому не расчет уступить

в мирское владение подходящий ему участочек, придерется и накляузничает...

— Да к чему же он может придраться?

— Да ко всему. Вот не угодно ли посмотреть такую бумажку.

Он порылся в боковом кармане и подал мне бумагу, на которой буквально было напечатано следующее:

«Так как до сведения училищного совета дошло, что учителя некоторых училищ собирались, с участием посторонних лиц, по воскресным дням для бесед, *не разрешенных законным порядком*, то училищный совет постановил дать знать циркулярно г-дам учителям и учительницам, что *подобные* (?) собрания, без надлежащего разрешения, строго воспрещаются и виновные в оных лица должны подлежать законной ответственности, независимо от чего виновные будут увольняемы от должности».

— Ну, вот. Спрашивается теперь, — сказал учитель, пряча бумагу опять в боковой карман, — какие такие есть в деревне собрания, разрешенные законом? И на какие собрания надобно просить разрешение? Все это неизвестно. И вот в этой-то бумаге, в которой не указано даже, что́ именно законно и что́ незаконно, а просто сказано только: «подобные» собрания — вы видите однако, как настойчиво и твердо звучат слова об увольнении и законной ответственности... Все это, конечно, понятно, но от всего этого жутко... Ну и молчишь!

— А мужики путаются и мечтают?

— Прямо попадают в западню.

— А потом бьют курляндцев, своим распоряжением поступают?

— Как видите!

И не один такой разговор пришлось выслушать мне в деревне, причем я явно убедился, что несообразности деревенской жизни иной раз ничуть не меньше городской, а главное, вдумавшись в них, опять-таки без всякой фанаберии — видишь, что «нельзя», что одна бессмыслица так сцепилась с другой, что из круга их нет выхода, что эти бессмыслица и бессвязица неизбежные.

Пожил я таким образом в деревне, думаю: «поеду в Петербург, оглянусь, пособображу и очувствуюсь».

4

В Петербурге я нанимаю комнату в меблированных комнатах, прилегающих к вокзалу одной железной дороги. Уезжая на день, на два, я запирал только письменный стол и шкафики этого стола, а ключ от нумера оставлял номерному. Приезжаю я этот раз в мой нумер, смотрю — нумер отперт, и Кузьма, «коридорный», стоит около моего письменного стола и роется в столе, в бумагах.

— Что ты делаешь?

— Да свечей ищу, — говорит Кузьма, глядя на меня совершенно глупыми, круглыми и непроницаемо-деревянными глазами.

— Какие же свечи в письменном столе? И откуда ты ключ взял?

— Да у вас не заперто было.

Что же! Может быть. Но такие штуки я стал замечать за Кузьмой не сейчас только; довольно давно уже на лице его появилось это выражение деревянной глупости с оттенком чего-то неумолимого.

Я познакомился с Кузьмой в самый день его появления в меблированных комнатах в должности коридорного, и первое время мы были с ним в весьма хороших отношениях. А в разговор вступили прямо при первом свидании.

— И ваша милость нониче переехали? — спросил он меня, подавая в тот же день обедать. — Ну, вот... Авось, бог даст, будет хорошо. Пока худого не вижу. Я уж рад-радехонек, что до места добрался, все угол есть, а то с самой войны, как воротили из Турции, чисто с ног сбился, полное расстройство принял. В деревне попробовал было начатие хозяйству положить — ну, не вышло; в город сунулся с женой — опять маята! Первое дело — местов нет, а второе дело — жена-то у меня не прилажена к городу. В деревне ей оставаться не у чего, а в городе ничего по-городскому не смыслит. Кое-как занялась прачешным делом, нахватала там-сям зря, пережгла, перепутала, буквов-то не знает, которое белье надо бы, положим, барину, а она его лакею, а которое рвань, глядишь, барину отнесла — ну, везде ругаются, кричат... Верите ли, своих кровных двенадцать целковых за нее, дуру дере-

венскую, отдал. Нет, нету настоящего воспитания. Деревенщина! Что с нею мне в столице делать? Теперича вот, пока что, благодаря бога, и моя баба при мне не будет помехой; хотя сапоги вычистить, подместь, в лавочку — это она может.

Кузьма был очень рад, что, наконец, пристроился, нашел угол и работу, и на радостях был очень разговорчив.

— Чего-чего не натерпишься, поживши на свете! будешь рад-радехонек, как к чему-нибудь пригодишься.. Теперича рассказать вам, долго ли я в деревне побыл после войны-то... А чего не видал!

Кузьма даже махнул рукой.

— Вступиться-то за правое дело не дадут! Слава тебе господи, все же таки больше мужика видел, видел, и как прочие народы живут. что ж, и писать, читать кое-что знаю и уж не изо зла же буду своему брату делать — захотят, так в порошок сотрут!

— Кто?

— Да деревенские злодеи, прорвы! Кому не расчет, чтобы народ понимал, тот и слопает, лишь бы только сума толста была! Никакого присоглашения ни к чему сделать невозможно, то есть ежели на пользу. Сейчас всё перевернут и всё водкой! Возьмите то: барин у нас землю хотел крестьянам отдать и цену назначил настоящую, правильную, кажется бы чего лучше. Земли — мало! Уж я тут всякими способами — «берите, берите, ребята!» и так им растолковывал и так, и совсем было уж на согласие пошли, да лихому, злому человеку нешто дорога правда? Подпоил стариков, одурманил их водкой, наврал с три короба: и запутаемся-то мы и не заплатим, а не заплатим — взыщут, всё имущество продадут! Наврал, налгал, отбил, а потом сам и взял у барина-то, да теперича и дерет со своих же однодеревенцев втридорога... а называется старшина! Да что! Уж я как бился, хлопотал — «дозвольте, миряне, я учту его». Уж это бы, верно, я его вывел на свежую воду, потому в два трехлетия из ледащего мужичонки никак нельзя с капиталом оказаться, ежели не воровать. Опять попоил, да пригрозил еще... «Гляди, говорит, будешь мутить, так я тебя произведу!» Вот ведь какие идолы! И нету никакого внимания.. А сколько денег-то кровных воруют! Иной раз думаешь-думаешь: господи! хошь бы о сиротах подумали! Мало ли каких

случаев, иной помрет, оставит, бывает, пяток-десяток ребят: ведь по миру идут! Ведь помощи ниоткуда никакой. Копейки нет, а сколько таких копеек... да каких копеек! — сотен воруют, тыщи пропадают!.. Когда я, позвольте вам сказать, был на войне, так это, господи ты мой боже...

Последние слова Кузьма произнес почти шопотом, и вероятно, что он хотел мне рассказать что-нибудь в высщей степени интересное и даже «страшное»; но, к нашему общему несчастию, из коридора в мою комнату отворилась дверь, и какой-то из администраторов меблированных комнат громко сказал:

— Здесь Кузьма?

— Здесь-с!

— В контору — к управляющему!

Кузьма ушел в контору и долго не возвращался. Я уж давно кончил обед, а Кузьма не приходил убирать со стола. Заглянул я в каморку, где жил Кузьма, но там не оказалось ни его, ни жены.

А когда он, наконец, возвратился, то я тотчас же заметил в нем какую-то перемену, а главное, заметил этот неискренний, глупо-деревянный, с оттенком неосмысленного негодования взгляд... С этого дня он уже не откровенничал, а держался, как я заметил, по отношению всех жильцов меблированных комнат в каком-то недоверчивом отдалении.

Когда, по возвращении Кузьмы из конторы, я спросил его:

— Ну, так что ж на войне-то было?

— Да чему же быть? Война, одно слово... Всякого было..

С этого дня установилось деревянно-глупое выражение лица, осложненное отвратительной чертою ненависти, отвратительной по своей бессмысленности, ненужности ее на этом простом лице, сделавшемся благодаря ей и злым, и тупым, и глупым. После неожиданной перемены в настроении духа и мыслей Кузьмы все поступки его стали запечатлеваться какою-то бессмыслицею и дуростью. Спросишь что-нибудь, хотя бы «который час?» — и вместо того чтобы ответить, он выпучит сначала глаза, а потом уж и скажет. Глупый, дурашный взгляд его стал останавливаться в тупом недоумении на всякой вещи,

при виде всякого лица. Иногда он принимался перебирать книги, бумаги, которых я просил не трогать, иногда начинал рыться в карманах платья, которое брал чистить.

— Вот записка выскочила...

— Как же она могла выскочить?

— Стало быть, выпала как-нибудь.

Словом, глупость стала теперь отличительным свойством всех его поступков, выражения лица, разговора и т. д. Даже на жене Кузьмы, этой воистину глупой бабе, отразилось загадочное настроение Кузьмы. До сих пор она довольно кротко и молчаливо исполняла свои нехитрые обязанности: вычистит сапоги, принесет кипятку, а теперь позовешь ее — войдет, вытаращит глаза и как будто бы старается не понимать, что говоришь.

— Кипятку!

Стоит, глядит и сомневается; а иногда так долго сомневается, что начнет икать, и, уж только застыдившись своего невежества, уйдет и сделает, что сказано, но все-таки как будто нехотя.

Вот в таком-то странном и глупом настроении духа и смысла застал я Кузьму в то время, когда он искал свечей в моем письменном столе.

Я понимал глупое положение Кузьмы, не мог сердиться на него, потому что у него есть резоны — ведь он рассказывал мне об этих резонах, передавая деревенские впечатления, и для него было простительно искать виноватого, — но все-таки положение его было глупо и отвратительно.

Много раз я замечал, что Кузьма как будто чувствует потребность очувствоваться, стряхнуть дурость, опутывавшую его голову; но дурость овладела им и против воли, может быть, вела от одной глупости к другой.

Получил я как-то письмо от моего деревенского приятеля, который перед этим был в городе и закупал разные лекарства: в деревне свирепствовал дифтерит, и приятель мой, по поручению доктора и по собственному желанию, а может быть, и из простого желания предохранить от беды свою семью, поехал в Петербург купить лекарства, пульверизаторов и т. д. Но как-то случилось, что впопыхах коробку и пульверизаторы он забыл в номере той гостиницы, где он останавливался. Я тотчас послал

по адресу — посыльного; но Кузьма, которому было передано поручение послать посыльного, пошел сам, разыскал пульверизаторы и принес их. Когда я открыл крышку, чтобы посмотреть, все ли цело, Кузьма стоял рядом со мной и пристально смотрел на эти инструменты своим бессмысленно подозрительным взглядом, смотрел упорно, внимательно, подозревая и ничего не понимая.

Ящик надо было передать на вокзал кондуктору в известный час, на известный поезд, и это тоже взялся сделать Кузьма.

— Отправил? — спросил я его по возвращении с вокзала.

— Как же, все исправил! Отправил-с.

Ровно через сутки я получил от того же приятеля другое письмо, в котором значилось, что пульверизаторы прибыли в самом ненатуральном виде: медный, паровой смят, лампочка сломана, ни одна крышка не закрывается, точно кто изломал инструменты неумелыми руками, а гуттаперчевый ручной пульверизатор прямо прорван в двух местах и что вообще посланное никуда не годится и надобно все это купить вновь.

Я обратился к Кузьме за разъяснением; но он самым решительным, даже грубым манером отрицал свое участие в порче инструмента. Но глаза его были до безобразия глупы в этот раз: они стали какие-то косые, белые, совсем подлые.

Новые пульверизаторы я отправил сам, и они дошли благополучно, а история с порчею старых, вероятно, так бы и канула в вечность, если бы Кузьма, вероятно измученный дуростью своего нравственного состояния, не задумал сорвать зло на жене и, придравшись к пустякам, не поколотил ее.

Деревенская баба ответила мужу деревенским манером. Она орала весьма долгое время на весь коридор, несмотря на негодование жильцов, и во время этого оранья приплетала все, что приходило в голову...

— А ты думаешь, не скажу барину, кто машину-то испортил? Это он, барин, машину вашу испортил, — влетая ко мне в номер, вопияла она: — перед истинным создателем. Со швейцаром и с другим коридорным. Как ящик-то вы ему дали, он и пошел к швейцару, и стали они всё рассматривать, думают: нет ли какого

вреда, и вертят, и трогают, и открывают... А трубка там была, так они, дураки, тянуть принялись в разные стороны — покуда не треснула. Слышал дурак звон, да не знает, где он. Все думает, награда будет... Псы какие! А потом видят, что толку нету — наломали да напортили, — всё опять в ящик забили кое-как, даже трещало внутре, сама слышала... Это они все со швейцаром, с мутилом-мучеником ухитряются... Небось, друг любезный, как был лакеем, так до веку и будешь на побегушках... Небось не отличитесь, мошенники этакие! Драться выдумал — ишь чего! Жила-жила у отца, у матери, обиды не видала, а теперь, как бешеная собака, с войны пришел.

И долго еще причитала баба, но я не слушал ее; я желал видеть Кузьму и решился на этот раз не спускать.

— Ты что это сделал, дубина этакая? — начал я свою речь и, каюсь, продолжал ее в том же возвышенном и энергическом тоне. Мне весьма не трудно было доказать ему, как он глупо поступил, преследуя не умеючи свои цели. Я даже тронул его, сказав:

— Ведь ты сам же говорил мне, в деревне нет ниоткуда помощи в беде: вот теперь сколько детей померло от твоей глупости, а не сделай ты своего свинства, они были бы живы.

— Я отдам деньги! — сказал он и вздохнул.

Он ясно видел, как он глуп, и вместе с тем сознавал, что поступал правильно с своей точки зрения. Вышло почему-то очень глупо, хоть все делалось на основании резонов. После этого случая Кузьма стал задумчив и зол больше прежнего. Он чувствовал, что дурость обстоятельно одолевает его, а выкарабкаться из нее не мог.

И опять захотелось мне съездить в деревню поочувствоваться и сообразить...

На этом можно и покончить с перечислением примеров таких явлений текущей жизни, которым название «тягота», и тягота безрезультатная, не имеющая никакого иного результата, кроме самой себя, то есть тоже тяготы. Такими явлениями заполнена жизнь. Множество подробностей, резонных сами по себе, слагаются в один какой-то огромный комок, не имеющий никакого резона, никакой основной, правдивой, ясной цели — гнетут

и в конце концов оставляют ту же душевную пустоту. Думаешь, находишь для каждой мелочи весьма явственные резоны; но почему эти резоны соединились в такую безобразную кучу и что из этого соединения должно выйти — постоянно остается без ответа...

И вот необходимость разобраться в своих душевных непорядках, подкрепляемая обильным — к несчастию, ужасно обильным — материалом душевного общественного расстройства, и заставила меня писать эти заметки. Как ни тесен уголок, в котором я вращаюсь, но я помню, с чего началось, помню, что̀ надобно было делать, и теперь ясно вижу, что это надобное, обязательное не сделано. Это я по себе сужу, на своей «шкуре» чувствую.



II. НАКОНЕЦ — НАШЛИ ВИНОВАТОГО!

1

Не знаю, достаточно ли ясно удалось мне высказать, в каком именно виде представляется моему тяпушкинскому пониманию современное нравственное состояние общества; но знаю, что в первом отрывке из моих воспоминаний я упустил из виду одно весьма важное для меня обстоятельство: я ни слова не сказал о моих попытках выбраться к свету из непостижимо темных явлений жизни, о попытках дознаться, неужели же в самом деле нет ничего, кроме какой-то жестокой бестолковщины? неужели не журчит где-нибудь источник живой воды и вообще неужели нет такого жизненного течения, которое было бы, хоть для известной части современного общества, вполне объяснимым, понятным, законным, даже хотя бы просто-напросто «модным»? Ведь должны же быть, думалось мне, на Руси люди, которые понимают, в чем дело, знают, что и как надо думать и делать, что считать важным и нужным, и вообще знают, куда и откуда дует ветер?

Поиски мои за такими знающими «в чем дело» людьми заняли у меня немало времени и были в сущности главною побудительною причиною того, что я, Тяпушкин, наконец решился вновь взять в руки перо и начертать: «часть первая, глава первая». Рассказать коечто об этих поисках я считаю необходимым, иначе решительно не будет никакого оправдания для моей, тяпушкинской, смелости рассуждать о высоких предметах.

Долгое время, бесплодно изнывая над разрешением вопроса о том, кому и зачем нужно упорное стремление

поддерживать путаницу и тяготу современной действительности, кому и зачем нужно, чтобы грубость в соединении с невежеством упорно стремились прекратить в обывателе возможность понимать самого себя и уважительно объяснять свое существование,— я, по примеру прежних лет и прежних путаниц (которые, однако, на современную весьма не похожи), старался разыскать нить, руководящую из мрака к свету, первым делом, конечно, в печати, в больших, убористым шрифтом и без малейших признаков пустых белых мест напечатанных, газетах. Я читал несколько газет ежедневно от доски до доски — и не только не узнал, в чем теперь *главное,* важное, но положительно потерял всякую возможность что-нибудь понимать: в одной и той же газете, только в разных углах, пишется одною и тою же рукою, что для Болгарии, как страны юной, необходимо было бы республиканское устройство, а для России, как страны опытной и пожилой, необходимо уничтожить и гласные суды, как учреждения, где невинное бормотание господ аблакатов может смущать умы соотечественников тлетворными мечтаниями. В одной и той же газете из города Мухортова пишут, что на земском собрании отклонено предложение о помощи врачебным курсам, и затем рассказан случай народного невежества, продолжающего до сих пор верить знахарям, из которых один на этих днях, приняв истерическое состояние одной бабы за порчу и нечистую силу, в видах излечения повесил ее голую над костром и стал жечь огнем, приговаривая: «Выди вон, выди вон!» и приговаривал до тех пор, покуда не уморил женщину насмерть. В том же номере, в отделе хроники, пишется: «Женские врачебные курсы переименовываются в курсы ученых акушерок, в видах того, что женщинам свойственнее заниматься лечением детских и женских болезней».
А на другой день в той же хронике читаю: «Детское отделение при Николаевском военном госпитале закрывается. . .» и т. д. Итак, в видах того, что женщинам свойственнее детские болезни, клиника детских болезней закрывается, а вместо ребенка дается солдат, на том основании, что лечение мужских болезней «несвойственно женщинам». . . Словом, никакой понятной, органически развивающейся мысли, никаких поступков, друг из друга вытекающих и объяснимых, — ничего подобного я не мог

отыскать в прессе, хлопочущей и уясняющей ежедневную злобу дня.

Такие поистине бесплодные поиски руководящей «нити» в самых прославленных органах руководящей прессы привели меня в конце концов к решению дела чисто «народным» способом: «поискать *человечка»* и «порасспросить». «Человечек» издавна играет большую роль в понимании «путей» — признанных давным-давно «неведомыми», — и русский простой человек, не читающий газет и не имеющий никаких связей с пером и бумагой, давно привык знать, что в корне всякой русской тяготы — объясняемой обыкновенно то веяниями, то «течениями», то теориями, — «сущую правду» можно дознаться только от «человечка», который все эти теории может объяснить в двух словах, и притом всегда с точки зрения совершенно неожиданной. Иной раз сотни-тысячи умных, ученых, образованных русских людей по целым годам ломают голову, желая подыскать какие-нибудь «умственные» резоны для такого-то или иного непостижимого явления жизни, прикидывают и так и этак, становятся на одну точку зрения и на другую, и всё ничего не могут ни понять, ни сообразить, ни объяснить. А «человечек», скрывающийся в глубине глубин непостижимого явления, все это может объяснить в двух-трех словах, причем всегда окажется, что ни теории, ни точки зрения, ни научные объяснения в понимании дела не играют тут совершенно никакой роли. «Человечек» этот на Руси необыкновенно разнообразен. Иной раз ни пресса, ни наука, ни люди, стоящие даже у кормила или около него, не могут ответить на ваше желание понять причины того или другого загадочного явления и сами чувствуют себя как бы в непрерывном и непроницаемом тумане, говорят полусловами, полуфразами, без начала и конца, хотя иной раз и сами принадлежат к числу лиц, чрез руки которых постепенно проходят составные части созидаемого неведомым гением неведомого и непостижимого явления. А какой-нибудь лавочник или буфетчик возьмет да и разъяснит дело в двух словах, потому что знаком с какой-то Авдотьей Миколавной, которая и есть всему делу корень.

— Она, Авдотья-то Миколавна, сначала, изволите видеть, была актеркой... Ну, а когда граф этот самый

облюбовал ее, то она и стала ему вроде как верная слуга... Ну, а сам-то хоша и вхож, только самому-то ему нельзя, а все через нее... Ну, она, конечно, даром не делает — что говорить, жадна, уж этого нельзя опровергнуть, цапкая дама, насчет ежели касаемое ассигнаций или каких документов: прямо сказать, обобрать человека для нее за первое удовольствие — н-ну только своему слову верная! уж возьмет, ограбит, а дело сделает! Я сам вот этими руками ей двенадцать тысяч, под предлогом будто фрукты, передал от одного господина для начатия дела... а через полгода и вышло, чтобы разрешить ему... А теперича вон по газетам пишут, удивляются, — каким, мол, родом дозволили? упоминают даже, что будто бы большие убытки для Расеи вышли чрез это... А ей что, Авдотье-то Миколавне? Она взяла свое, что следовало исполнила, довела до дела, ну, а там уж не ее часть... Только что замечаю я, будто она против графа стала немного не чисто поступать. Побаловывать, бытто так сказать, начала с калегвардом. Ну сам-то и грозится, говорит: «возьму новую немку!» Пожалуй, как бы и в самом деле новой немки не взял... А уж насчет новой немки не могу вам утвердить — какая такая выищется, и какие будут через это порядки — неизвестно.

«Человечек», знающий суть непостижимых дел, стоящий у самого корня, всегда дает объяснения этим делам именно в таком, совершенно неожиданном роде. Вы думали объяснить явление преобладанием какой-то «системы», направления, полагали, что в корне дела лежит какой-то план, что тут надобно объяснить дело теорией «протекционизма» или теорией «свободной торговли» и т. д., а на деле-то оказывается, что всему делу корень — Авдотья Миколавна из актерок и что вся «система» может оказаться перевернутой вверх дном, смотря по тому, какая такая будет «новая немка»...

Вот и мне пришлось в моих нравственных терзаниях искать совета и указания также у какого-нибудь «человечка», у существа, понимающего, где «корень дела», не столько сознанием, сколько чутьем, носом, обонянием. Но сомнения мои были вовсе не таковы, чтобы я мог разыскивать нужного мне «человечка» в лавчонке или в буфете; мне нельзя было искать «человечка» иначе как в «интеллигентной» среде — среде, *обязанной* соприка-

саться с теми же самыми явлениями жизни, которые заставили меня не понимать и недоумевать. Словом, мне нужен был человек понимающий, «следящий» и в то же время не утративший зоологического свойства «чуять» самую подноготную.

2

И припомнился мне один мой старый, давнишний знакомый, за которым я давным-давно приметил, во-первых, уменье «отзываться на все» и, во-вторых, делать только то, что следует. Фамилии его я называть не буду — мы очень скоро расстанемся с ним, — но скажу, что он человек образованный, служит, получает награды и повышения, и в то же самое время умеет отзываться «*на все*». Все то, что связано со службой, с пониманием «корня» и «существа», словом, все, что обусловлено убеждением в силе Авдотьи Миколавны и зависит от характера и ндрава «новой немки», все это скрыто, где-то лежит в глубине невидимого простым глазом жизненного порядка, которому следует мой приятель, а видимый порядок жизни, напротив, вовсе не напоминает Авдотью Миколавну, а весь состоит из беспрерывной отзывчивости. Чтобы лучше характеризовать моего «человечка», позволю себе сделать такое сравнение: «человечек» этот походил и по внешним и по внутренним свойствам на обыкновенный российский телячий студень. Когда студень лежит на блюде среди обеденного стола, то малейшее движение вилкой, тарелкой немедленно отражается на нем: он трепещет не только оттого, что тронули блюдо, но даже от тяжелых шагов прислуги; он впечатлителен даже к громким звукам. Кто-то из обедавших чихнул, и студень тотчас «отозвался» трепетом... А разрежьте его, ведь лед льдом, холод внутри его ледяной, точно мороженое. Так вот такая-то впечатлительность, отзывчивость и такое-то нутро — вот главные черты того человека, о котором я говорю... Сколько я его ни помню, он постоянно отзывался на все, ощущал малейшее прикосновение новых течений и веяний жизни и в то же время в глубине, в нутре своего нравственного студня сохранял уменье верить только в Авдотью Миколавну и полагать свою будущность в «характере» новой немки. Неведомо

ни для кого из беспрестанно менявшихся знакомых преуспевал он по службе, что-то делал, писал, ходил куда-то с портфелем; никто даже никогда и не спрашивал его, что такое он делает, куда ходит и что такое в портфеле, да и сам он не заводил об этом речи. А отзывался в то же время на все и, как я теперь понимаю, отзывался потому и в такой мере, в какой это ему было нужно и в какой мере отзывчивость не вредила незыблемости веры в Авдотью Миколавну. Был он и народником, и в деревню ездил и привез оттуда здоровых детей; и о конституции говорил много и ждал, говорил, что «задыхается»; однако не задохнулся; и просто «так» угрюмо и таинственно молчал, глубоко вздыхал, сидя за чаем в обществе каких-то студентов и курсисток, и уходил, не сказав ни слова, с стаканом чая в кабинет. И «жертвовал», и книжки у него были, которые он охотно предлагал гостю взять прочитать, прибавляя: «любопытно». От всего этого у него всегда оставалось что-нибудь «для себя», для того нутра, которое никому видимо не было: от народничества — дети здоровые, от книжек — коекакие экономические сведения и т. д. Все на потребу. Все это мне давно было ясно видимо, но все это не было грубо, и хотя я не питал к моему приятелю особенного почтения, но, приезжая в Петербург из провинции, не мог не зайти к нему осведомиться: какая теперь звучит струна сильнее и звончее других? Придешь — и видишь: пьют чай, а за столом мрачный студент и мрачная акушерка, и приятель мой мрачный; придешь через два года — опять чай, но за столом уж земец, слышно слово «задыхаюсь», и опять видишь, в чем дело, и т. д.

Тоже вот и в нынешний раз; думаю: «пойду я к этому человечку, погляжу, не узнаю ли, «чем пахнет»? Потому что по газетам решительно ничего понять невозможно».

Пошел и действительно скоро все узнал и понял. Начиная с внешнего вида квартиры, я уже почувствовал, что «теперь не то». В былое время мой «отзывчивый» приятель, несмотря на очень хороший оклад и ежегодные награды, «отзываясь» на главнейшие веяния времени, даже как бы считал обязанностью держать квартиру в беспорядке. На двери была приклеена сургучом карточка, а не доска; в кабинете зачастую стоял самовар, чашки с окурками, кресло перед письменным столом было

без ноги, словом, демократическое направление господствовало во всем. С детьми разговаривали так: «Лешка!» — говорил отец сыну. «Петька!» — говорил сын отцу. Жена моего приятеля также, несмотря на средства, одевалась бог знает как, хозяйством не занималась, обед был невозможный, беспорядочный — до того ли ей? Она, закутавшись в платок, любила тогда сидеть на продавленном диване с книгой, которую принес студент (он отлично приготовил ее сына в гимназию и сильно укрепил его характер, которого не было у отца, как думала жена моего приятеля), и нередко даже говорила такие речи, что если бы, мол, она встретила сильного, энергического человека, с которым бы можно было «наверное» погибнуть, то она бы давно погибла, но в глубине души была рада (молча), что сын ее воспитывается без сентиментальности и грубоват; она радовалась тому, что хорошо, если этот мальчик будет уметь «дать сдачи», а вовсе не погибать. Когда объявились в газетах «иллюзии», а за чайным столом появился земец, который не мог дышать, то и муж стал задыхаться, и жена стала тоже задыхаться, и «народ» вышел из моды: самовар был вычищен; на столе стояли очень опрятные закуски, книга в руках была другая — «Песнь торжествующей любви». Словом, «отзывчивость» моего приятеля к главным веяниям и течениям была чрезвычайна и отражалась на всем, начиная с внешнего обличья квартиры до внешнего обличья самих хозяев. В «нутре» только оставалось всегда одно и то же — весьма обыкновенный телячий состав студня.

На этот раз все, начиная с медной доски, с электрического звонка, с очень прилично одетой горничной, отворившей мне дверь, — все говорило, что настало нечто новое. Обстановка квартиры безукоризненная, со всевозможными мелочами цивилизованного уюта, это — во-первых; во-вторых, целых десять минут я должен был ожидать появления моего приятеля, чего прежде не бывало; в-третьих, появившись, он, согласно духу времени, не узнал меня; потом узнал, но без всякого радушия; прежде бы он закричал, засуетился, теперь не закричал и не засуетился. Он очень разъелся, был тщательно одет и довольно груб; в глазах не только не было еще той недавно обязательной для таких «человечков» виноватости,

напротив, глаза эти выражали твердость и пустоту, или, вернее, серьезное «наплевать!..» Ни одной демократической черты! Прежде, бывало, обращаясь к прислуге, отзывчивый приятель мой старался быть вежливым: «Пожалуйста, Авдотья, потрудись, друг любезный, там у меня, знаешь, около кровати папиросы на столике». А теперь — подавил вдавленную в стол пуговку звонка, и когда явилась франтоватая горничная, сказал только: «папирос!» и видимо показывал разницу между собой — барином — и прислугой. «Я барин, а ты холоп» — это черта новая и как-то особенно усиленно выставляющаяся. Эту «разницу» все теперешние «человечки» стремятся выставить с особенною грубостью. А что сталось с женой моего приятеля, так это я даже и высказать не могу! Не только нет никаких признаков того, что если бы нашелся энергический человек, который бы помог ей наве-р-р-ное погибнуть, так она бы погибла; но мне даже подумалось, когда я взглянул на нее при ее появлении в кабинете мужа, что она теперь сама помогла бы скорейшей погибели энергического человека, а уж сама и не подумала бы даже о такой глупости. «Европа, — одно слово!» — сам не знаю почему подумал я, едва увидел преобразованную фигуру стремившейся к погибели энергической женщины. Самопожертвованная растрепанность былых времен заменилась теперь тем же выражением «наплевать», которое светилось и в глазах ее мужа, только «наплевать», озарявшее лицо жены, было в высшей степени беспечное; это «наплевать» виднелось и в телодвижениях, заимствованных прямо от разбитной опереточной актрисы. Я только дивился, с какой настойчивостью эта дама старалась заставить меня обратить внимание на то, что теперь она заботится не о погибели, а вот об «этом месте», вокруг и около правого бедра... Я даже отодвинулся на пол-аршина, давая ей понять, что я уже заметил и что не надо же уж так, к самому носу...

Под этими совершенно неожиданными впечатлениями я как-то отупел, даже забыл, зачем собственно пришел сюда; я почувствовал присутствие кругом меня какой-то смелой глупости. Смелость быть глупым, смелость не стыдиться этой глупости, даже стремление щеголять ею — вот новая для меня черта в моем «отзывчивом» чело-

вечке. Не помню уж, что такое я говорил с ним, не помню, что говорил он со мной. Я хотел уйти — и не уходил, сам не зная почему, и не знаю, как бы шло дальше, если бы не выручило нас всех одно обстоятельство, которое развязало моему приятелю язык и тем самым вывело меня «из мрака к свету».

В передней раздался звонок, и вслед за тем, после переговоров горничной с пришедшими, в кабинет приятеля вошли три мужика; каждый из них держал в руках, а иные на голове, большие рамы, завернутые в бумагу. Оказалось, что это артельщики принесли картины,. купленные моим приятелем. Развернули одну, оказалась сцена из римской жизни; молодая патрицианка готовится вступить в воду широкого мраморного бассейна; она уже опустила туда концы пальцев левой ноги. На поверхности воды плавает роза. Разумеется, патрицианка разделась, руки подняла кверху и в одной из них держит кисею, которая неведомо зачем нужна, неведомо зачем спускается до полу.

— Что,— сказал мой реставрированный человечек: — не одобряете? Скорби нет? Что делать! Хочется, знаете, и поотдохнуть немножко. Все мужик, мужик, мужик, мужик — позвольте-с! Дайте вздохнуть.

Стали картину вешать. Артельщики стучали молотками, а приятель мой, почему-то разгорячась, сердясь, продолжал:

— Да! довольно, довольно-с этого одурения, этого кошмара! Позвольте и нам, не-мужикам (может быть, к несчастью!), позвольте и нам предъявить свои, наши, не-мужицкие требования! Да-а-с! Без скорби! Без тенденции! Что делать-с! Откройте другую картину!

И другая картина оказалась тоже из римской жизни. Патрицианка выходила из бассейна, и так как она, разумеется, удалялась от зрителя, то не было уж никакой кисеи, потому что и так никто не увидит.

— И эта тоже без скорби! Тело, просто человеческое тело-с, уж не взыщите-с! И — увы — красивое-с тело, и ни недоимок, ни неурожая — нет! Да-с, нету их — увы, увы! Я не сомневаюсь, что дядя Митяй с пряниками и там разные «на построение храма»... старички... или водовоз какой-нибудь — ни малейше не сомневаюсь, что это глубоко... Но уж позвольте мне что-нибудь поизящ-

ней... Что делать! И на улице нищий, и на картине нищий, и в книге нищий — это, воля ваша, нет! Бога ради, это пора кончить! Пора! пора!

Третья картина — тоже из римской жизни. И тоже без тенденции... Голая... и лежит, отдыхает должно быть. Голова, впрочем, убрана, и браслеты есть. А приятель мой все азартнее становится. «Мужик, мужик, мужик, мужик, мужик — нет! Бога ради! Довольно! довольно! довольно!.. Позвольте и нам, и нам, и нам!» Ничего другого я не помню из ожесточенных монологов моего человечка. Я сидел как загипнотизированный этими отрывочными, непрерывавшимися фразами негодования; не помню, как случилось, что после того, как были повешены картины, я очутился за завтраком, в обществе моего приятеля и его жены; не помню, что ел и что думал, но помню, что опять и еще с бо́льшим ожесточением приятель мой, подкрепившийся стаканом красного вина и чашкою кофе с коньяком, горланил неизвестно по какому случаю: «мужик, мужик, мужик, мужик, нет! довольно! довольно! довольно!»

Не помню, каким образом случилось, что я не только не ушел после завтрака, но досидел и до обеда, и обедал, и потом вместе с приятелем и его женой отправился в Малый театр смотреть Жюдик. И здесь я помню только одно, именно, что и в кассе, когда приятель брал билеты, он не упустил случая ввернуть: «позвольте же, наконец, что-нибудь! Что ж это такое? мужик, мужик, мужик!» И затем во время спектакля и в антрактах твердил то же самое каждую минуту, и за ужином, в кабинете какого-то ресторана, при каждой рюмке, при каждом куске я слышал все одно и то же: «Дайте же и нам... ведь и мы люди, ведь и у нас потребности! Нельзя же двадцать лет: мужик, мужик, мужик, мужик!» Беспрерывно волнуясь и горячась, приятель мой старался есть как будто даже больше, чем следует, пить больше, чем мог, желая этой чрезмерностью комментировать выражение: «дайте же и нам».

Наконец мы расстались...

Возвратившись домой, я чувствовал какую-то необыкновенную физическую усталость, необычайную внутреннюю пустоту, тяжесть собственного тела и какой-то шум или зуд всего организма, точно и во мне и вокруг меня

беспрерывно повторялась фраза моего приятеля: «мужик, мужик, мужик, мужик, довольно! довольно! довольно...» И невольно, слушая этот неумолкаемый шум однообразной фразы, я, несмотря на мое физическое утомление, не мог не подумать:

«Да! Так вот оно новое-то! Ведь не станет же приятель мой «отзываться» на явления, не стоящие внимания. Стало быть, точно новое».

Что-то тяжелое, смутное испытывал я, добравшись, наконец, до своего неприветливого меблированного нумера, и не только смутное, но и тяжеловесно-глупое что-то угнетало меня после полусуток, проведенных в обществе «отзывчивого» человека; я желал бы отделаться от этих впечатлений, хотел бы сбросить их с своих плеч, как ненужную тяжесть, и не мог! «*Недаром* мой отзывчивый приятель беснуется при слове «мужик»: даром он не будет бесноваться, стало быть, что-нибудь тут есть...» Что же тут, в этой видимой глупости, думалось мне, есть именно резонного, настоящего? А главное, почему при слове «мужик» отзывчивый человек выходит из себя? Ведь выходить из себя целые сутки, значит, надобно «в самом деле» ощущать при этом слове какую-нибудь реальную боль, укол... «Дайте отдохнуть!» — выражение, столь же часто слышанное мною, как и слово «мужик», произносилось с криком, с негодованием. — Да отдыхай, пожалуйста! — хотелось ответить ему. — Чего ж ты кричишь-то? Кто тебе мешает «просто» идти в театр, покупать голую патрицианку, не прибавляя каждую минуту воплей о том, что «надоел мужик»? Да, наконец, я не знаю даже, кто и когда мешал этому самому отзывчивому приятелю не иметь никаких отношений к мужику. «Дайте отдохнуть!» — и вот театры, балы, маскарады, собрания и т. д. Но ведь это всегда было! Ведь в последние двадцать пять лет возможность эстетических наслаждений приняла такие огромные размеры, что сделалась доступной не только Петербургу, Москве, но буквально каждому захолустью. Ни один крупный музыкальный талант, ни один талант художественный не пропал за эти годы; всякий из них не переставал расти, развиваться, выражая и в звуках и в красках все, что мог и считал нужным выразить. А теперь вот выходит, будто бы «мужик» все это давил, душил, и все им задушенное,

придавленное, только теперь, в наши дни, вырвалось из его лап и вопиет: «довольно! довольно! довольно! Дайте и нам, и нам... не все же мужик, мужик, мужик»...

Господи помилуй, что за удивительный недуг! Да, есть что-то! недаром вопиет отзывчивый человек!

3

Тяжелым сном заснул я под гнетом размышлений о явлении, столько же тяжелом, сколько и непонятном. И, проснувшись утром, тотчас почувствовал, что и ощущение гнета и тоска непонимания проснулись вместе со мною... В таком положении я сидел на постели, когда Кузьма принес мне газеты. И что же? в одной из газет, физиономия которой была до последней степени прилично вымыта и выбрита, в передовой статье глаза мои совершенно случайно упали на такую строчку: «кончилось тем, что от мужика не стало *проходу...*» то есть опять-таки мужик, и даже *проходу* (ведь это буквально!) не дает. — Боже мой! подумал я: кто этот бедняжка, которому мужик не дает проходу (к буфету?). Оказалось, что проходу он не дает тому слою русского общества, интеллигентные цели которого *не могут* быть не чем иным, как благом народа. Так вот этим-то господам, которые думают о благе народа, пожалуй, даже того же мужика, мужик не дает проходу... к буфету!

Итак, подумалось мне, во все эти двадцать пять лет мужик и ложный взгляд на мужика мешали вам что-нибудь делать? Это вы, вследствие ложных взглядов на мужика, господствовавших в литературе, начали новую эру тем, что в двадцать раз увеличили в Россию ввоз шампанских вин и опереточных актрис, просадив на них сначала выкупные свидетельства, потом леса и земли? Ложные взгляды на мужика не давали вам возможности пикнуть ни по части образования ваших детей, ни по части всевозможных хищений, всевозможных неправд и всевозможных колотушек в разные части собственного вашего тела? Мужик не давал проходу к кассам расхищавшихся банков, в миллиардных грабежах войны, в мутной воде подпольного взяточничества? Мужик не давал вам ходу, когда, даже в качестве сведущих людей,

вы ровно ничего путного не могли сказать, хотя и не можете иметь иных целей, кроме блага народа? От ложных взглядов в литературе вы, в течение двадцати лет, в семи стах губернских земских собраниях и в восьми тысячах уездных земских собраниях, могли только вотировать прибавки к жалованью господина станового пристава, а по всем прочим вопросам могли выражать какие-то необыкновенные «беспредельные» чувства? Это все мужик обездоливал вас, не давал вам *проходу* (проходу, проходу *не давал!*) к настоящему делу? .. А между тем через каждые три года и по уездным и по губернским городам вас собирали для того, чтобы напомнить о том, что вы в самом деле должны иметь какие-нибудь благие цели. Чрез каждые три года восемьсот уездных и семьдесят губернских кафедральных протопопов увещевали вас шествовать безбоязненно по предначертанному пути, напоминая вам, что вы потомки предков, что предки были древле краеугольными камнями и что вы также должны быть краеугольными... А вы всё в буфет да в буфет!

Малейшего, самого поверхностного припоминания тех всевозможных проматываний, которыми ознаменовано двадцатипятилетнее существование тех, кто «не может иметь» иных целей, кроме народного блага, — достаточно для того, чтобы видеть, до какой степени вопли этих людей против мужика не только несправедливы, но не умны и унизительны. Ни в качественном, ни в количественном отношении это решительно несправедливо. Возьмите сейчас все органы печати, имеющиеся у вас в данную минуту под рукой, выкиньте из толстых и тонких журналов, из больших и малых газет все, что касается мужика, и у вас наверное получится масса материала, не имеющего с мужиком ни малейшего соприкосновения. Положительно можно сказать, что на какой-нибудь очерк в лист, в полтора, вы имеете целую часть в пять, в десять листов романа, беллетристики, изучающей культурное общество. О мужике всё очерки, а о культурном обществе романы. Очерк из мужицкой жизни задушил и замучил всех интеллигентных деятелей, очерк, которого они даже и в руки не берут, очерк, исчезающий к тому же в широкой, подавляющей деятельности таких огромных сил, как Тургенев, Достоевский, Толстой,

Гончаров, подаривших русское общество в последние двадцать пять лет самыми крупными, самыми замечательными своими работами, это ничтожное неуклюжее создание, которого никто не читает, — он-то и не дает «проходу»! Но оставим эти сильные таланты, посмотрим, что делают не сильные и не могучие: возьмите малые и большие газеты того самого дня, в который вам придется читать эти строки, выбросьте все, что касается мужика, земельки, убийства из-за двугривенного и т. д., и затем пересчитайте все, что осталось не о мужике. Вы будете подавлены разнообразием материала: об одних театрах вы имеете гораздо больше строк, чем о всех внутренних делах всей России, а о мужике только и сказано, что в селе Чушкине крестьянка родила трех близнецов, которые находятся в добром здоровье. В миллион раз больше сведений вы найдете в каждом номере газеты о том, например, какие юбки начала носить Сарра Бернар или сколько любовников было у недавно скончавшейся актрисы N, чем о насущнейших нуждах мужицкого житья-бытья. Оставим и эту, большую прессу, возьмем маленькую. И здесь, от первой до последней строки, не только никто не хочет задушить читателя полушубком, но все стремится развеселить его, насмешить, выкинуть колено, сказать стишок, от которого бы защекотало подмышкой... Затем масса иллюстрированных изданий, где употребляются все силы, чтобы оградить вас от неприятного, тяжелого впечатления, где и из прошлого и из настоящего выбрано для читателя только красивое, занимательное, курьезное... А много ли мужика на театре? Много ли его в оперетке русской, французской, немецкой; в балете, в опере, на всех частных и казенных сценах и т. д.? А огромная европейская литература, вполне доступная нашему образованному обществу, напоминает ли она ему хотя чем-нибудь о мужике? Сосчитайте по пальцам количество произведений, касающихся мужика, сосчитайте количество экземпляров таких произведений, число лет, в которые они расходятся, и вы увидите, что такие произведения считаются буквально десятками, а какие-нибудь две тысячи экземпляров расходятся в течение пяти-шести лет, между тем как «немужицкая» оригинальная и переводная литература, а за ней литература «дня», литература «приятного чтения», потехи и ще-

котки — кишмя-кишит вокруг вас ежедневно, на каждом шагу. Подписчиков десятки тысяч, а еще больше случайных покупателей; на каждом углу улицы, на каждой захолустной станции железной дороги вам предлагают приобрести листок с потехой, увеселением и щекоткой. «Мужик», со всею своею литературою, со всеми своими очерками, заметками, с цифрами о смертности, урожае и неурожае и т. д. — это капля в море литературы, ежедневно стремящейся доставить читателю эстетическое наслаждение или просто удовольствие, потеху, развлечение и во всяком случае не имеющей даже отдаленнейшего намерения задушить своего покупателя полушубком.

А между тем решительно везде, даже и в этой увеселяющей литературе, один и тот же вопль и стон. «Мужик задушил! Мужик не дал проходу, мужик, мужик, мужик! довольно! довольно! довольно!» Несправедливость этих воплей, как видите, совершенно ясная; никаких существенных резонов для нее нет, если, конечно, вникнуть в дело по совести. Если бы в этих воплях была хоть тень правды, если бы мужик в самом деле так бессовестно заполонил всю литературу, преградил бы все входы и выходы для тех, кто считается потомками предков и кто «не может» иметь иных целей, кроме народного блага, то, разумеется, он, этот мужик, как практический человек, сумел бы извлечь из своего первенствующего положения и несомненные практические выгоды. Между тем, посмотрите, вчера или несколько дней тому назад, в той же самой газете был опубликован на последней странице, в отделе внутренних известий, такой факт: едет на извозчике с Курского вокзала какой-то пассажир-крестьянин и заводит с своим возницей разговор о том, о сем, о крестьянстве и земле. Извозчик жалуется проезжему крестьянину на бедность, говорит, что эта бедность происходит от малоземелья, что она выгнала его в извоз, оторвала от дома, что от извоза не только нет выгоды, а, напротив, только расстройство: в доме одни бабы да ребятишки. Рассказал этот извозчик проезжему крестьянину, что не он один бьется как рыба об лед вследствие малоземелья, а целые деревни, волости! Тогда пассажир-крестьянин сжалился над этим мужиком и присоветовал отправить ходоков в такое-то место, назвал губернию, уезд

и волость, указал, как пройти, где, к какому человеку обратиться. Словом, дал самые практические и определенные советы и указания. Извозчик все это запомнил, тотчас же, под влиянием советов случайного пассажира, поехал в деревню, рассказал дело односельчанам и добился того, что более сорока домохозяев решились сделать сбор денег для ходока и, когда тот убедится, что приезжий не солгал, — переехать на указанные места. Собрали денег, а скоро и в самом деле переселились; переселенцы купили сразу большое имение, ценою в восемьдесят тысяч рублей — и теперь славословят всевышнего. Так вот, если бы мужик-то возобладал повсюду, если бы он в самом деле не давал «проходу», так такие элементарные дела, как дело о земле, лежащей под боком, наверное делались бы правильно и во всяком случае считались бы делом серьезным. А то — *не случись* этого доброго проезжающего — и более сорока дворов так бы и пропали пропадом на родине, в то время, когда, как видим, и земля и средства приобрести ее есть в наличности.

Таким образом, размышления мои, возбужденные вчерашними воплями моего приятеля и сегодняшним чтением газетных воплей — по поводу того же самого «мужика» — сначала сильно меня взволновавшие своей глубокой неправдою, постепенно стали принимать все более и более спокойное направление, и я совсем уж был готов успокоиться на том окончательном решении, что все эти крики и вопли: «задушил!» и «довольно!» — просто пустяки и вздор, не стоящий ни малейшего серьезного внимания, как совершенно неожиданное обстоятельство вновь повергло меня в тягостное недоумение. Неожиданно мне припомнился голос моего приятеля и выражение, с которым он произносил свои «довольно! довольно!» Голос этот был *действительно* возбужденный, *действительно* взволнованный. *Действительное* негодование слышалось в тоне его речей. Пораженный этою неожиданностью, я перечитал как фельетон, в котором автор жалуется, что его задушил полушубок, так и передовицу, где вопиют, что от мужика нет проходу, — и опять убедился, что все это говорится искренно, что в этих неправдоподобных статьях сокрыто самое правдоподобное ощущение удушья, отсутствие веры в возможность «пройти» к какой-то цели. «Ведь, стало быть, — подумал

я, — есть же какая-нибудь серьезная, глубокая причина, вследствие которой слово «мужик» так искренно мучит людей и исторгает из них крики непритворной боли?»

Искренняя, непритворная боль и ненапускная досада, слышащаяся в воплях совершенно неосновательных и нерезонных, сбила меня с толку и спутала все мои соображения. Не помню и не могу сказать, вследствие каких логических или нелогических сцеплений мысли я к концу дня нашел почему-то необходимым опять пойти к моему знакомому «человечку», несмотря на то, что уже вчера дал себе слово ни в каком случае и никогда не посещать его. Сам не знаю почему, но мне показалось, что там, в реставрированном обиталище «человечка», я как будто бы чего-то не досмотрел.

Пошел и наткнулся на шумное сборище гостей; были святки, и у человечка происходило что-то вроде маскарадика. Пяти минут пребывания в этом веселом обществе было для меня достаточно, чтобы почувствовать на душе что-то донельзя нехорошее. Все были чрезвычайно веселы («давно мы так не веселились!» — сказала сама хозяйка), все стремились быть, если можно, еще веселей, еще развязней, шумней; все стремились как бы наверстать утраченные годы какой-то вынужденной опечаленности. Боже мой, с каким усердием и усилием сам мой знакомый человечек, его жена (когда-то вздыхавшая о невозможности пострадать) и все остальные гости, которых в старину я встречал у этого же моего приятеля, только под совершенно другими веяниями времени, — боже мой, с какими усилиями все они старались восстановить позабытое значение кадрили, бестенденциозной потехи, простого смеха! Как все это к ним не шло, как все это было неуклюже, жалко и скверно... Марья Андреевна Кукушкина, которая в былые годы, я помню, изнывала в тоске по собственной негодности, плакала о том, что у нее нет средств учиться и т. д., вдруг теперь, когда она стала в три раза старее, в три раза толще, когда уж ее собственные дочери ходят в гимназию, вдруг теперь явилась в тирольском костюме, в коротенькой юбочке, обнаруживавшей икры ног, и какие говорила слова! Нет! Описать усилия, которые делали виденные мною гости, чтобы разделаться даже с воспоминаниями о «вчерашнем» дне, — невозможно!.. Выражение лиц,

на которых отпечатывалось удовольствие дурости, не может быть передано мною достаточно рельефно.

Нечто подобное, впрочем, приходилось видеть мне и прежде. Был у меня в Москве один знакомый молодой купчик, начавший торговлю на «рациональных началах» и стремившийся быть до мелочности честным и аккуратным. Вероятно, дела его пошли не так хорошо, как бы он желал, и я стал замечать в нем сначала тоску, потом какую-то удручающую мрачность; на мои расспросы он отвечал, что его «мучат» обязательства, «мучат» предложения разделаться с этими обязательствами, предложения, хотя и выгодные в практическом отношении, но нравственно неперевариме. По временам страдания его были так велики, что физически сокрушали его: он ходил удрученный, сгорбленный, подавленный и в самые горькие минуты мечтал даже о самоубийстве. Случилось, что я должен был неожиданно покинуть его и не видался с ним по крайней мере полгода. В течение этого времени, он, должно быть в минуту крайнего душевного расстройства, решился последовать чьему-то злому совету и вдруг совершенно преобразился. В эту-то минуту я увидел его опять и не узнал: вместо того чтобы застрелиться, он отказался платить, словом, «надул», прошел все подходы и подлоги и достиг того, что в это время и фигура, и выражение лица, и манера его сделались точь-в-точь такими же, как манеры и выражение лиц у гостей, собравшихся на вечере у «человечка». Купчик, решившийся поступать «без совести», также вдруг как бы расцвел, стал кутить, распутствовать, даже, повидимому, без особенной надобности; без особенной надобности фордыбачил, скандальничал и вообще сделался необыкновенно смелым в свинстве, сам вызывал на упреки в нем и как будто радовался, что никакой упрек на него не действовал. Выражение лица его было наглое и придурковатое, точь-в-точь такое, как у многих на этом маскарадном вечере, где и все гости, казалось, решили не платить «долгов своей совести», хвастаться тем, что их не удивишь никакими упреками. До того было тяжело смотреть на реставрацию кадрили, что я не знал, куда мне деться, и в то же время не мог двинуться с места.

Насилу я ушел; на лестнице ясно слышался шум веселья, происходившего в квартире моего приятеля, стук

разучившихся танцевать ног, звуки пьянино, пение, шум, громкий, бестолковый хохот и говор, в котором, не знаю почему, мне слышалось по временам: «Довольно! Довольно! Довольно! дайте и нам! И нам дайте!»

4

На улице, занесенной белым, чистым, пушистым снегом, на морозном чистом воздухе я очувствовался, и во мне вдруг разлилась какая-то горячая жалость ко всем и ко всему, что я видел, о чем думал и чем беспокоился в последнее время. Все, что до сих пор меня возмущало, поселяло и возбуждало во мне отвращение, вдруг все это потонуло во впечатлении какой-то огромной драмы, поистине раздирающей душу. Уж не наглое лицо человека, чувствующего, что хотя и помощью подлости ему удалось снять с души тяготу обязательства, вспоминалось мне теперь, а вспомнилась маленькая, молодая, чуть-чуть не ребенок, слабосильная, плохо кормленная клячонка, которая под градом ударов кнута выбивается из сил, стараясь стащить дровни с огромным грузом камней. Под дровнями нет капли снегу, и ей приходится тащить каменный воз по камням. Она рвется, каждую секунду делает новые усилия напрячь последние остатки сил и, наконец, как бы в каком-то истерическом состоянии, начинает рваться из этих пут, от этого кнута, от этого воза, от этого хомута. Она беснуется, рвется в хомуте до удушья, до удушья рвется из хомута, дрожит, «выбалтывает» голову; ей во что бы то ни стало надобно уйти, уйти от этой невозможной для ее сил работы, уйти, только уйти!

Нет, не мужик измучил, истомил и задушил нас полушубком; не мужик не дает нам проходу, не от него мы кричим: «дайте вздохнуть!» «довольно! довольно!» И вовсе не на него мы негодуем. Напротив, мы все, от верхнего края до нижнего, очень им довольны, и любим его, и даже просто-напросто дорожим. Мы очень рады, что он носит нам дрова, топит печи, чистит сапоги, возит, пашет, поит нас молоком, кормит мясом. Я по крайней мере не знаю примера, когда бы по этому случаю

где-нибудь в литературе раздался негодующий голос. Ни один писатель еще не кричал, что мужик задушил его своей услужливостью по части всякой черной работы, измучил тем, что не дает возможности самому чистить выгребные ямы. Нет, «такому» мужику все чрезвычайно рады; от времени до времени мы даже «гордимся», что у нас есть такое славное всестороннее существо, такой надежный потомок таких же надежных предков...

Кричим мы вовсе не от мужика, а от той «язвы правды», которую мужик возбуждает в нашем сознании. И говорим и делаем еще многое, но, к нашему несчастью (или счастью!), мы *не можем* говорить и делать с легким сердцем, так как в нас уже сидит эта несносная, но неминучая, неизбежная, «язва правды», которая *заставляет* нас понимать, что̀ именно мы делаем. Нам бы хотелось жить, ошибаясь, заблуждаясь, поднимаясь и падая, как жили «прочие», но опять-таки нам невозможно делать этого, не зная, что мы ошибаемся, заблуждаемся. Нет, мы знаем, знаем это!

Разумеется, я говорю о человеке, имеющем хотя какое-нибудь соприкосновение с книгой, о человеке развитого сознания. Что ж делает с нами книга? Выяснив нам все ошибки, уклонения, падения и т. д. (которых мы сами бы хотели отведать, чувствуя, что в этом «жизнь») и тем самым лишив нас аппетита повторять то же самое, а главное, отравив нашу мысль тягостной необходимостью *непременно думать правильно и правдиво,* то есть умертвив в нас всякое своевольство, прихоть, фантазию — эта самая книга на последней странице преподносит нам целый воз, тяжело нагруженный камнями горя человеческого, и неопровержимо доказывает, что нам надобно сдвинуть с места этот непосильный, тяжелый груз. Я хотел бы погулять, потанцевать, поваляться на травке, пожить, поплутать и в тьме и в свете... «Ведь вот, у прочих народов, — думаю я, — сколько ошибок и сколько злодейства, но сколько же и жизни, сколько красоты и поэзии, всего! Оперу напишут из тогдашних ошибок и кровавых глупостей, так любо-дорого смотреть! Вот бы и нам... Что за беда ошибиться? Опера потом, с хорошей постановкой, сойдет. поэма...» Нет! «Последняя страница» не дает мне и помечтать; она насильно вытаскивает меня из привольной полутьмы прямо в океан

света, запрягает меня, с собственного моего согласия, в тяжелейший воз, нагруженный целою горою обязанностей, и заставляет сознательно надрываться в этом хомуте! Вот отчего кричат: довольно, довольно! Мы кричим от тяготы нашего сознания, которое давит нас, потому что наша мысль *не может не считать этого гнета действительною правдою*.

Русский сознательный человек в своем духовном развитии волей-неволей должен брать из опыта общечеловеческого непременно *последнее слово,* точно так, как он должен брать игольчатое, а не кремневое ружье и т. д. И все последние слова говорили ему, что он как личность, как «сам по себе», как существо своей воли не может существовать. И мы приняли эти последние слова в самом подлинном виде, в неприкрашенном, в жестоком даже; в нас поэтому всего сильнее воспиталось отсутствие сознания личного права, личного разнообразия желаний, энергии, личного своевольства. Иной украдет миллион и даже прокутить не сумеет: начнет извозчикам давать на водку по сту рублей. Личная впечатлительность в нас ослаблена и ослабляется «последним словом» мысли человеческой ежеминутно — это во-первых; а во-вторых, будучи так ослаблены по части личного эгоизма, мы, благодаря тем же последним словам, воспитываемся в сознании нашей обязанности пред всем человечеством... Вот тот хомут, из которого мы, выражаясь мужицким языком, «выбалтываем» голову и кричим: «довольно, довольно!»

Воображаю, какие мучения должен был испытывать, например, наш славный предок, Алеша Попович, когда на него *вдруг* нагрянуло христианство, восемьсот лет разрабатывавшееся за тридевять земель... Алеша Попович только было разгулялся, распьянствовался во стольном городе во Киеве, только было в нем заиграла кровь и сила богатырская, только было выучился он лить в себя турьи роги зелена вина и получил «скус» к тогдашнему дамскому полу — хвать, как снег на голову нагрянули на него и пост, и молитва, и воздержание, и покаяние и ад со всеми ужасами. Навезли схим, вериг, стали «для примера» зарываться по самую шею в ямы, проповедовать смирение, кротость, незлобие, нищету, «подставь ланиту», отдай имение... Что должен был перечувствовать и перенести нравственных мук бедный «добрый молодец». Ведь

все это новое решительно ему не по вкусу, а ничего не поделаешь! В этом новом — правда, и Алеша запрягся в нее именно потому, что тут правда, что «совесть» его запрягла в этот хомут. И сколько раз вероятно, задыхаясь в этом хомуте, он вопиял: «довольно, довольно!» Вот и теперь тоже! Это драма, из которой два выхода: жизнь и смерть; смерть может быть всякая, по выбору, а жизнь для нас только в одном — в *действительном* опыте переработки собственной личности практическим, свободным делом во имя общего, массового счастия. Вот на этом пути мы можем и заблуждаться, и падать, и подниматься, словом, жить, развивать свои силы. Вот на этом-то пути мы и оперу «с постановкой» отыщем. Надобно подсыпать снежку под полозья тяжелого воза, помочь... А чтоб обращаться к восстановлению прав французской кадрили — нет, это не резон, и ничего из этого не выйдет, будьте уверены.

Так вот только после всех этих недоумений, размышлений и всех этих опытов выбраться из тьмы к свету, приведших меня к убеждению, что перед моими глазами происходит не реставрация французской кадрили, а самая настоящая драма, я и решился написать вверху белого листа бумаги давно знакомые мне слова «часть первая, глава первая...»

III. ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ.— ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ПОДЛИННЫХ» РАЗМЕРОВ И ПОДЛИННЫХ СВОЙСТВ «РУССКОГО СЕРДЦА»

1

Для начала моего беллетристического повествования прежде всего решаюсь рассказать самый возмутительный, самый бесстыдный и подлый факт, тяготеющий на моей совести. Факт этот принадлежит к числу тех «скелетов в доме», которые, увы! кажется, найдутся на совести всякого смертного и которые хотя раз в жизни до такой степени ужаснули человека перед самим собой и заставили его испугаться самого себя, что потом всю жизнь, по временам припоминаясь, заставляют его вздрогнуть всем телом, в ужасе закрывать глаза и стонать от нестерпимо мучительного воспоминания. Такие случаи не только никогда никто не решится рассказать самому близкому человеку, но, напротив, всякий старается таить их по возможности на недосягаемой глубине от внимательного, особенно же от дружеского взора, так как всякий «боится» вспоминать о них; боится вспомнить себя в тот возмутительный момент. Ни забыть их, ни вырвать с корнем, как бы того ни хотелось, невозможно; невозможно и доверить ни дальнему, ни близкому, их надо носить на совести, зная, что они не изнашиваются никогда.

Вот такой именно неисторгаемый из совести случай был и в моей жизни, и если я решаюсь сделать над собой невероятное усилие, чтоб рассказать о нем, если я решаюсь омрачить душу всякого, кому попадутся эти строки, омрачить сейчас же, омрачить глубоко, оскорбить и возмутить бесконечно, то пусть читатель знает, что я делаю это, во-первых, с невероятными усилиями, что

я должен руку с пером удерживать другою рукою, чтобы она писала, не ушла от бумаги и чернильницы, и, во-вторых, делая это, терзаюсь и мучаюсь и хочу терзать и мучить читателя потому, что эта решимость даст мне со временем право говорить о насущнейших и величайших муках, переживаемых этим самым читателем.

Рассказываю этот возмутительный случай не для личного своего поругания и оплевания (это я делал и делаю с силою, все более возрастающею, по мере того как за моими плечами увеличивается пройденный путь жизни), а единственно только из уверенности, быть может и ошибочной, что факт этот имеет большое общественное значение, и не только не хочу смягчать его возмутительность, но даже *должен* не смягчать ее, должен показать этот факт во всей его потрясающей наготе. Для этого прежде всего надобно сказать несколько слов о самом себе.

Если вы спросите обо мне кого-нибудь из близких моих знакомых, пожелаете узнать, «каков таков Тяпушкин?», то я уверен, вы не услышите особенно дурных отзывов. Напротив, все вам скажут, что я человек хороший; найдутся даже такие, которые превознесут меня, у которых есть в руках факты моей несомненной доброты, внимательности к чужому горю. Не раз в разговорах обо мне мелькнет у того или другого расположенного ко мне человека даже и словечко о моем стремлении к «самопожертвованию», и фактов приведут достаточное количество, и на жизнь мою, действительно исполненную тяжких мучений, укажут не без основания в подтверждение того, что я не только болтаю об каком-то общем благе, но и на деле это доказываю и доказывал не раз. Конечно, я не велика птица, а человек черной, мелкой работы, но такая-то работа и трудна, а, как известно, верный в малом и во многом верен. Так вот такой-то «хороший», а для иных даже «превосходнейший» человек, Тяпушкин, который и в личной-то жизни похож на аскета — не пьет, не курит, не тратит на себя лишней копейки, довольствуется самым необходимым — вот этот-то самоотверженный человек, который не только болтает об общем благе, а и на деле и т. д. и т. д., такой-то человек однажды, много лет назад, сидя вечером около колыбели своего собственного четырехмесячного ребенка, мог думать такую черную думу: «Хорошо, если бы этот ребенок

умер!» И дума эта была до того черная, что самоотверженный человек не спускал глаз с коробки спичек, даже руку к ней протянул. Прибавлю к этому, что никаких материальных забот, нищеты, безденежья — ничего этого не было. Напротив, средств было вполне достаточно, и все-таки самоотверженный человек думал не только черную, а прямо сказать — звериную думу... «Самоотверженный» человек, который пришел бы в ужас, в действительный, неподкрашенный ужас от газетного известия, что на такой-то фабрике мрет народ от червивой солонины, которою кормит рабочих подрядчик, мог, однако, позволить овладеть собою черной, звериной мысли о смерти собственного своего ребенка, мысли злобной, бесчеловечной, адской. А вот именно со мною, прекраснейшим (как говорит мой приятель Кукушкин) человеком, с самоотверженной натурой, именно со мной-то, с Тяпушкиным, и был такой возмутительный, подлый, достойный палача случай. А с вами, господа, не бывало ли чего-нибудь подобного, по крайней мере приблизительно?

Итак, вот он, этот возмутительный случай, рассказать который я мог только с огромнейшими усилиями, даже насилием над собой и над рукой, которая должна была все это написать. Все время, пока я писал это, я чувствовал, какую массу отвращения поселил я вдруг в душе читателя, как я оцарапал эту душу, как ни за что ни про что осрамил ее; я ясно видел, как передернуло у читателя лицо, покоробило весь его организм, я чувствовал, как отвратительно защемило у него в горле.

Теперь, когда я все это рассказал, у меня точно гора свалилась с плеч; какой-то жар ударил мне в голову, лоб мой мокр, точно меня облили водой, но мне несравненно легче, и я сам могу уж облегчить читателя. Прежде всего, конечно, необходимо успокоить читателя по части ребенка; я не только не привел в исполнение мою черную мысль, но до того ужаснулся ее, что волосы у меня встали дыбом, что я испугался себя и... убежал, убежал и от этого ребенка, и от жены, и от тепла и уюта. С этого момента в жизни моей начался совершенно новый период, о котором своевременно будет рассказано в этих записках самым подробнейшим образом. Новый период жизни начался и для моей жены и для моего ребенка. Чтобы уж окончательно успокоить читателя по этой части, скажу, что

ребенок этот в настоящую минуту оканчивает курс в одном из видных учебных заведений, вполне обеспечивающих карьеру своих питомцев. Фамилия ему, разумеется, не Тяпушкин, а совсем другая. Не сегодня-завтра этот юнец займет хорошее и влиятельное место и.. что греха таить? Иной раз я даже побаиваюсь: ну-ка судьба бросит меня ему в лапы? «Тяпушкиных» он уж и теперь ненавидит, а попадись я ему, ведь, пожалуй, упечет в места не столь и столь? Словом, по этой части читатель может вполне успокоиться: не пропал и не пропадет.

Гораздо труднее будет для меня успокоить читателя собственно относительно меня самого, моего гнусного и подлого поступка. Что ж, в самом деле, я-то, Тяпушкин, за фигура такая? Человек я или зверь? А сердце мое: точно ли оно самоотверженное или, напротив, каменное, железное, бесчувственное? «Всечеловеческое» оно или «всеволчье»? Эти вопросы давно терзали и мучили меня, не только по отношению к себе лично, а и вообще относительно русского человека. Ренан, в надгробной речи Тургеневу, характеризовал его сердце как всечеловеческое, лишенное «узости эгоизма». И я об этом думал не раз, но меня всегда смущал факт. «Положим, — думал я, — я человек «всечеловеческий». ну, а как же это я своего собственного-то ребенка? .» Дело оказывалось, да и сейчас оказывается, как видите, весьма сложным; волей-неволей я должен вдаться в некоторые подробности моей, тяпушкинской, биографии.

2

Прежде всего необходимо ответить на вопрос, который, вероятно, предложит мне читатель, прочитав последние строки предыдущей главы: «на каком основании я, Тяпушкин, человек неопределенного положения, даю себе право соваться с разговорами о свойствах моего, тяпушкинского сердца в то время, когда речь идет о свойствах сердца такого человека, как Тургенев, и имею еще дерзость прицеплять это разночинное сердце даже к общерусскому сердцу, к сердцу общеславянскому, о котором говорил Ренан?» На этот вопрос я отвечу, во-первых, то, что именно только полное, как мне кажется, родство

моего, тяпушкинского сердца с сердцем всероссийским (не скажу всеславянским — не знаю), а в том числе и тургеневским, и дало мне право, даже как бы обязало разговаривать о подноготной собственного моего сердца; и, во-вторых, то, что родство это полное и неразрывное — доказывается весьма просто тем, что все мы, от последнего сторожа до Тургенева и далее, живем и воспитываемся решительно одними и теми же условиями русской жизни. Все мы видим одну и ту же природу и если не одинаково воспринимаем, то воспринимаем одинаковые впечатления и природы, и людей, и семейных, и общественных отношений; кроме того, находясь в пределах России, все мы не можем миновать (за исключением небольшой группы высшей аристократии) обязательного для всех нас государственного воспитания и образования; тенденция сельского одноклассного училища и тенденция университета — одна и та же и т. д. Стало быть, разница может быть только в возможностях ослабить влияния воспитывающих впечатлений, или, напротив, в необходимости принимать их не иначе, как в самом голом, подлинном виде; степени восприятия их могут изменяться сообразно положению человека, но с сущностью впечатлений не может не быть знакома даже муха на всем пространстве России, не только человек. Сущность для всех одинакова.

В этом отношении, перебирая в своей памяти все те влияния, которые сделали мое, тяпушкинское сердце вопросительным знаком, я нахожу, что во всех этих влияниях не было ничего такого, чего бы не испытал и не пережил всякий россиянин; только мне, Тяпушкину, пришлось пережить эти влияния и принять их на свою шкуру и душу без послабления, без снисхождения, без каких бы то ни было мягких подстилок, искусственных средств, вроде возможности воспитать и вырастить себя вдали от жесткой действительности, в тиши уютного, теплого, обеспеченного дома, под руководством выписанных из-за границы учителей. Но и такой русский человек, который мог бы вырастить себя вне необходимости знать и принимать в расчет «подлинные» условия русской жизни, невольно должен знакомиться с этими подлинными условиями жизни, раз только он выйдет из своего обеспеченного уюта на улицу; воспитав себя,

положим, на произведениях европейских мыслителей и проникнувшись уважением к собственному человеческому достоинству, привыкнув уважать в себе «человека», ценить свое «я», человек этот, однакож, никоим образом не может считать себя обеспеченным от подлиннейшего знакомства с постановкой вопроса о человеческом достоинстве у нас, на Руси, на улице, так как первый же визит в гражданскую палату, для заключения купчей крепости, первый же визит в почтамт, для отправки письма, легко и даже неминуемо натолкнет его на «нашу» постановку вопроса, докажет, что если он не даст двугривенного «Михалычу», который снимает шубу, так и человеческое достоинство будет попрано; Михалыч не укажет «настоящего человечка», и купчую не заключат, когда следует; а даст — так тотчас же и во всех отношениях окажутся изобильнейшие права. Заплатив таким образом за право проявления своего человеческого достоинства двадцать копеек серебром, человек, мнивший себя устраненным от этой грязи, должен знать, что не Дидероты и Вольтеры могут за него предстательствовать в обществе ему подобных, а лишь двадцать копеек серебром... А это большая разница!

Так вот эту-то «подлинность» условий, «подлинность» русской жизни я, Тяпушкин, принял даже без возможности внести двадцатикопеечное вознаграждение в видах снисхождения. Много бы можно было говорить об этой снисходительности ко мне жизни, но я не буду путаться в мелочах и запутывать мелочами главное, а прямо обращусь к главному, и *главное* это, по моему мнению, состоит именно в том, чтобы показать, насколько знакомые всякому русскому условия подлинной русской жизни, во всей своей совокупности, способствовали во мне, русском ребенке, потом юноше, потом взрослом человеке, развитию того самого человеческого достоинства, о котором только что говорено, и насколько сознание этого «достоинства» могло разработать, развить, культивировать мое, *лично* мне принадлежащее «эгоистическое» сердце.

Отец мой, сельский священник, овдовел очень рано и, оставшись один с ребенком на руках (этот ребенок был я), отказался от службы в сельской церкви, пере-

брался в город и здесь получил тяжелое, почти подвижническое назначение: его определили священником при острожной церкви. Благодаря этому назначению я, постоянно находившийся при отце, с десяти — одиннадцати лет совершенно ясно мог видеть, что жизнь — это неволя, это безличное подчинение чему-то неведомому и непременно грубому, жестокому, и привыкал даже не сомневаться, если не в справедливости, то по крайней мере в неотвратимой неизбежности этого вывода. Чего стоил один вид из окон нашего пустынного, бессемейного трехоконного домика, назначенного от администрации под квартиру острожного священника, вид, на который я смотрел ежедневно целые годы. . Домишко, как и острог, стояли за городом, близ кладбища, за городской заставой. Прямо перед одним из крайних окон нашего домика, окон, едва поднимавшихся от земли, — от той же земли поднималась кирпичная белая, рябая, нештукатуренная стена острога; она перерезывала наше окно снизу вверх, застила свет и уходила высоко вверх, налегая на весь наш домишко темным, никогда и никуда не скрывавшимся слоем черной и вечной тени. Даже из другого, не загражденного стеною окошка, виден был такой же рябой и такой же страшный своею плоскою невыразительностью фасад острога, страшный, как страшно рябое лицо человека, на котором оспа изгладила выражение. На этом рябом и страшном лице острога, большом и широком, глядели всего только три черных, как уголь, и маленьких оконца с железными решетками, а под ними черные, ржавые, скрипучие и лязгающие цепями острожные ворота, солдаты на часах, гауптвахта, на которой по временам трещит барабан, заставляя всех вздрагивать и пугаться, или кричит не своим голосом офицер. В то время иначе и не разговаривали с подчиненными, как не своим голосом. В дополнение к этому «виду» необходимо прибавить, что из тех же двух не загороженных стеною острога окошек виднелось прямо кладбище, вал, а за валом масса крестов, каменных памятников с плачущими фигурами, а направо от кладбища длинный желтый забор, которым был огорожен дремучий, темный сад сумасшедшего дома. С кладбища доносились плач и стоны; в «сумасшедшем саду», как выражались наши соседи, бродили какие-то тени людей;

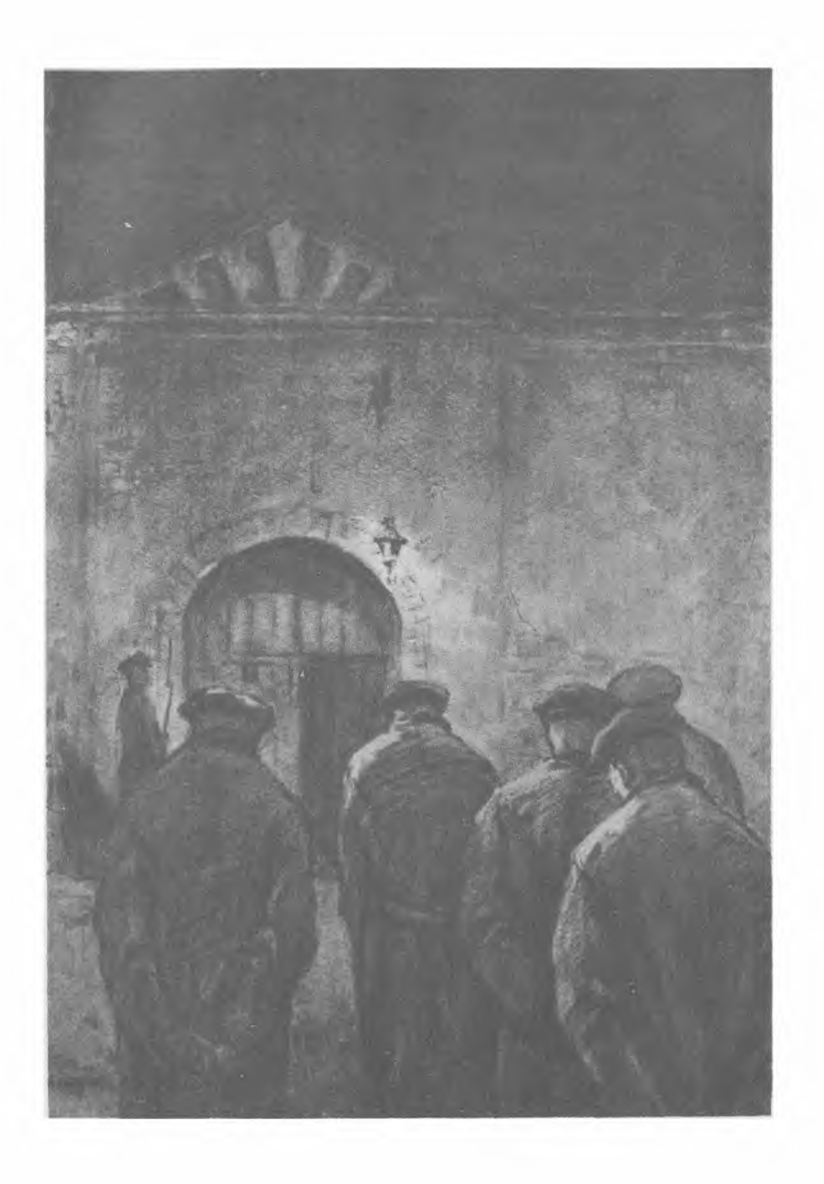
изредка их колпаки, надвинутые на бессмысленные лица, высовывались из-за желтого забора; нередко в глубине этого сада слышались бешеные крики, вопль и шум свалки, после которой между соседями шел такой разговор: «Кто-то, вишь, хотел убежать, вырвался. ударил ножом... погнались, догнали, повалили, избили, связали, поволокли». Очень часто к этому рассказу прибавлялись и другие сведения, которые, однако, всегда были неприятны: «поволокли и — четыре ребра переломили... Поволокли — и голову проломили.. скончался!» А в остроге? И в остроге часто бывало, что кто-то кого-то «пхнул ножом», и отца моего звали по этому случаю со святыми дарами. Но большею частью было мертвенно тихо: входили туда и выходили оттуда целые толпы арестантов, скованных по рукам и ногам, входили и уходили, молча гремя цепями, молча работали, молча молились в церкви, так что фигура безмолвного скованного человека, не будучи для меня понятной, стала, однако, обыкновенной, и вместе с этим обыкновенными, нормальными сделались и тоска, и безнадежность, и бессилие борьбы, которые неразлучно сопутствовали этой серой, с желтым лицом, в железо закованной фигуре. Иногда только тоска, уже обязательная для моего сердца, переходила в страх, холодный и ужасающий.

Спишь, бывало, и слышишь — стучит кто-то в окно: откроешь глаза, темная осенняя ночь, темная, как тюрьма.

— Кто там? — немедленно спрашивает отец, вскакивая с своего дивана, который стоял в той же комнате, где спал и я.

— Ваше благословение, к «скрозь строю» пора! Приготовляются! — говорит с улицы сторож.

— Ах-ах-ах! да-да-да! Сейчас, сейчас! — отвечает отец, встревоженный, взволнованный, растерзанный, и начинает метаться по комнате, охая, восклицая: «Боже мой, боже мой!», читая молитвы, трясясь и трепещущими руками завертывая в епитрахиль святые дары, крест... «Боже мой! Боже мой!» Я не помню мгновений, когда бы отец мой не был в постоянной нервной тревоге: его ело собственное одиночество, этот острог, цепи, молитва, моя судьба, его судьба, неуют, бесхозяйственность дома. Его длинная сухая фигура в подряснике, с длинными женскими разметанными волосами, с лицом, как бы иска-



женным беспрерывной физической болью, до сих пор, припоминаясь, терзает меня; он постоянно вздыхал, тревожно входил и уходил, забывал то, что нужно, искал чего-то, что было уж у него в руках, целовал меня порывисто, плакал, ни слова не сказав, и в промежутках пил водку, не закусывая и не пьянея. Никогда почти я не засыпал покойно; вздохи отца, восклицания его «боже мой! боже мой!» постоянно мучили меня, и даже заснув, я чувствовал в сердце непрерывную физическую боль. Отец мой почти не спал; всю ночь он ворочался, постоянно вставая, постоянно пил, становился на колени, ложился опять. Всякое появление сторожа из острога всегда заставало его на ногах.

— Поспешайте, ваше благословение!..— прибавляет сторож с улицы.

— Сейчас, сейчас. сию минуту! Боже мой, боже мой!

И так же, как всегда, спеша, путаясь, роняя то, что брал в руки, надевая то, что не нужно, болезненно истерически тревожась и замирая сердцем, кое-как извлекает он из кухни старуху-кухарку, которая остается со мной и ложится на полу около моей кровати, а отец уходит... Я слышу, как он шлепает под окнами по грязи, как он вздыхает, слышу его: «боже мой! боже мой!» и лежу в ледяном ужасе.. Тьма и тишина. Кухарка спит, но я не могу сомкнуть глаз — они широко раскрыты, а чуткость слуха достигла невероятных размеров. После нескольких минут мертвой тишины, по удалении отца, я слышу какой-то окрик — это опять «невероятным» голосом что-то командует офицер, и голос этот теперь спросонка и холода звучит особенно ужасно. Еще звук: это звякнули ружья. еще — заскрипели ржавые ворота. «Выводят!» — с ужасом думаю я.. Если потребовали отца, стало быть, будет что-то ужасное.. Еще звуки и шум, много голосов, много команды. Но вот на мгновение все затихло, и тотчас же в полу нашего домишки я замечаю что-то необыкновенное: какая-то неведомая сила, дух, начинает, как мне кажется, снизу, из-под полу стучать кулаком в половицы; стучит осторожно, мерно, но твердо... Я совсем замираю, задыхаюсь, но скоро начинаю соображать, в чем дело: нет, это не дух — это тронулся в путь отряд солдат, их человек пятьсот, они идут в ногу, раз-два, раз-два,

и вот эти-то шаги отдаются у нас в домишке, под полом. Удары становятся тише.. солдаты уходят, наконец их совсем не слыхать. Настает действительно мертвая, невозмутимая тишина, но слух не мирится с нею, он наполняет ее ужасными звуками: они доносятся издалека, из-за кладбища... я слышу глухой, точно в глубине земли зарытый звук барабана, звук не прерывающийся... а рядом с ним тянется протяжный, непрерывный жалобный крик крошечного ребенка... Нет! это не ребенок кричит... это *тот*... Это огромный какой-то кричит детским голосом... Боже мой, где мой отец? А барабан стучит под землей долго-долго.

— Боже мой! — наконец слышу я шопот под окном и вижу вбегающего растерзанного, полупомешанного, как лист дрожащего, бледного, с мокрым лицом и мокрыми волосами, отца...

Я рад, что увидал отца, рад, что я жив. Я рад, что сначала появление отца и потом появление первых лучей дня сняло с моего сердца это ужасное впечатление. Рад, что на сердце пусто, что там ничего нет, слава богу! После «таких» минут все тревоги, все муки отца, которые начинаются в том же порядке и продолжаются как всегда, — это уже ничто, это я уже могу переносить; я даже могу уже заснуть, правда, «как избитый».

3

Так вот в таких-то впечатлениях, исторгающих самую мысль о каких-то достоинствах и «правах» личности, пришлось провести мне самые решающие годы, от десяти до шестнадцатилетнего возраста. Конечно, при иных условиях те же самые впечатления могли бы разбить во мне начало жгучего негодования, но дело в том, что еще ранее этих, совершенно ясных и до сей минуты вполне отчетливо ощущаемых воспоминаний, в жизни моей были такие тяжкие явления, которые хоть я и помню весьма смутно, как бы в тумане, но общее впечатление которых было таково, что умерщвляло самый зародыш протеста во имя каких бы то ни было человеческих прав.

К таким подготовительным к атрофии сердца впечатлениям детства относятся мои смутные воспоминания

о времени, когда отец мой был сельским священником и жил с моею матерью в деревне. Смутно я помню это время, но помню, что оно было нехорошо и тяжко ложилось на душу. Тягостный семейный раздор, глухой, свинцовый, неизбывный, проникал холодной безжизненностью каждую каплю воздуха маленьких, неуютных и неопрятных комнат нашего деревенского жилья. Огромная масса тогдашнего священства вступала в брак непременно вопреки человеческому достоинству, непременно отказываясь от этого достоинства, ставя ни во что быть искренним и свободным в таких отношениях, где необходимо быть свободным. Одно это уже прекращало деятельность сердца у сотен тысяч народа на Руси, переходило из поколений в поколения и благодаря этому выработало поразительные типы буквально бессердечных людей, людей с атрофированным сердцем, людей, о которых в настоящих записках будет сказано особо. Мои отец и мать были жертвами этого принципа. Ни он, ни она не подходили друг к другу, не понимали друг друга, не нравились друг другу и жили в беспрерывной, мрачной тоске иногда нескрываемого отвращения, а иногда горького сознания общего безвыходного горя и несчастия. Да и самое «звание» было не по душе моему отцу, об артистических способностях которого я скажу ниже. Он был натура нервная, впечатлительная, расположенная к изящному, а тут старая крепостная деревня с забитыми крестьянами, предъявлявшими к отцу иногда чисто языческие требования, и помещик-самодур, «воля» которого царила и над отцом и над крестьянами, и «воля» эта была глупая, грубая, пустомысленно жестокая, несуразная.. Мать моя, которую я любил — только не человеческой, а «человечьей» любовью, — мучилась и томилась своим «несчастием», иногда даже прямо бесновалась, громко выкрикивая какие-то обиды, перечисляя женихов, которые за нее сватались, проклиная себя, опять-таки громко и даже «во все горло», за то, что она была дура, отказавши тому, другому и польстившись на теперешнего мужа, от которого не видит ни внимания, ни заботы, ни любви. Маленькую толстую фигурку ее, с нехорошим выражением глаз, я помню главным образом именно в момент безжалостного гнева ее на моего отца, помню почему-то с огромным

негодованием перебрасывающую подушки двухспальной кровати. Она стелет постель и при этом почему-то и рвет и мечет... Мне помнится, что гневные, бешеные удары руки моей матери об эти подушки, бешеные встряхивания простыни и одеяла, что они как ножом режут отца, что они не удары о подушки, а удары о его лицо; и отца — непрерывно взволнованного, непрерывно виноватого и непрерывно обязанного падать нравственно все ниже и ниже — я тоже не раз видал в бешеном состоянии, потом в рабском, холопском. Я помню это время, но помню как тяжкий, беспросветный сон. Что тут любить? Что тут было человеческого, «по человечеству» справедливого, красивого, приятного?

А деревня?

Прямо из окон нашего дома, за высокими деревьями сада, виднелся кусок красной, неуклюжей, с четырьмя трубами, крыши барского дома. Дом стоял на косогоре, и нам видна была крыша. А в доме жил «барин», а от барина исходила «воля» жить в деревне так или сяк; про этого-то барина в деревне осталось предание, что, желая прекратить его глупую, даже бесхозяйственную жестокость, крестьяне сожгли не барина, а сами себя — всю свою деревню. «Сожги барина — нас же заставит строить: а как мы себя изведем, так с чего он возьмет?» Однако барин взял и истощил мужиков до последней нитки. Деревня была неуютная, неприветливая, бедная. Даже редко где были загородки вокруг изб. Одурелые мужики кое-как влачили, в грязи и неряшестве, свое существование. Тяжесть приказов мухортого, глупого и беспотомственного барина убила в деревне всякую личную энергию — даже на себя работать, и то опускались руки у мужиков. Голод, неряшество, лень и грызня — вот что царило над деревней и в натуре деревенских обывателей. Даже соседние мужики, жившие мало-мальски исправней, смотрели на наших мужиков как на сплошных дураков и ротозеев, к тому же еще нечистых на руку. Глупость, исходившая из дома под красной крышей и оглуплявшая всю деревню, была поистине беспримерная; так, например, барин, желая узнать, кто из дворовых украл у него мешок овса, принимался гадать. Для этого он открывал псалтырь, где придется, с закрытыми глазами тыкал, куда попало, и, прочитав

строчку, которую указывал палец, начинал думать, что эта строчка означает, на кого указывает? На кучера? На лакея или на бабу-солдатку Аксинью? Отец мой получал множество приказаний разъяснять текст и представлять соображения, на кого именно из прислуги следует, согласно смыслу текста, обрушить наказание? И отцу приходилось служить этой подлости, конечно опять-таки беснуясь. Даже и тогда, когда в доме нашем и во всей деревне — не исключая и дома с красной крышей — царила мертвая тишина, и тогда казалось, что в глубине этой тишины скрыто какое-то тайное, придавленное беснование.

Нет! не о человеческом достоинстве говорят такие воспоминания! Тем менее говорят они о протесте. Какое! Сколько я ни припоминаю всех этих мучающихся, беснующихся, страждущих и обремененных, над всеми ними тяготело сознание собственной вины, уничтожавшей малейшее право протеста. Все в глубине души сознавали себя бессовестными, безжалостными, тупоумными, бессердечными. Это сознание проявлялось в самые лучшие минуты. Конечно, все делалось поневоле, но все-таки делалось, и делалось притом нечто скверное, так что и в искреннюю минуту никто даже и не смел помыслить о своей невинности и правоте. «Грех» и неизбежное за него наказание висели надо всеми, когда мало-мальски прояснялось сознание и просыпалась совесть. И над отцом, и над матерью, и над кучером, который по приказанию барина сечет своих близких, и над близкими, которые дают волю кучеру, и над матерями, которые не вступаются за детей, — над всеми тяготит сознание измены против ближнего, сознание попрания своей совести из какого-то страха, узости и мерзости душевной, бессовестности. Вот почему, сколько я помню, в такие искренние минуты ни мужики, ни бабы, ни отец, ни мать не задумывались о том, как бы выйти из этого положения, развязаться с ним, очистить свою совесть и развязать других. Напротив, в искренние-то минуты и начинались задушевные разговоры о том, «что́ кому будет за все это?» Не знаю, как кому, но мне никогда не приходилось слышать, чтоб представления народа об рае, о награде на небесах были так же подробно и ясно выработаны, как представления об аде, о том,

что́ кому и за что будет. В раю, сколько я знаю, никто никогда не указал мне никаких подробностей обстановки, никакого удовлетворения настрадавшейся на земле душе, кроме каких-то золотых яблочек да архангельского пения. Тогда как ад — это другое дело! Ад разработан народной фантазией до мельчайших подробностей; здесь все исследовано так подробно, точно исследователи имели в руках программу на этот счет от какого-нибудь статистического комитета.

Я не ошибусь, если скажу, что в ряду моих тяжких воспоминаний — воспоминание о тяготеющем над всем родом людским тяжком грехе, грехе, для меня хотя совершенно непонятном, непостижимом, но не подлежащем сомнению, и о жестоком наказании, которое должно постигнуть всех нас за этот тяжкий, неизбывный грех, воспоминание об этих подробностях адских мучений, крюков, воткнутых в ребра, огня, полымя и смрада, несмотря на свою смутность, отдаленность, имело едва ли не самое сильное и важное значение для дальнейшей участи моего сердца. Можно положительно сказать, что я едва только вышел из утробы матери, как узнал, что в конце концов мне предстоит крюк в ребро и огонь и что, кроме какой-то неизбывной вины и тяжкого греха, нет ничего важного и значительного.

Вот главнейшие черты, лежащие в основании истории моего сердца. Было, впрочем, среди этих смутных воспоминаний одно, которое совершенно не подходило к тягостной сущности того, о чем я рассказываю, и интерес к которому развился уже во мне чрез многие годы, во время моих скитаний в народной среде. Это «неподходящее» воспоминание касается смутного знакомства с таким народным типом, который ничего общего, как уж я сказал, с рассказанным не имеет. Тип этот, олимпийски-спокойный, сказочный парень-дурачок мелькает мне не только не забитым, не дурашным, не трусливым, но, напротив, спокойно охаивающим всех и вся: и небо, и землю, и барина, и барыню, и попа, и попадью, словом, всякие человеческие отношения, связи, установившиеся мнения — все! Все нипочем для этого типа; он умеет все это так ужасно осрамить, так умеет разорвать на части одним юмористическим словом самое, повидимому, непреложно важное, серьезное явление, понятие, верование,

обычай... Я смутно помню, как этот тип перевертывал во мне все вверх дном двумя-тремя словами, скабрезной сказкой разгоняя мрачную действительность, расшвыривая ее, как прах по ветру, и возводя меня куда-то на высоту издевательства. Я смутно об этом помню, но помню, что, дохнув, благодаря этому Иванушке-дурачку, какого-то свежего, «играющего» воздуха, я опять скоро подчинялся подавляющему влиянию «бесчеловеческой» действительности.

Эта действительность, о которой я едва сказал миллионную долю подробностей, прямо и неотразимо вела меня к полной атрофии сердца, и я несомненно бы в конце концов стал в ряды тех бесчисленных на Руси бессердечных исполнителей чужого приказания, которые и сейчас и каждую минуту дают знать о своем огромном изобилии на Руси. Но от атрофии сердца меня спасло не знакомство с охаивающим всех и вся типом, а нечто совершенно случайное, нечто, пожалуй, совершенно неожиданное... Это не было ни доброе слово, ни человеческое участие, ни ласка, ни любовное человеческое внимание к моей человеческой забитости и угнетенности. Нет! Я ничего этого не видал... Это было... Нет, это были.

Это были просто-напросто гусли!

Я уж сказал, что у отца были артистические наклонности, и он применял их к музыке. Он учился и с успехом играл на гуслях, и я с раннего детства, начиная с той минуты, когда испугался «греха» и железного крюка, зацепленного за «ребро», продолжая угнетающим сердце впечатлением семейного ада и тупым ужасом впечатлений острога, «сквозь строя» и т. д., постоянно слышал и рад был слышать эти унылые, стройные и нервные звуки, исторгаемые моим отцом из металлических струн старых-престарых гуслей, помещавшихся то в углу неряшливой комнаты в деревне, то перед тем самым окном, которое загораживала в нашем городском домике острожная стена. Жалобные звуки эти знакомили меня с чувством жалости; ничто, буквально ничто другое не знакомило с ним; напротив, все, что я видел, могло возбуждать страх, тоску, горечь, отраву, испуг, доходивший до полного замирания сердца, но такого нежного, деликатного чувства, как жалость, не возбуждало.

Это совершенно случайно сделали гусли, сделали, так сказать, механически. От этих звуков мне становилось просто жалко, кого? Кто несчастней? Мать? Отец? Барин? Мужик? Тот, кто бил? Или тот, кого колотят? Все несчастны, бешены, злы, подлы, измучены, все виноваты, все придавлены. И вот механически возбужденное чувство жалости стало обращаться не к кому-нибудь и не к чему-нибудь из того, что и кого я перед собой видел, а к чему-то отдаленному, к какому-то огромному, надо всеми и всем висящему горю.

Отдельно обо всех я бы мог «*мучиться*» бесплодно, а *жалеть* я начал *всех*. Отвыкнув совершенно думать и знать, что̀ бы я мог пожелать «для себя», что̀ *для меня* лучше, что̀ *для меня* хуже, что̀ лучше и хуже для отца, матери, я мог только желать одного: избавиться, освободиться от этой бесплодной муки. Жалостливое чувство развило внимание вообще к горю, и, не зная, что̀ *лучше* для себя, я начинал думать, что̀ *для всех* (никаких лиц я при этом не представлял) должно быть и лучше, и легче!

4

Конечно, не всякому из российских граждан выпадает на долю такое неприкрашенное и ничем не смягченное знакомство с условиями жизни, уясняющими подлинное положение дела «о правах человека» на Руси. Но как бы эти подлинные условия ни были смягчены богатством, положением, связями, образованием — сущность их непременно знакома каждому. По крайней мере ни в жизни, ни в литературе я не знаю типа, в нравственном складе которого, хотя бы даже в слабой степени, была приметна какая-нибудь черта, говорящая о том, что тип не чужд уверенности в неизбежности для «личности» человеческой каких-то прав. Я никогда не слыхал, чтобы откуда-нибудь раздался простой человеческий голос: «мне нужно», «мне неудобно» и т. д. Напротив, постоянно только слышишь: «возьмите нас», «прикажите нам»! Вообще же в массе, в необразованной русской толпе слово «право» иногда означает просто чорт знает что.

Вообще, если не всякому приходилось приобретать первые сведения насчет отсутствия «правов» в той же

мере жестоко, как выпало на мою долю, то всякий должен был неизбежно познакомиться с ними в школе.

Школа была для всех одна.

Подробно я не буду вспоминать этой душной, старой школы, этих мертвых годов, проведенных в ее стенах; но тон, царствовавший в ее нравах и звучавший в ее ненавистных «кратких» учебниках, будет достаточно ясен из следующего незначительного эпизода.

Инспектор в нашей гимназии был человек совершенно типический по тогдашнему времени — человек мертвого сердца и мертвого ума. Тишина, молчание, фронт (тогда военное время внесло и в гражданские учебные заведения военные приемы), стрижка под гребенку, аккуратно всех поголовно, всех в известный день и час, вот материал, на котором он практиковал свое мертвое сердце. Он даже не мог переносить разнообразия в фамилиях учеников. Что это такое в самом деле — один Кузнецов, а другой Прокопенко, третий Бруевич, а четвертый Кульчицкий? Одни окончания на «ко», «цкий», «ский», «ов», «вич» — и то уж казалось ему каким-то безобразием, своевольством, беспорядком и полным отсутствием стройности и гармонии; он хотел, чтобы даже и в этом отношении все были «под гребенку» — и вследствие этого выдумал вот что, — целый класс у него носил одну какую-нибудь фамилию. Первый класс весь сплошь был «Иванов» — а для отличия одного из Ивановых от другого были номера: Иванов 1-й, Иванов 13-й и т. д. Второй — Кузнецов и т. д. И все фамилии были на *ов* непременно.

Так вот этот-то прямолинейник выдумал номера к платьям учеников, точь-в-точь такие, как теперь заведены во всех публичных местах, только те, исторические, были большие, величиной с тогдашний пятак. Сняв в швейцарской платье, надо было взять номер. Инспектор проверял по списку дежурных количество не явившихся в класс, словом, делал чорт знает какой вздор, отнимавший много времени. И все записывал: записывал и того, кто, сняв платье, не взял номера, и того, кто, надев платье, не возвратил его на надлежащее место. Все эти проступки присоединялись к проступкам относительно не точной стрижки, вихров, неимения гребенки и прочей глупости, и в конце концов в субботу для каждого Иванова и Кузнецова получался итог каких-то

преступлений, результатом которого были «без обеда», «на колени», «в карцер», «без отпуска» и, разумеется, розги в самых разнообразных пропорциях. Можете представить, что сделал со мной этот варвар, узнав, что я просто-напросто потерял жестянку, если он драл за то, что забудешь ее возвратить или взять! Не говоря уж, что я, «хватившись» этой жестянки, остолбенел и обезумел от страха, я до такой степени был потрясен и нравственно раздавлен тем, что́ этот варвар проделал надо мною, что до сей минуты не могу без трепета вспомнить об этом «нумерке» и невольно чувствую в душе какое-то благорастворение, когда, раздеваясь, например, в швейцарской у Палкина, слышу великодушные слова швейцара:

— Пожалуйте, господин, — и без нумерка!

И без нумерка! Боже, какое блаженство! И каких еще вам надо «иллюзий», безумные, когда «и без нумерка можно, господин»! А как я за этот нумерок был попран и нравственно раздавлен! Но именно благодаря этой раздавленности я мог только терзаться, чувствовать свое ничтожество и не иметь ни малейшей капли смелости, чтобы допустить даже тень мысли о протесте. Мало этого: едва оправившись после тиранства и придя как раз на урок этого тирана (он же был и учителем русской истории), я даже совершенно забыл о том, что передо мной стоит мой тиран, забыл совершенно, под впечатлением его топорнейшей лекции, в которой через каждые три фразы четвертая была непременно такая: «Мы расширили свои пределы „от“ „до“...» Затем следовали новые три фразы о мудром приказании и за ним опять та же четвертая о том, что после этого приказания только что расширенные пределы опять расширились еще дальше «от» «до» и всё без малейших трудностей, даже как бы без людей, а с помощью какого-то «мы взяли», расширили. И вот это-то «мы» и неизменно сопровождавший его результат расширения наших пределов могли настолько овладеть моим вниманием, что я почти легко забывал личное, позорнейшее унижение. Мне уж было приятно за этих «мы», за их «успех». Хотя, повторяю, ни лиц человеческих, ни человеческих сердец и мыслей — ничего этого я в представлении о «мы» не различал, да и не мог бы этого сделать, потому что по частям «мы» состоят из таких же

фигурок, как и я, Иванов 47 и Иванов 77. Меня вон избили недавно за нумерок, осрамили, раздавили даже возможность мысли о негодовании, а я рад, что измученное «я» может отдохнуть в представлении блистательных успехов какого-то бесформенного «мы». Хорошо, очень я рад, что через каждые пять минут расширяются границы, а лучше ли мне от этого, легче ли будет, зачем мне это — эти вопросы уж не могли возникать в голове. Напротив, хотелось исчезнуть в этом «мы», пойти бы туда, потому что мне-то ничего не нужно; потому что я могу думать только о моем ничтожестве и ничего, кроме муки, не ощущать. А там нет ни меня, ни моих мук, ни моей личности, а всё под гребенку, всё одно «мы». в нем какая-то огромная сила (которой я в отдельности капли не чувствую в себе). Эта сила и меня возьмет, и меня совершенно освободит от самого себя, и расширит пределы еще дальше.

Плачевные результаты всей этой системы, проникавшей и обиход жизни и положенной в основание школы, всем нам пришлось очень скоро видеть собственными нашими глазами и ощущать их в самих себе. Когда после Крымской войны повеяло весной, запахло «разрытой землей», предвещавшей конец чему-то отживающему, бледному, как смерть, и разлагающемуся, как труп, для молодежи настали действительно совершенно иные времена. Чего никогда не бывало, мы увидели людей, которые стали относиться к нам с величайшей вежливостью, подавали руку, приглашали к себе на квартиру, не для того, чтобы получить взятку, а чтобы «потолковать», рассеять наши недоразумения, если они есть, спросить о том, что интересует и чего не понимаешь. Наилучшие типы этого нового поколения учителей дошли до такой деликатности, что стали выставлять баллы на веру, не спрашивая. «Знаете вы, Иванов?» — «Знаю!» — «Сколько ж бы вы хотели, чтобы я вам поставил?» — «Пять-с!» — «Вы уверены, что это не много?» — «Нет-с!» — «Извольте!» И, веря на слово, ставили столько, сколько желал Иванов. Они стали нам читать, как студентам, отличнейшие, интереснейшие лекции, не спрашивая, не экзаменуя (я говорю

об учителях старших классов), не ставя ни единиц, ни минусов, ни плюсов. И, несмотря на то, что эта манера обращаться по-человечески нам чрезвычайно была приятна, и на то, что лекции нам до чрезвычайности нравились и что учителей мы любили, чувствовали к ним симпатию, отсутствие в нас «личности», чувства личной ответственности, обязанности и чести разъедало нас, как свежий воздух трупы. Мы как-то расслабли от этой гуманности, размякли, даже развратились. Лгать в глаза «любимому» учителю, не учить никаких уроков, пьянствовать, вместо того чтоб «самостоятельно» работать, вот, примерно, в каких некрасивых формах отразилось на нас человеческое отношение к нам новых учителей. Мы знали, что это новое хорошо, чувствовали его свежесть в собственной груди, голосе, но у иных из нас совсем не было органа, чтобы воспринять это хорошее, не было сердца, и это новое бродило в нас, в крови, в сознании бурлило, пробуждало грубые, не развившиеся (где и на чем им было развиться?) потребности сердца. Мы как будто опьяневали от этого нового и свежего и расслаблялись по всем суставам. В первый же год на окончательном экзамене никто не мог ответить ни единого слова ни на один вопрос; перезабыли всё, даже и то, что знали прежде. Между тем у огромного большинства были «круглые пятерки», поставленные учителями по доверию к честному слову. Новые учителя были потрясены нашей бессовестностью. Мало этого, один из самых лучших когда-то учеников не только теперь оказался ровно все перезабывшим, но позволил себе явиться на экзамен в пьяном виде, стоял как столб, пока ему предлагали десятки вопросов, желая его ободрить и добиться хоть какого-нибудь ответа, а он только моргал, мычал и вдруг стал икать. Мало того, осрамившись на экзамене, мы — неизвестно кто из нашего курса — чтобы выбраться из скверного положения, вдруг просто-напросто обокрали канцелярию, где хранились списки и отметки, и таким образом до того потрясли начальство, что оно должно было всем нам дать аттестаты на право поступления без экзамена в университет, чтобы не осрамиться разглашением о таком полном падении нравственности целого курса. Почти все мы потом очувствовались и оправились от этого бессовестного момента, все мы помним этих бла-

городнейших людей, которых мы тогда так ужасно осрамили и разочаровали, все мы знаем, что ими только мы и возрождались к жизни. Да нет, даже и тогда, в самый момент нашего развращения мы чувствовали и знали, что это скверно, омерзительно, но не могли остановить себя. Один из новых наших наставников вздумал, например, для облагороживания наших нравов устроить в местном женском пансионе по субботам литературно-музыкальные и танцевальные вечера. Он водил туда старших воспитанников гимназии из гимназического пансиона. И что же? сердца-то наши были так не разработаны, мертвы, дики, зверообразны, что хорошее начало имело самый нехороший конец. Конечно, не в женском пансионе он мог выразиться, но выразился скверно: в одно майское утро в директорском саду нашли в бесчувственном состоянии директорскую горничную, которая, очнувшись, рассказала потрясающую историю про некоторых из воспитанников пансиона. Скверно, скверно, а иначе едва ли могло быть; жизнь и школа обработывали нас исключительно для беспрекословного повиновения и служения чему-то, что говорит «не нам, не нам». — Иванов! Поди разорви вот то! И Иванов пошел бы и, не спрашивая, не разбирая, что такое это «то», — разорвал бы.

Я, Тяпушкин, конечно, не мог быть непричастным этому моменту разложения, и я испугался самого себя; я увидел, что под гнетом всего мною пережитого, воспринятого со стороны, мое собственное сердце оставалось нетронутым, то есть совершенно диким, с задатками иногда диких желаний. Но меня спасало то, что в моем маленьком зверушечьем сердце, помимо ощущения тяжести пережитого, было уже зерно жалости, жалостливой тоски не о моем горе и беде, а о каком-то чужом горе и беде. Была жалость к каким-то «им», «тем»... А школа прибавила к этому знакомство с ощущением и радости за «их» успех, желание быть среди этой чуждой мне и моему ничтожеству силы. И вот, благодаря этим задаткам некоторого интереса и внимания к чему-то горькому, чужому, я, испугавшись себя, своего недостоинства, прямо бросился, благодаря новым наставникам, на книгу, быстро дошел до последней страницы, а эта страница, как я уж говорил раньше, говорит как раз то, к чему меня привели неотразимо, волей-неволей, и школа, и жизнь:

убавляй себя для общего блага, для общей справедливости, для умаления общего зла. Чего ж мне было убавлять себя, когда меня совсем не было? И общее горе, общую несправедливость над этим огромным «мы» — последняя страница выяснила мне в самой точной, самой прозаической форме; выяснила, повторяю, точно, сухо, но неопровержимо указала мне пункты зла, пункты дела, самые корни язв, бед, несовершенств, несправедливостей. Не было на этой странице никаких частностей, мелочей, не было никаких подробностей жизненных бед этого чужого мне полчища человеческого, — иногда не было даже слов, были цифры, таблицы, дроби вместо людей и слов, — но эти-то цифры были мне понятней и могли ужасать меня самым искренним образом, могли жечь мой мозг гораздо сильнее, чем подлинные стоны и беды, из которых цифра только экстракт. Подлинных стонов, жизненных, человеческих мелочей, из которых выходили эти цифры «последней страницы», я бы не выдержал, они бы меня замучили; сердце мое, по незначительности своего развития, своей отзывчивости на *человеческую* мольбу, могло бы даже ожесточиться, а не размягчеть: я сам никогда не смел *по-человечески* относиться к себе и к своему горю, стону. Я даже понятия не имею о моем праве стонать, жаловаться, требовать облегчения, я отвык от этого. Как же я могу глубоко чувствовать мелочное горе других? Оно меня только измучает, и я поспешу отогнать его от себя. Но эта боль, спрессованная в маленькую цифру, в которой не видно никаких отдельных человеческих образов и страданий — мне понятна; она, потрясая мой ум, развивает тот зародыш жалости, который уже есть во мне, к пониманию общих, всечеловеческих бед, гонит к ним, обязывает сосредоточивать внимание только на них. .

Я не буду входить в подробности о том, как умер мой отец, как, не имея возможности попасть в университет, я скитался кое-где у знакомых моего отца и у добрых людей из «новых». Но скажу, что «книга», которая овладела мною в это время, с каждой минутой своими сухими, но многозначительными цифрами доказывала мне, что я обязан идти куда-то, быть там, где терпят и стонут; я чувствовал, что мне надо бежать куда-то от этих «людей», совершенно определенные фигуры и физиономии

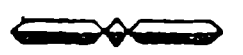
которых я вижу и с которыми «ничего *общего* не имею», бежать не к каким-то другим людям, а к каким-то живым массам несправедливостей, неурядиц, требований, одушевленных в виде человеческих масс, а не человеческих личностей.

И точно, я убежал. Убежал я почему-то в ту самую деревню, где родился и где осталась жить прабабка моей матери. Не знаю, почему я вспомнил о ней; вероятно потому, что мне просто было нечего есть. И на первых же порах опять испугался себя.. Если бы «они» каким-то не человеческим, а «особенным» образом сказали мне: «пропади за нас», я бы немедленно исполнил эту просьбу, как величайшее счастие и как такое дело, которое именно мне только и возможно сделать, как дело, к которому я приведен всеми условиями и влияниями моей жизни. Но, попав в деревню и видя это коллективное «мы», размененное на фигуры мужиков, баб, ребят, — я не только не получал возбуждающего к жертве стимула, а, напротив, простывал и простывал до холоднейшей тоски. Эти песчинки многозначительных цифр, как люди, требовавшие от меня человеческого внимания к их человеческим нуждам, к человеческим мелочам их жизни, невообразимо меня утомляли, отталкивали даже.. Грязь мучила, в нужде мелькала и оскорбляла глупость. Больная нога умирающего мужика, загноившаяся от ушиба, возбуждала отвращение. Личное участие, личная жалость были мне незнакомы, чужды; в моем сердце не было запаса человеческого чувства, человеческого сострадания, которое я бы мог раздавать всем этим песчинкам, миллионы которых, в виде цифры, занимающей одну десятую часть вершка на печатной строке, напротив, меня потрясали.

Кстати сказать, что-то подобное свойствам моего сердца, вероятно, было в сердце такого замечательно загадочного человека, как Иван Грозный. Ведь вот пред толпой, пред массой людей, пред морем человеческих существ, слитых воедино, в особый живой организм толпы, этот человек мог публично, на Красной площади, каяться, плакать, просить у этого «организма» прощения, рассказывать пред ним свои прегрешения, оправдываться, чувствовать потребность оправдываться только перед ним. А отделись от этого организма толпы частица, песчинка, и объявись она в виде человеческой фигуры, с человече-

скими потребностями, просьбами, желаниями — словом, со всеми мелочами «человеческой» породы, — тотчас замирает не только потребность покаяния, а и внимания, тотчас прекращается отзывчивость сердца на действительные, всегда мелкие человеческие требования. Не разработанное в этом отношении сердце, не пережившее этих человеческих мелочей, а прямо в зверином виде закованное в крепкую кору византийства, не хочет, не может быть внимательным и отзывчивым на мелочи, оно неуклюже, неуютно для этого. Уйди, напротив, это надоедливое, отдельное лицо в толпу, уничтожься лично, и проснувшемуся зверю легче, потому что он и своих-то личных жизненных и живых мелочей не ценит, не умея ни облагородить, ни развить. Ему и самому легче понизиться из царей в монахи, из повелителя в повинующегося.

Вот такие-то несимпатичные свойства моего сердца и испугали меня на первых порах, а скоро не только испугали, но и потрясли, привели в ужас.



IV. ПОДРОБНОСТИ «ВОЗМУТИТЕЛЬНОГО СЛУЧАЯ».— «НАМ САМИМ» НИЧЕГО НЕ НАДО

1

Первые, характернейшие признаки моего сердца, как я уже сказал, обнаружились и испугали меня почти тотчас после появления моего в деревне, на старом пепелище, в хибарке какой-то бабушки, а может и прабабушки, не помню хорошенько. Отправляясь в эту деревню, я не имел никакого определенного плана насчет того «общего дела», которое должно было меня «взять», «поглотить» и «потребить», но я шел туда под неотразимым убеждением, что дело это «там», у «них», вообще под соломенными крышами, а не здесь, в городе, где я скитался после смерти отца многие годы и где видел купцов, чиновников, барынь, мещан, священников и тех самых мужиков, к которым я потом устремился. «Все это не то! — думалось мне. — Торгуйте, звоните ко всенощной, женитесь, спите после обеда, гуляйте на бульваре, думалось мне, но все это не то. Это «пока» только, а в сущности все уж это кончилось!» И острог, который оставался в том же самом виде, как и был, казалось мне, стоит здрав и невредим так только, по ошибке. И сумасшедший дом тоже скоро должен развалиться прахом, как и эти уродские кирпичные триумфальные ворота, торчавшие за городской заставой, чрез которую я уносился в деревню. к «ним». Все это старое ни к чорту не годится, все это явно доживает свой век. Не могу припомнить оснований, по которым я с такою уверенностью полагал, что все это «доживает» век, но помню, что вообще впечатление «доживания» было вполне несокрушимое. Настоящая, заправская «гниль» всего старого и во внутреннем,

и во внешнем отношении была вне всякого сомнения. Ни жалости, ни даже простого внимания к этому гнилому, разваливающемуся, а иногда прямо помирающему или находящемуся при последнем издыхании, не было ни малейшей — так было неизмеримо велико расстояние между известным, мучительным вчера и совершенно неизвестным сегодня. Эта полнейшая невозможность не только подумать о вчерашнем дне, но даже оглянуться назад хоть на минуту, не покидала меня и всю дорогу от города до деревни, которую я в весеннюю распутицу, в рваных сапогах, сделал пешком. Странно: и деревни уж стали попадаться за городом, и мужики, и их рваные шапчонки, бороды, спутанные комком, полушубки с дырами на локтях, словом — начались уж «они», «мы», «наши», в полном смысле этого слова, а я все пропускал их мимо с тою же невольной мыслью: «все это не то!» Тоже старое, гнилье какое-то. И телеги гнилые, и бороды, и полушубки, и черная солома на крышах... И они тоже как будто «доживали свой век»... И в них ничто не останавливало меня; кислый квас, охающая старуха, ее морщинистая трясущаяся рука, холодная, разоренная изба, скверный хлеб и т. д. — все это «старое», все это надо «туда», назад забросить, за спину, в крепостное право. Это все обречено на смерть: жалей, не жалей — ничего из него не выйдет. И я не жалел, а несся, как птица, несся по лужам грязи и, запыхавшись, наконец прилетел в убогую избу старушки-бабки.

Здесь надо было жить — сколько времени, я не знал; надо было разговаривать с людьми, слушать их, отвечать. Я уж всех их сдал в архив, но они почему-то медлят убираться туда, и ходят передо мной, охают, нянчают детей, ругаются, говорят невозможные глупости, и я начал мучиться... Действительность, живая, неприглядная, корявая, рваная, забитая, глупая, плачущая и ругающаяся или в поте лица бьющаяся из-за куска хлеба, положительно терзала меня. Казалось бы, отчего мне терзаться и мучиться всем этим? Ведь это-то именно и есть тот самый материал, во имя которого я должен жертвовать собою для них же. Все так, а на деле — между этим глупым дядей Митяем, который на моих глазах провозгласил: «без навозу. . нич-чего не будет!» и провозгласил с таким же олимпийским величием, с каким Людовик XIV

провозгласил: «государство — это я», и моей неизбежной потребностью жертвовать Митяям собою не было тропинки, нитки. «Как глуп! — думалось мне, — и борода какая скверная!» И ощущение глупости дяди Митяя было до последней степени тяжело, тяжело до невыносимости, до желания выгнать его вон. До невыносимости жгучее страдание доставляли мне и не одни только некрасивые и несуразные явления действительности: крестьянский ребенок, удивительно красивый мальчик, тоже терзал меня; его нельзя было не любить, но мне было это трудно: эта маленькая потребность «любить» какую-то «капельку» мешала мне; она обессиливала меня в моей потребности «пропасть», «пожертвовать» собой... Все это меня терзало, мешало мне служить «им»...

Передо мной, опершись о край стола локтями голых полных рук и держа в них булку, сидела девушка, молодая и полная, с распущенными по плечам густыми белокурыми волосами. Она сидела совершенно спокойно, без всякого стеснения и тоже совершенно спокойно смотрела на меня, покусывая как бы от нечего делать булку; но, взглянув на нее, я понял, что она надо мной «насмехается», понял, что она ничего «не боится» — и как будто проснулся...

— У нас Аксинья удивительная мастерица печь хлебы! — сказала старушка, которую я тоже в первый раз рассмотрел и которая сидела с каким-то вязаньем за самоваром.

— Ешьте! — приказала девушка, сама откусила кусок булки, движением головы (ухарским) отбросив косу с плеча за спину, почесала голую руку и опять прибавила:

— Что вы сидите как истукан? Весь мокрый и ничего не ест...

Тогда я увидал булки и тотчас стал есть. Я ел булки и прежде, и вчера, и сегодня, и каждый день; но все мне как-то казалось, что это тоже только так «пока», что это в сущности «все не то» и тоже принадлежит к числу явлений, которые надо забросить через плечо. Казалось, что все это: чиновники, остроги, сумасшедшие дома, шпицрутены, помещичьи усадьбы, крестьянские лачуги, учителя, булки, в особенности сдобные, пироги, блины и т. д., и т. д., что все это кануло в вечность, что это достояние

прошлого, что это только «доживает» свой век. Я ел у бабки ее стряпню, ел довольно много, но думал: «как эта старуха глупа, что бьется целый день чорт знает из-за чего, ворочает какие-то горшки, крестится и охает. Все это вздор и чепуха». Но когда к булкам призвала меня насмешливая девушка, я изумился: булки были превосходные, горячие, только что из печи. а между тем 19 февраля... как же так? стало быть, не все кануло в вечность... Я ел, чувствуя, до какой степени я необыкновенный урод в глазах этой девушки, ел и думал об освобождении крестьян, ел и думал — «точно, булки необыкновенно вкусны», а между тем «все уж не то!» Никогда в жизни не чувствовал я себя до такой степени нелепым и достойным полного посмеяния...

И вдруг я испугался. Я увидел себя в один прекрасный день совершенно одиноким! Все, что я вижу и слышу, — все это мне чужое, непонятное или если и понятное, то возмущающее, оскорбляющее, возбуждающее желание «вырваться» отсюда и вовсе не укрепляющее решимости самопожертвования. Я почувствовал, что я просто дармоед: ничего не делаю, ем чужой хлеб, все ненавижу и в то же время толкую о самопожертвовании, думаю, что я обречен на великое дело мученичества. Мученик ест у старухи последнюю корку, да еще на нее сердится за то, что она говорит глупости... «Ноньче у нас по осени ведьму убили!» — «О, идиоты!» — думает мученик, вторую неделю ничего не делая и терзаясь мыслью о том, как бы унести ноги от «них», от «этих самых», для которых он готов отдать жизнь.

Я до того испугался своего положения и своего нравственного состояния, что в первую минуту, когда оно обрисовалось мне ясно и резко, я как-то вдруг отупел, остолбенел в непонимании себя и окружающего. Я не пил, не ел, глядел и ничего не видал: я по целым часам сидел на крыльце хибарки, бессмысленно и тяжело смотря на хлопья последнего весеннего снега, и чувствовал одно — все наполнено вокруг меня, но там, где я, — совершенно пусто. Постучать палкой там, где я сижу, —непременно загудит так же, как если постучать или крикнуть внутрь пустой бочки. Дни шли за днями, падал и таял снег, и я падал, и таял, и думал о смерти, как об избавлении...

Не знаю, каким образом в этаком-то остолбенелом состоянии попал я в господский дом.

Не могу припомнить буквально ни одной подробности, которая бы могла выяснить причину или по крайней мере предлог для этого знакомства. Вероятно, дело не обошлось без участия моей бабушки, хотя наверное решительно не могу утверждать этого; знаю только одно, что очнулся я от моего столбняка, и очнулся на мгновение за старинным круглым столом, на котором стоял старинный, измятый самовар, сливки, и булки, и варенье. Очнулся в какой-то куртке, в грязных сапогах, и, главное, очнулся от вопроса:

— Вы что же ничего не едите? Какие булки вкусные!

И ел! Ел, думая: «когда же, наконец, это кончится?» И, не дождавшись конца, вдруг положил булку на стол, встал со стула и пошел...

— Куда вы? Чего вы не сидите? Куда вы в этакую грязь. Идите ночевать наверх; весь дом пустой. никого нет.

— Хорошо!

И я пошел наверх, спотыкаясь и толкая то ту, то другую дверь. Едва слышный смех, но смех бездонной насмешки послышался вслед за мной. «Это непременно она издевается!» — подумал я, почему-то устремляясь наверх; на повороте лестницы я споткнулся и сказал себе:

— Осел!

Потом упал и сказал себе:

— Подлец!

Потом вспомнил, как она сидит, опершись локтями на стол, как смотрит, какие у нее волосы и какие глаза.

Здоровая молодая босая баба, появившись со свечкой, выручила меня из беды. Я нашел дверь, вошел в комнату и увидел бабу. Баба смотрела на меня в недоумении, и я недоумевал.

— Ну ложись! — сказала баба. — Хучь здесь, хучь там.

— Сейчас, — ответил я и стал раздеваться.

— Дай уйти-то! — остановила меня баба.

— Хорошо, — сказал я и подумал: «Идиот, осел и чорт!»

И остался один с вопросом: что все это означает? Что это такое? А ответом на эти вопросы были те же

локти, упертые о край стола, те же глаза, те же булки. Долго-долго я не мог заснуть: все это путалось у меня в голове, кружилось, и насмешка, насмешка бездонная, ела меня...

Но сдобные, горячие булки «*сейчас* из печи», не знаю почему-то, в особенности сильно опечалили меня, вспомнившись среди ночи. Ведь *все это* кончилось, а тут *сейчас* из печи эти сдобные призраки канувшего в вечность. Быстро и тяжко промелькнуло по сердцу, вслед за воспоминанием о булках, все это прошлое, погребенное мною, промелькнуло, испугало, защемило в самой глубине сердца и вызвало страстное желание уйти, уйти поскорее отсюда, из этого дома, где все веет прошлым, отжившим, все тянет назад...

2

Прошлое, канувшее в вечность, на воспоминание о котором наводил старый барский дом, казалось действительно канувшим, и не для одного только меня. Все, кто жил в нем, чувствовали, что песня этого дома спета, что если еще и живут в нем люди, то это только так, «пока», между концом и неизвестным началом. Жила в нем теперь старая сестра умершего бездетным владельца, долгое время — чуть не всю жизнь — промаявшаяся на чужих хлебах и в домах богатой московской знати девица, в которой институтская наивность неприятно дополнялась знанием неприглядных будуарных тайн времен крепостного права. Этими тайнами с наивностью институтки она по временам делилась с своей сожительницей, молодой белокурой девушкой (насмешницей), которая была дочь брата покойного владельца, офицера, убитого в севастопольскую войну. Мать ее умерла также незадолго перед кончиною отца; и вот эти две случайные наследницы жили в большом, разваливающемся доме, не зная, что́ будет завтра и с ними и с этим домом, и зная притом совершенно несомненно, что старое безвозвратно ушло. И они были чужие этому дому, и дом был чужой для них. Не будь вокруг и около этого дома старых крепостных людей, для которых была невозможна даже мысль о том, что они

свободны и должны считать себя вступившими в «новую эру», я, право, не знаю, была ли бы какая-нибудь возможность для обитательниц этого старого дома просто-напросто быть сытыми. Но оставались какие-то Михеичи, Авдотьи, старухи Пахомовны, оставались на тех же местах, где были и жили всю жизнь, и руки их продолжали делать то же, что делали прежде. Иные из них были дряхлы и стары, другие хоть и молоды, но не знали еще, как быть и куда деваться. И вот несет Пахомыч дров, Авдотья тащит самовар, древнейший кучер моет на дворе древнейший экипаж. Кто-то платит аренду, еще заключенную при покойнике, кто-то нет-нет да привезет сотню-другую за купленный лес. Из какого-то казначейства что-то тоже по временам высылают, причем иногда племянница и тетка с трудом разбирали: «кому это, мне или тебе?» Кое-как, благодаря тем же живым остаткам прошлого, создавшим кое-какой жизненный обиход помощью печения хлебов, пирогов, собирания и варения грибов и ягод, создавались и кой-какие обличия «господской» жизни. Тот же Пахомыч придет и скажет, что завтрашнего числа хорошо бы господам проехать в село Всесвятское, ибо там храмовой праздник; что не худо принять и угостить господина исправника, который сидит теперича у попа, что в такой-то день надо бы отслужить панихиду по покойникам, а в такой-то поставить на господском дворе качели и купить девкам пряников — так, мол, исстари заведено. Не будь этих Пахомычей и Аксиний — и люди, населявшие дом, и самый дом могли бы производить на посетителя впечатление только запустения, а при их попечении все-таки в этом доме журчала какая-то тощая струйка жизни. Иногда Пахомыч придет и «пожалуется» на Авдотью и даст таким образом возможность обитателям почувствовать, что они господа, что они хоть Авдотье могут дать нравоучение. Но вообще струйка жизни журчала здесь тихо-тихо. «Старая это жизнь, — думали все, — и ничего из нее уж не может выйти; это — срубленное дерево, на котором еще не совсем завяли листья». Старое и срубленное — это впечатление веяло отовсюду: из пустых конюшен, от гнилой крыши, от огромного пустого двора, от падавшей с потолка штукатурки, от этих старых портретов. Баба с грязными

ногами и с кошелкой яиц, желая продать эти яйца господам, свободно шла с черного хода из одной комнаты в другую, из залы в гостиную, шла словно по улице, зная, что эта улица ничья. И все чувствовали, что действительно ничья. Молодой крестьянский парень, Пахомыча племяш, толкавшийся по дому и около дома «пока» без дела, пойдет на чердак, пороется, вытащит какие-то сапоги с ботфортами, наденет и придет к старой барыне: «Глянь-кось, ладно ли?» — «Чьи это?» — «Да там, на чердаке, валяются. Не знаю чьи». — «Ничего, хорошо!» — «Так я носить стану?» — «Носи, пожалуйста». Да и в самом деле, чьи эти сапоги теперь? Да и все в доме тоже неизвестно чье. И жил здесь народ, за исключением стариков, только так, пока. Хозяйки мечтали поехать и в город, и в Москву, и в Петербург, но так как определенно им не было известно, зачем собственно ехать, то и не ехали, да и денег что-то «не высылают», хотя *должны же* выслать когда-нибудь. Гуляли, разговаривали о старых московских сплетнях, о том, что Мишка отыскал на чердаке сапоги, о том, что нужно отслужить панихиду; опять гуляли, ели, скучали, раскладывали карты, говорили, что надо ехать в Москву, или, нет, в Петербург, или в город, потом шли смотреть теленка, которого бог послал, потом говорили о теленке, потом о попе, так как об нем зашел разговор благодаря какой-то бабе, потом о бабе, о ее муже. Так шли дни за днями «пока», то есть пока все это *в самом деле* кончится. И в самом деле, разве все это не должно кончиться? Разве можно *что-нибудь* оставить из всего этого? Здесь *все было* когда-то понятно и объяснимо, от этого кресла, от этого уродского портрета до кнута, который висит теперь в бездействии на конюшне... Теперь, начиная с кнута, все здесь необъяснимо, все погребено, все напоминает молчание могилы. И вдруг вот из этой-то могилы появляются горячие, сдобные булки. «*Сейчас* из печи!» Если бы сам домовладелец, о котором у меня с детства остались тягостнейшие воспоминания, встал из гроба и явился передо мною ночью, я бы не испугался его так, как напугался всей вереницы впечатлений, связанных с булками. «Уйти, уйти отсюда, — думал я, чувствуя настоятельность сделать это сейчас же, — уйти из дому, из деревни — „туда!“, все тут обречено,

страшно, гнило, ненужно, мертво»... Думая «уйти», я, однако, ни разу не подумал о том, как могло случиться, что я очутился в чужом, незнакомом доме, сплю на чужом диване, и сплю на нем почти без всякого приглашения? Так была прочна, непоколебима уверенность, что «все это кончилось», что в доме этом все «ничье», да и дом вместе с людьми «ничей». Он так же принадлежит им, как и мне, как и Пахомычу, как и бабе, которая принесла яйца и ходит по всему дому как по площади. А вот булки встревожили меня. Стало быть, тут что-то живет еще. И мне стало страшно и противно, и мысль «уйти» уж не давала мне заснуть вновь.

Я ушел, едва стало светло, едва где-то в доме хлопнула дверь, а со двора донеслись звуки раскалываемых дров. «Проснулись», — подумал я, и потихоньку ушел.

В тяжкой, безысходной тоске о своем положении провел я целый день в лачуге моей бабки, не зная, что́ делать, куда идти. Я чувствовал однако, что надо идти «сейчас», и к вечеру почти уж окончательно решил идти пешком в Москву, не зная, что еще я там буду делать и к кому обращусь. Но идти все-таки надо непременно, неотложно, и завтра непременно. Так я порешил и так сказал бабке. Оба мы, горемычные, сидели с ней вечером на крыльце и думали. Она охала, жалела меня, а я сидел, молчал и смотрел в сторону, терзаясь кручиною моей бабки: «Боже мой! — думал я, — как она добра, как у ней привыкло страдать сердце, сколько в ней сейчас, сию минуту, печали обо мне, сколько она уж пролила слез о моей участи... Но когда же она замолчит? Хоть бы она ожесточилась на меня, мне бы было в тысячу раз легче».

Мне было до того тяжело, что я положительно как ребенок обрадовался, увидав, что к нашему крыльцу подошли обитатели старого господского дома... И старая дева и дева юная вдруг появились из-за угла. Бабка засуетилась, впала мгновенно в рабское состояние, приглашая войти, но гости не вошли. Старая дева только поклонилась бабке, поклоном «путешествующей принцессы», а юная только посмотрела на мою старуху, посмотрела своими серыми бесцеремонными глазами и ела подсолнухи...

— Ну, вы! — сказала она мне, выплюнув шелуху и опуская руку в карман, очевидно за новой горстью деревенского лакомства, — извольте одеваться.., Пойдемте!

— Я...

— Нечего! Я на босу ногу... Мне нельзя на сырости. .— И она показала ногу, без чулка в туфле.

— Надевайте шапку, и марш!

И я надел шапку и пошел. И опять ночевал в чужом доме.

Утром я проспал; но проснувшись, тотчас оделся и хотел идти. Однако почему-то сел на тот же диван, на котором спал, и тяжело задумался. День был великолепный, и как бы пропорционально этому великолепию увеличивалась и моя тоска, тоска одиночества моего на белом свете, тоска пребывания в этой могиле старого прошлого, томящая жажда света и дела.

— Вы продрали, что ли, глаза-то? — послышалось за дверью.

И, не дождавшись ответа, появилась юная хозяйка с тем же взглядом, в том же свободно надетом ситцевом платье.

— Наденьте вот, — сказала она голосом опытных женщин, — эту рубашку. Я взяла у Васьки новую.

И какой-то комок, пролетев от двери близко около потолка, ударился мне в грудь. Это была кумачная рубашка.

— А то на вас противно смотреть.

Я нагнулся было, чтоб подхватить рубашку, соскользнувшую на пол, и в это время почувствовал новый удар чем-то мягким в голову.

— У вас, кажется, и чулок нет, пальцы вылезают. Вот вам Аксиньины.

В недоумении поднял я голову — и увидел дьявольски издевающееся лицо. Но это лицо я видел одну секунду, оно сейчас же сделалось опять просто бесцеремонным.

— И одеваться! Живо! у меня есть к вам серьезное дело...

(Здесь в записках Тяпушкина следует большой перерыв; в тетради, из которой я их заимствую, после вышеприведенной сцены следует множество страниц с обозначением глав, названием их, началом в несколько строк, за которыми почти тотчас же следует перерыв, рисунок какой-нибудь рожи, какая-нибудь фраза, вроде: «Нет, вот Тургенев *небойсь* (?) об этом не пишет!» Или: «Не-

ужели это только золаизм и натурализм? Нет, это дело и горе общественное!» и т. д. Сколько можно понять из того, что удалось разобрать в этих отрывочных строчках, можно заключить, что Тяпушкин пробыл в старом доме всю весну, лето, и только в глубокую осень весь старый дом — то есть старая дева, юная дева и Тяпушкин — каким-то родом очутились в Петербурге. Наконец идет глава, написанная вся целиком, от первой строки до последней. Эту главу я и помещаю, придерживаясь моей нумерации, хотя в записках Тяпушкина она носит какую-то огромную римскую цифру.)

3

...Есть у меня один приятель-фельдшер, человек весьма любопытный обилием философских теорий, роящихся у него в голове. Начнет что-нибудь рассказывать (а рассказывать он любит, и преимущественно о женщинах и своих наблюдениях над ними) и, не досказав до конца, ударится в философию. Необходимо остановить его и спросить, «чем же кончилось?» — иначе повествовательный интерес наблюдения или рассказа так и канет в бездну обобщений. Рассказывал он мне как-то недавно одну из таких любимых своих историй и, не досказав, принялся по обыкновению мудрствовать, а я также по обыкновению должен был прервать его и спросить:

— Но чем же кончилось?

Тогда философ остановился, несколько презрительно посмотрел на меня и сказал:

— Какое же может быть *в этом* (?) сомнение?

И опять, презрительно пожав плечами, прибавил:

— Мальчик и девочка! Одному восемь, другой пять... Кажется, это не требует никаких обобщений.

Вот и мне приходится тоже сказать о своей «истории».

Осенняя петербургская ночь, глухая, поздняя, темная. Все спит в нашей квартире, и в маленькой колыбели спит маленький ребенок, а я сижу неподалеку от него и думаю те самые черные думы, о которых я сказал в самом начале «первой главы, первой части»... Но для успокоения читателей скажу, что источник моих черных дум вовсе не черный; не ненависть и злоба, а, напротив, нечто совер-

шенно на них не похожее, именно, *необычайная любовь* к этому маленькому существу, *необычайная чувствительность* к малейшим проявлениям жизни, обнаруживаемым этим существом. И вот эта-то *необычайная чувствительность,* обнаружившаяся во мне при появлении ребенка, и есть то главное, на что я хотел бы обратить внимание читателя, рассказывая возмутительный эпизод в моей жизни.

Выражаясь словами философа-фельдшера, «не может быть ни малейшего сомнения» в том, что ребенок — мой, и для меня и для всякого смертного, волей-неволей, должен быть предметом личного внимания, личной привязанности. Я мог бы, конечно, выбрать какой-нибудь другой пример, а не этот возмутительный факт, чтоб проверять на нем мою личную способность отзываться на *мои* личные побуждения, мою энергию, отстаивать мои личные права, критиковать окружающее, с точки зрения моих личных неудобств и личных желаний; но всякий другой пример был бы не так общедоступен, как тот, который я решился рассказать с величайшими усилиями.

Наконец, при том систематическом умерщвлении моей личности, о которой рассказано в прошлый раз, умерщвлении, основанном на впечатлениях целого порядка исторических явлений, обязательных для всероссийского человека, на впечатлениях систематически организованного воспитания, направленного к тому, чтобы личность «не пикнула», я едва бы мог найти какой-нибудь другой факт личной жизни, который бы так же сильно и с такой неотразимостью потребовал от меня *всего* того, что́ есть во мне *моего* человеческого, а не государственного, не служебного. Ребенок же именно и потребовал всего, полностью; он даже пробудил во мне меня, наложив лично на меня массу обязанностей, и, помимо моей воли, развернул предо мной массу прав, которых я должен бы был добиться ранее появления его на свет, чтобы эти обязанности выполнить «по-человечески».

Так вот на первых же порах, когда это маленькое существо потребовало от меня «отчета» в силе и праве собственной моей личности, я моментально впал в какое-то невозможное состояние. Я вчера еще, даже сейчас, готов погибнуть там «за них», за нас, за общую гармонию, за общественное благообразие и справедливость, но

отстаивать эту гармонию *для себя* — не могу! А вот именно этого-то и потребовал ребенок, этот невольный и самый неснисходительный пробудитель моего личного вопроса и личного интереса. «Там», работая вообще за «гармонию», в которой я лично ничего не означаю и ни за что лично не отвечаю, зная только, что эта работа — дело справедливое, я не чувствителен ни к каким ударам и язвам; здесь же, при деле, которое требует лично от меня ответа, я до чрезвычайности чувствителен, страдаю от малейшего прикосновения действительности, изнемогаю от малейшего сознания, что то или другое дело *я должен* делать для себя. «*Мне* не нужно, — вопию я, — таких широких прав, такой смелости жить на белом свете! я так, как-нибудь сам-то, а вот для общего дела...» Но маленькое существо требует этих прав для себя и совершенно меня уничтожает.

Один опытный крестьянин-охотник рассказывал мне, между прочим, про волков, и рассказ его коснулся, между прочим, совершенно неожиданной для меня черты волчьих нравов. Кто не привык представлять себе волка как злодея, который вечно голоден и вечно ищет кого поглотить? Но кто знает, что источник этой постоянной голодовки, этого вечного вытья с голоду есть именно *чрезмерная чувствительность* к своим личным нуждам и потребностям? Оказывается, что если волк беспрестанно рыщет и рвет на части овец и собак и все-таки никогда не бывает сыт, так основание к этому — чрезмерная любовь его к семейству. Он до того чувствителен к участи своих птенцов, к своей волчихе, что только ради ихнего спокойствия и рвет этих несчастных овец. Съев целую овцу, совсем с шерстью, до того, что ему нельзя дышать и ходить, он только и думает о том, чтобы кой-как добраться до дому и положить все съеденное к ногам своей супруги и детей... И едва положит, как та же непомерная впечатлительность к своему горю, к своему личному благополучию побуждает его вновь бежать в поле, где он, ни на минуту не забывая своих милых птенцов и свою милую волчиху, быть может весьма образованную и с религиозно-шампанским направлением мыслей, принимается рвать овец, собак, опустошать общественные кассы, банки и расхищать башкирские земли. А в объяснение этого зверства, почти всегда со слезами на глазах, ссылается един-

ственно только на нежность, на впечатлительность своего сердца. Один вид его Жоржика, этого хилого маленького существа, одна мысль о его будущности до того его мучает, терзает, печалит, что он лучше бы готов (по его собственным словам) камни таскать на улице, служить дворником, есть воблу и пить воду, только бы не переносить этих мучений. Именно от этой-то впечатлительности он и теряет голову и уж что творит — неизвестно, сам не помнит. «Мне *самому,* — говорит он в трезвые минуты жизни, то есть когда его семейство сыто и довольно, — мне самому *ничего не нужно!*»... И говорит это так убедительно, что, встретившись в эту минуту с овцой, умеет даже ее расположить в свою пользу; заговорить ее так, что та как со старым знакомым идет с ним рядом куда-нибудь в буерак и совершенно поддается его гуманному образу мыслей... Он умеет вести в такие минуты нежную, простую беседу, беседу по душе, говорить, что и «он сочувствует» (только бы не семейство), просит передать пять рублей в кассу для вспомоществования недостаточным слушательницам высших женских курсов (из тех, из «сундуковых» денег), шопотом спрашивает: «нет ли чего новенького?», вздыхает, говорит, что ему самое настоящее место «там», а не здесь, в этой пошлой борьбе из-за грошовых интересов с мужиками, которые только и думают, как бы ухлопать его, тогда как все его симпатии на их стороне... Словом, умеет до такой степени очаровать несчастную овцу, что та стоит недвижимо целые дни на том самом месте в буераке, где оставил ее приятный собеседник, и стоит до тех пор, пока какая-нибудь личная гадость, личная впечатлительность к страданиям маленького Жоржика не заставит его, против воли, съесть эту несчастную овцу.

Но этими чертами еще не исчерпывается чрезмерная впечатлительность волчьего сердца. По рассказу тех же опытных охотников, бывает так, что в минуты действительного и продолжительного голода, когда по поводу хищений назначаются сенаторские ревизии, сундуки запираются на замки, когда все овцы отгоняются на значительное расстояние и пастухи пристально их караулят, впечатлительность волчьего сердца, не изменяясь количеством, изменяется качеством... Жалость, чрезмерная скорбь, присущая этому сердцу, направляется уж не на

Жоржика, а на себя; мысль о том, что ему, этому любящему отцу, придется погибнуть, до того щемит его сердце, что он невольно начинает бесконечно жалеть себя, ищет корень зла и находит, что он всем пожертвовал «семье», от семьи же заслужил всеобщее недоверие и в семье ожидает гибели. И он, *жалеючи себя*, начинает ожесточаться. «Не будь твоей дурацкой корреспонденции, — злобно рычит он на Жоржика, — ничего бы этого не было! .. Для вас же, подлецов, я был зверем, и вы же даете знать своим писком гуртовщикам. Мерзавцы!» Он ожесточается все более и более, доносит уряднику о неблагонадежности своего сына и в конце концов съедает Жоржика без остатка. Но это еще не все.

Нередко такая жизнь заканчивается совершенно неожиданным образом: лишив из-за чрезмерной чувствительности собственного сердца тысячи овечьих матерей их ягнят, перервав глотки сотням телят и овец, вогнав в гроб «жену свою побоями», он отправляется собирать на построение храма божьего. Выбирает для подвига высшую, неземную, нейтральную цель, так как каждое прикосновение к живым людям, населяющим землю, напоминает о клочьях овечьей шерсти, вырванной с мясом, о перерванных горлах, об убитых, вбитых в гроб. . . И все благодаря чрезмерной впечатлительности личных желаний. Быть сытым нужно и собаке, не только волку, но собака уж шире развила свою личность и *лично* понимает необходимость благообразия *общественных* отношений: она кормит своих детей так же, как и всякая тварь, но делает это, предпочитая караулить тех же овец и овечьих детей, так же как и своих. Волку же кажется, что *только* его дети достойны любви чрезвычайной и что дети других только препятствуют полному удовлетворению его чувствительности; кажется, что только его Жоржик достоин глубочайшего внимания, а все другие Жоржики достойны «гигиенической скамейки», так как они могут обидеть когда-нибудь его Жоржика.

Не утаю: когда дело дошло до личной моей ответственности перед маленьким существом, ребенком, сердце мое оказалось чувствительным именно в этом волчьем направлении. Все скверно и гадко в этом мире для такого существа (оно было, кажется, одно на всем свете, так как я в первое время забыл, что в Петербурге

ежегодно родятся пятьдесят тысяч таких существ), все надо было бы стереть с лица земли, чтобы это существо могло просуществовать так, как ему следует. Это было первое впечатление, но оно тотчас же сменилось другим, именно, крайней робостью стирать что бы то ни было с лица земли. Это такая возня и такое безобразие, что лучше пусть все останется так, как есть, только Жоржик должен быть в особенном положении: от него должна быть отстранена всякая грязь, всякая правда жизни, всякая скорбь, вся эта отрава теорий, реформ, людского горя и т. д. Как это сделать? Нужно для его блага пожертвовать собой, покориться, принять всю черноту жизни на себя, сделать так, чтобы не орать во имя вообще реформы против «кушетки» вообще, а чтобы только Жоржика не драли. Вот как отозвалось на моем сердце первое личное дело, первая личная моя обязанность, первая проба предъявить размеры личной смелости жить на свете, личной опрятности отношений человеческих, личного уважения к личности других. И я пришел в неописанный ужас. . А общее, то, за которое я с восхищением и с жаждой готов был погибнуть? Я и теперь готов погибнуть, даже ощущаю бо́льшую жажду, чем прежде, но от этого общего дела к моему личному делу — нет дороги, нет даже тропинки. Я стремлюсь погибнуть во благо общей гармонии, общего будущего счастья и благоустроения, но стремлюсь потому, что лично я уничтожен; уничтожен всем ходом истории, выпавшей на долю мне, русскому человеку. Личность мою уничтожили и византийство, и татарщина, и петровщина: все это надвигалось на меня нежданно-негаданно, все говорило, что это нужно не для меня, а *вообще* для отечества, что мы *вообще* будем глупы и безобразны, если не догоним, не обгоним, не перегоним... Когда тут думать о *своих* каких-то правах, о достоинстве, о человечности отношений, о чести, когда что ни «улучшение быта» — то только слышно хрустение костей человеческих, словно кофей в кофейнице размалывают? Все это, как говорят, ещё только фундамент, основание, постройка здания, а жить мы еще и не пробовали; только что русский человек, отдохнув от одного улучшения, сядет трубочку покурить, глядь, другое улучшение валит неведомо откуда. Пихай трубку в карман и полезай в кофейницу, если не удалось бежать во леса — леса дремучие.

Таким путем в тех российских жителях, которые попадали в кофейницу, не могло развиться по части эгоизма почти ничего; ни по отношению к себе, ни по отношению к другим русский человек не мог разработать более или менее широко чувствительности своего сердца, и оно осталось такое же маленькое, зверушечье, как и было в ту пору, как на него нагрянуло византийство. Но зато уверенность в необходимости жить, покоряясь чему-то не своему, чужому, тяжкому, служить, не думая о себе, какому-то, иногда совершенно неведомому, но надо всеми одинаково тяготеющему делу, уверенность в том, что эта тягота есть самая настоящая задача и цель жизни, — это в нас воспитано необыкновенно прочно.

Таким образом, благодаря нашей исторической участи, люди, попавшие в кофейницу, выработали из себя не единичные типы, а «массы», готовые на служение общему благу, общему делу, общей гармонии и правде человеческих отношений. Причем каждому в отдельности *ничего не нужно*, и он может просуществовать кой-как — кой-как по части семейных, соседских, экономических отношений и удобств. Лично он перенесет всякую гадость, даже согласится сделать гадость просто из-за куска хлеба, оботрется после оплеухи и т. д. И отдохнет душою только в деле общем, совершенно поглощающем его личность. Не знаю, есть ли подобные черты в таких, например, общественных деятелях, как Бредло, Парнель. Мне думается, что Парнелю и дома, и для себя, и для семьи, и для Жоржика нужно то самое дело, которое он делает в парламенте; что парламентское, общественное дело начинается у него дома, в нем самом, в личной потребности делать его, в личной жизни сердца, требующей таких именно ощущений, как те, которые добываются его делом. Я думаю, что и Жоржику своему он скажет все, что делает и что думает, и в этих взглядах и воспитает его. Он потому и начинает проповедовать эти взгляды в парламенте, что это ему нужно, чтобы чувствовать себя самим собой. Точно так же и Бредло. Человека этого каждый год избивают по малой мере два раза в год и рвут на нем не менее двух сюртуков, и он все-таки идет опять туда же, зная, что его будут опять колотить до синяков и что он после этой бойни сляжет в постель, а может, и умрет. И здесь я думаю, что общественное дело, которое

он делает, не покидает его дома, и в семье, и в обществе жены. Ему, его эгоизму, надобно добиться своего, и он прет, несмотря ни на что.

У нас же, напротив, есть множество общественных деятелей, которые и шире по взглядам, чем этот упорный, односторонний человек, и взгляды их справедливее, гуманнее по отношению к общественному благоустройству и благополучию; и стоят они за эти взгляды до такой степени ревностно, что малейшая литературная узость по отношению к их широте воззрений на народные массы, на свойства народного духа и т. д. волнует их самым подлинным образом. Они не хотят подать руки человеку, который усомнится хотя бы в общинном землевладении, а *сами лично* в то же время, для собственных делишек и Жоржиков, не стыдятся содержать откупа и кабаки... Не знаю, содержат ли кабаки Парнель и Бредло, а что касается нас, то позволю себе сделать маленькое отступление для того, чтобы привести весьма любопытный пример для только что сказанного.

Несколько лет тому назад, в Одессе, на бульваре, на скамейке сидели два человека и вели беседу о русском народе. Один из них был старик, другой — помоложе. И вот что говорил старик:

«Я по природе грек. Проживши немало на белом свете, я сталкивался с различными национальностями: и с немцами, и с французами, и с итальянцами, и с своим братом греком, и вот в чем вполне убедился: по природному здравому смыслу, или разуму, по отваге, выносливости нет ни одного народа, который бы стоял выше русского. Эти свойства души русского народа признает весь свет. Но заметьте, что этот народ еще молодой; он еще не успел развить своих богатых сил; его роль еще впереди. И вот питейное наше дело поставлено теперь так, что оно неизбежно должно повести к потере тех высоких качеств, которыми русский народ вправе был гордиться перед целым светом и которые должны бы обеспечить за ним славную его будущность. Дело это объясняется очень просто. Теперь пошло поголовное пьянство, и чем дальше, тем эта зараза будет больше распространяться. Это одна из самых прилипчивых зараз; недаром писано: «пьянства яко яда бегай!» Действительно, это тот яд, который может отравить и тело и душу. Вот под-

пили мужик и баба, а затем что? Вспомните: «не упивайтеся вином, в нем же есть блуд». Не разъясняя этого очень естественного дела, я скажу, что от пьяных супругов нельзя ожидать здоровых и умных детей. Не знаю, как ваши науки говорят об этом деле, а мы, старики, с опыта можем засвидетельствовать, что из детей, зачатых в пьяном виде, выходят голые дураки и идиоты. Недостатки или пороки родителей наследуются детьми. Одно испорченное поколение может передать порчу нескольким... Скажите же, чем Россия возвратит народный здравый разум?..»

Кто же сей старец, который высказывает так много глубочайшего сочувствия к русскому народу, так скорбит о его гибели, который так ненавидит водку, что даже сочиняет собственный свой текст: «пьянства яко яда бегай»? Это не кто иной, как Д. Е. Бенардаки, бывший откупщик, распродаватель этого «яко яда», этого напитка, от которого погибает здравый смысл народа, яда, который искажает физически целые поколения, доводя их до идиотства, яда, который губит народ, первый в мире, которому предлежало бы блестящее будущее, если бы не этот яд, от которого надо, по писанию, «бегать» и которым так, однако, долго торговал в среде этого народа почтенный старец.

«Прошу вас, — сказал старец в начале разговора: — не смотрите на меня как на бывшего откупщика; я нажился от откупов, но буду говорить чистосердечно. Во-первых, откупная система должна служить позором для настоящего времени, и я сам не понимаю, как я решился на последние откупа, за что и получил достойное наказание, потеряв миллионы...»

(Ну а если бы не потерял, а приобрел?)

Известный английский филантроп Плимсоль всю жизнь и массу своих средств употребил на раскрытие злодейств одной мошеннической шайки, нажившейся получением страховой премии за суда, погибшие в океане. Шайка отправляла заведомо гнилое судно, застраховав его предварительно в значительной сумме и зная наверное, что судно должно погибнуть вместе с экипажем. Старик Плимсоль, не спуская глаз и не покладаючи рук, не из года в год, а из часа в час следил за этими плутами целые годы и довел дело до парламента.

Он убежден был, что шайка делает подлое дело и преследовал его виновников неусыпно. Мог ли бы он, будучи убежден, что дела этой шайки позорны, сам вступить с ней в компанию и потом, в свое оправдание, говорить: «не понимаю, как могло это случиться...» А у нас это зачастую, и нам не хочется только называть имен, лично не брезговавших грязью торговли кабацким ядом, переносивших смрад сивушного пойла, наживавших деньги от этого позорного дела, и в то же время, в смысле общественных деятелей и печальников горя народного, доходивших до щепетильной обидчивости в случаях простого литературного противоречия их широким «упованиям» на боготворимый ими народ.

Такова наша участь вообще. То, что называется у нас всечеловечеством и готовностью самопожертвования, вовсе не личное наше достоинство, а дело исторически для нас обязательное, и не подвиг, которым можно хвалиться, а величайшее облегчение от тяжкой для нас необходимости быть просто человечными и самоуважающими. *Сами мы* привыкли, и нас приучила к этому вся история наша, не считать себя ни во что, сами мы поэтому можем основательно *себя лично* допустить и перенести всякую гадость, помириться со всяким давлением, влиянием, поддаться всякому впечатлению: «нам лично ничего не нужно». Добиваться своего личного благообразия, достоинства и совершенства нам трудно необыкновенно, да и поздно. «*Уведи* меня в стан погибающих», — вопиет герой поэмы Некрасова «Рыцарь на час». И в самом деле: лучше увести его туда, а не то, оставьте-ка его с самим собой, так ведь он от какого-нибудь незначительного толчка того и гляди шмыгнет в стан «обагряющих руки в крови».. Тургеневская Елена в «Накануне» говорит: «Кто отдался весь, весь, *тому горя мало*... тот уж *ни за что не отвечает. Не я хочу. то* хочет!» Видите, какое для нас удовольствие *не отвечать* за самих себя, какое спасение броситься в большое справедливое дело, которое поглотило бы наше *я*, чтоб это *я* не смело хотеть, а иначе. оно окажется весьма мучительным для собственного своего обладателя. Иначе оно — «горе»... Горя мало *не отвечать* за себя, иметь возможность забыть себя, сказав: *не я* хочу, *то* хочет.

Да, «не отвечать!» «Лишь бы *мне* не быть в ответе»,

«мне *самому* ничего не надо!» и т. д., эта черта до чрезвычайности сильна в нас, то есть во всех сословиях, званиях и состояниях.

— Не согласны! — вопиет сходка, вся гуртом, протестуя против выбора старого старшины, явного вора и расхитителя. — Не желаем! Хотим Михайлу Петрова!

— Почему вы не желаете? — вопрошает непременный член, держащий руку старого старшины.

— Не желаем! Будет, наелся!

— Хорошо. Эй, любезный, вот что с краю-то, рыжий-то, поди-ко сюда.

Рыжий идет.

— Тебя как звать?

— Кузьма Иванов...

— Ты чем недоволен старшиной?

— Да мы ничего.

— Что он тебе сделал худого?

— Что я тебе когда худо делал? — вопро́шает и старшина.

— Я... что ж? Я худова не видал.

— Так чем же ты недоволен?

— Да чем мне? как прочие.

— Да не прочие, а ты прямо отвечай, доволен ты или не доволен?

— Я доволен.

— Обиды тебе не было?

— Чего ж? Обиды я не видал.

— Ну, ступай. Следующий! тебя как звать?

«Поодиночке» все — «ничего», «мы что ж?» «Нам нешто что?» «Я худова не видал» — и старый вор остается.

Или так еще.

Тот же старшина, еще только превращающийся в вора, после выборов на второе трехлетие, обращается к мирянам с такими словами:

— Вот что я вам скажу, почтенные господа миряне! слава тебе господи, хоть дело было мне и внове, а почитай, что промашки никакой не было. Так уж вы, старички, набавочку мне положьте. Я ведь не спуста к вам говорю, а вот..

«Начинающий» ловким жестом, как-то из-под бороды прямо в боковой карман «пиньжака», извлекает «портмонет», а из портмонета — жирненькую ассигнацию.

— Я ведь, почтенные, не спуста разговор завел, а вот от моих трудов двадцать пять рубликов на угощение, пять, стало быть, ведерок. а уж вы мне не поскупитесь, накиньте, чтобы для аккурату уж круглое было число... Бросьте полторы сотенки, а уж я заслужу, своих в обиду не дам!

И почти всегда такие воззвания имеют успех. За двадцать пять рублей прибавят сто, полтораста рублей жалованья и таким образом, наконец, сами воспитают действительнейшего наглеца и вора. Прибавят потому, что в отдельности никто не отвечает за эту подлость; если же бы в отдельности отвечали и свою нужду ценили так же, как и нужду соседа, то подлость поступка была бы совершенно ясна. Полтораста рублей дармоеду, когда сейчас, в ту же самую минуту, в деревне есть люди, которым буквально «жрать» нечего, когда, например, за поденную работу в лесу, в снегу и на морозе множество из этого «мы» берут по пятнадцать копеек в сутки за рубку дров.

Пьянство на Руси не личное («нам чего ж!.. с чего пить-то?»), а мирское, общественное. Волостное правление пьянствует, суд, словом, там, где надо дать волю народной совести, уму — там-то и водка; пьянство, так сказать, парламентское, а не единичное, дает главный доход казне. «Сам» никто не желает спиваться и пьяниц-специалистов чрезвычайно мало. Пьют «вобче», «собча», потому никто за это один на один не отвечает.. и за подлости, которые выходят из пьяных мирских приговоров, тоже нет никого «так чтобы виноватого».

— Доведись до *меня,* — скажет всякий из вотировавших прибавку ста пятидесяти рублей: — доведись до меня, так я бы ему алтына не дал, каков есть алтын, не токмо что... Кабы ежели *я-то!*

Что же после этого можем мы *сами* и в самом деле воспроизвести хорошего в общественном смысле, если мы можем только тяготиться своим *я,* постоянно убеждаться в его неразвитости, в его узости, трусости, податливости, словом — в его почти полном уничтожении? И вот мы с радостью и восхищением бросаемся туда, где можно лично не хотеть покоряться велениям, которые *«то»* захочет наложить на наши рамена, но сами мы таких явлений не создаем, потому что «самих нас» нет.

Нагрянет на нас война и прикажет нам помирать; охотно, с восторгом готовы мы это сделать, и мы тут бесподобны; но лично из нас, из нашего *я*, никаких благообразных общественных явлений пока не исходит: лично нам «ничего не нужно»... Лично я могу переносить школу с «гигиенической» скамейкой... Лично я могу терпеть голод, насилие, несправедливость... Лично я могу поддерживать несправедливость, дать взятку, примазаться по откупам... Лично я могу переносить глупую и пустую семейную жизнь, лично я знаком с трусостью и т. п. Что же я внесу в общественное дело? Чем я оживлю общественные учреждения? На чем я осную протест против общественных неправд? У меня *лично нет материала для общественного дела,* и на деле мы видим, что при беспрерывном гомоне, писанье, толкотне и разговорах об общем благе, о народе и т. д., ровно ничего человечески простого, нужного другим так же как и мне, не сделано.

4

Итак, около колыбели ребенка я, Тяпушкин, обнаружился вдруг и неожиданно как *я*, как существо ответственное лично. И тут я оказался плох до невозможности. Тут я оказался способным суживаться до ничтожества, даже враждовать против слишком назойливых требований моей мысли о личном достоинстве и личной смелости в предъявлении человеческих прав. Я видел, что на этой почве я могу пасть до ликующих, праздно болтающих, лгущих, врущих и опаивающих народ напитком, про который сказано: «*яко яд*». Но такому гнусному поведению, таким гнусным мыслям, такой гнусной перспективе будущего противилась вся моя мысль, все, что воспитано во мне всей моей жизнью, последней страницей. Терзаясь между полной невозможностью сделать смелым и разносторонним мое *я* и глубокой жаждой жертвы в пользу неведомого еще, но несомненно правого, всеобще-необходимого дела, я, волей-неволей, иногда приходил к мысли, что виновник моих мук, виновник пробуждения моих личных несовершенств — он, этот ребенок. И иногда, в минуты полного отчаяния, мне приходили мрачные мысли...

В одну из таких минут я очнулся. Я открыл в себе способность мрачной злобы, увидел, что это мое же личное свойство, свойство моей личной неразвитости или забитости, и сразу, навсегда, на веки веков решил, что я не могу, не вправе жить этой жизнью. Ошибка сделана, ее не поправишь.. Но я не могу быть тут. Мне именно нужно быть там, идти туда, зная, что *не я* хочу, — *то* хочет. Я был из числа таких образцово-убитых в личном отношении людей, что положительно иногда как бы даже ждал приказания. Вот-вот отворится дверь, войдет городовой и скажет: «Приказано, чтобы по воскресеньям все грамотные господа шли на фабрику учить народ читать, писать.. Довольно прохлаждаться». Или: «Велено, которые без мест и грамотные, гнать на Ладоцкий канал наблюдать, чтобы народ не грабили, не морили, чтобы честно рассчитывались. Довольно ему зря-то пропадать» и т. д. Вообще я думал, что потребуется масса, несметная масса народу, нужного в то мгновение для освобожденной деревни на всякую потребу, на службу началу обновления, началу личности.

Да, я убедился тогда, что в этом служении — начало нашей русской интеллигентной личности, начало нашего эгоизма. В этом отношении мы очень счастливы тем, что наш эгоизм смирен и подавлен, что мы прямо можем, не жертвуя ничем, приняться за работу в самом деле; для нас это — облегчение, счастье, прекращение горя. Но надо работать. Надо в самом деле выгонять зло из всех углов, в самом деле войти в нужду, в страдание, в самом деле учить, в самом деле лечить, давать хлеб, настоящий хлеб, тот, который можно есть, кров, под которым можно жить. Все тут должно быть непременно начато с полнейшей внимательности и правды, и непременно на деле; в этом опыте я, повторяю, видел начало нашего личного благообразия, начало действительных, серьезных общественных интересов, начало смысла в семье, в школе, в воспитании детей. Для начала этой новой, жизненной, правдивой, божеской эры, я ждал сильной, могучей поддержки, защиты, права быть смелым и искренним.

Но меня никто не звал. Городовой не приходил. На Ладоцком канале опаивали и обсчитывали, на фабриках не слышно было ни о каком просвещении. Напротив, чуялось, что от этого «подвига» (по-моему это неизбеж-

ная необходимость) по какому-то недоразумению отклоняли. Городовой говорит: «не велено пущать», и видно, что дело идет совсем не к тому, а к программе жить в *свое* удовольствие. Это мне показалось неудобным и неполезным. Свое удовольствие — но ведь это даже и малейшей работы мысли не требует! Эгоистически неразвитое сердце не разовьется на своем удовольствии,— ведь все по этой части уж обделано другими, все готово: от платья до напитка и языка; весь ритуал «своего удовольствия» — готовый, европейский. Итак, если нас обезличивала старая история византийством, татарщиной, петровщиной и т. д., то было страшно представить себе, что и новая также хлопочет не о праве самостоятельного развития, а предлагает готовую совсем, во всех деталях выработанную промышленность, кредит и даже «свое удовольствие». Ведь от всех этих готовых удобств можно с ума сойти, можно возопить, наконец, не своим голосом: «Уведи меня»!

И не готовым, не шаблонным, а оригинальным оказывался только один путь — обновление самого себя реальной работой для реальной справедливости в человеческих отношениях; исходный пункт этой работы был для меня чрезвычайно прост; можно ли умирать кому-нибудь с голода? Нет. Ну, и надо делать, чтобы не умирали. Хорошо ли такое явление, как проституция? Нет. Стало быть, не надо, чтобы она была. Нравится вам тип вора? Нет. Надо, чтобы его не было. А тип убийцы, а тип тонкого хищника, а невежество вольное и невольное? Нет. Надобно идти туда, где никто ничего так же, как и я, не знает, где кишит нужда в тысячах вещей, идти туда и делать то, что велит жизнь. Что именно должно выйти — я не знал, но знал, что именно отсюда только и выйдет смысл моего существования, и смысл моего слова, и смысл, и серьезность жизни вообще.

И я ушел.

С этих пор в жизни моей начинается совершенно новый период, начинается «опыт», не окончившийся и до настоящего времени. О результатах этого опыта я расскажу со временем; теперь же мне необходимо сказать

несколько слов в объяснение связи последних страниц с первыми страницами настоящих очерков. На этих страницах изображено несколько сцен из текущей действительности, сущность которых — внутренняя безрезонность и страшная тягота общего впечатления. Мне кажется, что такое положение дел есть плачевный результат плачевного недоразумения, вследствие которого «обязательное» для нас почему-то превратилось в запретное и не допускаемое.



СКУЧАЮЩАЯ ПУБЛИКА



I. МНЕНИЯ ФЕЛЬДШЕРА КУЗЬМИЧОВА О СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

...Сквозь крепкий, тяжелый сон давно уже ощущал я признаки какой-то суеты вокруг меня, надо мной и около меня, но решительно не мог раскрыть глаз. Что-то гремело и стучало над головой, что-то билось у самой головы, уткнувшейся в подушку лицом, что-то шумело и надо мной, и близ меня, и где-то далеко... И только тогда, когда все это стихло, я вдруг открыл глаза и понял, что это пароход останавливался у пристани, что около моей головы бились волны взбудораженной пароходом Волги, что на палубе вверху бегали рабочие, смурыгали канаты и гремела рулевая цепь.

Открыл я глаза, а вставать не хочется; ослепительные лучи утреннего солнца, отраженные водою на белый потолок общей каюты, играют, зыблются и слепят; в круглое окно подувает легкий свежий ветерок с запахом речной воды, по временам же и запахом рыбки, а подчас и нефти. Но лежать покойно, хорошо, и вставать не хочется. И вот, лежа и не поднимая головы, я узнаю, что в каюте есть пассажиры, которых совсем не было, когда я в Нижнем вечером сел на пароход. Один лежит и кашляет у меня в головах, а другой, вероятно, за общим столом чай пьет: слышно, как звякает в стакане чайная ложечка.

— А что капитан-то? Куда он девался? — сиплым, не то простуженным, не то опившимся голосом, хотя и с мягким и добрым оттенком, спрашивает пассажир, лежащий у меня в головах. — Ай вылез на пристани-то?

— Видно, вышел... Не видать что-то... Я, признаться, заснул, станции две проспал, не видал... Должно быть, вышел, и вещей нету...

— Однако, — кашляя сухим, тяжелым кашлем, продолжал мой сосед, — досталось ему по женской части, как порассказал! Довольно искусно!.. Должно быть, и баба тоже попалась вострая... Я считал, считал и счет потерял, сколько у ней душенек-то перебывало. Наконец, того, в сумасшедший дом упечатала!.. Эво как! В сенат, что ли, хотел жаловаться?

— А право, уж что-то не припомню... кажется... впрочем... в сенат.

— Как же! в сенат и в правительствующий синод... А по-моему в эфтом разе оставь, уйди... Коли сам весь в дырах, так уж что тут, какой синод. Ведь и ихнюю сестру тоже надобно пожалеть: из нашего брата сволочи-то тоже, слава тебе господи, сколько... Тоже ведь!..

— Как вам сказать? — с оттенком как бы серьезной задумчивости в голосе проговорил собеседник, пивший чай. — Конечно, причем же тут может быть святейший синод или, например, сенат? Но я вам вот что скажу: даже и молодому человеку, который, положим, что имеет, например, возможность, и то весьма трудное это дело, то есть женская часть!

— Н-не знаю! Не знаю я этого... Я даже так скажу: опасаюсь и соваться в эти дела; то есть, например, по этой самой дамской части... А что ежели сказать по совести, по чистой душе, так я склоняюсь к арфисткам! Перед истинным богом! Это я скажу при вас ли, при ком угодно... Чего мне утаивать? Свиное, так оно и соответствует к свиному.. Зачертишь недели на две — и бултых в омут, только и всего! Что же? Ежели и так взять: тоже ведь и они люди, арфистки-то!

— Я этого вопроса не касаюсь, а говорю...

— Чего уж касаться! Касайся, не касайся, а выше своего носа не прыгнешь. Мне маменька давно зудит: «женись, женись»... Зачем? По хозяйству у меня полон дом баб: маменька, две сестры. А ежели не для хозяйства, так я даже и опасаюсь... Сам-то дурак да дуру возьмешь — будет два дурака... Имназистку? Так она училась, понимает... А я даже ежели цифру которую подлинней написать, и то ошибусь сто раз... Нешто нас чему учили родители? — Так вот я и думаю, что самое подходящее нашему брату—арфистка. Мусор к мусору—и обоех в помойную яму; туда и дорога! Ежели этакая-то мусорная

дама иной раз и по морде тебе даст подгулямши, и то смолчишь: свой своему... А попадись нашему брату добрая, да умная, да смирная, да, сохрани господи, ученая, так ведь мы ее должны на части разорвать, с одного, что она хорошая... Наш брат тоже ведь, ух, какой дьявол бывает!

Все это сосед, лежавший у меня в головах, произнес медленно, совершенно спокойно, своим сиплым голосом, в котором я теперь ясно слышал ноту полной искренности и доброты. Даже такие выражения, как «свиное к свиному», «мусор к мусору», — выражения, казалось бы, рисующие негодование человека на самого себя, горькое сознание своих дурных свойств, — и они произносились им совершенно просто, единственно только как самые верные, несомненные определения, не больше.

Долго кашлял мой сосед сухим, удушливым кашлем после своего признания, и это заставило молчать собеседника, пившего чай.

— Отвечать на ваше предложение я не могу, — заговорил, наконец, собеседник, — я этих предметов не касаюсь, потому что человек я занятой. Но позвольте вам сделать такое замечание: с детства я нахожусь без роду и племени, без отца, без матери, положительно не имея пристанища. Что были дворовые при господах, да еще при жестоких? Ну, таким образом, я с самых первых ден видел самую горькую долю. Маменька была сослана за убийство ребенка своего, и не знаю... может, и жива еще! Каково это знать детскому сердцу? Следовательно, с детства я вполне понимал горе человеческое и видел крестьянские мучения, и душа у меня изболела... В последствии времени, когда это кончилось, господь меня призрел: приехал молодой барин, студент, человек совсем другого роду: ни псарни, ни этого кнутовья, ни чтобы насчет баб, ничего этого. Дом заколотил, жил в одной каморке, лечил мужиков... Совсем не то, что родители: добрый был, и призрел меня, обратил внимание, и вот в настоящее время я, с божиею помощью, имею кусок хлеба: я состою фельдшером в земстве; фамилия моя — Кузьмичов. Но только позвольте вам сказать: и земств много, и фельдшеров много, и членов, и депутатов — всего этого довольно...

— Сколько угодно! — сипло произнес мой сосед.

— Весьма много! Но так как, быть может, они не из нашего сословия, не знают горя, бедствия человеческого,

то хоть и получают тысячи, но общественного блага от этого не видать, то есть мало где можно встретить...

— Махонькими, значит, порциями? этак только на вилочку зацепить?

— Весьма вероятно! Но так как во мне из детских лет вкоренено печальное состояние ума и сердце приучено к содроганию, и потом учитель мой и благодетель, который воззвал меня из ничтожества и постановил человеком, также мне внушал, что такое есть долг совести, так я без хвастовства могу сказать, что во мне есть совесть и есть чувство. Я хоть и двадцать пять рублей получаю в месяц, но, по совести, с любым членом, который глотает тысячи полторы-две, в сравнение себя не поставлю. Это я говорю честно, благородно. Я хоть фельдшер, ничтожная часть человечества, но я обществу служу не на словах, а на деле. На словах много охотников, а ты поди-ка на деле, своими руками, носом-то своим сунься к болящему. А это в моей природе: сердце у меня нежное, и я скорблю! Приди ко мне мужик, или, например, пришли фаэтон какой-нибудь кулак, я пойду к мужику, а фаэтон подождет! Я смело могу сказать, что есть я деятель для общества, но не для себя. Я бы мог взятки брать, кулаков пользовать, но, напротив, без хвастовства говорю, сам даю свои деньги мужикам. К иному придешь — ни свечки, ни хлеба, ни дров, горячей воды не на чем вскипятить, обмыть больное место. Ну и даешь! Кулак сунет тебе «рубь», а я его мужику отдам... Я говорю не то, чтобы я хвалился, а собственно доказываю, что во мне есть природа совестливая и убеждение.

— Не знаю! — сказал сосед. — У нашего брата не слыхать этого... Она нашему брату даже во вред, совесть-то: — препятствует! Живем себе так, без совести, постепенно острога дожидаемся... Ты вот по совести хлопочешь, пилюли даешь, а наш брат подвалит тебе сразу какого ни на есть смраду из своей фабрики в речку, да распустит его верст на двадцать, одурманит и скотину и народ, а ты лечи там, давай пилюли!

— Это нам вполне известно! Мы с нетерпением ожидаем санитарного надзора, и, вероятно, со временем и будет достигнуто. Дело не в этом... Я вас покорнейше прошу обратить внимание на мои слова: мы завели речь о женском вопросе. Теперь, взявши, например, мое поло-

жение, спрашиваю вас: могу ли я иметь подругу, которая бы соответствовала моему сердцу, чтобы она понимала мою скорбь о ближнем и чтобы она не только не препятствовала, но побуждала? И я вам отвечаю: трудно!

— Не знаю, голубчик! Не касался я этого! Вот как лопнет наш банк, да поведут нас всех, подлецов, на цепи, вот и будет окончание. А пока что, ввязался в омут, вертись да совесть из себя выбирай, как причал из воды. А больше мы не знаем! Не знаю я! Боюсь я этого! Даже и думать об этом нам не подходит!. Врешь-врешь, вертишься-вертишься, да бултыхнешь туда, в «слободку», к «арфисткам», — ну, и будто в своем месте! Доберешься до навозу-то, ну оно будто и хорошо!

— Хотя вы, кажется, и преувеличиваете ваши взгляды, — после небольшого молчания проговорил собеседник моего соседа, — однакоже позвольте мне окончить мое мнение. Сколько я на своем веку ни соприкасался с женским вопросом, постоянно я вывожу заключение одно: очень трудно! И мне ведь тоже надобен иной раз угол, уют. Мерзнешь, мерзнешь по зимам-то, захочется в свободный час и погреться и слово сказать. Тоже существует сочувствие человеческое, называемое «рука помощи». Так — верите ли? — не выходит! Я теперича еду на новое место служения, а до сего времени я служил под столицей, близ большой станции железной дороги... Пункт бойкий, и служащего народу очень довольно. Дамского полу много. Даже так много, что, ей-богу, берет жалость: куда, думаешь, денется весь этот народ? У всех жены, и все родят. И стрелочники, и телеграфисты, официанты, повара, кондуктора, начальники станций, депо — у всех, у всех дети, и все больше девочки. Мальчики — и так, и сяк, ну, а девочки? Куда, позвольте узнать?

— А мы-то? — сказал сосед тем же беспристрастным тоном своего осипшего голоса. — С-слопаем! Это мы всё счавкаем, сделай милость! . В-ссё!

— Знаю! Знаю я это и без числа сам видел. В этом-то и состоит чрезвычайное огорчение.. И верите ли, какой был случай на моих глазах? Один обер-кондуктор, мало того, что от жены у него трое ребят, еще монашенку совратил (тоже пошла в монастырь из бедности), в своей квартире поселил и от нее двое уж, а в последствии времени нянька к нему поступила, так и тое!

— Да чего ты? Я тебе скажу, в Воронежской губернии купцы Белокуровы купили имение, так праздновали новоселье, и один наш был там, захватили его в Москве, так рассказывал: «Загон, говорит, против дому сделали. Против-то дому роща, так обнесли вишь ее столбами, по столбам канат вытянули да со всей округи баб и девок созвали и загнали в загон-то, перепоили, да, как стемнело, и пошли забавляться... Как волки, вломятся туда, в загон-то, подхватят что по вкусу и продолжают». Вот как бывает! А это что! Обер-кондуктор! Тут чисто как волчья стая. И никто не пикнет, потому «платим»!.. Поди-ка, откажись от щеколадной бумажки-то!.. Отказываться! Сами идут.

— Я про то и ужасаюсь, что сами, сами... Куда им деваться? Да что? Когда это обер-то кондуктор, как я вам рассказывал, няньку-то молоденькую вовлек, так та сначала было жаловаться хотела. Так что ж вы думаете? Сама жена и монашенка-то стали ее усовещивать, стали уговаривать, что, мол, «живи с ним, молчи, а то от места откажут». И сам-то он этим же действует: «Только, говорит, пикнешь, сейчас откажут; все подохнете голодом, со всем вашим племенем нарожденным». Молчат, живут, родят, друг дружку уговаривают... Вот вы чему подивитесь... Однакоже узнало начальство, и теперь, я слышал, точно что отрешили от должности, так что теперь извольте сосчитать, сколько народу должно по миру пойти?

— Да мы еще прибавим этакого же племени!

— Глядевши только на это, и то содрогаешься: куда это девать? Ведь, наконец, отвечать надо перед богом за человеческую жизнь. Но, с другой стороны, если взглянуть с такой точки зрения, чтобы начальство оставило этого самого обер-кондуктора на своем месте, так ведь сколько бы он еще ихней сестры перекалечил? Человек, прямо сказать, зверь, первый плут по всей линии.. Деньжонки у него водились, потому что, откровенно сказать, даже на парé брался провезти сколько угодно — и народу и товару — и никакое начальство сыскать не может... Весь поезд обыщи — ничего не найдешь, а он везет двадцать человек... Деньжонки у него завсегда водились. Так сколько бы, говорю, напортил и народил?

— Что ж? Ничего! Сколько угодно! Пока бог грехам терпит, да ежели, паче чаяния, еще годов восемь-девять

в острог нашего брата не пригласят, ничего! Вали, слопаем, сколько ни народи!

— В этом-то и заключается горе; и, главное, все это явственно, как на ладони,— вот перед самыми глазами,— и что ж? Которые вот, как вы говорите, женщины или девицы не слопаны, даже нисколько не страшатся! Как поезд подходит, полна платформа женского сословия; гуляют, пока есть во что одеться да есть что жевать. Мужицкого труда не знают, мастерством много не наживешь, да и много уж очень народу: пять девиц-швей на одно платье, гуляют себе, дожидаются, не подвернется ли жених, а не жених, так вот такой же обер, а не обер, так и так кто-нибудь, кто болтать мастер да посулы сулить. «Ведь вы же видите, Авдотья Петровна, говорю, бедствие: с одной то-то вышло, с другой то-то, с этой еще хуже, а сами стремитесь расплождать голодных? Не лучше ли вам выйти за мужика? По крайности при доме». — «Вот, стану я с мужиком жить!» Вот ихний рассудок!

— Да ведь тоже, поди-ка, поживи с мужиком-то, попробуй-ка его оглоблевой науки!

— И это знаю, знаю я! Но ведь лучше же трудом жить, чем так, невесть на что рассчитывать. Ну, пироги пеки, продавай, экзамент выдержи, учи, получай там что-нибудь! А то ведь в сиделки даже в больницу, на жалованье, и то с большим затруднением идут: все неведомо на что рассчитывают. «В депо еще, говорят, двое холостых остаются». — «Но позвольте, говорю, вам заметить, Марья Ивановна, что, во-первых, в депо Андреянов ни во веки веков не женится, а во-вторых, что у него сломана при столкновении нога; что ж касается Капустина, то потрудитесь счесть, сколько на него одного приходится девиц вашего положения? А ведь все только и думают, что «в депо еще двое остались». Позвольте, говорю, вам заметить, что в отношении этого дела и телеграфистам, и стрелочникам, и обер-кондукторам, и в депо, и в подвижном составе — везде, наконец, должны обозначиться предел, мера и граница». — «А может, какие другие должности произведут?» И хотя бы малейшая плачевность! Даже о себе нет никакого серьезного попечения, не то что о других. Случись с кем грех — сейчас осудят, а подумать, что и самой может угрожать падение, ни во веки

веков!.. Так вот извольте судить, возможно ли, предположим, хотя бы мне найтить себе подругу или какое-нибудь осмысленное существо, хотя приблизительно? Откровенно скажу, много их ко мне стремилось.. Все ж таки у меня место, жалованьишко какое ни на есть, да и молва про меня не худая; напротив, все довольны, потому что я исполняю свое дело благородно и сурьезно. Думают также они, что я, по примеру прочих, и мошенничаю, ворую в больнице и что, следовательно, у меня есть доходы, и в конце-концов, конечно, главное то, что я не женат. По этому случаю много я их вижу. «Михал Михалыч! У меня болит палец». — «Позвольте!» Осматриваю, ничего нет! Погляжу ей в глаза, а там все и обозначено. Говорю: «Во-первых, вам надо руки держать опрятнее, а во-вторых, заниматься каким-нибудь трудом, шить, или писать, или на огороде, тогда пальцы ваши будут здоровы. До свидания!» — «У вас никогда не добьешься ласкового обращения...» — «Что делать! я занят делами!» — «Какие вы грубые...» А иная придет (всё в больницу ходят, потому что я всегда занят) и затрещит опять все то же: «Михал Михалыч! У меня палец заболел...» — «Где именно?» — «На руке». — «Позвольте!» Только отвернешься за чем-нибудь, а она уж забыла, что и говорила-то; возвращаюсь: сняла чулок, показывает коленку. «Это что ж такое?» — «Я забыла...» А глазами все и оказывает. «Ну, сударыня, говорю, потрудитесь идти домой; вспомните, где именно у вас болит, тогда и приходите!» — «Да я и теперь помню». — «Где же и что?» — «Больше ничего, приходите к нам чай пить, а потом пойдемте гулять на озеро. Я вам что-то скажу!» — «Душевно благодарен, но у меня обязанности», то есть надевай, матушка, чулок и ступай куда тебе угодно, если не хочешь серьезно обдумать свое положение. То есть, ни малейшего абсолютного развития и чистокровный абсурд в голове! И ведь не то, чтобы притворялись или лгали, нет! все по чистой совести! Одна такая-то ведь как меня потрясла. Явилась также вот, уж не помню с чем-то, с пальцем или с чем другим, — то, се... вдова, трое ребят, молодая женщина... А мне что-то пригрустнулось, а может, и делов не было, только что думаю: «Зайду так, посидеть». Ведь одуреешь, молчавши-то! Зашел. Ну то, другое. Разговариваем. Я излагаю свои мысли, что,

мол, женщина должна способствовать, а не препятствовать, побуждать, а не опровергать; говорю, что общественное благо выше узкого эгоизма, что женщина должна выйти из замкнутого узколобия и обращать внимание также и на общественную пользу. Развиваю свои мысли подробно. Слушает, кажется, слова не проронит, наконец говорит: «Как вы, говорит, хорошо говорите, Михал Михалыч, что я даже все понимаю, а как говорят другие прочие служащие, то ничего нельзя понять, потому что одни глупости. Если бы мне опять выйтить замуж за такого человека хорошего, как вы, то я бы, говорит, не только что не стала препятствовать общественному благу и затруднять его поприще служения (ведь запомнила слова-то!), а даже бы, говорит, которые у меня от покойного мужа остались трое детей, то я и их готова искоренить со света, чтобы только предаться любимому существу!» Отпечатала мне она этакую-то прокламацию и сидит, сияет, думает: вот она мне в самый раз по мыслям попала, а я так — верите ли? — просто за нее-то со стыда сгорел! Не знал, как убраться домой, обалдел даже совершенно! Так вот как они понимают общественное благо!

— Не знаю! Не знаю этого! Чего не знаю, о том говорить не могу, — покашливая, пробормотал сосед.

— И этаких-то эпизодов в моей жизни — сметы нет! Посмотришь, обратишь внимание, а тебе в конце-концов такую засветят ерунду, что только давай бог ноги. Ничего кроме мучения! В последний раз, я вам расскажу, так я был до такой степени изумлен, что даже место решился оставить; думаю: «уйду куда-нибудь подальше и отрекусь навсегда от сочувственных мыслей». И еду вот теперь в Вятскую губернию, в самые дикие места. Познакомился я тоже, уж это, стало быть, после той вдовы, что я рассказывал, с другой вдовой. Тоже женщина молодая, и детей нет. По примеру прочих дам, пришла она в больницу, только не с пальцем и не с каким-нибудь притворством, а довольно сурьезно. «Просто, говорит, хотелось посоветоваться с вами: осталось у меня после мужа тысяча рублей, так вот мне бы и хотелось поговорить, как лучше сделать: торговлю ли какую открыть или пойтить в монастырь?» Объяснила она мне, что есть монастыри, где принимают с тысячей рублей на вечные времена: деньги отдай и живи до самой смерти. Говорит она

это хорошо, честно, благородно. А у меня перевязка, времени нет. Приглашает зайтить, поговорить. Подумал, говорю: «Хорошо! вечером зайду!» Вечером действительно я пошел к ней, и — откровенно вам скажу — очень она мне понравилась: и в домишке у ней хорошо, чисто, тепло, и разговор простой. Думаю: попробую я ее несколько поразвить. Куда ей в монастырь или в лавку? В обоих случаях одно дармоедство и праздное существование. Нельзя ли, думаю, как-нибудь порасширить у нее интеллигентные точки зрения и кругозоры? Поговорил в этом смысле. Говорит: «Я и сама думаю, что будто не подходит мне ни в торговки, ни в монахини». Закуску подала, водку; я, конечно, не пью, не люблю этого; попил чаю, ушел. Звала заходить, просила подумать. Подумал-подумал, вижу, что, кажется, почва будет благоприятна. Совесть мне указывает, что при таких условиях, я даже права не имею бросить человека, а должен содействовать. Надобно сказать, что я страсть как охоч до книг. Чуть мало-мальски свободный час, сейчас я за книгу, за журнал, газету... Все, что есть у нас на станции, у инженеров, в депо, у прочих служащих, — все это я постепенно перечитал. Задумавшись о вдове, прихожу к мысли — начать с чтения. Отобрал кой-где несколько экземпляров с тенденцией, понес, дал ей. Говорю: «Ваших вопросов, с которыми вы ко мне обращались, я еще не разрешил, а вот, говорю, пока что, не хотите ли от скуки заняться чтением?» — «Очень рада!» Даю ей роман и сурьезное сочинение. — Взяла. «Непременно все прочитаю!» Отлично. Захожу как-то. Говорит: «Роман прочитала, а эту книгу, сурьезную, не могла прочитать, ничего не поняла». И это мне понравилось: не врет. «Что же вам в романе особенно нравилось?» — «А нравилось про любовь, разговоры понравились, где короткими строчками написано, а где густо напечатано, так скучно!» И опять пришлись мне по вкусу и эти слова. Хорошо. Продолжаю разговор, говорю: «Напрасно вам такие именно места понравились». Начинаю разъяснять главную идею, говорю: это вот эгоизм, а это вот долг, происходит борьба и так далее. Затем объясняю, что на борьбу и надо обращать внимание, чтоб согласно убеждениям стоять либо за одно, либо за другое, и что вся эта любовная ерунда ничего не составляет... Ну, разъясняю все подробно; слушает. И раз

пришел и два... Шпильгагена «Один в поле не воин» притащил, прозудил ей первую часть сам, объяснил. Дальше — больше, выходит, что уж перебираюсь я к ней на квартиру, жильцом; уж мне скучно без нее; есть уж мне с кем слово сказать, потолковать... Как чуть выдастся минутка — за книгу. «Понимаете ли, в чем дело?» — «Понимаю!» — «Не можете ли рассказать своими словами?» Ничего, кое-как да кое-как добирается. «Я, говорит, теперь стала серьезные места понимать, а там, где короткие строчки, то мне не любопытно». Постепенно, таким образом, начинаю я привыкать, думаю, что она прониклась моими воззрениями.. Только раз получаю казенную бумагу: «Немедленно явиться в город к г. председателю губернской земской управы для личного объяснения». Что такое? Являюсь, не могу никак сообразить, а уж и в бумаге почуял я что-то неладное: что-то больно строго написана... Явился, жду. Выходит председатель, да как начал меня пушить справа налево. Свету не взвидел я. «Вы манкируете, злоупотребляете, роняете доверие и уважение к земству». И-и, боже мой! «Позвольте, говорю, ваше превосходительство, узнать, в чем я виновен?» — «А вот в чем!» — и показывает мне целую кучу жалоб от разных лиц: тогда-то приезжали от тифозного — не поехал; тогда-то требовали в деревню, где сибирская язва, — не поехал; тогда-то привозили сумасшедшую — не принял. Читаю, сам глазам не верю! Я-то? Да мог ли я в мыслях это допустить? Я полагаю в это дело сколько во мне есть совести, да чтобы я себе дозволил? Нет, это неправда! «Ну, чтоб вперед этого не было!» Воротился, рассказываю Анфисе Николаевне и вижу: покраснела она вся, сконфузилась и говорит: «Это я, Михал Михалыч, виновна; потому что я, говорит, вас люблю, жалею. Вы не как прочие... Как же мне вас не беречь? Тут приезжают, а вы только что отдыхать легли; ну я и говорю: «не принимают»... А то едут с тифозной горячкой, с язвой с какой-то... Мне вас жалко. Я говорю: «Пошли вы отсюда, бессовестные!» Уж вы меня простите... Этого и в романах не сказано, чтобы под сибирскую язву любезного человека подвергать!» Так меня ровно варом обдало от этих слов... И не врет, а что может быть хуже этих бессознательных выражений? Так с тех пор я и стал от нее сторониться... Так меня и стало

от нее относить дальше и дальше... Думаю: «Оставлю я все эти планы, уеду в пустынное место, предамся долгу, а эта женская любовь не подходит ко мне... она мне вредит, совесть мою ослабляет, а как совесть моя погаснет, так что я буду? Только детей распространять? Нет, это не по мне...» Так постепенно и отстал. Получил недавно от нее письмо, пишет: «Теперь я все понимаю и завсегда буду вас будить после обеда, в полночь и за полночь!» Хотел отвечать... да не знаю. Нет у них умственного кругозора! Вот в чем вся суть. Доброта есть и все, а что по умственному развитию — одно узколобие! Так лучше это дело оставить и отдать себя на жертву обществу. Вот я как думаю!

— Бог его знает, как оно там, — лениво, сипло и хрипло проговорил мой сосед. — Я тебе прямо скажу: каких-нибудь правильных мыслей у меня, перед истинным богом сказать, нету! Это я верно говорю... Чтобы, например, обсудить по совести, этого я не могу... Когда человек во всем своем смысле запутавши, так он окончательно не может этого. А только что вот говоришь ты насчет, например, глупости, узколобия, так, по-моему, это не так. Нет! И очень даже умные есть, оченно способные, — вот что я тебе скажу!

— Я не спорю! Позвольте вам сказать, я вовсе не против этого. Женский умственный мозг иногда достигает до двух фунтов весу, но я говорю вообче, так как...

— Нет, нет, любезный! Я хотя и слоняюсь по свиным хлевам, а тоже иной раз прочхнешься, подумаешь. Я тебе скажу, как меня одна арфистка отработала по морде, так это было даже в высшей степени благородно!

— Я не спорю; я только хотел.

— И не спорь! И я не спорил, потому верно! Следует! Достойно есть — вот как должно об этом думать. Она мне как морду-то наколотила!

Слово «морду» сосед мой произносил также без малейшего оттенка иронии, а как бы с совершенно спокойной уверенностью, что у него именно «морда», а не лицо человеческое.

— До такой степени нахлопала, что я три недели на свет божий не глядел, а все-таки должен сказать: хорошо! умно! А ты говоришь — «глупые»! Нет, оченно есть умные, братец ты мой! Это завертелся я как-то,

закрутил, замутил, зачертил, бултыхнулся в слободку, в «свое место», в свой хлев, ну и, конечно, как в пьяном виде, то уж и хрюкаю во всю!

Помолчав немного и откашлявшись, сосед мой продолжал свою речь так:

— Я коли ежели пьянствую, так я больше безобразничаю, хрюкаю, а не то чтобы... Я и к арфисткам-то склоняюсь потому, что хрюкать-то они не препятствуют: сколько хочешь ломайся; а по амурной части я очень боюсь, потому сыздетства напуган. Чорта я боюсь — вот что! Мы все больше чорта опасаемся. Ежели б чорта не боялись, так от нашего брата совсем бы житья не было, потому бога мы плохо знаем... Так вот, друг любезный, забрался я к моим арфисткам (я их всех арфистками называю, потому все они на одном положении), безобразничаю всячески: и пью, и лью, и ругаюсь. И они тоже, конечно, пьянствуют, жрут пойло. Хрюкал, хрюкал я, да и обругал одну, обругал зря, для своего удовольствия, и должно быть, что вполне осрамил я ее! Хмельна она, что ли, была очень, только не спустила! Аграфеной ее звали. Как обругал я ее всякими словами, как вскочила это моя Аграфена да как принялась лущить и меня и всю нашу братию, так я даже чихать начал, даже, стало быть, хмель стал выходить. «Ах вы, говорит, мошенники этакие! А кто нас по этакой-то дороге пущает? Кто у нас городскую рощу свел, по миру нас пустил, души наши загубил?». Да по уху, да по уху! И молчу, потому — верно! Видишь ты, что такое эта роща самая: когда заводился у нас этот анафема банк, так тогда мы действительно богатейшую городскую рощу срубили, бор назывался. Красота неописанная! Дубняк эво какой! Двести десятин этого самого дубняку было, да десятин с двести же разного хорошего лесу! Бывало, никаких болезней нету в наших местах, а уж жили, кажется, кругом в навозе; за зиму-то, бывало, эво сколько всякой язвы вокруг себя наживем, а весной дохнуло из бору, и все выдуло. В прежнее время нешто такие пьяницы-то были, как мы? У нас был дьякон, так тот восемьдесят пять лет пил ежеминутно чайными стаканами, а здоров был как бык; только, бывало, обтирает полотенцем лысину да шею: как хлопнет стакан настойки, так у него сейчас на лысине она и выйдет потом, эво какими ягодами

высыпет, что твой крыжовник. Обтер дьякон лысину полотенцем и опять пошел заново! А все от воздуху! Так вот этот-то самый бор мы, умные головы, и свалили до последнего прутика за тридцать пять тысяч; всего его, батюшку, сплавили на керосиновые клепки. Сбухали мы его, отца нашего, и получается у нас основной фонд для банку, для уширения производства и для произвождения потребителя. Отложили мы из этого фонда тысяч пяток, само собой, на благоустройство: столб с фонарем у полиции, столб с фонарем у тюрьмы, столб с фонарем у исправника, да на площади фонарь, чтобы нам, пьяницам, в реку бы ночью не свалиться и кое-как хоть на четвереньках дом свой разыскать можно было. На «откосе» беседку вывели, музыку поместили, и пошли гулять: «Который был моим папашей! Который был моим мамашей!» И как мамаша с гусем либо с селезнем.. и все прочее. Заиграла наша деревня любо два и пошла ходить колесом... Так вот Аграфена эта и завела речь об этой об самой роще, которую мы в основательный-то фонд поворотили и откуда пошло и папаша, и мамаша, и гуси, и селезни, и всякое пьянство... «Нешто бы я была бесчестная, кабы вы, подлецы, рощу-то не срубили? Моя маменька, покойница, в этом же домишке жила, где ты теперь, подлец этакой, сидишь, хрюкаешь; да жила-то она как святая, нас пятерых растила, да весь век честно и чисто прожила, а мы по чьей милости хвосты треплем да совесть свою, как свинья хвост, по грязи волочим?.. Когда роща-то стояла на своем месте, бывало, мы с маменькой и дров оттуда на всю зиму, на все лето натаскаем, и домишко ежели починить, и то иди в бор и бери; роща-то ведь, подлецы вы этакие, наша была, общественная. Натаскаем дров, всем нам тепло, вот и не надо нам вас, пьяниц, пускать к себе. А лето придет — земляники наберем, продаем, малины, брусники, ежевики и куманики... И сами едим, и людям продаем, и варенье варим. Варенье, морда твоя пьяная, пудами варивали, в Нижний возили, чистые денежки нам давали, не так, как твои, краденые, банковские. А кончатся ягоды — грибы пойдут, и рыжики, и опенки, и белые; и всего мы наберем, наварим, насушим, продадим и сами сыты, и деньги есть, и живем себе, бога благодарим. У меня было приданое почесть все готово, и я бы век прожила честно, благо-

родно, если б вы, поганцы, рощу не свели; самая маленькая сестренка, которую теперича вы должны слопать, и та бы по воскресеньям уж мало-мало рубь серебром на самоварах добыла; ведь по праздникам, по воскресеньям гулять приезжали в бор-то, чай пили. Так как же ты, морда, осмеливаешься меня ругать такими словами? Где лес? Где хворост — угреться, отопиться?» Да рраз по морде! «Где земляника? Где клубника? Где малина? Где ежевика?» Да по морде, да по морде. «Где грибы, опенки? Где грузди? Где подосиновики? Где рыжики?» Да в ухо, да в другое, да в третье, да со щеки на щеку! А я только: «верно! верно! верно!» А она — раз, раз, раз... «Вон из мово дома, преступленная душа!» да поленом по шее. Я ей двадцать пять рублей, а она меня кочергой! я еще ей двадцать пять, а она меня еще водоносом! Так даже совсем прочхался, бога вспомнил, опамятовался, пить было хотел перестать, потому дома пришлось сидеть, морду лечить. Вот как умно и благородно вышло! А ты говоришь — «глупы». Нет, брат, очень умны. Уж на что наш брат — саврас; а после этого бою я эту самую Аграфену возлюбил. Когда зажила морда, пошел к ней трезвый; пришел, говорят: «в лазарете лежит». Так что ж ты думаешь? В лазарет даже пошел, разыскал, спросил: «не надо ли, мол, чего?» — «Купи, говорит, пьяная рожа, мне швейную машину и не смей глаз показывать. Как выйду отсюда из лазарета, так я вас тогда, пьяниц, на сто верст к себе не пущу; буду жить честно!..» И что ж ты думаешь? Купил ведь ей машинку-то! Пятьдесят рублей отдал, послал, а сам уж и глаза боюсь показать. В других местах теперича пьянствую, а Аграфену почитаю. Вот как нас, подлецов, надобно учить! Очень даже умно, а никак не глупо. Ведь как рожу-то раздуло в те поры!

— Я положительно не оспариваю ваших доводов, — робко проговорил фельдшер, — я только хочу обратить ваше внимание на факт полного нерадения относительно гуманных начал и общественных интересов... Говоришь, бывало: «Анна Ивановна! Скажите, пожалуйста, что побуждает вас приставать и самовольно лезть к обер-кондуктору? Ведь вам известно, что у него уж есть, во-первых — жена с детьми; во-вторых — бывшая монашенка с детьми также; в-третьих, наконец, подготовляется к тому самому

продолжению и нянька. Неужели, говорю, вы захотите или согласитесь занять при нем какое-нибудь четвертое амплуа?» Отвечает: «Зачем же это я буду занимать какое-то четвертое амплуа? Никаких амплуа я даже и допустить не могу, потому что я довольно горда, а просто очень может быть, что он полюбит меня вполне безрассудно, и тогда он прогонит всех троих, тогда я и буду иметь его в самостоятельном распоряжении одна». — «А дети куда денутся?» — «А мне какое дело?» Ну, это как вам покажется? Ведь этакие живорезные идеи хоть бы и палачу так впору.. А поглядите-ка на нее так, со стороны, или, как говорится, с птичьего, например, дуазо,[1] так она, Анна-то Ивановна, оказывает из себя довольно миловидную брюнетку. Ручки маленькие и цветочек за ушком.. Погуливает по плацформе как ни в чем не бывало да ангельским голоском подпевает вот это же самое: «Который был моим папашей, который был моим мамашей». . Вот какие дела-то-с!

— Я, друг любезный, чего не знаю, о том и заикаться не смею. А что касается Аграфены, так завсегда скажу: «хорошо! верно! так и надо!»

— Вы указываете на единичное явление... Я же говорю вообще. Единичные факты и мне известны... Со мной был, например, такой случай. У нас в больнице окромя мужского и женского отделений существовало еще детское, для питомцев воспитательного дома; по этому самому случаю баб я видел на своем веку очень много, и хорошие все наперечет. Ведь ходить за больным, а тем паче за ребенком, надо много, ох! как много жалости к чужому горю. Я говорю про то: ежели хорошо, действительно то есть по совести, по христианству хорошо делать. Разводить сплетни, из-за тряпки поднять целый вавилон или так, зря, наврать, намутить — это сколько угодно! А по-хорошему-то — раз, два, да и обчелся. Особливо было невмоготу в летнее время: зимой бабы нахватают ребят в воспитательном, потому им деньги нужны, а пришло лето, настала рабочая пора — и являются целыми полками: «Извольте получать детей; нам

---

[1] Дуазо (франц. d'oiseau) — птицы. Фельдшер употребляет в искаженном виде известное французское выражение «с птичьего полета» (à vol d'oiseau).

некогда, жниво».—«Да куда же я их дену?» — «А мы почем знаем? Чай, начальство знает!» И без всякого разговора прямо и валят младенцев. Целую комнату иной раз набьют; и на полу, и на стульях, и под стульями — всё ребята: все орут, рты разевают; хоть вот ложись и умирай! «Да дьяволы вы этакие (иной раз, ей-богу, выйдешь из себя)! Ведь это — человечество! Ведь это — не дрова!» — «У нас, говорят, и своих много! ..» — и марш! К этому позвольте упомянуть, что у нас на пункте каждое лето учебный саперный батальон в лагерях стоял, и, следовательно, как есть один остаешься, как перст! Та влюблена — сидит, ревет, та ушла на свидание; та говорит: «обещал жениться, пожалуйте расчет!» То есть, я вам говорю, совершенный ад! Больные стонут, дети орут на все голоса, ни горячей воды, ни чистого белья, ничего! Никого не дозовешься, не докричишься... Бывало — верите ли? — сам на речку ходишь стирать! Вот в таком-то положении и посылает мне господь кроткого ангела. Нанялась в сиделки так девочка лет семнадцати. И ростом невелика, вроде Анны Ивановны; кажется, слабенькая, но что касается души — один пламень! Пришла, послушала, что я говорю, молча все это поняла и потихоньку, не спеша, без разговоров, все дочиста привела в полное совершенство: все больные напоены, накормлены, белье переодето, все ребята успокоены, лежат, спят; чисты, опрятны, везде чистый воздух; полы вымыла до такой степени — белей снегу. Думаю: «устанет! уйдет!» Ничуть не бывало. Ляжет спать — чуть кто пискнул — она тут, на ногах; и день, и два, и неделя прошла, все то же и без всяких разговоров все сделает, исправит... Рай земной! Положительно сказать, первый раз в жизни встречаю такое явление. Вдруг приводят одного молодого малого, из богатеньких кулачков, торговцев. Пьянствовал, ногу повредил, лечить привезли. Положили. Лежит, поправляется. Вижу, пялит мой кулачишка глаза на эту девицу, на Ольгу. «Что?» говорю. «Хорошая, говорит, Михал Михалыч, порция!» Я говорю: «Ты бы лучше капустные кочерыжки сбирал — вот твоя порция. А это — женщина, да еще какая! Ты рыло-то, говорю, свое сначала лошадиной скребницей оскобли, чтобы дозволить себе дышать около нее, не то чтобы думать худо, дурак!» А малый еще был молодой — понял мои слова,

почувствовал. И что больше лежит, вижу, все больше влюбляется, вздыхает, охает. «Жить, говорит, не могу, женюсь!» И Ольга как будто тоже что-то... Она все продолжает попрежнему со всеми бесподобно хорошо обращаться, все у нее вполне великолепно, а есть что-то. Однако малый выздоровел и на выписку идет. «Я, говорит, Михал Михалыч, женюсь на Ольге; сейчас к тятеньке, а завтра приедем с матерью, возьмем ее!» А между тем открывается сибирка, и уж человека два-три было. Вот я и думаю: «Конечно, малый он хороший и Ольга точно ему нравится, но что же должно считать выше и справедливее: общественное ли благо или личный эгоизм? Положим, что я устрою счастие Ольги и молодого парня, и они будут наслаждаться, а эти несчастные дети, больные мужики и бабы?» Что же, спрашиваю вас, справедливее: доставить ли удовольствие двоим, или спасти десятки? Думал, думал; жаль мне и Ольгу и парня, но совесть взяла верх... Выписал я парня, говорю ему: «Пойдем в трактир!» (а сам я отроду не хаживал). Пошли, поставил я пива ему и говорю: «Ты любишь Ольгу?» — «Так точно. Обожаю». — «Жениться хочешь?» — «Полным законом». — «Хорошо. А знаешь ли ты, какого она поведения? Ведь у нее был, говорю, от меня, от са-мо-го ме-ня ребенок; одного, говорю, она убила, а другого живым зарыла в землю. От этого-то она и тиха, потому что я знаю ее секрет...» Словом, так я ее расписал, что парень мой сидит да глаза таращит, а потом схватился за шапку да задами, через огороды, — домой... После этого иду я к Ольге и говорю: «Тебе, кажется, этот молодой человек понравился?» — «Он сам мне признавался... не как-нибудь... мы в закон». — «Ну так вот что, любезная, я тебе скажу: во-первых, этот молодой человек *вор* и уж два раза сидел в остроге, а через неделю пойдет в каторжные работы; во-вторых...» И тоже уж постара-ался! Так постарался, что она ревела, ревела у меня целый день, а потом очувствовалась сразу и опять пошла еще того превосходнее действовать. Истинно золотое сердце! Так вот сколько я должен был употребить обмана и лганья, чтобы удержать хорошего человека на поприще священных обязанностей!

Рассказчик замолк, позвенел ложечкой в стакане, хлебнул и проговорил:

— Я было думал навсегда ее удержать; ну, признаться, совесть зазрила. Как кончилась рабочая пора, бабы опять тут как тут. «Где наши шпитонцы? Пожалуйте нам!» — «Шпитонцы, дуры вы эдакие? Теперь пришли за шпитонцами, как деньги понадобились, а тогда что делали? ..» — «Будет тебе болтать-то! Давай, которые живы, не задерживай. А на место, которые умерли, новых надыть получать. Там, поди, уж про нас эво сколько запасено новины-то!» Ей-богу, истинные есть живорезы из этого сословия. Ну, роздал им остачу (много помирает), ушли, остались мы с Ольгой. . Сибирка тоже призатихла. Осень. Баб много. Саперный батальон снялся. Думаю, что я ее мучаю? Говорю: «Оля! ангел бесподобный, а ведь вот я как тебя обманул. .» И все ей рассказал. «Я, говорю, сам съезжу к твоему любезному, привезу его. .» И точно. Малый сидит как зарезанный: так я его ухлопал. Ну что же делать? Все обошлось как следует. Был на свадьбе. Да и много таких случаев было, но все это единичные атомы... А ежели посмотреть вообще, то положительно душа содрогается.. «Модмазель, — говорю одной, — вы должны побуждать своего мужа к честным поступкам и только в таком случае должны его любить. Ежели ж он совершил какой-нибудь подлый общественный поступок, то вы должны наказать его своим презрением». Что ж мне отвечают? «Я так думаю: который человек будет меня любить и даже готов себя из-за меня прозакладать, тот есть честный человек!» — «А если он обокрадет казну и подарит вам золотой браслет?» — «Кто любит женщину всей душой, тот даже и Сибири не побоится». Это называется любовь! А чтобы позаботиться о прогрессе, это, уж извините, никогда!

— Нет, ничего! Ух-х, как меня тогда Аграфена-то!..

На слове «ух» сосед мой сделал такое усилие, что осипшее горло его как-бы захлебнулось, и удушливый, затяжной кашель захватил его дыхание. Всякие разговоры прекратились; фельдшер побежал за водой, я тоже вскочил, прибежала даже буфетчица.

Однако все обошлось благополучно.

II. ЗАТРУДНЕНИЯ КУПЦА ТАРАКАНОВА

Эта маленькая неожиданность, заставившая меня покинуть покойное ложе, волей-неволей заставила также увидеть и моих попутчиков. Фельдшер был маленький, сухенький человечек с несколько постным и притом чисто крестьянским лицом. Белокурые, почти льняного цвета волосы были тщательно зачесаны со лба назад и подстрижены в скобку; одет он был чрезвычайно опрятно, в новенькую кожаную куртку, застегнутую до горла, и в высокие, выше колен, сапоги. Что касается моего соседа, лежавшего в головах, то это был человек также небольшого роста, повидимому купец, человек пухлый, раздутый, точно налитой; он был без сапог, в холстинной рубашке, плотно перекрещенной на спине и на груди старыми кожаными подтяжками; что-то залежавшееся, старозаветное виднелось в его фигуре со скомканной рыжеватой бородой, «пятерней» разобранными волосами и тараканьими усами, увенчанными малиновым носом величиной с пуговицу. Тугой, на солдатский манер, галстук, скрывавший ворот рубашки и очевидно с усилием застегнутый на два крючка на бритой, щетинистой шее, также показывал, что человек этот не «нонешнего» поколения и не нонешней развязности, а бараньи, круглые серые глаза навыкате, казалось, и при усилии не могли бы выразить ничего иного, кроме наивной забитости.

Долго чихал он, наклоняясь к полу и обеими руками отирая там, внизу, чуть не под диваном, на котором сидел, свое лицо и бороду. И не успел он еще привести их в должный порядок, как счел почему-то нужным повернуть

свое раздувшееся от кашля и тесного галстука лицо в мою сторону и сиплым прерывающимся голосом объяснить:

— Вс-се. от. пьянства!

Он хотел что-то прибавить, объяснить мне, новому лицу, дело «поподробнее», но опять ему пришлось нагнуть голову под диван, откашливаясь и чихая.

— Потому... жрешь. беспрестанно! — прохрипел он наконец, когда припадок окончился. Отчихавшись, купец умылся, после чего, обратясь к буфетчице, сказал: «Нет ли, матушка, тряпочки какой *рыло* обтереть?» и потом некоторое время молча посидел на своем месте, упираясь в сиденье обеими руками и тяжело дыша открытым ртом.

— Нет! — решительно проговорил он наконец. — Видно, надо горячим продолжать...

Эти слова относились уж не ко мне исключительно, а ко всем, бывшим в каюте, то есть и к нам, попутчикам, и к лакею, и к буфетчице.

— У меня две линии идут завсегда: первоначально горячим орудуешь, пуншами наливаешься, гринтвейном, все горячим — пока до предела. Ну, а уж как дойдешь до пункта, на другую линию поворачиваешь: тут уж все со льдом, со льдом, холодное; ноничe, видно, еще не в пору. хватил вот с ледком коньячишку, ан оно и захватило!

На маленьком столике пред купцом стояла бутылка коньяку, тарелка льду и какие-то рюмки и стаканы.

— Так уж ты дай мне тепленького, — сказал он лакею. — Кофейку с коньячишком... Лимонцу!

Лакей ушел исполнять приказание; ушла и буфетчица.

— Что ж это, позвольте вас спросить? — сказал участливо фельдшер, обращаясь к купцу. — Всё вы говорите: «пьешь, пьешь». Что ж это, недуг, что ли, у вас?

— Нет, запою у меня нету! Это мне и доктора говорили.. Вот как после Аграфениной расправы пришлось мне недели три дома просидеть, так я ничего, совсем стал человеком. Даже и охоты никакой нет пить-то! И рюмки не выпил. Ну, а как вступишь в публику — и пьешь!

— Да зачем же это?

— Ей богу, не знаю! Так вот, хлопаешь рюмку за рюмкой по случаю разных предлогов, только и всего!

И даже совершенно не понимаю, что такое? А глядишь, как час десятый, одиннадцатый приближается, уж и язык не действует, и ворот своих не сыщешь... Так вот, пес его знает, как выходит..

— Гм!.. — сказал фельдшер. — Странно!

— То есть, даже понять невозможно. Ведь это я знаю: коли не пить, то и пищу принимаешь хорошо, и в рассудке ясность, и вообще весь корпус оказывает крепость. Это я все понимаю. А так как и в мыслях, и в поступках, и в делах, и во всем спутавши, так вот и пьешь незнамо зачем. Н-ну, и дела не веселят. Торговлишка тоже кое-как... довольно как-то тупоумно идет... Да и так вопче все склоняет на пьянство... ей-богу! А что сурьезно сказать, даже и удовольствия не вижу. Ей-ей! Ведь даже скусу не вижу; что водка, что коньяк, что ром или там вина — ведь чистое, с позволения сказать, свиное пойло. Ну, какой в них скус? А лакаешь! А так я думаю, что вот мотаешься всю жизнь вокруг да около, пес его знает чего, так вот и жрешь все, неведомо зачем. Однова даже совсем было задохся..

Говоря это, купец поглядывал то на меня, то на фельдшера; но ни я, ни фельдшер не нашли возможным отвечать ему что-нибудь, несмотря на то, что объяснение им своего «пьянства» вышло довольно пространным. Наше молчание было скоро прервано появлением слуги, который принес купцу стакан кофе и лимон. Купец подлил в кофе коньяку, выпил, крякнул, похвалил и усы свои пососал...

— Так как-то оно, даже с самых первоначальных дней идет, — заговорил он. — Слышишь-послышишь, обсуждают разные времена, говорят: «порядку было больше в старое время, правилов, бога чтили». Не знаю! Ничего этого обсуждать не могу, ни новых, ни старых правил... А что касается об себе — ничего, кроме побоев, с детских дней не было. Только, бывало, и ждешь одного! И весь дом тож, бывало, — и маменька, и сестра, и братья, и прислуга, и приказчики, и все население — все, бывало, только трясутся целый божий день, чего-то опасаются... Конечно, нам нельзя осуждать родителей, а вспомнишь — ничего хорошего от них не было. И сам, бывало, родитель-то молчит, сидит в своей моленной, и весь дом молчит, шепчутся только, и собаки на цепях, и замки везде,

эво какие... А что такое? зачем? почему этакая строгость? — не знаю! Я моим глупым умом этого не могу понять... Трясешься, бывало, и все тут! Терпишь, терпишь, да случай выйдет, прямо в подворотню да в кабак! Напьешься, наколотят тебе шею, вычихаешься и опять молчишь. Не знаю! Порядки это или уж как иначе назвать, а вспоминать, перед богом, нечего. Завсегда, кажется, как себя начал помнить, не иначе об себе мог думать и полагать, как о самой последней твари, а кому от этого польза — не спрашивал. Да и про нонешние времена тоже не могу ничего настоящего сказать: ни то хорошо, ни то худо. При родителе, по крайности, знал одно: молчишь как зарезанный и мыслей даже нет; ну, а теперича мыслей тоже нету никаких, а врешь с утра до ночи... По моему счету, господа, стал я, например, врать, то есть без устали, лет пятнадцать либо двадцать тому назад, да и посейчас не предвижу остановки, разве что в тюремном месте прекратим это занятие, а что своим смыслом — не выбраться! Нет, не вылезешь!

— Да в чем же собственно дело? — спросил фельдшер в недоумении.

— Да в том и дело, что врем с утра до ночи, — вот в этом самом все наше дело и заключается. Как пошла леформа, так и стали врать направо и налево, от утренней зари до закату, пока на четвереньках до ворот не доползешь. Все только врешь, и больше ничего... Мы жили при родителях, ни о чем понятия не имели. И родители тоже никаких смыслов не могли разъяснить; мне вот теперь сорок шестой год, а я, перед богом, не знаю: и что такое Россия, где она начинается, где кончается, ничего не знаю! Знаю, что живу в России, а что она такое — неизвестно! Никаких правилов, порядков, законов, — ничего мне неизвестно. Лес дремучий — больше ничего! Про бога тоже мало знаю, ничего мы этого не понимаем, никакой премудрости не можем знать. Ни читать чтобы со смыслом, ни написать по-человечьи, ничего не умеем — одним словом, окончательно только получили от родителей один испуг, больше ничего. Что же мы можем понимать? Ничего! Ну, вот в этаком-то виде и всунулись мы рылом в леформы... Вот с тех пор только и делаешь, что врешь, да пойло жрешь, да с арфистками.

— Про какие же собственно реформы вы изволите говорить?

— Да про всякие.. Какие только ни бывали, во всех мы натоптали, насрамотили. А так, чтоб сказать, где больше, а где меньше, — не могу! Везде все спутавши ко́мом, и окромя острога нам не будет другого результата... Потому — нехорошо! Вот что! Батюшка-протопоп распространяет такое мнение, что, мол, в прежние времена «страх господень знали, бога боялись».. А Аграфена-то вон как нашего брата определила! Извольте-ка подумать, чего натворили из-за одной рощи, а ежели все-то поступки счесть, так и сметы даже не будет, сколько мы, окромя этой рощи, зла натворили! Стало быть, что бога-то в нас мало было, а не очень чтобы много.. Рассказать хоть про эту самую банку нашу. Сокрушили мы эту самую рощу, всякую черноту и голь оголили, сирот осиротили, и на эти, на сиротские, на Аграфенины, стало быть, деньги стали уширение делать потреблению, само собой уж с молебном, конечно уж и слово протоиерей сказал, ну только надо прямо говорить: слабоватое было слово; не в привычку еще было об таких делах «по писанию» разговаривать; только всего и слышали, что «мзда» да «мзду». Ну, а вот один из светских, из ловких, так точно сплел хороший бредень! Этот, ловкий-то, главный был воротило в этом деле. Жадного народу у нас много, ртов-то, например, лохматых оченно даже довольно, а чтоб как-нибудь форменно обработать порцию, нет, не мастера; разговору нет никакого, и выдумки тоже никакой нет. Так, ежели просто по-щучьи сглонуть кусок — можем! Разинем рот и дожидаемся, покуда в него сама порция вскочит; ну, а чтобы свое разбойство поблагородней представить, нет, не умеем! Чавкаем, да пальцами играем, да кланяемся — в том наше и образование все. Так уж само собой таким людям на подмогу требуются люди по словесной части: то есть чтобы все привел в форму, расписал, обгородил, чтобы нам не беспокоиться ни о чем, а только бы пасть свою разевать во-время. Вон и в нашем деле такой-то тоже был инструмент. Еще когда рощу сводили, так он тоже много в думе бормотал на разные манеры: «Рыск, говорит... В Америке, вишь, завсегда рыск... чрез это и богатство... утром, вишь, нищий был, поймал рыбу, продал, сейчас деньги в оборот —

к обеду у него сто тысяч, а к вечеру миллион. В Америке, вишь, поезда без остановки ходят. Пассажиров прямо с багажом в окно швыряют, и ничего: сейчас встанет и побежит, потому — время дорого, от этого и оборот быстрый, проценту много, не то что, мол, у вас: набили сундуки деньгами, да и спите на них!» Всяких слов тогда много набормотано было! Мы ведь оченно прекрасно понимаем, что это одно бормотанье, да носом чувствуем, что по нонешним временам именно на такой манер требуется лапу-то запускать, то есть чтобы с Америкой было, и с производством, и со всем прочим припасом, а не просто по-волчьи: сгреб за хохол и поволок в лес... Ну и бормотал этот парнишка во всех местах: и в думе, и в губернии, и в Питере. Все и выхлопотал и утвердил. Так вот этот-то ловкач и на молебствии тоже от себя слово сказал. Само собой и про Америку, и про всякую небылицу в лицах: «а что касаемое, говорит, до вкладов, то мы в надежде, говорит, что все почтенные старцы и вдовы и прочие, например, преклонные люди принесут нам свои крохи, и будут они, говорит, доживать свои дни спокойно, без забот и трудов, потому — будет им идти дивидент, подобно, говорит, как в писании сказано: «не сеют, не жнут», а получают дивидент со всех продуктов и живут во славе, превосходнее Соломона!» Вот так и началось; пока что бормотали да бормотали да лес рубили, — глядь, а уж вокруг этих денег два-три человека есть. Своими ручками их держут: Иван Кузьмич директор, Артем Артемыч член и Кузьма Семеныч член... Стало быть, один дядя, один племянник и один двоюродный брат. Один одному подписали три векселька, попереду всех денежки взяли — хвать-похвать — эво, какая сила у них вышла! Чисто вот как ловкач-то про Америку сказывал: утром ничего не было, а вечером — хвать-похвать из Аграфенина лесу — и богачами сделались! И видим мы, лавочная мелкота, что не сегодня — завтра нам точно подохнуть придется, потому у них сила явная в лапах-то! Набрали денег эти самые сродственники и так грозятся, что большую торговлю откроют и всех нас проглотят. И видим, нет мудреного ничего. Надобно, стало быть, и самим лезть либо в перебой, либо в компанию. И покупатель-то нам весь начисто известен; всего-то его по пальцам пересчитать можно, а что делать? Надо

тянуться! Вот таким родом наша мелкая братия и лезет в союз к сродственникам. «Не губите, мол, а примите под крыло!» — «Извольте!» — «Что же требуется?» — «Берите у нас товар; больше ничего и не требуется, только всего!»— «Что ж? Позвольте товару!» Отвалят товару на пять тысяч, девать некуда! Произведут в члены, подыщут таких же дураков поручителями и деньги выдадут, то есть денег-то не выдадут, а в уплату за свой товар в карман себе положат, а мы только, как курица лапкой, нацарапаем: «пять тысяч получил купец Тараканов. .» Как ты эдак-то хоть один раз поступил, то есть воткнулся в ихнюю компанию, с этого самого числа и начинаешь ты, друг любезный, врать без передышки.

— Почему же? Зачем все это нужно?

— Уширять производство-то? Да я и сам не знаю, зачем! бог его знает! Уширять да уширять... В Америке, вишь, и чемоданы в окно кидают и письма, и пассажиров вышвыривают, так вот, говорят, и вы должны чувствовать... Кабы без этой, без Америки-то, так я бы с маменькой да с сестрами-старухами так бы и век свековал на капусте да на квасу. Как была лавка при родителе разукрашена — на правой стороне у двери арап с цыгарами, а на левой — китаец с чаем, — так бы, пожалуй, посейчас этим же украшением украшались, а тут, как пошла леформа да уширение, да как товару я себе навалил выше головы неведомо зачем, вот тут я и второе притворство должен сделать: китайцев, арапов снять, наново разукрасить, ланпу повесить да окна эво какие разломать, чтоб товар сам человека звал: «и не хочешь, да купишь». Не то что, как прежде, по зимам в трех шубах в лавке сидел: теперь я притворяйся роскошным человеком. А душа-то уж начала трястись, и уж трясется без перерыву: покупатель-то как был старинный, так и теперь он же все; достатки его известны, чиновничьи, а оборот-то уж во сто раз уширен, да за одни окна, да за ланпы, да за всякое благолепие ухлопано немало капиталу, а отдать-то его надо, все из тех же четырех человек, из их же надобно экую прорву вынуть. .А срок в течение времени приближается. . Бежишь, в ножки кланяешься либо к Артем Артемычу, либо к Кузьме Семенычу. «Хорошо, говорят; как ты теперь большой коммерсант стал, так ты, говорят, так же подмахни векселек Артамон Петровичу; он, мол,

имение покупает, а ты для себя там-то поищи; не ударь только лицом в грязь, а мы подсобим». Кое-как срок минет, перевернут, перелицуют тебя, а на шее, глядь, уж две петли: и за Артамон Петровича и за самого себя. Тут уж надо вместо одной лампы две вешать, чтобы еще великолепней представиться, а на душе-то уж эво сколько мусору! Уж знаешь, что Артамон-то Петрович имение купит, лес спустит, денежки в карман положит, а потом ищи с него, да и у самого-то приятелей неведомо каких набралось с десяток... И один говорит: «Подпиши», и другой: «Мне замуж дочь отдавать». А другой говорит: «Мне тоже деньги нужны»... А между тем у меня в великолепном магазине преет товару целый стог: и папирос и всяких щеколадов видимо-невидимо! Напрело его, нагнило, а опять подходит время перелицовку делать. Артем Артемыч и говорит: «Хорошо, возьми еще товару, улажу!» Мало что гнилого продукту полон сарай, еще бери! И опять, как перелицовка прошла, глядь — на шее-то не две и не три петли, а уж под десяток подходит! Тут уж как-никак должен я на хитрости подниматься; надобно мне первым делом гнилье сплавить, а вторым делом — надобно настоящих денег добывать, потому вижу я, что через перелицовку эту только один острог впереди оказывается... И я вижу острог, и другой его замечает, и третьему он снится.. Вот мы и сами уж начинаем распространяться: по-волчьи, тихим манером, из города-то да в деревню, стало быть, уж прямо «в овчарню». Начинаешь в свою веру оборачивать деревенских кулачишек, ободряешь его, сластишь барышом, пасть-то ему щекотишь... «Мы, мол, тебе, а ты нам!» И разводим этаким родом свои станы, притоны, спускаем туда всякий хлам, а оттуда уж живье прямо с мясом выдираем. Ведь уж тут, в деревне-то, ищешь прямо волка, а не человека с совестью, потому — надобно, чтоб он сахаром да чаем, ситцем линючим да папироской прелой выдирал бы живье, настоящее добро оттуда. С совестливым человеком на такие дела нечего и знакомства заводить. Ну, вот таким-то манером и выходит, что без пойла никак невозможно... Ну и жрешь его.

— Но, — сказал фельдшер, — почему же к одному безобразию нужно еще другое прибавлять?

— А потому и прибавляешь, что мусор, так он к мусору и соответствует. Тут уж нельзя, друг любезный, над книжкой или над писанием вечерок посидеть, когда целый день врешь да как бес извиваешься; тут уж даже совесть запрещает по-хорошему-то думать, а указует идтить душу отводить в худые места, пьянствовать, к арфисткам... Кабы мы по совести жили, нам бы и рощу незачем рубить, незачем нам и арфисток распложать и кулакам пасти ихние расщекотывать... А как все дело постановлено на жадности да на наживе, да чтобы «не сеять, не жать», а дивидент получать, так тут правды нисколько нет, а коли впутался в это дело, так и знай, что во всех поступках будет кривое. Вот с пойлом-то уж кое-как тянешь, а без пойла и совсем плохо: векселек ли переписать, первым долгом — врешь: «у меня на долгах, мол, двадцать тысяч», а во-вторых, угощаешь и сам пьешь. Поручителей подыскать — опять врешь и опять пьешь; торговля стоит, а напоказ надо, чтоб она бойкая была, только пьянством это и оказываешь; в деревне с кулачишкой пьешь, с приставом пьешь, чтобы взыскивать без послабления, старосту угощаешь, чтоб наши долги первыми выбрать в ту же секунду, как должники-мужики хлеб снимут, сено пересушат, телят выпоят. Со сходом пьянствуешь, чтоб кабак сдали, и тоже само собой врешь без совести: надобно доказать им, что, мол, «вам от эфтого будет польза»... от кабака-то! А ничего, изловчаешься: «Точно, говорят, хорошо! Много пользы от тебя... Кабы не ты, нам бы пропадать»... Эво, как врем-то! . Этак с тверезых глаз даже и невозможно сделать, а с пуншем в башке можно что угодно. На все смелость объявляется.

— Ну как вам сказать? — проговорил фельдшер. — По этой части, то есть насчет злых поступков, в наших местах оченно даже много трезвых людей. Самые лютые, я вам скажу, даже и чаю не пьют, а дозволяют себе иной раз кипяток с лимоном... Даже полные постники есть из этих ехиднов.

— Это уж как кому по характеру. А что касается, например, меня, так я, как ввязался в это «уширение», беспрестанно не в натуральном состоянии: то горячим наливаешься, то холодным в чувствие входишь, а так, чтобы в светлом уме быть, — очень редко! Ввязавшись в этакую темноту, где уж тут свету искать? Тут — что ни шаг,

то темней да темней. Мало того, что по торговой части врешь с утра до ночи, — и по прочим-то частям тоже только лганьем приходится действовать. Даже и совсем в посторонние места гадость свою принуждены водворять. Путаем, путаем в банке, глядь, выборы в думу назначаются... Вот мы из банка-то и ползем в думу срамоту разводить, потому что мост ли какой строить, мостовую мостить — всякое дело денежное нам подавай: Иван Семенычу, Артем Артемычу — все жадны, все запутавшись, всем деньги нужны. И лезет наша партия. И опять поим, подкупаем, обманываем; зато уж друг за дружку крепко держимся: сами цену назначаем высокую, сами и свой материал ставим, сами и постановления делаем, чтобы этакие-то или другие думские деньги в наш же банк внести, да на эти же деньги и орудуем. Ведь такие дела надобно делать в потемках, на такие дела надо подкупных людей, обманных, обжорливых. Поври-ка поди, попробуй, покуда гнездо-то ястребиное вполне сформируешь!.. Тут ведь сколько народу-то надобно в бессловесное состояние привести, чтобы он тебя в этаких подлостях поддержал! Или — возьми земство: и сюда нам надобно свое рыло всунуть: урядника я, положим, подмазал, и старосту купил, и старшину купил, и волостной суд одурманил: все они мне свою службу сослужили в нужное время, когда у Ивашки телушка оказалась: указали, вовремя ее захватили, без замедления продали и денежки мне предоставили... А Ивашка-то мировому пожаловался, а мировой-то взял да и сделал по совести — всех нас опроверг, Ивашку оправдал, с нас деньги назад требует, да еще и следователем стращает и судом. А нам это нельзя. Ежели нам дожидаться, пока Ивашка телушку продаст в свое время и с выгодой, так ведь мы свое время пропустим и без выгоды останемся. Какой же это порядок? Вот и надо нам судью неправедного, чтобы и кулачишке он был подвержен, чтобы по-нашему и об Ивашке думал, чтобы, словом, Ивашка ни в каком разе у него никак ничего не выигрывал, а только бы все проигрывал по судебной части... И вот мы опять за пойло, за подлог, за подвох, за дурман, за всякие наши средствия: опоить, запутать, стыд из человека вымотать, к арфисткам его свозить да потом женой пригрозить, словом — всеми способами! Ну-ка, подумай, друг любезный, как тут

не подкрепиться напитком? Тут уж даже прямо совесть надобно водкой заливать, и свою и чужую... Ну вот и глотаешь всякое пойло... а зачем все это и кому какая от этого разбойства польза — перед богом, не знаю! И зачем врем и пьем — тоже мне ничего неизвестно!

— Но скажите же, бога ради,— с раздражением проговорил фельдшер, — неужели во всем вашем обществе не нашлось порядочного человека, который бы вмешался в эту свалку, разоблачил, вывел на свежую воду? Неужели нет честных, искренних людей?

Фельдшер сильно взволновался и вознегодовал, а пока он громко роптал на все это безобразие, купец Тараканов вытребовал себе стакан кофе, налил в него коньяку и, не отвечая на вопросы фельдшера, молча выпил почти весь стакан.

— Насчет честных, благородных людей, — сказал, наконец, Тараканов, — я тебе скажу вот что: оченно даже их много в наших местах. Не то, что честные, а, прямо сказать, ангельские есть люди; ну только мы им никаких поступков не дозволяем... У нас по всей линии требуется человек с гнилью, чтобы совесть у него была подмоченная, а человек правильный, справедливый — чисто один вред нам... Ты сам посуди: открыть кабак — мне надобно старосту получить корыстного, старшину бессовестного, писаря пройдоху; надо всю сволочь вокруг себя собрать, чтобы хорошим людям проходу не было. Мой сиделец деньги в долг распущает, обирает у мирских втридешева всякий продукт, норовит в голодное время захватить — опять мне требуются люди не настоящие: и становой, и мировой, и пристав — все мне требуются не из благородного народу... Повез я это сено в город. Обменял я его на чай, сахар; на десять целковых у меня мужик набрал за зиму, а я сеном отдачу взял, пять копеек пуд, — стало быть, двести пудов; по тридцать копеек я его пожарным лошадям ставлю... И тут мне тоже надобны на всей дороге люди неправильные: нужны они мне в думе — чтобы цену несообразную утвердили, нужны мне они и в полиции — чтобы двойную расписку выдали... Лекарь мне требуется также с фальшивыми мыслями: чтобы сына моего забраковал при рекрутчине, оставил бы его мне в моих делах орудовать, показал бы его, что у него сердце очень стучит, когда он с арфистками пьянствует, и чтобы он на

место моего сына взял Аграфенина брата. Так видишь ты, друг любезный, какая тут окружность выходит! Где тут поставить хорошего человека? На коем месте? Поставь его — он тебе всю механику и испортит! Какой-нибудь писаришка волостной внушит мужикам упорство, ан, глядь, оно по всей линии отозвалось! Так вот мы и стараемся всё, чтоб под масть было, чтоб и в полиции наши, и в думе наши, и в земстве наши бы, и в волости, и в деревне... А трудновато!

— Трудно?

— Трудненько! На моей памяти, хоша можно сказать, наш брат, живорез, и с большим успехом орудовал, а чтобы совсем без помехи — нет, не было! Война шла с честным народом постоянная, беспрестанно, по всем местам... Конечно, пока что наша взяла, а что беспокойства завсегда много было. То учитель где-нибудь хороший человек объявится, очувствует мужиков; то священник вступится; то — нет-нет — писаришка окажется с совестью, то мировой, то становой. То вдруг, откуда ни возьмись, просто даже сказать, гимназист какой-нибудь объявится, да все это и пропечатает в ведомостях! И цена-то ему, гимназисту-то, всего два гроша; ростом дай бог семь четвертей чтобы вышло, а ведь какие медведи пужаются! Артем-то Артемыч уж на что даже обомшел в своей берлоге, улежался в ней как медведь: ни собак, ни проезжих не боится, на санях даже через него ездят, а он и ухом не ведет, а и тот, бывало, как этак-то гимназист объявит дело, так трясется, бывало, бородой вертит от страху, как поросенок хвостом! Ничего не сообразит, не знает, как взяться.. Конечно, покуда не знает способов, а как надумает — и опять ничего... «Чей, мол, этот мальчонка?» — «А отца Ивана, троицкого попа...» Ну, вот уж и есть ниточка: ежели учится, нельзя ли через начальников: тож — и из ученых бывали нам подверженные. Ежели так живет, нельзя ли на родителя налегнуть: приехал он в рождество — «Не примаем!», приехал в святую — «Не примаем!» Попросил из банки деньжонок — дочь отдавать замуж — не дали; глядь, и начнет отец на сына налегать да напирать, ан и прикусил язык! А который человек даже и никому из нашей компании не подвержен, так и того можем ублаготворить! Слух пустим: «Не жена, мол, с ним живет, а любовница...» Глядишь, в клубе

загалдели, на «откосе» забормотали... Ходит человек: видит, неладно что-то! Оскорбляется, обижается, до скандалу доходит, а нам тò и любо! Ну-ка, послушай-ка, как у мирового-то про твою жену всякая сволочь будет разговоры разговаривать! Глядь-поглядь, и сплыл куда-нибудь в другое место, подальше от греха... Был у нас один мировой из «наших» членов, и все потрафлял и все потрафлял, да однова как-то не потрафил — и вышла расстройка. Так мы так его доняли, что в последствии времени даже раскаяние приносил. Так вот, друг любезный, как мы орудуем, производство уширяем!

— Боже милосердный! — сказал фельдшер в сильном волнении. — Но когда же все это кончится? Ведь должен же быть когда-нибудь положен конец этому безобразию?

— А как же? Должен! Беспременно. Даже и сейчас видно, что оканчивается это самое уширение производству.. И сейчас уж тюремные места обозначаются... Как же! Будет конец! Без этого нельзя! Там уж, то есть в нашей компании-то, идут приготовления: поди-ка теперь к Артем Артемычу в магазин да спроси: «Где, мол, хозяин? Видеть мне его требуется...» И выйдет к тебе кучер. «Мне бы хозяина» — «Да я самый и есть хозяин». — «И магазин ваш?» — «Так точно». — «И завод?» — «И завод мой-с!»—«А Артем-то Артемыч что ж теперича?»— «А они у меня в приказчиках состоят!» Эво как! Хозяин на козлах сидит, кнутом погоняет, а приказчик на хозяйском месте, в скунсовый воротник свою бороденку уткнувши, сидит! А у Кузьмы Семеныча, так у того и совсем нет ничего: ни дома, ни фабрики, ни имения: одно продал жениной сестре, другое, вишь, за долги братнина свояченица взяла, а третье тож с аукциону двоюродному племяннику досталось. А сам состоит при бывших своих имениях только в сторожах, три целковых в месяц получает. Уж там, брат, идет пьеса, приготовляются к представлению! Кто дворником нарядится, кто кучером, кто приказчиком, кто чем! Ни у кого ничего нет, только векселей полны сундуки в банке. Пробовали было красным петухом бала́нец заключить, и даже сундук-то из казначейства с векселями представили в банк — стало быть, к поджогу; ну, не вышло! А все было обделано опрятно... Мне

сторож банковский все подробно описал. «Подожгли, говорит, из другой улицы, с задов. Иван Мухин, мещанин, от самовара загорелся в праздничный день... Все на гулянье, на дачах...» Сказывают, Иван-то Мухин за свой домишко три тысячи взял чистыми деньгами. Огонь-то должон был идтить прямо по сараям, сенникам, к банку. Сторож-то мне говорит: «Я все чуял, все видел; и которые где книги, бумаги лежат,— всё знал; слава богу, поди уж под двадцать лет гляжу на все это... Думаю: спасать или не спасать? А ну как потом раздавят? Ведь компания плотная, союзная, долго ли меня расплющить? Подумал, подумал, побоялся!.. А чтоб перед судом не отвечать, принялся образа спасать да зерцало; в этом худова нет...» Ну только не дали сгореть ни синь пороха; все как есть цело осталось: стало быть, частный пристав один, Камушкин, все спас с сердцов, со зла...

— Как так со зла спас?

— А вот каким манером вышло это дело. Камушкин-то этак долго состоял в этой самой компании, и лютый был человек, жадный! В думе ему цены сделали на сено, на овес, на весь комплект хорошие, и счетов не требовали, только подписывали, что он напишет, и выдавали, что потребует. И в банке ему кредит был, так что он даже домик под горкой с арфистками установил. Всякое ему денежное послабление было... Ну, а за это и он уж старался: ежели кому надо, доймет паспортами, мостовой, гигиеной этой самой, штрафами, или ежели и в губернии потребуется намутить против какого-нибудь — намутит, затмит... Так вот все у них и шло попромежду себя честно, благородно и долгонько-таки... Вдруг, братец ты мой, приезжает к этому самому Камушкину сын; пожил лето, походил, погулял, посмотрел, послушал, а по осени поехал в Питер, да и пропечатал в газетах про все это наше представление... Вот Артем-то Артемыч и гонит за Камушкиным: «Что ж это такое? Как так? Какая это с твоей стороны благодарность, ежели ты сыну своему родному не мог внушить здравых понятий?» А Камушкин-то не будь дурак — знал уж, что дела компании-то пошатываются, прорехов очень много, — говорит: «Ежели хочешь, чтобы мой сын все свое писанье опроверг, так я ему прикажу. Давай мне за это мои векселя, которые в банке». Получив он свои векселя написал сыну, пригро-

зил, повелел ему опровергнуть, а тот, не послушавшись отца, хвать-похвать, и во втором экземпляре отпечатал; да еще лучше первого разные тайности обнаружил. Опять Артем Артемыч за Камушкиным гонит: «Что ж это такое? Скажи на милость? Ведь весь город загалдел про нас; ведь подписана фамилия твоего сына... Все говорят: «Стало быть, правду пишет, от отца узнал». Сделай ты так, бога ради, чтобы он язык прикусил! Уделай, говорит, ты ему *неблагонадежность!* Я тебе на ремонт в думе выцарапаю тысячи четыре, пять»...—«Ну, говорит Камушкин, ладно! Уделаю, говорит, я ему неблагонадежность. Выводи на ремонт пять тысяч, присылай талон». Талон ему выдали, деньги он себе в карман положил, а между тем никакой кляузы против сына не сделал. А вместо того приходит газета, а в ней и в третьем экземпляре все расписано, еще того превосходней! Дознались: сестра, мол, имназистка брату отписала! Тут Артем Артемыч уж ощетинился! «Мы вас кормим, питаем, а вы только клевету распускаете? А ежели, говорит, ты сейчас мне на них не напишешь, чтобы я сам своими руками отправил на почту, так я сам, говорит, хоть по-куриному, а нацарапаю штучку и на сына и на дочь!» Ну, тут, должно быть, в Камушкине кровь заговорила отцовская. «Нет, говорит, уж извини! Пиши, не пиши, а твоего письма я не пущу; так оно и сгниет в помойной яме». — «А! — завопил Артем-то Артемыч, — коли так, завтра думскую ревизию на тебя напущу, и нет тебе кредиту! Пошел вон!» Вот Камушкин-то и ушел. «Ладно, говорит, помни!» А тут вскорости и загорись у этого самого мещанина, Ивана Мухина... Вот Камушкин-то со зла и говорит: «Погоди, говорит, анафемы! удружу я вам; я вас произведу!» Подпустил огонь к банку к самому; даже, сказывают, крыша занималась, а он уж тут: со всех дворов бочки согнал, да как принялся орудовать. Сторож-то говорит: «Не успел я, говорит, Александра Невского икону в присутствии отвязать, как со всех концов вода полила...» А Камушкин-то, говорят, командует пожарными и все кричит: «Нет, подлецы, не дам я вам поживиться! Ублаготворю! Все спасу! Будете меня помнить, седые крысы!» И точно — все до нитки спас: векселя (свои-то выбрал), книги, записки — все дочиста.

Даже за это получил награду из губернии, а там еще вышло, что Артем-то Артемыч должен был сам хлопотать перед членами, чтоб ему награду выдать «за спасение банка». Получил Камушкин деньги и говорит Артем Артемычу: «Ну что, седая крыса? Будешь буянить? Теперь я сам в твою компанию не пойду, потому что всех вас под суд вскорости упекут». И точно, вот-вот все загудит, загремит, только пыль подымется до неба на том месте, где банк стоял... Еле-еле скрипит... Да уж и в самом деле пора! Пущай бы уж поскорей весь этот смрад сквозь землю провалился.. Надо-таки дать дыхание и справедливому человеку, ей богу, право!

— Но позвольте вас спросить, — сказал фельдшер, — вот вы описали полное безобразие и несправедливость. Что ж, как тут поступал дамский пол? Внушал ли он своим супругам о подлости их поступков?

— Ну их еще тут? Чего они знают? Гуляют по откосу, а музыка играет: «Который был моим мамашей, который был моим папашей». Только и всего. Аграфена понимает, а они чего? Сидят под окошком да пьют чай с вареньем... Да беспокоятся: «Не разлюбил бы меня муж...»

— А что он сундуки опустошает, это ей ничего не значит!— подхватил фельдшер.— Одна мне хвасталась даже; сидит на плацформе с ребенком на руках и говорит мне: «Мой Васенька тоже вот, как вы, спервоначала во все совался. И там ему надо, и здесь требуется. То полон дом мальчишек наведет, петь учит, читать, то на скрипке начнет зудить, то, говорит, спектакль надо, то кассу надо открывать. Бог весть что! Думаю, когда ж это он меня всему этому предпочтет? Ну и стала действовать». — «Какими же, говорю, средствами?» — «А всякими; какие есть у женщин средства, теми и действовала... Пойдешь на спевку, так я, мол, разденусь и простужусь. Будешь мальчишек водить, так я ребенка в колодезь брошу, уйду к матери... Начнешь с пьяницами об кассе рассуждать да водку пить, а я начну на весь дом кричать и чашки буду бить об пол». Вот какими средствами! Ну, говорит, и добилась: пение бросил, скрипку бросил, кассу бросил, ни сам ни к кому, ни к нему никто. Только я да он — и никаких затей нет. Решительно

ото всего у него охоту отшибло!» Сказала — и сама вся засияла. «Только, говорит, цветы дозволяю ему пусть! » Вот как они понимают стремление человека к общественной деятельности! А то еще одна говорит мне: «Он должен, говорит, меня ценить и любить без памяти и бесконечно, потому что я для него отца обманула, даже деньги унесла, мужа обманула и мать свою в гроб свела .. Так он должен это ценить!» Я отвечаю: «Не знаю, Капитолина Петровна! По-моему, так он должен вас опасаться, потому что вы на всякое злодейство способны». Обругала меня подлецом, треснула хвостом об угол — и след простыл. Так может ли этакая женщина понимать что-нибудь по совести? Ей даже удовольствие может доставлять, ежели муж грабит для ее удовольствия: «Стало быть, любит. Который любит, тот себя готов прозакладать!» Вот их мнение!

Купец допил то, что было у него в стакане, и потребовал новую порцию.

— Думаешь, думаешь: и из-за чего только это зло идет и этот мусор? Ведь если сосчитать, сколько денег ухнуло! Ведь миллионы! И ведь делов-то от них не видно никаких. На коммерцию десятая часть, да в деревню, может, проникла малая малость а то ведь все на зло, на подкуп, на взятку, на кляузу, на распутство — вот ведь на что! Сколько народу-то напорчено вокруг этого дела! Ведь хоть и пьянствовать, так и то нужна компания; голи наделали да ее же и в компании по разным случаям к распутству приучили, деньгами ее раздразнили, к пойлу привлекли. Теперь как стали эти гнезда сквозь землю проваливаться, ведь почитай ничего от них и не останется, кроме продажной, бездельной голи А голь эта нехорошая, злая, да и уж сладкого куска отведала, тарелку с хорошим кушаньем, вокруг воротил толкаючись, отведывала. И ведь, друг ты мой, двадцать ведь лет это все с рук сходило! Это ведь теперь только за очистку берутся, а сколько неправды-то наросло! Уж ежели нас хотят высветить, так уж и врагов наших также надо оправить, оправдать, дать им слово сказать За что ж хороший-то человек, который давным-давно все это видел, должен страдать? Нет, это неправильно! Хошь бы взять Аграфену Что ж, так и должны они все пропадать?



Принесли новую порцию кофе, и купец Тараканов продолжал высказывать свои взгляды на прошлое и будущее. Но картина, изображенная им, была так тяжка и притом так еще свежа в памяти, что мне было трудно слушать ее дальнейшее объяснение и дополнение.

Мне захотелось подышать свежим воздухом, и я вышел из каюты на палубу.



III. ВЕРЗИЛО

1

— Что это, господа, скучно как? Хоть бы в «дураки» с кем-нибудь поиграть!

Эти слова громко, так сказать, во всеуслышание всей публики, наполнявшей крытую палубу парохода, проговорил какой-то черномазый мужик, видом артельщик; все время он лежал на палубе ничком, уткнувшись растрепанной черной головой в красную подушку, и вдруг поднял голову, сел, стал торопливо царапать руками свои спутанные волосы и в то же время сделал вышеприведенное громогласное воззвание. А точно, на пароходе было скучненько. Жара палила, река была пустынна, берега скучны, промежутки между остановками продолжительны. Палубная публика, проснувшаяся вместе с восходом солнца, успела уже умыться, напиться чаю, потолковать и вновь от нечего делать укладывалась на старые места — укладывалась не спать, а так, полежать. Жарко было от палящего солнца, от раскаленной пароходной машины, от раскаленной пароходной кухни...

— А что, в самом деле? — быстро вскакивая с лавки, стоявшей около борта, отозвался издалека другой палубный пассажир. Это был человек небольшого роста, в сюртуке, надетом на русскую рубашку, гладко выбритый. Что-то напоминавшее трактирного лакея было в этой фигуре.

— Ребята! — вновь воззвал мужик, похожий на артельщика, продолжая сидеть на полу, — нет ли у кого карт на подержание?

— За прокат отдадим! — прибавил тоже во всеуслышание и лакей. — Уже наверно у кого-нибудь да есть... Слышите, что ль, почтенные?

— Эй ты, любезный! нет ли в буфете, у хозяйки? Спроси-кось!

— Какие карты? — нехотя ответил буфетный слуга, пробираясь с чайным прибором и шагая через головы и ноги лежавшей на полу публики.

Лакей, первый отозвавшийся на приглашение артельщика, соскочил с своей лавки, проворно пересел на пол и, похлопывая артельщика по спине, как старого знакомого, говорил:

— Так как же, любезный? Хлопочи. Надо как-нибудь время коротать.

— Нет! Бог с ними и с картами! — проговорил новый пассажир, появляясь откуда-то около артельщика и лакея.

Это был совершенно приличный молодой человек, неизвестно какой профессии и какого звания. На нем была вполне приличная шляпа котелком, вполне приличное летнее пальто, надетое поверх русской рубашки голубого цвета, вышитой, очевидно, женскими руками. И говорил он, и держался, и глядел вполне прилично и благообразно.

— Я много на картах потерял! — продолжал он. — Меня однажды, также вот на пароходе, на пятьсот рублей жулики обчистили, так я с тех пор даже боюсь и смотреть на карты...

— Что вы! Мы не жулики! По пятачку проиграем — велика беда! — ответил ему лакей. — Присаживайтесь!

— Сначала-то всегда так — по пятачку, а потом и пойдешь выкладывать зря, сколько рука захватит в кармане...

— Это, любезный, как играть и с кем. Вот от чего зависит. Коли у меня в кармане три гривенника, так уж я не вытащу на кон ста рублей! — прибавил и артельщик.

— Конечно, я игрывал на большую... Ну, обжегся — и побаиваюсь.

— Ну, чего там, господи помилуй... По большой! С нашим братом этого нельзя; у нас тоже каждая копейка трудовая... Уж не оставляйте компании...

— Разве что от скуки... Да вот карт-то нету...

— Надо раздобыть! Что ж, почтенные, нет ли у кого какой колодишки?

— Что дадите за прокат? — опять неведомо откуда появляясь, проговорил четвертый палубный пассажир. На этот раз пассажир представлял из себя чистейший тип голи и рвани кабацкой. Толкаясь от нечего делать то там, то сям по пароходу, я уже давно заметил эту рваную фигуру; еще с вечера эта фигура сидела на палубе третьего класса у столика, пила водку и беспрерывно разглагольствовала о чем-то протестующим тоном: косушка водки и селедка с самого утра не сходили со столика, перед которым заседала фигура, рваная, небритая, немытая, в опорках, в какой-то кацавейке и в сплюснутом на затылке картузе. Повидимому, человек этот был горький пьяница: он пил и ничего не ел и в то же время твердо держался на ногах, — «припился», как утверждают знатоки питейного дела.

— Вот, отец и благодетель! — воздевая руки к стоявшей рваной фигуре, плутовски-восторженным тоном воскликнул лакей, сидевший на полу. — Рубашку последнюю сыму, отдам!

— А я думаю, — с ироническою вежливостью проговорил благообразный господин в «котелке», — вы можете вполне бескорыстно доставить обществу полное удовольствие: карты у вас лежат в кармане и по окончании опять туда возвратятся.

— Ишь ты, брат! — ломаясь, бормотал пьяница, уже запустивший было руку в рваный карман рваных панталон. — Нет, ты подавай мне магарычей!

После довольно продолжительных ломаний и кривляний пьяницы и упрашиваний, то шутовских — со стороны лакея, то вежливых и «полированных» убеждений — со стороны котелка, то, наконец, грубых и нетерпеливых требований артельщика перестать галдеть и начинать игру — карты очутились в руках лакея, и, усевшись кружком, лакей, «котелок» и артельщик начали какую-то игру.

— Больше пятачка, — сказал котелок, — уж извините, господа, и я не пойду! Довольно, научен!

— Научили! Хе-хе-хе! — сочувственно поддержал эти речи кто-то из посторонней публики.

— Да, оченно прекрасно просветили на этот счет!.. Будет! Кажется, ни в жизнь бы не взял в руки этой погани, да уж так... скучно...

Началась игра. На полу между тремя игроками лежали деньги, медные пятаки. Понемногу вокруг этих троих людей стали от нечего делать собираться посторонние зрители. Стали слышаться слова: «Ваш гривенник», «Мой пятак!» «Ах, пес его дери! гривенник убег в чужой карман!» и т. д.

Часа через два после начала этой игры мне опять случилось выйти из каюты на палубу; игроки сидели на тех же местах, но публики было вокруг них очень много, и она была уж не такая, почти апатическая, как два часа тому назад. Теперь уж можно было заметить в некоторых лицах напряженное внимание; иные уж перевешивались через плечи игроков, по временам слышались советы: «Ходи, ходи, не робей, бей!» И на полу между игроками лежали уж не одни медные деньги — виднелись рублевки и мелочь. Разговор как игроков, так и публики был оживлен. Иные из публики даже спорили между собою о картах игроков, которые были всем видны, хотя игроки, получив сдачу, и старались держать ее как-то в горсти.

— Крой пиковкой! Не робей! Твоя!

— Ведь у яво козырь, елова голова! Пиковкой!

— Кр-ррой пиковк-а-ай! Вижу я, какой козырь!

— А! была не была! Вот!

— Ну, и просолил!

— Просолил! Чисто просолил...

— Ведь говорил — козырь! Нет! «Знаю я...»

— Так ведь пес его знал!

— Пес!

— Ну, куда ни шло! Ушла рублевочка! Сдавай сызнова, ворочу!

Оживление и интерес зрителей к игре возрастали и поддерживались постоянно разными карточными эпизодами. Между прочим, после одной сдачи был всех оживленнее «лакей»; взглянув в свои карты, он вдруг проговорил:

— Господа компаньоны! Сделайте милость! Уважьте! Позвольте рыскнуть!

Говорил он каким-то умоляющим тоном, прижимая карты к груди.

— Отцы родные! Такая привалила карта — вот! — Он наклонился к постороннему зрителю и показал ему карты.

— Н-да! — сказал многозначительно зритель.

— Позвольте поставить десять целковых! Кто соответствует? Карта оченно великолепна.

— Идет! — гаркнул артельщик. — Клади красную!

— Нет, позвольте! — благообразным жестом руки накрывая выкинутую лакеем десятирублевую бумажку, проговорил весьма благообразным тоном благообразный владелец шляпы «котелком». — Позвольте вам сказать, что таких правилов нет! Коль скоро вы в компании, то вы должны делать уважение... Вы бы, может быть, хотели и сто рублей выиграть, но когда вам не соответствует компаньон и, может быть, по своим средствам лишится всего, что у него есть, то это не может быть дозволено в игре. Извольте взять вашу ассигнацию... Получите-с! А как на кону был рубль, то извольте и вы становить рубль, хотя бы у вас был даже хлюст!

— Верно! — послышалось в публике.

— Так, так! Этак-то с жадности всякий бы тебя обобрал.

— Хорошо!

— Но за что ж я потеряю свою пользу? — возразил лакей, волнуясь алчными порывами.

— Мало ли какой тебе надо пользы!

— Ах, карты-то какие!

— Да тебе какое дело мешаться? — возразил грубо и гневно артельщик. — Ежели тебе твоих денег жалко, говори «пас», больше ничего, а союзному делу не препятствуй.

— Верно! Верно! — возопили голоса публики.

— Может, я хочу проиграть! Какое тебе дело?

— Н-ну, если так, то я «пас»! А вы — как угодно. Слова эти благообразный господин произнес кротко и сложил карты, не глядя в них.

— Так идет? — спросил в азарте лакей артельщика.

— Вали! Станови красную! Вот моя!

Две красных бумажки валялись на полу.

— Ходи!

— Ходи ты!

— Вот!

— А вот!

— А это?

— А мы вот как!

— Твоя! Твоя! — загалдела публика, и артельщик, весь сияющий, вдруг весь вспотевший, с мокрым осклабившимся лицом, потянул к себе всей пятерней две красных.

— Ловко! Вот так ловко!

Артельщик только улыбался и сиял.

— Конечно, всякому свое счастье! — благообразно вздохнув, произнес благообразный котелок.

— А ты у меня учись, — сказал лакей, — десять целковых выкинул наудалую, и жалеть не буду! Сдавай!

Публика, собравшаяся вокруг игроков, была сразу в высшей степени заинтересована этим эпизодом; в большинстве это был народ серый, бедный, трудом наживавший деньгу и, очевидно, в большинстве только теперь знакомившийся с каким-то новым, мгновенным способом наживы. Десять целковых, поставленные на кон лакеем, все видели своими глазами, и также все своими глазами видели, что артельщик на каких-то новых основаниях получил право на эти десять рублей, которые, опять же у всех на глазах, очутились у него в кошельке. «Ловко», — мелькало в выражении лиц очень и очень многих зрителей: мужиков, рабочих, даже у отца дьякона, который также внимательно смотрел на игру. В числе зрителей этой игры обратила мое внимание фигура одного крестьянина: это был пароходный рабочий в картузе с медным ярлыком; роста он был огромного и — как часто это бывает у сильных людей — лицом походил на ребенка: самое детское, простодушное выражение лица было у него. Он подошел к группе играющих довольно давно и сначала был совершенно равнодушным зрителем; по его лицу было видно, что «в этих делах» он ровно ничего не понимает, что это его даже и не интересует, но после эпизода с десятью рублями что-то как будто проснулось в его сонных, спокойных, как стоячая вода, глазах. Что-то как будто шевельнулось, плеснуло в этой стоячей воде. Он поближе придвинулся к игрокам, пристальнее стал смотреть в карты, на деньги, на руки игроков, на их кошельки.

— Михайло! — позвали его откуда-то.

— Сейчас! — отозвался он, но не уходил, а с возрастающей внимательностью стал вникать в дело. Его позвали в другой раз, и тогда он, с трудом оторвавшись от зрелища, бегом побежал туда, куда его звали, и скоро возвратился тоже «бегом»...

— Не шулера ли какие? — сказал мне какой-то толстый купец, также из числа зрителей, спускаясь со мною в каюту. — Много этого мусорного народу развелось... Я глядел, глядел, — будто как что-то есть...

— Не знаю, не видал я этого!

— Это только так, представление одно, будто незнакомые собрались, то есть трое-то... Они очень знакомы... Вот посмотрите, раззадорят они публику! Это завсегда ихний прием! .. И откуда это, господи, сколько пошло по России шарлатанов всяких? Чисто отбою нет!

Подозрения купца вполне оправдались впоследствии, но не в этом пока дело. Меня очень интересовала фигура мужика, на моих глазах начавшая, так сказать, развращаться. Я видел эту фигуру в воловьей работе при нагрузке и выгрузке товаров, видел ее гигантскую силу и дьявольский труд, ничуть не отразившийся на этом спокойнейшем детском лице, едва-едва обрамленном белокурой бородкой, видел его апатическим и ровно ничего не понимающим зрителем карточного состязания и видел наконец, как в этой детской душе шевельнулось что-то острое и жадное. «Что будет с ним дальше?» — подумалось мне, и часа через два я опять вышел на палубу.

Парень (его звали Михайло) был к этому времени просто неузнаваем, да неузнаваема была и вся толпа, окружавшая игроков. Возбуждение жадности к деньгам, которые в виде «рублевок», «трешниц», «медяков», мелочи кучей лежали на полу, на глазах всех, переходя от одного игрока к другому, было необыкновенно сильно. Но мужик, этот огромный верзило, на лице и фигуре которого трудно было заметить следы малейшего волнения после того, например, когда он только что перетаскал на берег не одну сотню цибиков чая или демидовского железа, теперь, под влиянием животной страсти, волновался и буквально трепетал каждым мускулом. Жар какой-то валил от его огромного тела, все лицо содрогалось, и глаза прыгали между вытаращенными веками; огромная

трясущаяся рука то вытаскивала из кармана замшевый кошелек, крепко сжимая его в руке, то пыталась отворить его, но опять прятала и опять вынимала. Наконец парень не выдержал, отчаянным жестом раздвинул толпу, присел к игрокам и, весь бледный, трясущийся, принял участие в игре; он плохо понимал, в чем дело, и потому, когда ему сдавали карты, он сейчас же показывал их соседу, тому самому рваному пьянчуге, который предложил игрокам свои карты. «Брось, наплевать! Ничего не стоит! Пас!» — советовал пьянчуга или, напротив, поощрял: «Ходи! ходи! Бей! Так. .» И не только не умалялось волнение верзилы, не только все члены его не переставали ходить ходуном, но, напротив, увеличивавшаяся бледность лица и трясущиеся пальцы заставляли думать, что уж не жар томит его, а холод, озноб дерет ему тело. . И вдруг он опять вспыхнул и весь загорелся огнем: ему «привалила карта» — это, во-первых, увидал он сам; во-вторых — это провозгласил во всеуслышание пьянчуга, а затем такие же возгласы удивления к счастливым картам выразила и публика, толпившаяся за спиной у игроков. «Вали, вали! Не робей! Станови! Не бойся! Выиграешь! Твоя, твоя!» — со всех сторон галдела публика и сами игроки, и верзило с отупевшим, налившимся кровью лицом только поворачивал голову то направо, то налево, то прятал карты в горсть, точно сокровище, то опять совал их «посмотреть» кому придется. Ему предстояло либо проиграть пятнадцать рублей, либо выиграть сорок пять; наконец он решился и голосом кулачного бойца, приготовляющегося к отчаянной драке, воскликнул:

— Иду! Ходи!

— Иду и я! — также, точно приготовляясь размозжить сопернику голову (а не обыграть в карты), воскликнул и артельщик.

Лакей ничего не воскликнул, но сидел бледный как смерть, с горящими глазами.

Секунды две-три стояла мертвая тишина.

— Твоя! Взял! Охо-хо-хо, деньжищ-то поволок! — возопила вдруг вся публика.

Оказалось, что выиграл артельщик, а верзило проиграл. А лакей хоть тоже проиграл, но не выдержал своей роли и явно обрадовался.

Верзило молча и как-то деревянно смотрел, как его деньги забирает артельщик; он даже как будто успокоился и перестал трястись.

— Будет! — сказал он, поднялся с полу и пошел. Пошел он прямо к кухне, взял швабру, стоявшую тут, и как ни в чем не бывало принялся вытирать ею пол около крана, перед которым умываются пассажиры третьего класса. Он как будто хотел показать, что с ним ничего не случилось, что он знает, что сам виноват. Я подивился этой силе характера, этой возможности быть «как ни в чем не бывало», проиграв такую кучу денег, как пятнадцать рублей. Но радость моя была не долга: он потер шваброй мокрый пол и пошел было с этой шваброй куда-то в другое место, но едва сделал несколько шагов, как остановился и вдруг, как подрезанная трава, упал, свалился на пол, уронив швабру... Он свалился куда-то за тюки с товарами, не разбирая «куда», и, колотясь головой обо что ни попало, взвыл на весь пароход.

— Бат-ю-ушки... м-мои... мил-лые! Отцы мои. Пятнадцать цал-ко-о-о-вых... О-охо... о-о-х — ох-ох!..

Самые маленькие, не умеющие даже лепетать, дети могут так горько, так отчаянно и так жалобно плакать, как плакал этот верзило, «катаясь» между тюками товара, стукаясь лбом и огромным телом обо что ни попало. Такого ребяческого малодушия, такого ничтожества душевного, какое обнаружил верзило, нельзя себе представить, не представляя именно совершенно беспомощного ребенка; между верзилой, на весь пароход и на всю Каму пищавшим «как малый ребенок», и тем верзилой, которого несколько минут тому назад «трясло» всего и «ломало» под впечатлением проснувшейся алчности, жадности, не было ничего общего; это были два разные существа: то был зверь, а теперь чуть не грудной ребенок, и ни зверь, ни ребенок одинаково были не похожи на сильного, могучего, тихого работника, каков верзило был в действительности. Проявив в себе глупую жадность зверя и неумное отчаяние несмысленного младенца, верзило произвел на публику парохода впечатление какого-то глупца и даже смешного дурака.

— Дурак! Так дурака и надо!

— А с дураками нешто не так надобно?

— Дураков надо учить!

— Раз-другой поучат так-то дурака, ан он и умней будет!

— Ишь ты! Сорок пять целковых хотел слизать, а как не вышло, так и взвыл как белуга!

— Ох! ох! ох! ох!.. пя-а-а-а-атнадцать ца-ал-ко... о-ох — ох...

— Ха! ха! ха! ха! — помирала со смеху публика.

И поистине было смешно.

Но верзило не исчерпал еще всех своих душевных свойств. Верзило выл и катался по полу довольно долго, едва ли не до тех пор, покуда вся пароходная публика вместе и поодиночке не засвидетельствовала ему лично своего мнения о том, что он «дурак».

— Как обыгрывать — так ничего, а как проигрывать, так закудахтал!

— Охо-хо-хо... Батюшки... матушки мои!

— Ха! ха! ха!

Положительно всякий пассажир подходил к нему, слушал его вытье и говорил, что «так дураков и надо».

Наконец все назвали его дураком и разошлись по своим местам. Игроки, партнеры верзилы, тоже давным-давно разбрелись. Артельщик, выигравший деньги, спал самым крепчайшим сном, уткнувшись лицом в подушку; он не слыхал, как обыгранный мужик выл. Благообразный человек в «котелке» сидел вверху на рубке и меланхолически любовался видом Камы, а лакей почему-то перебрался со своей подушкой и узлом на другой конец палубы, сказав прежним соседям: «Уйтить от вас, а то, пожалуй, взвоешь вот как этот мужик!..» Наконец затих и верзило.

— Очухался, видно?

— В другой раз не будет!

— Видно вытьем-то не поможешь!

Но верзило думал не так. Он, правда, затих, не выл, не охал и не катался по полу, а долго сидел за ящиками, утирая нос рукавом красной рубахи. Сидел он так довольно долго, потом встал, оправил рубаху и пошел.

И пошел он прямо к капитану парохода жаловаться.

Отворив дверь капитанской каюты, он тотчас же упал на колени и, расставив беспомощно руки, взмолился:

— Явите божескую милость! Что ж это будет? Пятнадцать рублев... Это не игра, вашскородие!.. Отец

родной... Это одно мошенство!!. Помилуйте! Я жаловаться буду. Эти деньги у меня чужие! Что ж такое? Господи помилуй!

Публика видела это.

— Ишь подлец какой! Небось кабы сам счистил сорок-то пять рублей, не пошел бы жаловаться... Сказал бы: «маё»...

А какой по первому впечатлению хороший тип: сильный, работящий, простой, скромный, с наивными глазами. Пудовые тюки мелькают в его руках как соломинки, «ворочает» он этими пудами и песню поет, «не жалится», что трудно, а взяло за живое — вышел жадный зверь; не пришлось звериной алчности удовлетворить — взвыл как грудной ребенок, свалился как подрезанный колос, а когда взялся за ум, «очухался», сейчас «к начальству» — выручай меня из моей глупости и подлости.

Капитан выручил его. С шумом, с бранью деньги (оказавшиеся уже поделенными между «котелком», лакеем, оборванцем и артельщиком) были возвращены верзиле. Верзило был рад. Он опять взялся за швабру и принялся работать ею, елико хватало сил, не переставая всем и каждому говорить в то же время:

— Потому что у них игра не настоящая! Этак-то я кого хошь обыграю..

— Дурак! — говорили ему.

А иные называли даже и «подлецом». Но верзило не обижался, потому что был рад, сияя от счастия, и работал за семерых.

На следующий день я видел верзилу уже в обыкновенном, нормальном состоянии: он таскал кули и тюки, отчаливал, причаливал, мерил шестом глубину воды, а в антрактах, помолившись, благопристойно ел артельную кашу или, укладываясь спать, слушал какую-нибудь «занятную» сказку, небывальщину, которую ему рассказывал другой такой же верзило, геркулес с ребяческим выражением лица, но впечатление вчерашнего эпизода, которое этот верзило напоминал мне каждый раз, как только мне приходилось встречать его, не изгладилось во мне, а, напротив, постоянно развивалось и, на несчастье, все в том же неприятном, несимпатичном направлении. Эти шулера, благообразные «котелки», сюртуки, напоминаю-

щие трактирных лакеев, напомнили множество разговоров и личных наблюдений относительно обилия на Руси в настоящее время всякого «шлющего», бродячего народа. Не так давно было в газетах опубликовано, что бродячего рабочего народа, голытьбы, на нижегородской ярмарке было меньше прошлогоднего, что та голытьба, которая была в Нижнем, вела себя как нельзя лучше и т. д. Но тут же был опубликован целый ряд «мер», благодаря которым голытьба была приведена в благообразное состояние: ночлежные приюты, дешевые столовые и, вероятно, было что-нибудь по части дисциплины. Говорю это потому, что в июне месяце, до начала ярмарки, Нижний был переполнен голытьбою; никогда, сколько раз на своем веку я ни бывал в Нижнем, мне не приходилось видеть такого обилия «шлющего» народа. Я видел эту толпу тотчас после еврейских беспорядков и утвердительно могу сказать, что страшна она мне показалась. И затем, относительно вообще обилия голытьбы я слышал от всякого, имеющего дела с народом, неизбежный вопрос: «И откуда только берется этот рваный народ? Просто нет проходу!» Пароходные шулера ознакомили меня с новым типом этого растущего на Руси класса людей: это уже не нижегородские ломовики с разбитыми «вчерась» в драке глазами, а люди, которых с первого взгляда не признаешь за плутов; они приличны, благообразны, хорошо одеты. Это уж не рвань и голь ломовая, деревенская, бродяжная; это уж люди потершиеся, отведавшие легкой наживы, люди, несомненно толкавшиеся вокруг денег. Такого рода голытьба — голытьба злая, развратная и наглая — вообще-то была уж знакома мне: по старой московской дороге из Петербурга и в Петербург проходит мимо нашей деревни не одна тысяча в течение года. Иногда голытьба эта просит милостыню на французском языке и обижается, если милостыню подают ей хлебом.

— Куда я потащусь с этой дрянью? Мне денег надо.

Впрочем, обилие этой голытьбы и разнообразные ее типы будут предметом особого очерка, теперь же скажу, что вчерашний «картежный» эпизод только натолкнул меня на мысль о ней. «Верзило», — в том виде, какой обнаружил он вчера, — представился мне в виде какой-то центральной фигуры, вокруг которой кишит все это безобразие. «Ведь вот,—думалось мне,—в этом самом верзиле

есть видимые для всех превосходные черты, есть также для всех видимый образ такой жизни, который подходит к самым лучшим сторонам верзилиного миросозерцания, среди которого он и хорош, и умен, и добр, и привлекателен, и справедлив. Но при старании из него можно сделать и зверя, и труса, и ничтожество, и предательство, и подхалимство, словом, *можно* сделать много гнусного. Зачем?»

2

Ответить себе на этот вопрос я, конечно, не посмел, но картина, вызванная им и изображающая в общих чертах положение интеллигенции (в руках которой и находится участь вопроса: зачем?) — картина эта была приблизительно такого рода: представилась мне прежде всего огромная, сплошная, в виде какой-то длинной, широкой полосы, пролегающей вдоль всей России, точно шоссейная дорога, масса интеллигентного народа. Я называю «всю» представившуюся мне массу «интеллигентною» исключительно только, так сказать, по обличью, по внешнему образу жизни, хотя самой большей и главной части этой массы не придают никакого значения в интеллигентном отношении. Эта масса есть обжорный ряд, толпа «своего удовольствия», солидной действительности. Она огромна и первая лезет в глаза.

За нею следует не менее огромное скопище интеллигенции, получающей жалованье, томящейся завистью, скучающей, закусывающей у клубных и железнодорожных буфетов, томящейся в танцевальных, театральных и игорных залах, на пикниках, за карточными столами, в ученых и неученых обществах и заседаниях и жаждущей прибавки. За нею следует еще более огромная масса людей, также закусывающих, также томящихся и также никакого практического результата не оставляющих после своего исчезновения с лица земли, — людей, мысль которых хотя и не замерла, но освещает только (и то чуть-чуть) пустоту и бессовестность собственного существования: человек пьет, играет, участвует во всякой подделке «общественных дел» и в то же время постоянно над собой подтрунивает, издевается, называет себя дрянью и продолжает закусывать, играть и т. д., не находя в своей

мысли очертаний других условий и обстановки жизни, не находя в себе даже силы представить что-нибудь лучшее, что-нибудь более опрятное. Каждый день увязая все глубже и глубже в грязь, человек такой не перестает понимать это, не перестает издеваться над собой, знает даже глубину своего падения, но продолжает сновать, не выпуская из рук карт и не отходя от буфета. За этими самообличителями следует огромнейший разряд теоретиков всевозможных сортов, видов и цвета. Одни, благодаря средствам, расчистив вокруг себя аршина на два в диаметре кучи того неопрятного хлама, которым изобилует жизнь, ищут *настоящего* в совершенстве личном, проповедуют «неземную справедливость», неземные *дела,* доходят в последовательном развитии своих идей до вопроса о том, из какого материала шьются «тамошние пиджаки». Другие, окруженные горами «сегодняшнего» хлама, уносятся мыслью в отдаленнейшее будущее России, тщательно изучают тот момент, когда Англия и Россия вступят в единоборство, и превосходно знают, какие блестящие перспективы могут из этого столкновения возникнуть. Третьи, не только не расчищая вокруг себя хлама, но, напротив, ежеминутно созидая его, изощряют свои мысли в риторике восхваления нашего будущего; наконец даже люди вполне здравомыслящие, исходящие мыслью из действительного положения дел на белом свете, и те весьма скоро суживают свою мысль на теоретическом знании жгучего дела «настоящего», тощают без живого опыта жизни, скудеют знанием этого большого дела во всем его теперешнем *живом* объеме... Когда в прошедшем году, во время рабочего кризиса в Париже, печатались отчеты парламентской комиссии, созванной для изыскания средств к помощи, читая их, можно было только удивляться той мелочности, до внимания к которой могут опускаться такие тузы, как депутаты. Депутат Лезен должен высчитывать, сколько нужно выкупить тюфяков, одеял (холодно ведь!), детских кроватей, часов, ламп, кухонных принадлежностей... Читая эти отчеты, я жил в деревне и, признаться, думал так: «Да его ли депутатское дело заниматься этакими пустяками? Да они, неумытые рыла, не заслуживают того, чтобы этот господин копался да рылся, какому пьянице что нужно, тюфяк ли, одеяло или кастрюля! Уж видно, что добер барин-от, господин-от Лезен, мы этаких еще и видом

не видали!» Да помилуйте: когда мы дождемся, чтобы у нас в волостном правлении разговаривали о том, есть ли кому что есть и есть ли у всех сапоги? У нас в самом центре нищеты и нужды только и идет разговор о высших делах и целях.

Да и то, что на наших глазах было живого и деятельного, и то как будто затихает и замирает. На наших глазах возник так называемый женский вопрос, хотя тогда же или вскоре после его возникновения какой-то поэт хотел было его похоронить и изобразил было его в виде ребенка, которого литература подняла на улице, отдала на воспитание в типографию, стала кормить бумагой и поить чернилами, то есть постепенно приводила его к гробу, но на деле, однако, вышло не так: женское образование пошло развиваться на деле, и мы имеем не один выпуск женщин-докторов, которые уже давно «работают» в народе. Но до сих пор в литературе, в прессе, из которой вся русская публика только и почерпает сведения о том, что делается на свете, ничего, то есть почти ровно ничего не было рассказано об этом опыте «работать в народе». На моей памяти я читал только один рассказ женщины-доктора о ветлянской чуме и еще рассказик в «Вестнике Европы». Теперь также на наших глазах курсы эти падают, закрываются, — и опять ниоткуда ни звука, так что попрежнему самое любопытное для «нас» остается все только бесконечное чтение рецензий об «Эрмитаже», Лентовском и «Ливадии». А опыт людей, сознательно отправившихся из прекрасных здешних мест в народную среду, нужен, необычайно нужен для общества и в особенности для подрастающего молодого поколения, которое теперь, в свободное от уроков время, стоит за спинками стульев, на которых сидят родители, играющие в карты, и наблюдает со всем напряжением детской впечатлительности за ходом игры. Одна такая книга, как «Что читать народу?» (в двадцать пять лет одна!) — манна небесная в нашей иссушающей душу жизненной пустоте. Опыт «работать в народе» — трудный, неприветливый, изнурительный, мучающий человека, — манна небесная потому, что в нем именно и есть правда, с нею только и может начаться наше самостоятельное развитие, воспитание. Ни в каком другом смысле нет ходу нашей самостоятельности, нет приложения нашим силам, стало быть, нет им развития;

все можно купить готовым; все, что обещает нам развитие у нас европейских порядков, все давно уж в совершенстве обдумано и выдумано *не нами.* Все вот эти колеса, винты, гайки, молотки, бочки, изображенные на фотографии какой-то «группы» инженеров или механиков и заставляющие Марью Васильевну думать: «какой умный Иван Федорович!» (он изображен с какой-то кочергой) — все это куплено, *только куплено,* а на выдумку всего этого Иван Федорович не тратил собственного ума ни капли. Даже кашинским виноделам нечего выдумывать, а остается только подделывать. Словом, во всем строе европействующего русского человека от науки, от книги до сапога и чулка, не на что тратить свою мысль, все уж готово: «поди и купи». Эта полная возможность «все купить», от знания до чулка, совершенно обессиливает наш ум, наши силы — так нам в этих условиях все хорошо и умно сделано другими, — и наш ум, наша совесть, наши силы даже *волей-неволей* должны работать в ином направлении, чтобы иметь хоть какую-нибудь гимнастику и не исчахнуть в пустыне тоски или в пустыне «своего удовольствия».

Спрашивается, что, например, может сделать оригинального, самостоятельного наша литература, если она примет это готовое, чужими руками устроенное течение жизни за нечто новое? Ровно ничего! Все мотивы, которые могут на этом пути встретиться наблюдателю, уже разработаны и, как оригинальные, разработаны превосходно. Да, наконец, в настоящее время в мелкой журналистике уже практикуется кое-что по части «перелицовки» *тамошнего на* наше, *российское.* Мне пришлось встретиться с одной госпожой, которая по нужде делает для одной маленькой газеты такие вещи: возьмет французский или немецкий рассказ из буржуазной среды и переделает его на русские нравы: вместо Биарриц напишет Ялта, вместо Ганс — Кузьма Иваныч, а вместо гоф-кригс-рат — надворный советник Анафемцев, вот и все. Читают и похваливают, потому что действительно трудно выдумать что-нибудь оригинальное, когда *все* одинаково у известной среды, будь она французская, русская, немецкая... Наши буржуа не могут выдумать какой-нибудь обстановки жизни или дать ей какое-нибудь иное содержание, кроме той обстановки и того содержания, которые вообще свойственны типу буржуа.

Русский заяц точно такой же заяц, как и заяц-англичанин, и вовсе нет того, чтоб наш заяц летал, а английский пел, — оба они зайцы, и все у них заячье, как две капли воды. На этом готовом пути грозит нам полнейшее утомление от готовых удобств, средств жизни и самого ее содержания, и единственное наше спасение, единственная возможность пробудить наши силы *не на готовом*, то есть не на ослабляющем даже самую охоту думать, делать и жить, а на новом, что может поднять все наши силы, что потребует даже удесятеренной энергии, состоит в опыте жить, принимая за главнейшую цель жизни благосостояние народных масс. Это трудно, но в этом непрерывном опыте, в этих непрерывных неудачах, разочарованиях, радостях, высказанных и не сказанных слезах, в этом, повидимому, мучительном сознании недостижимости цели — во всем этом только и может быть *наша самостоятельная жизнь*, отсюда только и придет материал, который ляжет в основание воспитания будущих поколений.

3

С каким поистине детским восхищением рассказывал мне один мой приятель следующий маленький эпизод. Задумал этот мой приятель походить пешком и посмотреть, как живут на белом свете добрые люди. С месяц ходил он по Московскому уезду, и в одну настоящую, заправскую «черную ночь», в дождь и ветер, забрел неведомо куда, в какой-то огромный лес или парк с заросшими, но правильными, величественными аллеями, и скоро очутился перед громадной развалиной старинного барского дворца. И в парке темно, и пусто во дворце — только ветер ревет и воет, раскачивая огромные деревья... Куда идти? И вдруг, обойдя руину с другой стороны, он заметил огонек. Огонек светился в единственном окошке, не лишенном рамы и задернутом занавеской. Обрадовавшись огоньку и жилью, приятель стал искать входа в него и скоро нащупал дверь, которая, как после оказалось, не имела даже и петель и была только приставлена снаружи; с громом и стуком повалилась она, эта дверь, от одного легкого прикосновения, и этот гром заставил выскочить обитателей жилья: в сенях, напол-

ненных мусором от обваливающегося кирпича, появились древнейший старик и молодая девушка. Девушка оказалась учительницей сельской школы, которая помещалась тут же, в другой, не совсем разрушенной каморке. На селе негде «приткнуться», все занято трактирами и кабаками, а земское здание школы еще не готово, так вот земство и нашло возможным «приткнуть» ее с несколькими картами и книжным шкафом в этом микроскопическом углу огромного дворца, кое-как приведя угол в возможный порядок. Приятель мой, так нежданно появившийся и наделавший такого шума, оторвал девушку от работы: она исправляла детские сочинения. Завязался простой разговор о школе, о ребятишках, о ежедневных школьных мелочах, и разговор этот был точно луч света во всей этой виденной, слышанной и пережитой тьме... Во время разговора торопливо вбежала в комнату деревенская девочка, закутанная в платок и с высокой палкой в руке. «Я у тебя, Алексевна, — сказала она учительнице, — ноне ночевать не буду!» — «Отчего?» — «Да мне надыть пьяных и прохожих по дворам разводить... Отец-то хмелен, а очередь наша... так вот я вместо отца-то!» — и ушла. И опять хорошо и светло показалось моему приятелю. Какой бы микроскопический, с высшей точки зрения, «паллиатив» ни представляла эта учительница, читающая детские сочинения на тему: «как я раз испужался» или «как я раз расшибся»,— хорош человек, который решился на этот паллиатив, который где-то в углу, в трещине старого дома, нашел возможным, а главное, *нужным*, разговаривать с какими-то чумазыми ребятишками, и дело его хорошо. Как ни мизерны средства этого человека, но он не скажет: «Почитай Кузьму Иваныча потому, что у него восемнадцать кабаков!» Не скажет: «Хлопочи только о своем кармане!» и т. д. Этого *нельзя* сказать ей, иначе она бы и не была здесь, не ежилась бы в углу этой развалины с своими тетрадками, сказками... Все это чуть-чуть заметный огонек в черной, окутывающей ее кругом тьме, но огонек несомненный, хотя и трудно, мучительно трудно отвоевать его право не гаснуть среди целой орды кабатчиков, кулаков, на которых держится неурядица народная.

И, право, только вот такие едва мерцающие огоньки и радуют, хотя огоньки, точно, еле мерцают... Молчаливое

совершенствование теоретических воззрений гораздо более распространено, чем желание живого дела; теоретическое изящество, отделка всевозможных теоретических деталей развиваются в ущерб вниманию к сегодняшней человеческой нужде, — и это во всех интеллигентных сферах; приводить в связь с сегодняшней мелочной действительностью свои отшлифованные до высшей степени изящества теоретические построения русский человек отвыкает с каждым днем все более и более. Недавно в газетах был опубликован такой случай: в Кронштадте существует какая-то ремесленная касса, дела которой ведутся по способу Артем Артемычей: молебен, расхищение, пожертвование корпии в «Красный Крест», молебен и опять расхищение. На общее собрание этой кассы, где члены хотели восстать на такие распорядки, появились приехавшие из Петербурга «новые люди». Эти новые люди теоретически были до того справедливы, говорили так превосходно, что собрание, заслушавшись их речей, сразу забаллотировало прежнее правление и выбрало в члены правления новых, приезжих людей. Но когда дело дошло до необходимости показать справедливость своих отшлифованных мыслей на деле, то есть войти в мелочи жизни небогатых трудящихся хозяев кассы и, основываясь именно на этих мелочах (ради них-то ведь и касса возникла), начать новые порядки, то новые люди оказались совершенно ничего в этих мелочах не понимающими, не имеющими никакого понятия о нужде, о том, как живет бедный человек, каков его труд. И что же? В то же самое заседание разочарованные бедняки должны были свергнуть новых людей с только что дарованных им мест и с горем и унынием должны были выбрать опять старых: эти хоть и воруют, но все-таки знают, почем свечи, как дорога крупа и т. д.

Иллюстраций, которые бы наглядно показали, до какой степени отвыкшая от реального дела мысль русского человека привыкла молча и неподвижно присутствовать при созерцании того самого зла, об уничтожении которого эта мысль смертельно печалится, можно было бы привести несметное количество.

Едва я дописал последнюю строчку, как в мою комнату вошел один мой приятель. Я прочитал ему написанное, и между нами произошел такой разговор.

— Это все так, все верно, — сказал приятель, — верно и то, что русский человек подавлен и ослаблен обилием «готового», и то верно, что́ это готовое не всегда ему по душе; уж очень видны нам и фальшь и ложь всего этого готового-то. Верно тоже и то, что даже «дело» во имя благосостояния народа не дремлет у нас, а двигается неустанно по мере возможности... Народное дело — слово не пустое, и не только слово! Но все-таки как будто что-то не то, чего-то недостает во всем этом всякому россиянину...

— Отчего же так?

— Да оттого, мне кажется, что человеку непременно надобно знать, что должно выйти из этого? Ну хоть бы, с позволения сказать, утопию бы какую-нибудь нам представили... «Это нехорошо, это не так, это несправедливо, а вот так, мол, и справедливо и хорошо!» У европейцев, не чувствующих аппетита к старым порядкам, всегда на смену их есть фантазия о новых; всякий европеец-реформатор ответит вам на вопрос: что надо? — «Вот что!» А у вас, то есть у нас, нет! «Народ, масса, капитализм, община», а все что-то не то! Образчика, фантазии не создано по поводу того, что и как должно быть, что и как справедливо. Давайте-ка эту фантазию, образчик — проснемся! Право, проснемся!

Я бы, разумеется, ни в каком случае не решил давать этих образчиков и даже в дружеской болтовне не нашел бы удовольствия фантазировать на этот счет. Но одно совершенно случайное обстоятельство заставило меня невольно сосредоточить внимание на этом деле.

Совершенно случайно в мои руки попало одно народное современное произведение, где говорится «обо всем», и мне показалось, что в этом произведении воистину «брезжит» какой-то свет, давая возможность хотя чуть-чуть уловить очертания чего-то гармонического, справедливого и необычайно светлого.

IV. ТРУДАМИ РУК СВОИХ

1

В последних строках предыдущего очерка я обещал познакомить читателя, томящегося решением вопроса: «како жить свято?» — с одною рукописью, написанною крестьянином, в которой как бы «брезжит» нечто, отвечающее на этот многосложный и многотрудный вопрос. Рукопись эта будет представлена читателю в настоящем очерке, но я боюсь, что она не произведет на него такого впечатления, какое я желал бы, чтоб она произвела; я боюсь, что читатель (конечно, именно только такой читатель, который не чужд мыслей о том, *како жить свято?*), истомленный действительностью, повидимому неопровержимо доказывающей ему каждую секунду и долгие, долгие годы подряд, что свято жить нельзя, а надобно жить не свято, — боюсь, что этот читатель набросится на эту рукопись, в которой обещан ответ на мучительный вопрос, с жадностью и алчностью утомленного, чрезмерно уставшего человека и, как всякий уставший и проголодавшийся человек, которому кажется, что он съест быка, не съест с должным аппетитом и того маленького кусочка, который ему предлагают. «Кусок», который предлагает рукопись крестьянина, не велик, но в нем есть действительно подлинные питательные свойства — надобно только потребить его не с азартом жадности, а «поотдохнувши», не торопясь глотать его сразу.

Вот именно в видах того, чтобы читатель съел этот кусок полностью, с аппетитом, ощутил бы его доброкачественность и оригинальность вкуса, мне и необходимо не давать его читателю сейчас, «с устатку», и попросить

его поотдохнуть немного на некоторых предварительных соображениях. Эти «предварительные соображения» делаются мною, между прочим, на основании выводов и наблюдений, сделанных на тему настоящего очерка уже другими русскими писателями, так что предлагаемый очерк есть работа компилятивная.

В том же предыдущем очерке мною было сказано, между прочим, что наша интеллигентная скучающая публика потому именно «влачит» бесплодно и тускло свое существование, что волею судеб для нее уже выработаны формы существования, что она должна принимать их готовыми, что эти готовые формы заменяют ей силу самостоятельной мысли: не приходится думать, когда уже вперед известно, как пойдут твои дни и годы. Но, принимая волею судеб надвигающиеся готовые формы жизни с совершенно готовым содержанием, русский интеллигентный человек сам по себе не может не видеть, не чувствовать, что все это готовое — не ладно, не гармонично, не чисто и вообще «не так». Как человек *свежий*, то есть не принимавший ровно никакого участия в создании тех форм жизни, которые он должен принять готовыми, он в то же время принимает также в готовом виде и критику этих форм, и, еще не живя в них, не пробуя их, он уже с совершенною ясностью видит, что они негодны, непривлекательны, не возбуждают аппетита.

В самом деле, можно ли ему быть искренним в уважении и в интересе к оригиналу тех сторон жизни, которые он обречен только копировать? Оригинал этот — европейская жизнь, как видит всякий, не блещет особенно привлекательными сторонами и решительно никого не может убедить, что оригинал этот — совершенство и последнее слово. Мне невозможно вдаваться в подробности несовершенства настоящей минуты, переживаемой оригиналом, но, чтобы читателю была видима самая суть этих несовершенств, я позволю себе указать хотя на последние выборы в европейские парламенты, так как *суть* (необходимая нам для нашей цели) выражается в них весьма рельефно: беспрестанные стычки и даже драки, брань, ссора, ожесточенная борьба партий никогда с такою силою не проявлялись на собраниях, предшествовавших выборам, как в последние месяцы. Не слышно никаких теоретических разговоров, — по этой части все уж

переговорено,— а дерутся и ругаются, срамят и стремятся втоптать в грязь друг друга группы людей, не имеющие между собой *ничего общего.* И вот этим-то *ничего не имеющим общего* между собою группам людей, на которые распалось европейское общество, предстоит выбрать правительство, блюдущее интересы *всех,* хотя у *всех* интересы совершенно различные: у капиталиста — не те, что у рабочего, у духовенства — не те, что у республиканцев, у земледельцев — не те, что у землевладельцев. Немудрено, что, например, господину Греви, стоящему «во главе» такого правительства, не остается другого занятия, как кормить по нескольку раз в день свою утку и отделываться ничего не значащими фразами от требований всех партий, так как интересов одной нельзя удовлетворить, не нарушая интересов другой, а эта другая, как и третья, и пятая, стремится выдвинуть свои интересы непременно на первый план.

Но никакой отдельный человек, отнятый от этого муравейника, не скажет вам, что он счастлив, что ему легко, что он уверен в завтрашнем дне. Ни рабочий, ни капиталист, ни землевладелец, ни купец, ни военный, ни ученый и т. д. — никто не скажет, что он не нуждается в том, чтобы какой-нибудь из его перечисленных соседей не был притиснут к стене, для того чтобы его благополучие было вернее обеспечено, и что, следовательно, каждый из них, то есть каждый из миллионов жителей, населяющих страну, при настоящих условиях жизни, складывающейся на подобие пчелиного улья, не может чувствовать себя уравновешенным с окружающей средой и, следовательно, личное его существование не полно, не независимо, не светло и, следовательно, не счастливо.

В видах того, чтобы читатель мог оценить значение того простонародного произведения, с которым мы хотим его познакомить, нам желательно обратить особенное его внимание именно на эти две резкие черты, характеризующие оригинал тех форм жизни, которые уж томят русского человека: в глубине этих форм томится личность человеческая, томится человек, на умалении которого и зиждется «порядок» теперешнего «общества». Но порядок этот совершенно не отвечает окованной его цепями личности, и то, что́ грезится ей как справедливое, может быть превосходно выражено несколькими строками, взя-

тыми нами из сочинения Н. К. Михайловского и касающимися мечтаний о таких условиях человеческого существования, среди которых личность человеческая могла бы найти полноту своего существования, не нарушая полноты существования общества; вот эти строки, определяющие прогресс: *«прогресс есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами (неделимого) и возможно меньшему разделению труда между людьми».*

В четвертом томе сочинений Н. К. Михайловского читатель найдет обширную статью: *«Что такое прогресс?»,* которая выведет его сбиваемую с толку мысль на настоящую дорогу, к настоящему свету. Мы не можем делать больших выписок из этой статьи, так как выяснению вышеприведенного положения посвящены почти пять томов этого писателя, так что теряешься в обилии блестящих страниц и не знаешь, которую из них предпочесть перед прочими. Ограничимся поэтому только теми строками, в которых формула прогресса г. Михайловского излагается в самом сжатом виде. На основании этой формулы, *«безнравственно,* — говорит г. Михайловский, — *несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживает это движение* (то есть приближение *неделимого к целостности). Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов».*

Прилагая ее к настоящему моменту жизни человеческих обществ и выделяя из них *личность человеческую, неделимое,* мы не можем не видеть, что неделимое не может похвалиться «целостностью» своего существования. Напротив, в каждом человеке каждой общественной группы, из соединения которых образуется благообразие пчелиного улья, нет гармонии в развитии его личности, нет разнородности в деятельности членов его организма; напротив, он, *целый человек,* живет только *частью* себя, сам сделавшись *членом* общественного организма. Труд разделен «между людьми», а не «между членами организма человеческого». Рабочий только стоит у станка или у горна и стучит всю жизнь молотом, проститутка всю жизнь должна быть весела и пьяна и т. д. Все исполняют какую-нибудь специальность, не дающую

возможности жить специалисту другими сторонами человеческого духа и тела, и все не могут считать себя счастливыми. «Попробуй-ка моего!» — может сказать человек всякой современной профессии, и всякий в то же время не может существовать без посторонней помощи, всякий эксплуатирует всякого и в свою очередь эксплуатируется всяким. Рабочий, священник, инженер, балетная танцовщица, ученый и т. д., поставленные в положение, при котором их специальности оказываются ненужными, не требуются, не покупаются, — должны *сгинуть*, пропасть от своей беспомощности, и вообще никто из них не может *сам удовлетворять всем своим потребностям,* а, напротив, удовлетворяя какую-нибудь ничтожную общественную потребность, *сам-то* в удовлетворении всех своих потребностей требует посторонних услуг таких же, как и он, микроскопических специалистов.

Выражение *«сам удовлетворяет всем своим потребностям»* принадлежит гр. Л. Н. Толстому; употреблено оно им как характеристика форм жизни нашего крестьянства, в отличие от форм жизни, выработанных «цивилизацией», и, как мы думаем, характеристика эта окончательно рассеивает всю ту темь, и туман, и муть, которые в литературных спорах окружают толки о народе и цивилизации, о России и Европе. Упомянув в одной из своих педагогических статей о мнении Маколея, что благосостояние рабочего народа измеряется высотой заработной платы, гр. Толстой спрашивает: «Неужели мы, русские, до такой степени не хотим знать и не знаем положения нашего народа, что повторяем такое бессмысленное и ложное положение? Весь народ, каждый русский человек без исключения назовет богатым степного мужика, с старыми одоньями хлеба на гумне, никогда не видавшего в глаза заработной платы, и назовет несомненно бедным подмосковного мужика в ситцевой рубашке, получающего постоянно высокую заработную плату. Не только в России невозможно определить богатство степенью заработной платы, но смело можно сказать, что появление в России заработной платы есть признак уменьшения богатства и благосостояния». А в другом месте той же педагогической статьи гр. Толстой говорит: «Чтобы человеку из русского народа полюбить чтение Пушкина или историю Соловьева, надо этому

человеку перестать быть тем, чем он есть, то есть человеком независимым, удовлетворяющим всем своим потребностям». Пушкин и Соловьев здесь поставлены только как признак нужды духовной, которую оказывается невозможным удовлетворять самому, как и в предшествовавшем примере указаны признаки материальной нужды: раз человек теперь, в настоящую минуту, удовлетворяет всем своим потребностям как материальным, так и духовным, он вполне независим, и делается зависимым, то есть несовершенным, удаляется от целостного типа только тогда, когда не может *сам* удовлетворять себя во всех своих потребностях. Как видите, ту формулу прогресса, которую делает г. Михайловский путем научным, гр. Л. Н. Толстой, к нашему, то есть русскому огромному счастью, видит даже осуществленной в глубинах наших народных масс, и его выражение: *сам удовлетворяет всем своим потребностям*, сказавшееся после глубокого и искреннейшего изучения русского народа, вполне отвечает теоретическому выводу г. Михайловского: «нравственно, справедливо, разумно все то, что уменьшает разнородность общества (разнородность между профессиями людей), усиливая тем самым разнородность его отдельных членов», то есть соединяя эти разрозненные профессии в каждом человеке, то есть делая для каждого возможным удовлетворять всем своим потребностям.

Повторяем: эта формула и этот вывод, сделанный гр. Л. Н. Толстым относительно форм жизни русского народа, окончательно решают вопрос как о том, что́ вообще нравственно, разумно, справедливо, так и о том, что́ такое Россия, Европа, народ и цивилизация. Стоит только эти выводы приложить к любому рассуждению о благе русского народа, чтобы немедленно убедиться, точно ли рассуждающий желает народу блага, точно ли *он понимает*, в чем оно заключается, *точно ли он любит* его или только галдит о нем и без толку бормочет о России и Европе, о народе и цивилизации.

В томе III «Сочинений Н. К. Михайловского» [1] читатель найдет превосходный пример применения этой формулы прогресса к учению теперешнего славянофильства, которое, как всем известно, десятки лет твердит о народе

[1] Стр. 213. (*Прим. автора.*)

и хлопочет о широком развитии его духа. В № 4 газеты «День» 1865 г. была напечатана статья «Зигзаги и арабески русского домоседа»; из нее-то Н. К. Михайловский делает следующую выписку: «Всяким довольством обильна, величавым покоем полна, текла когда-то старинная дворянская жизнь домоседская: мед, пиво варили, соленья солили и гостей угощали на славу — избытком некупленных, богом дарованных благ. И этой спокойной жизни не смущала залетная мысль, а если подчас бушевала кровь застоялая — пиры и охота, шуты и веселье разгулом утоляли заволновавшуюся буйную кровь». Затем идет описание запустения дворянской жизни, и, не меняя былинного языка, автор приходит к выводу, что в России нужны новые железные дороги, новые финансовые предприятия, деньги с которых опять оживят жизнь домоседскую. «*Не* старцев, калик перехожих, ждет томящийся избытком богатств неизбытных южнорусский край; ждет он железного пути от середины Москвы к Черному морю. Ждет его могучего свиста древний престольный город Киев; встрепенется, оживет в нем старый русский дух богатырский; воссияют ярким золотом потемневшие златоглавые церкви и звонче раздастся колокольный тот звон, что́ со всех концов земли русской утомленные силы, нажитое, накопленное горе — ко святым пещерам зовет, облегченье, обновленье дает. Торный, широкий след проложила крепкая вера нетронутая, да тяжелая, жизнью вскормленная скорбь народная к городу Киеву. Но на перепутье другом создали силы народные новый город Украйны, Харьков торговый; бьет ключом здесь торговая русская жизнь, север с югом торговлю ведет и *стремятся сюда свежие ретивые русские рабочие силы* к непочатым землям Черноморья и Дона, к просторным степям, к Крыму безлюдному, что стоном стонет, рабочих рук просит. Томятся, ждут города и земли — к кому (к Киеву или Харькову) направится новый желанный путь, кому дастся сила, кому бессилие?» К этому редакция «Дня» делает такое примечание: «Мо́ря и Москвы хочет доступить Киев; пуще моря нужна Москва Харькову; Киеву — первый почет, да жаль обидеть и Харькова. Или Русь-богатырь так казной-мошной отощала, ума-разума истеряла, что не под силу ей богатырскую, не по ее уму-разуму за единый раз добыть обоих путей, обоих морей,

железом сягнуть до Черного через Киев-град и Азовское на цепь к Москве через Харьков взять, чтобы никому в обиду не стало?» За исключением мнения, будто бы Азов-град обидится, если его по примеру прочих мест не посадят на цепь, — что же тут, спрашивается, русского, народного, что тут «не Европа»? Богатырским языком здесь изложено, что желают учредить совершенно европейское финансовое предприятие; с гуслярным звоном говорится о рабочих руках, то есть о нарождении той самой заработной платы, которая не может появиться на Руси иначе, как вследствие упадка народного благосостояния. Кстати сказать, недавно вышедшая книга г. Янжула *«Фабричный быт Московской губернии»* уже рисует «начало» на Руси этих чисто европейских форм жизни, и нам кажется, что г. Янжул, зная фабричный быт Англии, мог бы даже теперь, не посещая фабрик, не только знать, что там делается, но даже и предсказать, что́ там будет делаться завтра, через десять, пятнадцать лет. И все, что там ни делается, и все, что ни будет делаться, — все это противоречит коренным свойствам народного быта, основанного на полном удовлетворении всем своим потребностям. Но если г. Янжул, как знающий фабричный быт Англии, то есть образец, с которого у нас на Руси водворяется готовый слепок, мог бы предсказать заранее все, что воспоследует из этого нововведения, то наша скучающая публика *должна* знакомиться с такими работами, как книга г. Янжула, так как она весьма мало знает, что такое за несчастие эта заработная плата и что за счастие такое учреждение, как фабрика.

Посмотрите, в самом деле, чего, например, стоит человеку (*человеку*, господа!) такой ничтожнейший продукт, как рогожа? Работа на рогожных фабриках начинается с воскресенья, с девяти часов вечера, и идет так: работники — отец, мать и двое детей — работают все вместе с девяти часов до четырех часов ночи, в четыре часа отец ложится спать, а мать и двое детей работают до шести; в шесть встает отец, ложится мать, в девять часов ложится один ребенок, а в час дня, *то есть проработав шестнадцать часов подряд,* засыпает другой, и так в течение целого дня почти безостановочно, с перерывами в один час — для обеда, в два-три ча́са, когда случится,

днем и ночью — для сна; идет работа всю осень, зиму и весну... Весной, уходя домой, рабочие до того *измаиваются,* что, даже по выражению самих хозяев этих фабрик, их *«ветром качает»,* и что ж, такой каторжный, измаивающий труд — что он, приближает ретивый трудовой тип русского человека к «целостности», к полноте, или удаляет от него и из целого человека превращает в какой-то инструмент, щиплющий мочало?

Но эта рогожная фабрика — образец фабрики самого первобытного устройства; здесь хозяин, как видите, сам говорит, что работники измаиваются так, что их «ветром качает»; кроме того, при найме рабочих также сам хозяин по-мужицки откровенно говорит им, что за провизию с них он, хозяин, будет брать дороже лавочного и чтобы эту дорогую провизию брать непременно у него. Это фабрика — не рафинированная ни гуманностью, ни филантропией. Но и рафинированные фабрики, образчики которых читатель может найти в книге г. Янжула, также не очень будут радовать его сердце.

Вот, например, фабрика в городе Серпухове, где все устроено по последней моде и со всевозможным «гуманством»: есть и больница, и особенный родильный приют для рабочих женщин, где они могут *«родить бесплатно»* и притом пользуются даровыми лекарствами и уходом; для детей фабричных рабочих устроены колыбельни, в которых, за отсутствием матерей, за детьми ходят несколько нанятых администрацией фабрики женщин. Около этой колыбельни устроен садик и в нем ящики с песком, в которых дети могут играть. Все превосходно с первого взгляда, а посмотреть на дело «по-божецки», так и скучненько станет: представьте себе детские годы этого ребенка; ребенок, неразлучный с матерью со дня рождения, благодаря уже *одному разговору* материнскому, — разговору, начинающемуся еще *задолго* до самых элементарнейших признаков понимания в ребенке, задолго до того времени, когда он еще научится слышать, глядеть, разговору бесконечному, постоянному и притом решительно *обо всем,* что только дает разнообразная жизнь дня, — благодаря уже одной этой материнской болтовне ребенок начинает ощущать потребность самого разностороннего внимания и благодаря именно этому вниманию к многочисленности явлений жизни, возбуж-

денных материнскою болтовнею, начинает развиваться *всеми сторонами* своего духа и тела. Теперь же, в этом ящике с песком, оставленный на попечение старухи, обязанной смотреть за десятерыми, он на тысячи вопросов не получит ответа (не разорваться же старухе!), тысячи любопытных явлений — цветок, петух, бабочка — мелькнут только явлениями непонятными. В этом ящике с песком он уже лишен бесконечно разнообразных впечатлений, которые дала бы ему жизнь в трудовой крестьянской семье, впечатлений трудового крестьянского дня. Мать он видит в то время, когда она приходит есть и спать, в те же часы видит и отца, но и у матери и у отца нет ничего общего и в труде, как это есть в крестьянской семье; нет общего, понятного и мужу и жене и в то же время воспитывающего этим общим трудовым днем и разговором своего ребенка: отец делает одно, мать другое, а общий разговор — «про деньги», и все про то, чтобы «отдохнуть», да как бы «уйтить в кабак». Ребенок растет под однообразный стук и свист паровых машин, в разговорах о штрафах, о рабочих часах, об убавке платы, — и с детских годов все его духовные и физические свойства воспитываются применительно к узкой, однообразной, *измаивающей* фабричной работе. Он будет, может быть, аккуратнее отца, будет исправнее, но он будет ýже его, глупее, если можно так сказать, он уже не будет тем полным человеком, каким пришел на фабрику его отец; отца его нужно было приводить в машинообразное состояние штрафами, вычетами, кутузками, строжайшими угрозами пустить по миру без копейки за буйство, за песни, за опоздание, за драку, за водку; на тысячи манер администрация «обламывала» неотесанного мужика, который напился и набуянил от тоски, который из ревности исколотил жену, из личной обиды на неотеса-надсмотрщика испортил дорогую машину или «нажрался» с радости, вспомнив, что «на селе» праздник, или что надо погулять, потому что жена родила, заговорило родительское сердце... Этот новый тип, без деревенских впечатлений, ребенок, выросший в колыбельнях, в ящиках с песком, под стук и свист паровиков и паровых молотов, может быть, и не будет буянить, будет пьянствовать тихо, валяться замертво, не беспокоя администрации и не подвергая себя штрафу; быть

может, этот будущий, рафинированный фабрикой человек не забуянит и из ревности, потому что, вероятно, и над проституцией простреется рука гуманности, и она будет «упорядочена», улучшена в гигиеническом отношении, так что не будет надобности и в больнице лежать, и ревновать, да и на крестинах буйствовать с радости, вероятно, также не придется. Еще можно бы говорить, что эти новости неотразимы для нас, что эти беды должны прийти к нам, что нужно все сделать, чтобы ослабить неизбежное зло, и под прикрытием этих гуманностей все-таки с грехом пополам класть в карман «неизбежный и неотразимый» дивиденд, но говорить, что соловьиный свист железных дорог и фабричных паровиков то же, что богатырский посвист Ильи Муромца (это сказано в упомянутой статье «*Дня*»), что от свиста этого проснется русский дух богатырский, что засияют кресты златоглавые, — это уж даже и безобразно.

2

Не будем, однако, слишком далеко уходить от главной темы настоящего очерка и, предоставив капиталу творить то, что ему будет «позволено», вновь остановим наше внимание на любезном нам типе человека «независимого» и удовлетворяющего всем своим потребностям.

Тип этот любезен нам потому, что, как мы видели, и «по науке» он оказывается именно тем типом существования, о котором смутно и тяжко томится стиснутая и скомканная душа современного человека, пытающегося ответить на преследующий его вопрос: «како жить свято?» И потому любезен он, что в нем есть и простота, и широта, и гармония, и независимость, и правда, — все, что хочется человеку, все, что таится в глубине-глубин его тоскующей совести; любезен он нам еще и потому, что этот тип, то есть этот *образчик* справедливого существования, есть у нас в живом виде, живет в массах русского народа, и во сто раз любезнее и значительнее становится он для нас теперь благодаря рукописи простого крестьянина, потому что рукопись эта говорит, что и сам народ, в лице своих, по-своему образованных, мыслящих людей, также хочет сказать всему белому свету, что и он,

народ, *сознательно* полагает и правду, и счастье, и независимость именно в такой форме жизни, в основе которой лежит *удовлетворение личностью всех своих потребностей.*

С умыслом подчеркнуто мною слово *сознательно*. Всякий, кто, желая знать народ, старался понять его жизнь и его мысль, и вообще всякий интеллигентный человек, живший в деревне, в народе и хоть чуть-чуть «с народом», непременно и притом необычайно долго должен был переживать самые мучительные, самые терзательные, беснующие даже иногда минуты. На каждом шагу он встречал, и притом одновременно, как действительно те гармонические формы народного быта, о которых только что говорено и которые невольно возбуждали скорбь о своем интеллигентном ничтожестве и зависть к гармонической силе и простоте народа, так и полное разочарование в гармонии, полную бессмыслицу деревенских людей, грубую дикость, узость, узколобие, бессердечие и вообще полнейшее отсутствие каких бы то ни было человеческих привлекательных черт и свойств. Вот сейчас, например, в то самое время, когда я писал эти строчки, приходил ко мне вполне «гармонический», «целостный» и «полный» деревенский человек и объявил, что он завтра поступает в лакеи к одному барину, который появился на станции. «Что же ты будешь делать у него?» — «Да уж что потребуется. куда пошлют. что подать. комнаты, например, *приобрести* в чистоту» и т. д. До сей минуты это *был* славный крестьянский юноша, молодой парень, человек, «сам удовлетворяющий своим потребностям», а сегодня он с веселым лицом идет в лакеи, потому что ему дадут семь рублей в месяц (хотя не *проявись* на станции барин, этот парень продолжал бы оставаться «цельным» и «полным» и жил бы без семи рублей, как жил без них до настоящего времени). И вот он-то весело идет в лакеи; из хозяина, вполне независимого человека, радуется, превращаясь в холопа, нимало не задумываясь о том, что это унижение, что обидно же ему будет подавать тарелки, когда теперь ему самому подают бабы, что не маленький он бегать за булками. Вчера еще он говорил отличным языком, правильным, дельным, свободным, выразительным, а теперь он выдвигает слова, в которых смысла человеческого нет, —

«*приобрести* комнату в порядок», а завтра, может быть, будет уже тайком выпивать остатки недопитого «портвину», воровать папироски, льстить барскому самолюбию, даже про барскую собаку, может быть, будет говорить: «*оне* пошли по своей части», а уж речь его будет, наверное, испещрена чорт знает какими словами; не сегодня-завтра он уж «примазывается» к «куфарке» и на весь дом ржет от удовольствия, найдя в отсутствие барина сатирический листок с какой-нибудь сальной картинкой, тогда как вчера он и мысли не имел, чтобы «примазываться» к кому-нибудь: вчера он вел себя в этом смысле и чисто, и честно, и строго, а о сальностях и удовольствии созерцать их — и помину не было. Словом, вчера я считал его человеком вполне достойным всякого уважения, обращался с ним деликатно, вежливо, как и он со мной; относился к нему как к сильному, умному, толковому, понятливому сельскому жителю, не сегодня-завтра семьянину и хозяину, а сегодня он уж и сам *не посмеет* протянуть мне руки, поздороваться «за ручку», как мы здоровались все время, да и разговаривать нам будет ровно не о чем.

Словом, на каждом шагу наших столкновений с народом мы чувствуем и видим «собственными глазами», что есть в этом гармоническом человеке какой-то предел, после которого этот же человек может превратиться бог знает во что, из доброго сделаться злым, из великодушного — жадным и алчным, из мирского — сущим врагом мира, разорителем его и предателем, и из человека внимательного к себе — каким-то бессмысленнейшим губителем самого себя.

Где же тот пункт и в чем он заключается, дойдя до которого гармонический человек вдруг превращается в безобразие и делается решительно непохожим даже сам на себя? Мало-помалу, то восхищаясь, то терзаясь разочарованиями, начинаешь приходить к мысли, что этот гармонический человек *едва ли* даже *понимает, что он именно гармонический*, что он хоть и говорит всю жизнь прозой, но, кажется, решительно не знает этого; он не знает, хорош ли он или худ, а живет, делает и думает хорошо и красиво, и справедливо как бы только благодаря каким-то посторонним, вовсе не от него зависящим влияниям; начинает чувствоваться, что кто-то властвует

над ним, и покуда этот кто-то властвует, перед вами стоит и многосторонний и гармонический человек, а как только этот кто-то перестал властвовать, так гармонический человек и идет в лакеи к барину, который «появился на станции», и начинает выговаривать слова без всякого смысла — «*приобрести* комнату в чистоту».

Разубедиться в силе этой власти невозможно, так как, почуяв ее присутствие, вы можете только всеми силами добиваться разрешения вопроса: где, в чем и чья такая эта власть? Оказывается, что власть эта есть действительно и что все благообразие гармонического человека всецело зависит от условий его труда, и вот здесь, самым пристальным образом вникая в условия и свойства этого труда, вы убеждаетесь, что этот труд, беспрерывный и бесконечный, во имя только «куска хлеба», охватывает всего человека, владеет им всю жизнь, переносит на него все свое разнообразие, красоту, многосложность, гармоничность, поэзию; убеждаетесь, что этот труд, владея человеком, уничтожает в этом человеке малейшую возможность своевольства, *своей* выдумки, *своих* планов, *своих* убеждений, но, напротив, сам своею властью, выдумкой, прихотью входит в мысль, в поступки, в домашние и общественные порядки и отношения деревенского «гармонического человека». *Знай* этот гармонический человек, что он живет так хорошо, честно, просто и свято, — потому что так *должно* жить, что жить так справедливо по отношению к себе и к людям, что вообще иные, более легкие формы существования не соответствуют требованиям его совести, его убеждениям, — разве бы он продавал с такою веселою беспечностью свое первородство за чечевичную похлебку, как это мы видим в деревне беспрестанно?

Да и никогда для огромной миллионной массы огромного большинства русского крестьянства не было и малейшей возможности воспитывать свою совесть; оно делало это само, кое-как, без малейших средств, валило через пень-колоду, но делало едва-едва, урывками, мало, плохо, путанно, но делать хорошо и прочно оно не могло, потому что сотни лет его воспитывали исключительно в хозяйственных целях, в агрономическом, так сказать, направлении. И большой боярин старого времени и господин бывший помещик чуяли, что власть земледельческого

труда безгранична над мужиком, что она сильнее палки и даже самого бурмистра или ключника, и старались только, чтобы над ним царила исключительно эта власть, власть естественных условий труда, власть земли, навоза, ветра, дождя, урожая, неурожая, — условий, которые не подлежат ни контролю, ни протесту, ни малейшей критике; большой боярин и бывший господин помещик ничего не изменили в той, так сказать, «запряжке» крестьянина, которую создали ему не зависящие от него условия труда; с своими бурмистрами, приказчиками, арапниками и прочими атрибутами хозяйства они только нахлестывали запряженного уж мужика, увеличивая этим хлестаньем только напряжение его труда, заставляя его плотнее «лечь в оглобли», поднять и провезти больше того, что он вывез бы без кнута, но ничего не изменяя ни в условиях труда, уже владевших мужиком и создавших ему «запряжку», ни в том пути, по которому он и сам шел, повинуясь опять же этим условиям труда.

Недаром же только после освобождения крестьян явилось такое обилие сект, весь смысл которых исчерпывается стремлением *те же самые земледельческие формы жизни, те же самые семейные и общинные порядки,* которые мы постоянно и без сектантства встречаем в народе, но которые не основаны *на убеждении* в чистоте и правде этих порядков, а только на том, что так хорошо *велит* жить *хороший труд,* переделать и перестроить на основании *именно правоты, справедливости, чистоты и праведности этих форм жизни,* то есть сделать их крепкими и незыблемыми, чего невоспитанная совесть огромной массы русского народа не может сделать до тех пор, пока чье-нибудь слово неразрывно с делом не возьмутся за эту молчащую струну народной души. Наша деревня с «нетронутою и невоспитанною совестью», при обилии в настоящее время всевозможных и бесчисленных новых влияний, большею частью неблагоприятных «гармоническому типу», — влияний, которым не воспитанная, не укрепленная убеждением совесть ничего противупоставить не может, — поминутно выделяет от своего зоологически здорового ядра тысячи единиц, которые уже не могут жить заодно с этим ядром, а должны отпасть от него: один, послужив на железной дороге, отвык от работы; другой запутался в долгах и, сдав землю, пошел в ра-

ботники; у третьего от тесноты семьи перемерли все близкие, а зоологическая деревня только хоронит мертвых, увольняет из общества, описывает за долги имущество и со временем постепенно опять уравновесит количество жителей с количеством земли. Было, положим, при наделе сто душ, — и земли на сто душ хватало; теперь на этой же земле должна жить тысяча душ. У зоологической деревни нет *способов* добыть на всех земли; вот когда придет крестьянский банк, да объявят об этом, да разъяснят, да уговорят, чтобы «не пужались», — вот тогда она купит земли, а теперь и есть земля, и вот она рядом, и деньжонки бы нашлись, но все от мала до велика в зоологической деревне говорят, что «с нашим народом не сообразишь». И так как сообразить точно нельзя, потому что этого и в заводе не было, то дело идет так, как *велят* обстоятельства. «Горлушком» перемерло человек двести детей — вот уже и ближе к равновесию. Ушел Иван Кузьмин, потому у него лошадь пала в прошлом году, а в нынешнем жена померла, простудилась, таская за тридцать копеек в день дрова из речки в студеную пору; Иван Кузьмин сдал землю, пустил ребят по миру, сам ушел, и вот опять ближе к равновесию — земли прибавилось. Три двора начисто распьянствовались, все пораспродали, землю сдали, разбрелись в работники. Иван Миронов, совсем «распустивши», помер у кабака, жена ушла к купцу в работницы, землю сдала; пришла «воспа» — поуровняла еще души с количеством земли... И так постепенно все покоряется *естественному течению*. Глядишь, на той же земле, которой хватало только на сто душ, опять живут не тысяча уже, а именно только сто, и живут исправно. Но народ, оторванный от этого здорового, выдержавшего все напасти ядра деревни, образует ту массу бродячего рабочего люда, которого теперь так много развелось на Руси.

На наших глазах настроения духа этого бродячего человека выражались в весьма различных видах; еврейские погромы, поджоги усадеб и только что приготовленного на продажу владельцами хлеба совершались и совершаются не без участия этой бродячей рабочей толпы; с другой стороны, не меньшая масса такого же народа, оторванного от «своих мест», стремится на новые места, примазывается к переселенцам, пристает к сектантам

обществами, даже новые сектантские союзы образует. И всякий такой новый союз замечателен тем, что он образуется из людей «чужих» друг другу, людей «разных мест», и этим «чужие», «разные» люди соединяются в общины и союзы уж не зоологически, не стадно, а сознательно. Весь юг, Новороссийский край, например, весь он населился людьми «разных мест», «чужими друг другу людьми», людьми, которых или жестокости помещика, или личное несчастие, или равнодушие тупоумного деревенского общества выбросили вон из своей естественной, испоконной среды, отпустили его на волю неизвестности, одиночества, голода, холода, всякого страдания, всякого страха,[1] — словом, совершенно выбили из обычной колеи, при которой он жил так, как *велят* дожди, засухи, урожаи и становые, заставили много думать «вобче», привели долгим опытом ежеминутной опасности сгинуть, исчезнуть, пропасть зря к мысли, к убеждению, что так жить нельзя, что надо жить «по-божецки», и вот уже *на убеждении* жить по-божецки образуется, повидимому, *та же самая* крестьянская семья, то же самое сельское общество, в котором живут, повидимому, *те же самые* мужики, которые точно так же пашут, сеют, косят, бабы, которые точно так же жнут и белье стирают; но эта семья и эта община уже «божецкая», убежденная, что она устроилась *так,* а не иначе потому, что *так* жить справедливо, праведно, что так жить следует *по совести.*

Эта зоологическая, с нетронутой, невоспитанной совестью деревня, как много раз говорено было мною, глубоко нуждается в интеллигентной помощи, в чьем-нибудь постороннем влиянии, которое бы дало возможность пробудиться мысли и совести. И как бы ни были слабы и неопытны люди из русского интеллигентного общества, чувствующие потребность жить в деревне, «работать» и «помогать», как бы ни были они малоопытны и как бы ни чувствовали они ежеминутно, что им тяжело и мучительно, — дело их не бесплодно, так как они при всей неопытности, отдаленности от народа, унаследованных от ненародного воспитания и прежней обстановки жизни, *не могут* не действовать именно в направлении тех же

[1] Обращаем внимание читателей на «Записки южнорусского крестьянина», напеч. в журн. «Устои» 1882 г. (*Прим. автора.*)

справедливых и гармонических форм жизни, которые созданы неосмысленными условиями труда. Что эти формы хороши, правдивы, — этого нельзя не чувствовать, не ощущать; и раз человек относится к делу искренно, он даже по одному только художественному инстинкту, даже просто по инстинкту, не скажет такого слова и не сделает такого дела, чтобы повредить этим формам, расстроить их, урезать и убавить. Так и в нем самом, хотя и не сознанно, не ясно, а только мучительно тяжко, живет все то же стремление к полноте существования, иначе он не был бы несчастлив, не томился бы вопросами: «что делать и как жить?» А за справедливость, за правду и красоту форм жизни, при которых человек может удовлетворять всем своим потребностям, то есть быть совершенно независимым, цельным, не эксплуататором и не эксплуатируемым, то есть за главную, хотя и отдаленную цель работы интеллигентного человека, как видели мы, свидетельствует и наука, и самый пристальный и искренний опыт, и, наконец, *сознательное* слово, исходящее из среды самого народа. Теперь будем говорить, наконец, и о *рукописи*, в которой это слово сказано.

3

Рукопись эта написана крестьянином из молокан, добровольно переселившимся в Енисейскую губернию. В заголовке ее значится, что автор адресует ее: *«В м-скую городскую муззею, в дом Белова, где собраны со всего света редкости»*. Ознакомившись с содержанием рукописи, не трудно понять, почему именно автор ее избрал такое нейтральное место, чрез посредство которого желал бы познакомить Россию с своими идеями: «образованный» человек, вообще белоручка, не всегда, с точки зрения его идей, может пользоваться его почтением, а ведь образованный человек, «чистый народ», к несчастью автора, утвердился во всех местах, заведующих «серьезными делами», и являться с критикой к критикуемому, для того чтобы он «помог распространить эту критику», оказывается делом неудобным, и вот автор вносит свое произведение в нейтральное место — в *«городскую муззею, в дом Белова, где собраны со всего света редкости»*.

Кроме того, он и сам считает свое произведение явлением редким, так как полагает, что идеи его не только у нас, но и во всем свете умышленно скрыты, «спровергнуты», несмотря на то, что истекают из первородного закона божия. «Источник, — говорит он в начале рукописи,— из которого я почерпнул все это,— завет божий: *в поте лица твоего снёси хлеб твой, дондеже возвратишься в землю, от нея же взят»* (Бытия, 3), и на основании этого завета строит целую, стройную теорию труда «своими руками», которой и дает общее заглавие: *«Трудолюбие или торжество земледельца»*. До чего автор последователен в развитии своих идей о святости и неизбежности для человека исполнять первородный закон божий, повелевающий *трудиться* и трудиться непременно своими руками, может служить одно, даже несколько возбуждающее улыбку, место в этой рукописи, где автор мельком упоминает о евреях. Как вы думаете, отчего именно евреи такие, как они есть, а не другие? Отчего им надобно тянуть с ближнего своего выработанный этим ближним грош, а не работать самим и вырабатывать его своими руками? Строго, вековечно, незыблемо установив закон для всего человечества — в поте лица есть хлеб свой, бог, по милосердию своему, однажды только, из жалости и сострадания, нарушил его, *«поманил* (то есть побаловал) *евреев сорок лет в пустыне манною»,* то есть покормил их даровым хлебом и тем самым испортил их навсегда; от этой-то ошибки,— говорит автор,— *они по сей день вон какие работники!»* Восклицательный знак принадлежит автору и доказывает, до какой степени ему неприятен тип тунеядца и как он взволнован этой непоправимой «ошибкой». Хотя этот отрывок рукописи и может заставить улыбнуться читателя, но он нимало не портит стройности мысли автора, а, напротив, свидетельствует о глубочайшей строгости его мыслей, зорко примечающих нарушения «закона первородного», где бы и кем бы это нарушение сделано ни было.

Далее вот что читаем мы в рукописи:

«Я признал себя вправе толковать о трудолюбии и тунеядстве потому, что я знаком с «законом» и трудом его (земледельческим) не на словах только, но на деле, с юности, и даже с предков. Вот и говорю, не запинаясь, от имени всего своего земледельческого круга.

«При конце каждого из шести дней творения господь сказывал: «добро есть». «И виде бог, яко добро есть». Если бы эти слова: «добро есть» сказал человек, то тут можно (было бы) усомниться, потому что человек ошибке подлежит и даже часто называет доброе худым, худое — добрым. Но ежели бог сказал: «добро есть», то тут никакому сомнению места быть не может, и, стало быть, все сотворенное им не требует ни приложения, ни отнятия, а непременно для всех и навсегда — «добро есть».

«...В то же время (то есть в течение этих шести дней творения) и на том же месте бог выдал человеку свой незавитой (не запутанный), короткий и притом не тяжкий закон: «в поте лица твоего снѐси хлеб твой». И утвердил этот закон словами: «добро есть» — и стало быть, и тут не нужно ни приложения, ни отнятия (никакого умствования), а надо принимать, что этот закон вполне добро есть. Тут-то, без сомнения, и открывается нам, что человек, работающий хлеб своими руками, исполнен всех добродетелей, а удаляющийся от него творит зло: не сказано — «не работай» и не сказано, что не работать «добро есть».

«...Все, что создано богом на земле и на небе, — ничто не выходит из круга первородного закона и вполне и безусловно повинуется воле сотворшего. Спрашиваю, почему он сотворил в начале бытия *только двух людей* — мужа и жену, Адама и Еву, — а не населил землю, по всемогуществу своему, множеством людей? Потому, что во всей жизни человеческой два главнейших дела или две обязанности одного и того же достоинства и цены: *первая* — рождать на свет людей, *вторая* — вырабатывать им хлеб. Он и сказал Еве: «Умножая, умножу печали твоя и воздыхания твоя, в болезнях роди чада твоя», а Адаму сказал: «В поте лица твоего снѐси хлеб твой».

«Ничто по закону первородному не меняется ни на земле, ни на небе, и как определил бог женскую обязанность, так она и без всяких тайностей, изворотов и иносказаний исполняется, и как сказал бог, так буквально все и сбывается: как жене, живущей в убогой хижине, так и царице, на престоле седящей, на главе корону имеющей, — одна и та же участь: в болезнях родить чада своя. Да! До такой степени в болезнях, что по дням лежит полумертвою, а иногда и совсем умирает.

«Но вот эта именитая жена могла бы за деньги избавить себя от родов, могла бы купить за деньги готового ребенка? Нет! Нельзя этого сделать; не можно переменить постановления божия; собери со всего света сокровища и отдай их за дитя, а оно не будет твоим, и как было чужое, так чужим тебе и останется. Чье же оно? Да той матери, которая его родила.

«Также и муж. И он тоже может отказаться от хлебной работы, купить деньгами один фунт хлеба. А хлеб как был чужой, так и будет чужим. Чей же он? А того, кто его работал. Потому что как богом положено — жене не должно прикрываться деньгами или какими-либо изворотами от рождения детей, так и муж должен для себя и для жены, и для детей своими руками работать хлеб, какого бы он ни был великого достоинства.

«Вот где главнейший источник всех добродетелей, вот где полезнейшие врачевства от нищеты и злодеяния! И все это в обнародовании *первородного* закона, влекущего человека ко всем трудам, которому голова есть хлебный (земледельческий) труд. Этот труд и по житейскому — дороже всех драгоценностей, и по духовному — спасительнее всех заповедей и постановлений, потому что в нем закон *первородный,* в нем защита от пролития человеческой крови и слез!

«Пускай обнародуется этот первородный закон, и все мы получим себе временное и вечное спасение, потому что он собственный наш, земледельческий. А без него мы лишены и того, и другого, без него мы бедны, глупы, злы; без него мы сироты, как маленькие дети без отца и без матери; без него у нас нет покровителя и спасителя!

«Я говорил: ни на небе, ни на земле ничто не меняется против первородного закона. Только человек, образованнейший и умнейший, который бы должен как к хлебному, а затем и к прочим трудам показывать собою пример другим, скрылся и удалился от назначенного богом труда, да и живет в каких-то там *трущобах припеваючи,* да руки свои заложил в карманы и праздным своим житием ослабляет руки другим, поощряет их к злодеяниям.

«...Каждый из них (ученейших и умнейших) говорит: «Я люблю и почитаю как хлебный труд, так и работающего хлеб, а ленивца ненавижу и гнушаюсь им». Но я

таковым отвечаю: «Слышу голос Иакова, а осязаю Исава».

« — Мы не лежим (говорят ученейшие и умнейшие), а рачительно работаем. Мы более земледельца трудимся; мы хлеб не даром берем, а за трудовые деньги покупаем; мы по заповеди в поте лица едим хлеб. Мы людям деньги даем, а люди нам — хлеб. Мы людьми живем, а люди — нами. Нам и людьми-то распоряжаться и давать им направление времени недостает, а не то чтобы самим работать. Данная Адаму заповедь не на один только хлеб указывает, а на все занятия. Человек и деньги наживает с тою целью, чтобы избавиться от хлебной работы. Заняться хлебом, тогда о другом деле и подумать некогда. Я покою не знаю, день и ночь хлопочу, мне и готового-то поесть некогда. Если все будут работать, тогда вселенная должна прийти в упадок и обнищать. Я вот сколь много денег имею, да поеду работать за сорок копеек, тогда все должны меня глупцом назвать. Пусть у меня хлеб вырабатывают деньги, а не я...» А я спрашиваю: «Что, ежели бы этими суеверными и закону противными изворотами стали бы и мы все прикрываться от трудов,— поверили ли бы они нам?» Подумай себе, читатель, представь и вообрази: если бы мы все, подобно им, попрятались от хлебной работы за разные углы, «кто куда, а кто куды», тогда в короткое время вся вселенная должна голодной смертью погибнуть. Приняли ли бы они от нас такое же, как ихнее, оправдание?

«Я поехал бы работать хлеб (говорит какой-нибудь *из них*), да не умею». Спрашиваю: «Когда тебе два года было от роду, ты и тогда уже умел есть хлеб, а работать его и за столько лет не научился? Если бы бог сказал: «возьми камень и коси», ты бы мог сказать: «этого нельзя!» Это оправдание уважительно. А почему нельзя хлеб работать?»

«. . Все это я говорю тебе, город М — ск, только потому, что ты торчишь у меня перед глазами, а на самом деле этот разговор не к тебе следует. Если бы закон первородный был разъяснен и все народы, а также и предки твои выполняли бы его, то твоя вина (теперь не выполняющего этого закона) была бы неизбежна. Но если (от этого закона) от начала века осталось только одно имя, то (не обвиняя М — ска) я спрашиваю всю

Россию: «Виновата ли ты, Россия, в опровержении этого закона? Затем прошу тебя, Россия, переделай все мои вопросы на лучший лад с добавлением, но без отнятия смысла их, и представь государствам, которые старше тебя от рождения: ты от них закон и веру получила и приняла; они обязаны тебя законным ответом удовлетворить — *как* они сначала писали закон и *с какою целью* от очей всего мира этот закон скрыли? Они — старики, они — учители твои, а твоя, Россия, хата с краю; ты по этому великому и уму непостижимому делу *за людьми человек*».

«. Именем бога правды умоляю вас, читатели и слушатели, почему это так, что самая главнейшая и душеспасительнейшая из всех добродетелей, драгоценность дороже всех драгоценностей света, скрыта и уничтожению предана? Да и было ли когда-нибудь прежде разъяснение этому закону во всех верах и народах, во всех писаниях? Ни слова! И этот закон в целом мире — живой мертвец. Хотя бы его к малейшим добродетелям причли, из «головы» сделали бы хвостом, — нет, ничему такому даже не уподобили! Кем же он уничтожен? Может статься, неверующими в бытие божие? Может быть, незначительными и невежественными людьми? Нет, ученейшими и умнейшими! Может быть, не во всех племенах и верах скрыт этот закон? Нет, во всех племенах земных! Может статься, и теперь есть люди, которые желают работать в честь этой заповеди, но по случаю какого-либо препятствия не могут? Нет, на это нет никакого препятствия! Может статься, были те века и люди, у которых эта заповедь процветала, так что можно надеяться, что она и опять возникнет, из праха восстанет и из пепелища выйдет? Нет, никогда ничего такого не было!

«... Собирай, м — ская почтенная публика, собирай свои мысли, рассеянные по светским суетам, собирай и советуйся с ними, какой ответ дать мне на мои вопросы. Видишь ли: резала, резала коса траву, да сама и нарезалась на камень! Не всегда вам нас учить и направление давать, чтобы мы были богу угодны и людям полезны; дошла и наша очередь — не учить и не направление давать, а только спросить: а почему вы людей учите, а сами себя не научите, как сказано: «связываете тяжкие и неудобоносимые бремена и накладаете на плечи челове-

ческие, а сами перстом двинуть не хотите их»? Это почему так?

«. . .Я и сам своей загадки разгадать не могу: на кого жалуюсь, тому и жалуюсь; с кем завел тяжбу, тому и на решение ее представляю.. Здесь и десятой части не сказано (того, что нужно бы сказать), потому что в этом законе скрыто сокровище, что и на тысяче кораблей не подымешь! При мысли об этом много раз я пытался сказать все это как-нибудь скрытно или как-нибудь стороною и обиняком, но нет, нельзя! Кроме ласкательства да лукавства, нет никаких средств... Потому-то я и поехал прямиком!»

Вот, кажется, и все, что оказалось возможным извлечь из довольно объемистой рукописи *«О трудолюбии и торжестве земледельца»*.

4

Я знаю, что, даже несмотря на мое предостережение, сделанное читателю в первой главе этого очерка, относительно того, чтобы он не очень жадно набрасывался на литературное произведение крестьянина, — произведение это, с которым теперь читатель успел уже ознакомиться, не удовлетворило его; оно кажется бледным, негромким, не трещит, не открывает каких-нибудь новых неведомых чудес, а, напротив, толкует о вещах всем известных и даже непривлекательных для большинства читающей и скучающей публики. Извольте-ка, в самом деле, идти пахать, своими руками «работать хлеб», — совет, неисполнимый для миллионов людей. Да мы и не думаем, что скучающая публика, двадцать лет изнемогающая (под звуки: «который был моим папашей, который был моим мамашей») в тоске бездействия и бездумья, стала бы отказываться от семейно-музыкально-танцевальных форм жизни и бежать к сохе, чтобы начать новую жизнь «побожецки». Конечно, на Руси было бы много лучше жить, если бы «соха» поприбрала под свой целительный покров дурно направленные массы «нерабочего народа». Да и вообще положение независимое на лоскуте земли — положение, выражающееся словами «сам хозяин, сам и работник», — не оскорбительно ни для какого хорошего, образованного и честного человека. И ничего бы не было

более желательно, если бы этот «тип» распространялся на Руси, входил бы в моду среди образованных людей подрастающего поколения по крайней мере в тех же размерах, как вошел, например, тип адвоката, то есть человека, хотя и «умнейшего и ученейшего», а все-таки вполне зависящего, с позволения сказать, от всякой кляузы. Но я даже и таких советов не намерен давать; если приведенные выше отрывки из рукописи могут иметь какое-нибудь значение, так только для людей, не боящихся просто и смело *думать*, и думать, конечно, во-первых, о том, «како жить свято?» вообще, и, во-вторых, — о будущем русских народных масс. А для таких людей вышеприведенный документ должен иметь некоторое значение.

Нельзя, будучи справедливым, не признавать за вполне справедливую ту формулу прогресса, которую мы привели в начале этого очерка, то есть *постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между их органами и возможно меньшему разделению труда между людьми (то есть самими неделимыми)*, — вот что такое прогресс. И далее: нельзя на основании этой формулы не признавать безусловно, что *нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов*. Нельзя затем не признать, что та же научная формула, выраженная словами: *сам удовлетворяет всем своим потребностям,* характеризующими форму жизни огромной массы русского земледельческого населения, говорит нам, что у русского народа есть полная возможность развиваться широко, самостоятельно, «справедливо, нравственно, разумно». И вот этот-то справедливый, разумный и нравственный идеал человеческого существования не только *сознательно* подтверждается словом человека, принадлежащего к *народной* земледельческой *среде,* не только совпадает с научным определением прогресса, но еще и говорит, что идеал этот прочно таится в самой народной душе, что она именно и живет во имя этого самого идеала, живет, вполне сознавая его «нравственность, справедливость и разумность».

Как ни незначительны по количеству те отрывки из рукописи, которые мною приведены, но и из них нельзя

не убедиться, что в народе таятся вполне определенные и ясные стремления и что во имя веры в их справедливость он *может* совершенно ясно видеть и сознавать все, что̀ этим стремлениям не соответствует, мешает, не подходит. Автор рукописи строго ведет свою линию, исходная точка которой «жить трудами рук своих», самому удовлетворять всем своим потребностям как духовным — сознанием, что такая жизнь справедлива, нравственна, разумна, так и физическим: муж и жена должны жить так, а не иначе, потому между прочим, что они физически обязаны жить известным образом; мужу физически нельзя оставлять в бездействии такой сложный организм, который дан ему как мужчине, точно так же и женщине невозможно избежать тех свойств организма, которые ей даны.

Так вот мне и кажется, что если читатель, даже и скучающий, усвоит себе хотя бы мало-мальски ясные очертания «справедливого, разумного и нравственного» типа существования, проверит им себя и подумает *о будущем* русского народа, применяясь к его нравственным свойствам и идеалам, то, если он и не оживет и не воспрянет, все-таки он хоть думать начнет светлее, увереннее, у него будет хоть «что-нибудь» впереди, но это «что-нибудь» — наверное, светлое, справедливое, «божецкое».



V. МЕЧТАНИЯ

1

— Ну так как же по-вашему? Всем надо пахать приниматься? — с бесконечнейшей иронией спрашивали меня некоторые из моих читателей, сосредоточивая в этом коротком вопросе весь смысл статейки, написанной по поводу рукописи крестьянина.

Отвечать на этот вопрос я, разумеется, не мог иначе, как только молчанием, и притом молчанием смущенным. Не говоря уже о том, что утвердительный ответ на этот вопрос для великого множества интеллигентных людей есть не более, как непонятный, глупый, а пожалуй, даже и преступный вздор; что для другого, не менее великого «множества» той же интеллигенции этот ответ есть только досадная, неприятная болтовня, совершенно напрасная трата пустых слов, осуществить которые на деле невозможно, немыслимо, — не говоря обо всем этом, я не мог бы дать спрашивавшим меня читателям иного ответа, кроме смущенного молчания, еще и потому, что и сам я, пишущий это и восхищающийся произведением крестьянина, увы! не пошел бы пахать... Я воспитывался, как и все, гневно или иронически, или презрительно относящиеся к слову «пахать», интеллигентные люди, вовсе не в тех условиях, которые дали бы мне смелость, какою вполне законно обладает автор рукописи, сказать кому-нибудь из моих знакомых, живущих и живших со мною в одинаковых условиях: «Есть хлеб умел, когда тебе два года было, а работать и до сорока лет не научился?» Нет! Куда нам! Всем нам — и прямо негодующим на предложение крестьянина, и всем даже сочувствующим

ему — впору только удерживаться от явного проявления негодования «на дерзость» предложения, а в самом лучшем случае только смущаться и беспомощно разводить руками.

— Пахать! — сказал мне недавно один «настоящий» пахарь-мужик. — Пахать вашему здоровью никак невозможно... Силов у вас настоящих нет, и по этому случаю она, соха-то, может вас, господин, с единого маху на смерть положить... Соха-то, господин, норовит выскочить из земли, ей тоже не охота землю-то носом рыть, так ее беспеременно надо со всей силы пхать и в землю впирать руками... Ну, а тебе этого не осилить! Как лошадь дернула, соха подскочила, да прямо тебя в подбородок... Еще слава богу, коли скулу перешибет... Это еще надо бога благодарить, а, пожалуй, как бы и начисто не вышибло дух вон! Нет! Это не по вашей, господин, части дело-то!

Надеюсь, что доводы против осуществления на деле справедливейших теорий автора рукописи — доводы, которые далеко не исчерпываются вышеприведенными соображениями пахаря, подлинного знатока дела, — значительно облегчат смущенное состояние духа тех, кто смущается, сочувствуя. Но все мы, смущающиеся и совершенно бессильные *на деле* осуществить теории, которым в глубине души сочувствуем, едва ли будем особенно преступны, если позволим себе это «сочувствование», это внимание к типу людей, желающих жить «по-божецки», и не будем останавливать своей мысли, когда она пожелает уйти в мечтания о справедливых, простых, светлых и в то же время вполне человеческих, даже человечьих формах жизни.

Бисмарк недавно очень «пужал» германский парламент мечтателями, людьми, не имеющими никакого определенного плана устройства человеческих обществ и человеческих отношений, а только умеющими ворчать против того, что есть и что «можно» сделать. Бисмарк грозился даже обещанием дать этим людям, не имеющим за душой ничего ясного и определенного, целую провинцию с тем, чтобы они попробовали осуществить на деле свои неясные мысли, и предсказывал полную безурядицу, как результат этого опыта «на деле». Это все верно, но почему бы в самом деле не попробовать, так, для смеха,

например? Почему бы, повторяю, хоть для смеха не дозволить людям, хоть в одной какой-нибудь крошечной германской провинции, попробовать пожить «по-божецки», а не так, как повелевают неумолимые «железные законы», по неотвратимому указанию и велению которых мы, людишки, влачим свое житьишко с незапамятных времен? Мы очень хорошо знаем, что законы эти действительно железные; знаем, что они неумолимые, и не только ни малейшим образом не протестуем против них, но, напротив, с детских лет впитываем в себя несокрушимое к ним благоговение, неискоренимый страх и непоколебимую уверенность в их неизменности и даже правоте; и когда нас, выражаясь мужицким языком, история начнет дуть со щеки на щеку, во имя незыблемости «железных» начал, мы не только не сопротивляемся этому изувечению, но сами в глубине своего сознания с полной искренностью убеждаем себя, что это так и должно быть, что это — не мордобитие, а только фазис, неотвратимый и неизбежный. Мы отлично знаем, что без этого фазиса, во имя которого мы обречены почти на бездыханное состояние, железная часть истории никоим образом обойтись не может, что нас необходимо исполосовать на обе корки, иначе никоим образом не может быть следующего неотвратимого и неизбежного фазиса, когда железо повелит оттирать нос сукном, давать нюхать нашатырный спирт и прикажет отпаивать парным молоком. . . Все это мы знаем, все это мы всосали с молоком матери, все это мы докажем на основании самых подлинных документов, но отчего же не позволить себе, хоть так, для отдохновения, помечтать с особенной внимательностью на тему о том, почему бы господам железным законам не попробовать благодетельствовать род человеческий помощью парного молока и хоть на некоторое время, только для опыта, убрать куда-нибудь свое железо? На площади Согласия в Париже указывают направление канавы, которая сто лет тому назад была вырыта для того, чтобы в Сену стекала кровь человеческая... Вот какая была страсть господня... Что ж в конце-концов «досталось» от этого фазиса нам, простым «жителям», обывателям? «Дозволили» печь булки всякому, кто попросит разрешения, «заплатит за право», да богатым мужикам оказалось возможным за свои деньги

землю покупать... И после этакой-то страсти да за свои еще деньги! А за последние пятьдесят лет чего-чего мы, обыватели, не перевидали! Одних революций по всем местам — видимо-невидимо! Денег что, господи, железные законы «вынули»! Один Бисмарк пять миллиардов получил излишних против обыкновенных железных взысканий! А нам, обывателям, что? «Довольно, говорят, с вас почтовых марок! В следующий фазис только по шести копеек будут!» И мы, обыватели, понимаем это, чувствуем и с благодарностью вопием: «Дай бог вам здоровья! Чувствительнейше вас благодарим, господа почтенные, законы железные!» А все иногда нет-нет, да и мелькнет мысль: «да нельзя ли как-нибудь хоть для смеха попробовать, чтобы насчет булок и насчет, например, почтовых марок, да и земельки так распорядиться, чтобы на предбудущее время без этакой страсти господней доставались они нашему брату, простому жителю?»

На такие смелые мысли почти ежедневно наводит меня наш буфетчик. Как только мне случится приехать на станцию, непременно я слышу, что эта длинная, измученная, испитая фигура уж вопиет перед кем-нибудь из посетителей:

— Ничего не поделаешь! Нет никаких способов! Хошь ложись да умирай!

— Да неужто уж и кóрюхой торговать невозможно?

— Никаких нет способов! Из всех местов только и видишь, что отказывают да штрафуют; как есть по миру пойдешь!

— Так ты, любезный, достигай до правительствующего сената!

— Да пожалуй что придется достигнуть и высшей инстанции! Вот она, кòрюха-то! (показывает тарелку с жареной корюшкой). Кажется, что такое? А продай я да попадись, так мне лучше петлю на шею! Вон что есть на свете под названием кòрюха!

— Так ты тово... доходи, любезный, до сената!

— Последнего решусь, все силы из себя до капли вымотаю, а надо доходить! У меня восемь человек детей... Мне что в петлю, что здесь торговать!

И, нянчая на одной руке полугодового плачущего ребенка, он другой рукой, за которую хватаются ручонками еле видные из-за буфета другие его ребятишки, в волнении

прячет под стойку буфета тарелку с корюшкой, которая, как видите, хуже петли. А, кажется, чем бы мог провиниться против железных законов этот несчастный человек? Безропотно покорялся он им, когда ушел в качестве дворового на все четыре стороны, без земли и с кучей ребят, и, зная, как пекут пироги и жарят корюшку, весьма даже был обрадован, что железные законы водворили на Руси чугунку. «Буду, — мечтал он, — жарить корюшку, печь пироги, буду их продавать и семейство кормить. Хорошо, что прошла чугунка! Дай бог господам здоровья за эту выдумку. .» Но те же железные законы, во имя существеннейшего своего свойства — «неумолимости», сделали так, что станцию с буфетом устроили в чистом поле, где был один только проезжающий — генерал Сидор Карпович Дворников, акционер и крупный землевладелец, а на той станции, где водворился дворовый, умевший жарить корюшку и печь пироги, и где скоплялась масса проезжающих, буфет воспретили, а чтобы заставить публику ездить в большой буфет и поддерживать требованием питий и закусок хозяина большого, хотя и пустынного буфета, создали целую систему взысканий, наказаний и штрафов, которые специальный железнодорожный адвокат взыскивал неукоснительно и преследовал виновного во всех инстанциях, не ограничиваясь даже правительствующим сенатом.

— Да чем же тебе, после этих твоих слов, торговать-то можно? — спрашивали истерзанного запрещенной корюшкой буфетчика.

— Чем? Погляди в правила... По семнадцатому параграфу могу я свободно продавать пряники, и то в зимнее время, да квас... А по дополнению к двадцать первому параграфу не возбранено и деревянные изделия на руках продавать...

— Да пирог-то, пирог-то... Ежели я, проезжающий, говорю тебе: «дай мне пирог с рыбой!» — это-то можешь ли ты по закону-то?

— А насчет пирога было кассационное решение, — так оно вот у меня где сидит! С рыбой! Онамедни, кабы жандар, добрый человек, не упредил меня, что тут агент надзирает, да не съел всю кòрюху, чтобы, значит, не было доказательств, так мне бы теперь, почитай, до рождества пришлось отсиживать в хорошем месте за это за самое.

С рыбой! Вам это очень просто представляется, а поди-ко, на моем месте, так белугой взвоешь!

Этот почти ежедневный стон несчастного буфетчика заставлял меня также почти ежедневно невольно задавать себе мечтательные вопросы вроде того, почему бы, в самом деле, не похлопотать для человечества в том направлении, чтобы оно пекло булки и жарило корюшку, не утруждая правительствующего сената и не будучи вынуждено из-за них, этих пирогов и булок, лезть в петлю? Это незначительное обстоятельство едва ли не было главною причиною того, что я стал позволять себе частенько фантазировать на тему о жизни людей «по-божецки», а по временам мне стало казаться, что для русского народа можно уже кое-что даже и сделать в этом направлении, а не только фантазировать о том, что «хорошо бы!»

В самом деле: Марья Васильевна Лихоимцева, волею железных законов из ничтожества превращенная сто лет тому назад в помещицы, повинуясь тем же законам, повелевающим ей сохранять свое положение и достоинство, при освобождении крестьян всячески «должна» стремиться сделать все, чтобы этого достоинства и положения не потерять. И вот бывшие ее крепостные, крестьяне деревни Горелово-Неелово, получают нищенский надел, вместо лугов — болота, а вместо лесов — каменные горы; получают и вступают в неизбежный, железными законами установленный фазис, в течение которого они *должны* прийти в полное расстройство и вообще обязаны знать, что настало время, определяемое словами: «ложись да помирай!» Некоторые, точно, начинают ложиться и помирать. Но железные законы, отлично и непреложно знающие, «что́ за чем» пойдет и какой фазис будет последующий, а какой предыдущий, знают, что в данную минуту крестьяне Горелова-Неелова ложатся и помирают, что этот фазис обусловливает для них другой, последующий: и в Горелове-Неелове появляется фабрика, появляется она не раньше и не позже, а как раз минута в минуту, указанную железными законами. Появляется и, ни на волос этим законам не изменяя, начинает творить то, что по законам этим следует: крестьянин Иван Кузмичев идет на одну фабрику, жена — на другую, а дети, сын и дочь, — в Москву: один в извозчики (мальчонка),

а другая «в прислуги». Фабрика начинает без церемонии переделывать Ивана Кузмичева и его жену на свой образец; ей, держащейся на законах неизменных и повинующейся им, нельзя сделать так, чтобы Иван Кузмичев с женой не повиновались ей: в кабаке сидеть и песни орать нельзя — это нарушает железные законы затраченного капитала, нельзя проспать, нельзя отлучиться, нельзя быть не напряженно внимательным. Пить водку, калякать нельзя попрежнему свободно, — за все штраф, а вместе со штрафом и злоба в Иване Кузмичеве, а вместе со злобой неизбежная потребность подавить ее (есть будет нечего) и, исхитрившись, провести эти железные законы, надуть, обмануть, тайком сделать то, что нельзя явно... Это уж разврат душевный, а за ним недалек и физический — жены, семьи, детей нету; скучно, тошно, маятно, водка и все, что из нее следует, — вплоть до «лазарета». С женой Ивана Кузмичева творится то же самое; разврат фабричных баб известен и доказывать его существование незачем. А дети? Мишанька, одинокий парнишка, оставшийся почти что без отца и матери и без крова, ездил-ездил с седоками, возил-возил хозяину деньги — заскучал: конца краю нет этой каторге! Заскучал и задумался... Думал-думал, да раз оглядел у пьяного купца бумажник с деньгами, вытащил из-под сиденья колесный ключ... и угодил к Бутырской заставе, в казенный дом. А дочь? Сначала барин к ней приставал, когда барыни дома нет, потом из гостей один молодой человек стал подмигивать, звал на Тверской бульвар выйти... А потом мало-помалу и Тверской бульвар настал для нее, и билет из полиции выдали, а наконец и «лазарет». Все неизбежно вытекает из предыдущего, и каждая последующая гадость покоится на незыблемом основании и может быть доказана как неотвратимый фазис. По железному миросозерцанию все это хоть и скверно, и подло, а неизбежно; этому ходу дела не поможешь никакими фантазиями. А вот автор рукописи не так смотрит на вещи. Отчего это явились на свет, спрашивает он, проститутка, вор, убийца, больной, пьяница? Оттого, что они не исполняют первородного закона, повелевающего жить не убийством, не проституцией, а трудами рук своих, на земле. Вот вам земля, работайте, и этот земледельческий труд так обширен и свят, что

и мысли о зле, о хитрости, об обмане, о разврате или об убийстве не будет возможности зародиться по одному уж тому, что некогда, что занят весь человек.

Земцы и думцы, ежегодно отпускающие всяких размеров суммы на больницы, тюрьмы, суды, полицию, то есть на такие органы общественного управления, которые обязаны врачевать всевозможные общественные язвы, неужели бы оказались стоящими не на высоте своего культурного развития, если бы попробовали лечить те же язвы более новым, простым и «божецким» образом? На глазах земцев и думцев кишмя кишат по городам и весям и воры, и разбойники, и проститутки, и убийцы, и нищие, и толпы бездельных и праздношатающихся дармоедов, надувал, обирал, и чтобы очистить от них общество, земцы и думцы строят тюрьмы, больницы, платят и полиции, и судьям, и докторам. Все это превосходно. Но почему бы опять-таки не попробовать излечить эти раны и язвы «по-божецки»? Безропотно повинуясь непреложности железных законов, земцы и думцы долгое время поступали, да и до днесь поступают, в своих хозяйственно-общественных делах по точному указанию этих законов: заводили банки, кредит, «уширяли производство», дабы бедные классы имели к чему руки приложить и что пить-есть... Двадцатипятилетний опыт повиновения железным законам при самом тщательнейшем выполнении всех великолепнейших форм, олицетворяющих эти законы и весьма не подходящих к нашим, далеко не великолепным местам, на наших глазах окончился весьма неблагоприятно. Все ухнуло и лопнуло, оставив на поверхности злобу и смрад удушающей бессовестности. Прежде у городов были общественные земли, на которых бедный люд мог селиться и сажать капусту, были леса, в которых росли и рыжики и опенки; теперь железные законы все это упразднили, все проглотили: леса и поля, если и не обречены на полное исчезновение и продажу в частные руки, то во всяком случае уже недоступны для бедняка, для человека, у которого единственный капитал — собственные руки; они уже обременены долгами, и тот лоскут земли, который по божеской и человеческой справедливости сто́ит всего один медный грош, теперь обременен тысячным долгом, и человеку с голыми руками к нему уж не приступиться. Все это сделано по образцу железных

законов, и все последующее будет неизбежно вытекать из них, как неизбежно было и все их проявление в предыдущем: и воров, и проституток, и грабителей, и надувал, и аферистов, и самоубийств, и вообще всякой беды и дряни будет гораздо больше, чем прежде; один неотразимый фазис вылезает из другого неотразимого фазиса, как колос из зерна, и тут ничего не поделаешь, кроме расширения тюремных помещений и улучшения в них вентиляций. Но если бы земцы и думцы поверили речам автора рукописи «о торжестве земледельца» и уверовали, что «первородный закон» повелевает человеку жить трудами рук своих, исцеляя этим трудом от всех зол, язв и неправд, на которые обречен неуравновешенный, искалеченный человек, так они бы не сделали греха и не опорочили бы своей интеллигентности, если бы каждогодно прикупали земель, которых множество кругом, если бы каждогодно селили на них всех, кто хочет есть, а капиталу имеет — только руки свои. Почему нужно усовершенствовать тюрьму, вводить в ней вентиляции, гигиену, а со временем и электрическое освещение, а нельзя покупать земли, нельзя селить на ней всех, кто не по собственной воле родился на свет и не по собственной прихоти хочет есть? Нельзя ли опять-таки хоть попробовать поступать с человечеством таким тихим и внимательным манером?

Да! русскому интеллигентному человеку, земцу и думцу, давно пора освежить собственное тусклое существование, вопросив самого себя: «Да зачем же собственно я считаюсь и интеллигентным, и земцем, и думцем?» И если он вопросит себя таким образом, то непременно ответит себе, что он облечен известными полномочиями вовсе не для того, чтобы расчищать дорогу железным законам, — они сами делают свое дело без остановки и поспевают туда, куда надо, минута в минуту и точь-в-точь с теми свойствами и качествами, которые им иметь следует, — а для того, чтобы парализовать все, что в этих законах неправда и зло; чтобы знать, зачем я земец и думец, для этого надобно знать, как ужасно быть бедным, злым, голодным, как страшно быть вором, убийцей, проституткой. Надобно искренно веровать в то, что эти язвы не должны существовать, что это неправда, подлость и срам, — и тогда у земцев и думцев

будет под ногами твердая почва и в ослабленной душе явится несокрушимая сила. Всех нас, не умеющих и не приученных жить трудами рук своих, надобно по крайней мере воспитывать не исключительно в раболепии пред всемогуществом железных законов, но хотя бы в некотором внимании к тем язвам, которыми усеян путь железного шествия. Пусть эти законы действуют, — они, точно, железные, — но пускай же мы получим уменье и право ненавидеть язвы, содрогаться от них, кричать от испуга и ужаса и думать о том, чтобы их, этих язв, не было. И к сожалению, в России меньше чем где-либо внимание интеллигентного человека привыкло сосредоточиваться на этих язвах, грехах, оставляемых триумфальным шествием железных законов, и меньше чем где-либо, по какому-то непостижимому недоразумению, русский интеллигентный человек привык объяснять себе собственное интеллигентное положение правом хотя бы только думать о том, чтобы язвы эти не существовали. Анри Джорж, профессор политической экономии в Калифорнийском университете, во вступительной лекции студентам этого университета (1883 г.) *мог позволить себе* говорить такие слова: «Надеюсь, что вы ощущали уже стремление высочайшего *честолюбия* — желание быть полезными своему времени и поколению, чтобы потомки, идущие за вами, были хотя несколько, хотя немного умнее, лучше и жили счастливее вас. Если вы еще никогда не испытали подобных ощущений, то надеюсь, что они все-таки живут в вас в скрытом состоянии, готовые бить ключом, когда это будет нужно. Господа! посмотрите и убедитесь, что это уже нужно! Вы — одни из немногих избранных, ибо и то, что вы находитесь здесь, в университете, свидетельствует о счастливых случайностях, выпадающих на долю лишь немногих. Но вы не можете себе представить при всех своих усилиях, как жестокая борьба, составляющая удел многих и многих, может связывать по рукам и по ногам, мучить и искажать; как может она заглушать благороднейшие дарования, охлаждать горячие побуждения и лишать людей радости и поэзии жизни; как может она превращать в прокаженных общества тех, которые способны бы сделаться его украшением; превращать в подтачивающего его червя и дикого зверя, бросающегося к его глотке, тот мозг и те мускулы, которые способны

были бы обогатить его! Никогда, быть может, вы не обращали на все это своего внимания, но, подумав, вы тотчас же увидите теперь нужду и бедность, даже в нашей стране, достаточные для того, чтобы возбудить в вас грусть и сострадание и укрепить в высоком решении, пробудить в вас симпатию, которая дерзает, и негодование, горящее желанием свергнуть неправду. Видя все это, *не почувствуете ли вы желания сделать что-либо для облегчения нищеты, искоренения невежества, уничтожения порока?* И тогда обратитесь к политической экономии». В этих словах, как видите, не блещущих особенными новизнами, для меня существует, однако, одна новизна — несомненная и удивительная: спрашиваю всех и каждого, кому на долю выпало пройти всю интеллигентную лямку от школы до университета, слышали ли когда-нибудь они от кого-нибудь в течение всей своей жизни такой простой и открытый призыв быть лучше, чем они есть, как тот, который открыто делает американский профессор и который, несмотря на свою простоту, несомненно должен облагородить тех юношей, к которым обращен? Положа руку на сердце, я, да вероятно и все люди интеллигентной лямки, должны сказать, что такого призыва мы все никогда и ни от кого не слыхали. Никогда и никто не говорил нам, что наше честолюбие должно состоять в том, чтобы нашим потомкам было лучше; никогда и никто не раскрывал наших глаз на существующие общественные язвы; никогда и никто не начинал курса науки, исходя из скорби о язвах, разъедающих общество; никогда и никто не усовещивал нас, не старался пробудить в нас сознание всей огромности наших обязанностей. Чтобы нам, детям чиновников, помещиков, купцов, людям обеспеченным и не дешево стоящим народу, кто-нибудь, начиная с иерея Златоустьева, продолжая учителем гимназии и кончая профессором, открыто и смело сказал о том, что мы, обеспеченные, должны искоренять нужду и бедность, что мы должны видеть людей даже в тех из них, которых принято называть прокаженными общества, что руки и мозг, способные обогатить общество и поставленные теперь в необходимость хватать это общество за горло из злобной мести за свою нищету, мы должны взять под свою защиту и так распорядиться ими, чтобы они могли обогатить это общество, — таких речей, таких

призывов, таких усилий раскрыть наши заспанные глаза на царящее зло мы не слыхали ни от одного из наших воспитателей... Напротив, в родительском доме, в школе, в университете, нас постоянно уверяли, что широта внимания к окружающему — фанаберия, гибель, верхоглядство, что узость, строгость сердца — самое верное и в жизни, и в науке... Много-много, если мы слышали, что есть на свете явления мрачные, темные, черные, но чтобы кто-нибудь сказал нам: «ваше *честолюбие* должно быть в том, чтобы их не было» — никогда! Напротив, всегда говорили, что они неизбежны, неминучи, что они — фазис, что мечтать, будто можно избежать их, — фантазия и вздор... Отчего это? Анри Джорж говорит свою речь в такой стране, где капитал, со всеми своими железными законами, гудит и ревет всей глоткой, властвует без всякого стеснения, где он — царь, глава, власть, все! Джорж говорит эти слова перед лицом детей представителей этого капитала, людей, которые с детства взросли в благорастворении воздухов, доставляемых этим капиталом, — и не «пужается»! А у нас, в нашей соломенной стороне, где капиталы только разворовываются, не производя никаких «уширений» потребления, никаких производств, где грубые, невежественные, тупоумные хищники еле-еле знают, что, воруя, все-таки надобно по временам подводить какой-то *«баланец»,* — пикнуть не приходится ни одного слова о том, что надобно, чтобы на свете было меньше зла, нищеты, бедности, чтобы человек не гибнул зря. Тайна сия велика, до такой степени велика, что этот самый хищник, утроба, дурь и голь лесная, волчья жадность сумели подавить и заглушить все благороднейшие порывы, так широко и без всяких усовещеваний развившиеся в обществе после освобождения крестьян. Зверище, пасть и дурь одолели это движение, заняли все те пункты общественной службы, где должны проявиться именно только побуждения благородного сердца. *Эта* крамола орудовала перед глазами нашими лет двадцать пять, и обществу не легче от того, что теперь зверище появляется на скамье подсудимых. Оно уже отвыкло черпать силу своей интеллигентной мысли из несовершенств живой действительности и даже не оскорбляется этими несовершенствами, не находит своего честолюбия в том, чтобы несовершенств этих было меньше.

А между тем это превращение человека, «честолюбие» которого должно бы заключаться в том, чтобы на свете было меньше нищеты, невежества, порока, — превращение такого человека в апатическое, сонное или много-много, если только «теоретически» ворчащее существо, сделало уже и делает нехорошее дело с русскою жизнью и русским народом. Кто из нас не привык почти за непреложное и не волнующее уже нас явление ежедневно считать такие фразы, появляющиеся в обстоятельнейших статистических работах, как, например: «малоземельные хозяйства в большинстве случаев *исчезают,* уступая место крупным» и т. д. Все это уже нам приелось, от всего этого нам уже скучно. Но если бы в нас не была умерщвлена потребность почерпать силу своей мысли и поступков из живой действительности, то мы бы содрогнулись, если бы увидели *своими глазами* то, что в статистической работе обозначено одним надоевшим уже словом: «исчезают». Ведь это исчезают люди, а не дрова, мужики, бабы, дети, а не щепки и не цифры. Как на живой образчик той раздирательной драмы, которая таится в этом примелькавшемся слове: *исчезают*, уступая место и т. д., — драмы, которая происходит вот тут, рядом с нами, и которую мы не видим, апатически влача семейно-танцевальное существование, — я могу указать на превосходнейшую работу г. Лудмера, напечатанную в 11 № «Юридического вестника». Автор ее, бывший мировой судья в одном из подмосковных уездов, поражен был обилием в крестьянской среде семейных раздоров и решился быть особенно внимательным к делам этого рода. В его статье «Бабьи стоны» собрано огромное количество дел, касающихся семейных домашних неурядиц, иногда поистине потрясающих. Картина, которая нарисована им, ужасна: здесь, на ваших глазах, вы видите, как *гибнут,* даже *поедом едят* друг друга люди, едят, погибая, исчезая с лица земли, *уступая* свое место другим, — и волос дыбом становится у вас на голове! А всмотритесь в эту ужасающую картину — и вы увидите, что во имя каких-то не божеских законов у этих семей разрушена возможность жить трудами рук своих, так жить, как они хотели жить и как единственно только могли жить, — и вот вам это расстройство, отразившееся на мужике, бабе, ребенке. Нельзя выразить той бесконеч-

ной благодарности, которую невольно чувствуешь к автору этой бесподобной статьи, решившемуся взволновать нас, одеревеневших в бесплодной тоске и ворчанье, живою, раздирающею драмой жизни. Нам, одеревеневшим и ворчащим интеллигентным людям, необходимы такие сильные удары, чтобы мы очувствовались, очнулись и подумали бы о «честолюбии» быть ненавистниками зла.

Но каких бы ужасов, трагедий и драм ни насмотрелись земцы и думцы, если бы они почувствовали склонность к «честолюбию» указанного выше типа, все эти ужасы, драмы и трагедии, распадаясь на немногие, но совершенно определенные группы — нищеты, невежества, порока, легко могут быть парализованы положительно в самой большей своей части теми «божецкими мерами», которые предлагает крестьянская рукопись. Если можно миллионы банковых денег пускать по ветру и в трубу, то на эти миллионы можно приобретать и земли, и леса. А «баланец» от дохода с этих заселяемых земель, наверное, будет не такой, какой подводился в итогах операций скопинского банка. Но, не говоря о прямой выгоде устраивать по-божески пролетариат, не дожидаясь, пока он сам устроит свое существование на общественный счет при помощи тюрем и больниц, теория «жизни трудами рук своих» должна быть проповедуема как образец справедливейшего существования на земле, как существование, при котором возможно удовлетворять самому всем своим потребностям и, следовательно, жить широко, всеми сторонами своей личности. Надобно, чтобы «тип» человека, лично удовлетворяющего всем своим потребностям, привлекал к себе всех тех, кому дорога справедливость, людей из всех сословий, ощущающих в себе силы взяться за плуг, и для этого нужна школа, земледельческое всесословное училище; благодаря ему труд этот должен стать не бедствием из-за насущного хлеба, а счастием жить, соединяя в одной своей личности слугу и хозяина.

Приглашать теперь в крестьянскую избу лиц «благородного» происхождения, уверенных, что если не будет больше урядницких мест, то для народившегося «благородства» изобретут новые, бесчисленнейшие места, конечно с жалованьем, — несколько страшновато: крестьянская изба очень и очень часто может напугать; мрачна она; и трудно в ней; и грязно, и холодно, и вообще

не дай бог. Получать жалованье и играть в винт гораздо все-таки лучше, но в утешение таким пугливым людям можно с положительностью сказать, что изба эта не всегда будет так мрачна, какою мы привыкли ее представлять себе; что она способна развиваться, увеличивать и чистоту, и свет, и интерес внутреннего обихода: какая угодно книга ничуть не лишняя в ней, но пока нет достатка еще купить ее. Но уж и теперь можно подметить в избе крестьянской кое-что новое, лучшее, чем было прежде. Вон по тихвинскому тракту мужики выдумали устраивать печи по новому образцу! Старая печка устраивалась так, что баба непременно должна была влезать головой в самое пламя, должна была горбиться, и редко лицо ее не носило признаков сажи. Теперь мужики сделали так: трубу отодвинули дальше и поставили над самым горнилом, так что вход в печку стал открытым, а загнетку выдвинули вперед, как стол, на котором баба может орудовать, не сгибаясь. Да и нос ее теперь никогда уж не запачкан сажей; нынешним мужикам уж не нравится это, да и бабы желают держать себя поделикатней: старые, сгорбленные бабы с сажей на носу выходят из моды. А со временем, нет сомнения, разнообразие внутреннего обихода крестьянской избы, нисколько не изменяясь в своей многосложности, значительно облегчится в смысле техники, внешних удобств, комфорта. Знатоки технического дела проводят резкую черту между изобретательностью по этой части в Англии и в Америке: в то время, когда изобретательность Англии, рассчитанная на массы колониальных полудиких жителей, стремится забросать весь свет одеялами, сапогами, рубашками и т. д., то есть стремится отнять у дикаря удовольствие все это делать своими руками, и, обессилив его, обессмыслив его личное существование, превращает его в раба, поденщика, трудящегося не для себя, не по своей охоте, а по нужде, делающего ненужное ему, скучное и всегда трудное черное дело, что и ведет дикаря к тоске, водке и смерти, — американская промышленность, проделывая то же, что и английская, принуждена, однако, рассчитывать на потребителя, не поддающегося обессиливанию и обезличиванию. Эмигрант, из которого выросла вся Америка и который постоянно стремится туда со всех концов света, в огромном

большинстве случаев человек сильного характера; он бросает родину не всегда потому, что там тесно, но потому, что ему не по душе стало жить, потому, что с ним случилась драма душевная, после которой ему надо бежать; он идет потому, что не может подчиниться таким-то и таким узаконениям, его гонит с родины возмущенная совесть, кровная обида... Огромное большинство эмигрантов не может не чувствовать себя совершенно *одинокими,* разорвавшими связи с прошлым и обреченными начинать новую жизнь на новом месте... Где и с кем? В неведомой, незнакомой стране, среди чужих людей, не зная ни языка, ни обычаев!.. Для такого человека нельзя не сосредоточиться только в самом себе, нельзя не рассчитывать только на *себя,* на *свои* силы, на *свой* ум, на *свое* уменье... Обилие людей такого типа заставило американскую промышленность помогать существованию таких, на *свои* только силы полагающихся людей, заставило техническую изобретательность направлять свою мысль на такие изобретения и технические усовершенствования, которые бы облегчали существование не огромной фабрики, как в Англии, а отдельного человека; все, что касается удобств отдельной личности, отдельного дома, возможности одинокому человеку *самому* улучшить свое существование, — все это изобретено Америкой: швейная машина, доступная для каждого дома, — не швейная фабрика на весь мир. И в этом отношении наш крестьянский дом, отдельная его семья могут делать множество облегчающих труд заимствований, нисколько, повторяю, не нарушая разнообразия труда, не убавляя его разносторонности и интереса. То, что теперь делается и трудно, и неуклюже, и иногда вредно для здоровья, то же самое может делаться и легко, и изящно, и не изнурительно физически. Школа должна все это откопать и познакомить со всем этим добровольцев земледельческого труда, если только они будут.

2

На этом, кажется, можно окончить с «мечтаниями» по поводу практического осуществления на деле теории, основанной на «первородном законе», повелевающем всякому жить только трудами рук своих. Надеюсь, что мечтания

эти не взволновали читателя настолько, чтобы он мог размечтаться до пределов невозможного, а главное, недозволенного; надеюсь потому, что все мои мечтания весьма легко сосредоточиваются в желании «попробовать». И вот единственно только во имя этого скромнейшего желания мне хочется, помимо указания на практическую пользу этой пробы, указать еще и на сторону эстетическую, коснуться хотя слегка красоты человеческого типа, удовлетворяющего всем своим потребностям, типа, составляющего самый существенный довод в пользу скромного желания «попробовать».

Как-то раз в деревне вышел я от нечего делать на крыльцо. Было утро, раннее, ярко солнечное, крепко морозное и совершенно тихое. Перед крыльцом дворник расчищал дорогу от снега, а по мосткам, уже расчищенным, проворно шла какая-то крестьянская женщина; шла она легко, бодро, смотрела необыкновенно весело и чисто, и вся она была такая складная, легкая, крепкая, веселая, что и мне стало весело, когда я рассмотрел ее. Крепка и складна была на ней и одежда и обувь: кацавейка была так простегана, что топором не разрубить, и застегнута на стройной груди так плотно, точно обе они с кацавейкой вылиты из меди, но вылиты изящно, стройно, легко и почему-то весело для глаза.

— Купите, барин, яиц... десятка полтора никак! — почему-то весело сказала она, показывая маленький узелок с яйцами. — Больно уж деньги нужны! — прибавила она, и также весело почему-то.

— Надыть яйца-то у ней, уж видно, взять... Новое хозяйство начинает! — сказал дворник. — Она еще даве приходила, да вы спали...

— В сам дели, барин, уж возьмите. Право слово, сызнова жить начинаю, а капиталу всего-навсего вот что за эти яйца дадите...

И все это опять-таки веселым голосом говорит.

— Развели меня вчерась, дай бог здоровья судьям, с моим мужем-дураком... Все они у меня с матерью обобрали, только и оставили вот яйца, потому куры мои... Ну, да бог с ними; я рада, что хоть вырвалась из этой каторги...

— Как же ты будешь жить?

— Вот не жить еще! Знамо, жить буду... Я в случае чего всякую и мужицкую работу умею. Господи помилуй! Не прожить! Теперьче опять дядя у меня вдовый, вот к нему и пойду — тоже ему нужна помочь... Как-нибудь проживу. Руки, слава богу, не отсохли, ноги тоже не отнялись... Мне бы только хоть чуточку на первое время деньжонок, самую малость... А то авось господь... Как так не прожить, коли никакого во мне пороку нету?

— Уж видно, надо яйца-то взять, — добавил дворник.

Яйца были куплены, и баба, порассказав еще звонким, свежим голосом про свою каторгу с дураком мужем и злою свекровью, весело распрощалась с нами и такою же проворной, легкой походкой, легкая, крепкая и веселая, ни капли не унывающая, ушла начинать новую жизнь с сорока копейками в кармане... «Господи помилуй, не прожить!» — сказала она, — и это выражение, с некоторым страхом пред словом «не прожить» и удивлением пред мыслью о невозможности *для нее-то,* для этакой-то бабы, не прожить на белом свете, сразу сделали для меня понятною эту хорошую крестьянскую женщину.

Да, эта женщина проживет на белом свете сама, одна; она знает *всякую* работу, — подумайте только об этом *подчеркнутом* слове! Как будет рад ей вдовый дядя, у которого теперь в доме все идет врозь; ребятишки, скотина, — все это грязно, заброшено и полуголодно; он сам, бедняга, теперь месит хлебы, и хлебы выходят как кирпичи. Но явится эта женщина, расплатившаяся сорока копейками со всеми деревенскими долгами и сумевшая еще купить детям дяди гостинцев, тихвинских кренделей, и точно свет озарит расстроенную, скучную, грязную избу. Скотина тотчас почувствует, что пришел человек, без которого скучно и голодно жилось. От одного ее голоса — от этого сорочьего, бабьего стрекотания — вдруг все ожило, и теленок, повинуясь чувству радости, возбуждаемому в нем этим голосом, невольно идет к крыльцу, к дому, где появилась эта баба, чувствуя, что тут должен быть источник будущего его благополучия... Все — от кур до стен и людей, наполняющих избу, — начинает *жить*. Ухваты, горшки, печка, скотина — все ожило, задымилось, застучало, пошло ходить, убираться, чиститься, есть и пить, и работать, словом, *жить на свете*. А не будь

этого пристанища, женщина эта нигде не пропадет — она и мужицкую работу в случае чего может исполнять. Еще девчонкой, которой впору только бы в куклы играть, она уж знала много всяких занятий, утром играла, песни пела, а вечером мирскую очередь исполняла за мамку или за тятьку, в колотушку стучала и в кабак за отцом ходила, а потом и за дровами в лес ездила, и косить умеет, и в сторожихи на железную дорогу пойдет — словом, она, мастерица во всякой женской работе, не пропадет, если судьба поставит ее и на мужскую.

Перейдем теперь в другой круг людей, в так называемое «общество», общество среднего сорта, в так называемую нашу российскую буржуазию, и вы увидите, до какой степени здесь, где нет ни мужицких сапог, ни мужицких разговоров, ни грубых мужицких ухваток, — до какой степени здесь огромно уродство и в мужчинах, и в женщинах, до тонкости разработавших свои отдельные, специальные мужские и женские дела и свойства, и насколько завидна и прекрасна участь грубой крестьянки, сумевшей в одном своем лице сосредоточить и мужские и женские свойства и специальности.

В «Русской мысли» за 1884 и 1885 год были напечатаны три беллетристические произведения, чрезвычайно замечательные в том отношении, что два из них («Дошутилась» и «Магистр и Фрося») как нельзя лучше рисуют тяжкую бессодержательность семейных отношений буржуазной семьи, а третье («Мои вдовы»), к нашему величайшему удовольствию, затрагивает вопрос о выходе из этих пустых, хотя и удобных, но далеко нравственно не удовлетворяющих условий жизни. И выход этот указан автором до такой степени неожиданный, оригинальный и прекрасный, что рассказ «Мои вдовы» нельзя не считать одним из замечательнейших литературных произведений, что читатель и увидит ниже.

Все три литературные произведения написаны женщинами, и поэтому во всех этих работах замечается особенное внимание к таким сторонам современной жизни и буржуазной среды, которые касаются главным образом положения в этой среде женщины, женских напастей и бед, женских огорчений, мук и желаний. Иногда авторы, увлеченные искренностью сознания своей горькой участи, не задумываются изображать такие моменты этих муче-

ний, которых ни один из беллетристов мужчин не привык касаться, не знаю, впрочем, почему, или касается только для того, чтобы щегольнуть золаизмом или пройтись насчет натуралистической клубнички. Все такого рода сцены написаны авторами упомянутых повестей совершенно не так и не с той целью, как это делают господа золаисты, а вполне целомудренно, чистосердечно, чисто и поэтому весьма серьезно и трогательно: это не клубника, а муки, настоящие терзания человека, настоящий «ад спальни».

Из огромного материала, который эти повести могут доставить читателю, желающему серьезно подумать о теперешней русской буржуазной семье, я возьму только одну самую характерную сцену, как наиболее яркий документ в пользу того, что среда, живущая трудами рук своих, куда совершеннее той, где не сеют, не жнут в буквальном смысле, а живут, как говорится, на готовом.

Вот эта сцена:

Фрося (героиня повести «Магистр и Фрося») родила ребенка, девочку, и вот что она ощущает: «Сначала Фрося ничего не чувствовала, кроме наслаждения избавиться от физических мук; в первые минуты после родов ее не могло бы огорчить известие о смерти ребенка, но когда девочку прибрали и положили к ней на кровать, и она, приподнявшись, взглянула на это маленькое сморщенное личико, в ней вдруг загорелась такая страстная любовь к ней, что она готова была жизнь свою отдать за это беспомощное создание» («Русская мысль», 1883 г., кн. IX, стр. 111).

Вот что чувствовала Фрося.

Магистр, Петр Иванович, напротив, сделавшись отцом этого беспомощного существа, чувствовал к нему нечто другое: «Итак, то, чего он *ужасно боялся,* свершилось: ребенок родился и был жив. Он (Петр Иванович, отец ребенка) оперся головой на руку и чуть не скрежетал зубами, и в то время, когда торжествующая акушерка хлопотала около девочки, стараясь как можно теплее укутать ее в пуховую подушку, *отец был в отчаянии:* он готов был проклинать час, в который зародился младенец; он совсем *не желал* его и к тому же был так уверен, что судьба *сжалится* над ним и ребенок родится мертвым. И вдруг такое *страшное* разочарование!» (там же).

За рождением этого ребенка следует ряд сцен поистине ужасающих. Фрося, готовая отдать за него жизнь, и Петр Иванович, жаждущий его смерти, начинают поступать каждый сообразно владеющим ими побуждениям. У Фроси нет молока. Она просит, чтобы Петр Иванович нанял кормилицу; Петр Иванович отказывает. «Но если не кормить ребенка, то он умрет сегодня же. он не вынесет коровьего молока...» — «Так что ж делать?» — говорит Петр Иванович. — «На коленях умоляю! Ради всего святого, успокой меня! Я с ума сойду!» Петр Иванович остается жестоким, непреклонным, и когда Фрося начинает метаться в страшных муках гнева, страха и отвращения, Петр Иванович как бы выжидает голодной смерти ребенка, а пожалуй и смерти Фроси, и хотя приходит в ужас от ее мучений, от ее начинающегося безумия, но ровно ничего не делает ни для Фроси, ни для ребенка, и когда она дошла до того, что доктора вынуждены были привязать ее к кровати, Петр Иванович, *скорчившись, прижался за диваном* в соседней комнате... (стр. 115)

Спрашивается, что же это за изверг? И это еще ученый, образованный человек, магистр! Нет, он не изверг; на той же 115-й странице мы находим такую строчку: «Спасите ее, доктор, спасите!» — говорил Петр Иванович, схватив руку доктора *и прильнув к ней губами*». Стало быть, сердце у Петра Ивановича не совсем каменное, и мы попробуем отнестись к нему справедливо. Он — ученый, и хотя опыт его профессорства был неудачен, но он не оставил своей цели — сделать карьеру ученого; он поглощен своей специальностью, он добивается, чтобы ученый мир признал его; специальность забрала его в руки, он весь сосредоточился в ней; каждый шаг его как специалиста обязывает его поступать известным образом, он весь во власти своей специальности, для нее работает его ум, она владеет его сердцем... А Фрося? Фрося — тоже специалистка, и именно тем, что она Фрося — и больше ничего. Если Петр Иванович узок, потому что весь ушел в успех диссертации и ничего так не жаждет, как того, чтобы в конце концов ученый мир сказал про него: «Молодец, Петр Иванович!» — то и Фрося также ушла в то, что она женщина, что ее надобно любить, что ее нельзя по целым дням оставлять одну, что она должна жить, что ей,

Фросе, нельзя так сидеть, «одной». Ей мешает все, что для Петра Ивановича нужно, интересно, важно. Петру Ивановичу все мешает, что нужно Фросе: постоянное внимание, постоянные прогулки под руку, постоянные разговоры «обо всем». Ведь, положа руку на сердце, разве Фрося поймет, что̀ такое обременяет голову Петра Ивановича? Для этого тоже надобно быть профессором-специалистом, также сузиться в достижении крохотной цели. Но поймет она или не поймет, ей-то вовсе не нужно и не интересно быть обремененной заботами Петра Ивановича — она сама по себе; она совершенно законно говорит: «я хочу жить», но в буржуазном обществе она может жить только крайне односторонне: как женщина, до мельчайших подробностей развивая свои собственные женские требования; мужчина должен быть энергичен и тверд, женщина — нежна и бледна, «как лилия», — вот специальности буржуазных отношений, в грубой форме выраженные. Это не крестьянка, которая сама *одна* умеет и работать, как мужик, и нежные песни ребенку петь. Ребенок для Фроси — все; она жизнь готова отдать за него; для Петра Ивановича он — гибель, он — конец его карьеры; он, этот маленький человек, которому всего-то нужна одна рюмка молока в день, он является на свет для того, чтобы терзать Петра Ивановича какими-то новыми обязанностями, своею беспомощностью, болезнью и т. д., наполняя ими то сердце, которое уже отдано во власть науке, карьере. Этот писк вытесняет из его сердца старую хозяйку — карьеру; Петр Иванович *должен* трепетать этого, потому что отдай он свою внимательность этому крошечному существу — он пропал буквально, он должен уйти с той дороги, на которой стоит, он завтра же «отстал в науке», он завтра за штатом и все его существование — на воздухе...

Эта сцена груба и жестока, но кто же не скажет, что такие отношения, в формах значительно более мягких, чем отношения Фроси и Петра Ивановича, не характеризуют вообще семейные отношения буржуазной среды? Железные законы сделали в этой среде женщину — *слишком* женщиной и мужчину — слишком мужчиной. Каждый *особенно* слишком развит в сторону своего пола, причем мужчина, мало того, что *слишком мужчина,* но всегда су̀жен еще какою-нибудь специальностью, то̀ есть

нравственно, бог знает, как далек от своей жены, а связь между ними, в огромном большинстве случаев, далеко не гармонична, далеко не такая, как у мужика и бабы, которые живут и интересуются и делают одно и то же дело, причем каждый из них отдельно может и умеет делать это дело и сам один, без чужой помощи.

В повести «Дошутилась» представлена другая буржуазная драма; здесь между мужем и женою нет уж никакой, мало-мальски достойной уважения связи. Даже детей нет. Он земский гласный, а она — жена его... только жена — жена, которую он *должен* любить, которая *любит* его... любит *так*, «искусство для искусства»... и выходит тяжелая картина бессодержательной и некрасивой жизни.

Картины этой бессодержательной жизни могли бы повергнуть читателя в неисходную, мрачную тоску, если бы, по счастию, не было таких литературных произведений, в которых бы не доказывали, что в этой среде не умерла здоровая, прямая, светлая мысль, что человек стремится выйти из этих тенет пустоты и бесстрашно идет к правде, смело ищет таких форм жизни, при которых *душ*а чувствовала бы себя широко живущей и чистой. Рассказ г-жи Н. Л. «Мои вдовы» — одно из таких замечательных по новизне идеи произведений.

Героиня рассказа, образованная женщина, жена образованного человека, живущая в возможно благоприятных и разумных семейных отношениях, словом — женщина умная и считающая себя счастливою женою, живя подолгу в деревне, начинает невольно наблюдать тех деревенских женщин, с которыми сталкивает ее судьба, и, наблюдая, как умная, развитая женщина, начинает замечать, что в этих грязных крестьянках есть что-то новое для нее, что-то такое, чему можно даже завидовать. Ее поражает именно эта самостоятельность крестьянской женщины, эта красота справедливости существования, нравственная полнота его, дающая возможность понять слово *жизнь* шире, покойнее и светлее... В параллель с этими самостоятельными женщинами деревни, превосходно изображенными в лице двух крестьянских вдов, автор приводит тип великосветской вдовы, которая после смерти мужа остается совершенно неведущей и беспомощной во всех отношениях и должна бы пропасть, как

былинка, если бы об ее участи не заботилась масса родни, которая за нее думает, делает, распоряжается, а со временем выберет ей мужа и опять водворит в новой спальне для продолжения существования специально по женской части. Скоро становится вдовой и героиня рассказа, от лица которой ведется ее рассказ. Для нее, как для женщины образованного общества, предстоит та же дорога, что и для изображенной ею великосветской вдовы; о ней как о женщине позаботятся, устроят, похлопочут; ей легче идти по этому пути: у нее дети, надо их пристроить... а она — женщина... слабое существо... Но она уже видела неслабых женщин, она уже поняла красоту этого типа, и она сознательно предпочитает этот тип; ей уже тесно жить в обществе, где обязательно «услуживать» женщинам; она чувствует прилив сил, дающих ей право быть самостоятельной, независимой, не порабощаемой ни услужливостью, ни деспотизмом, и она решает жить так, как живут ее деревенские вдовы, эти женщины-мужчины.

Она решила сделать так, возвращаясь в деревню с похорон мужа.

Приближаясь к дому, она шла полями.

«Великая скорбь, которую она несла в своем сердце, — невместимая, как эти необъятные поля, могучая, как эта земля, все покоряющая, — как грозно поднявшаяся стихия, встала, заступила ей дорогу, пошатнула и ударила о сыру землю. На грудь этой немой, но могучей матери хлынули потоки слез, задержанные мелочью людскою; ласково приняла росистая трава изнемогшее тело, ласково дышал воздух, ласково обступала кругом гордая, цветущая рожь.

«— Родная, святая, *вечная вдова*! — рыдала бедная женщина, страстно прижимаясь к родной земле, — побереги, не оставь меня с малыми детушками! Дай мне силу твою, молчаливую, великую, неизменную! Помоги мне их выкормить, вырастить, *тебя любить научить!*

«Жизнь, жизнь зовет! Вставай же и иди навстречу ей! Место, место дайте *моей барыне в рядах своих,* вы, тянущие лямку день и ночь, без передышки, без ропота и уклонений; вы, держащие сирот, дом и дела *на уровне мужского и женского труда, сложенных вместе,* вы, бодрые, терпеливые, безупречные русские вдовы и матери!

Подайте руку, встречайте — не посрамит она вас»! («Русская мысль», 1884 г., книга III, стр. 69).

Рассказ этот положительно превосходен, и я желал бы, чтобы его перечитали те, которые не заметили его или не обратили на него серьезного внимания. Он даст вам смелость не только думать и мечтать о том, «как жить свято», но и в самом деле пробовать свято жить. Вы видите, что уж пробуют, — и это одно из самых драгоценных движений души искренних русских людей.



ЧЕРЕЗ ПЕНЬ-КОЛОДУ

I. ЗАХОТЕЛ БЫТЬ УМНЕЙ ОТЦА!

1

— Там, на кухне, вас спрашивает какой-то мужчина, — сказала мне как-то на днях работница, появляясь в моей рабочей комнате. — Вот какую-то бумагу велел вам прочитать... Не очень молодой уж... Даже уж довольно пожилой мужчина.

Работница вручила мне бумагу и ушла.

Очень и очень была мне знакома эта «бумага», засаленная продолжительным пребыванием за пазухой неведомо откуда появляющегося «прохожего» человека, случайного моего посетителя, и не без некоторого неприятного ощущения взял я ее в руки: много, очень много перечитал я этих бумаг с тех пор, как живу в деревне, и давно уже отвык чувствовать любопытство к произведениям такого рода; эти желтые чернила, от которых слепнут глаза, и почти всегда невероятно исковерканный язык, над пониманием которого надобно в буквальном смысле слова «ломать» голову, а главное, всегда почти кляузное содержание этой «бумаги», — все это развило во мне какое-то неприязненное, даже болезненное ощущение, ощущение боли в висках всякий раз, когда какой-нибудь случайный посетитель, желая поговорить со мной, посылал вперед себя эту засаленную бумагу.

«Кляуза! Непременно какая-нибудь ехидная гадость!» — чувствуется мне всякий раз, когда я увижу этот протягиваемый мне работницей засаленный лоскут. Горький опыт убедил меня, что хороший, дельный, *порядочный* мужик не пойдет ко мне за разговором; он делает свое дело — некогда ему разговаривать, да и нечего мне

ему сказать: ничего я *в его* делах не понимаю и не знаю. Горький опыт убедил меня еще и в том, что хороший, порядочный мужик, желающий подумать, а по временам и поговорить «по-хорошему» и о хорошем «вообче», не пойдет ко мне не потому только, чтобы он был уверен, что и по этой части, то есть по части хорошего разговора, я так же мало понимаю, как мало понимаю в его крестьянских делах; нет, он знает, что по части «хорошего разговора» я могу быть ему полезен, что у меня книжки, что я в газетах «вычитываю обо всем», и что вообще нам с ним есть много о чем поговорить по совести; но, зная все это, он все-таки не пойдет ко мне, потому что чувствует бесплодность таких разговоров, чувствует, что не те времена,[1] чтобы *дозволять* себе даже мечтать по-хорошему, что теперь времена стоят рыковские, не светлые, не настоящие — времена, которые, несомненно, пройдут, но с которыми «по-хорошему» ничего не поделаешь. Можно только сторониться от них, «не касаться» этой рыковщины, где бы она ни проявлялась в деревенской жизни: в волостном суде, на сходе, в кулацком трактире или на кулацкой попойке; и вот почему не идет ко мне порядочный мужик для хорошего разговора: рыковщина вдвойне страшна здесь, в деревне, где она груба, топорна, бесчеловечна и ничем не прикрашена. Рыковщина страшна как систематическое истребление во всех и в каждом малейшего проявления чего-нибудь божеского, совестливого, умного, справедливого. Рыковщина не только банковый грабеж, *а умышленное истребление малейших благородных и справедливых побуждений в человеке.* Последние двадцать пять лет тем и ужасны, что дело о правде и неправде стояло в таком именно, а не ином положении. Неправду слишком берегли, слишком холили, дали ей полную волю, а правду слишком жестоко, слишком неумолимо истребляли в малейших ее проявлениях и положительно на всех путях. Если рыковщина городов не пускала в банк порядочного человека, чтобы он не помешал делать зло на десятки миллионов, то рыковщина деревень не пускала его ни в ссудо-сберегательное товарищество с грошевым оборотом, ни в волостное правление, ни в суд, ни в школу. Все, что

---

[1] Слова эти относятся к недавнему прошлому. (*Прим. автора.*)

в течение этих двадцати пяти лет имело стремление в самом деле делать добро, приносить общественную пользу, все, что хотело делать по правде, совести и чести, на каких бы отдаленнейших и глухих местах эти попытки ни осуществлялись и в каких бы микроскопических размерах ни проявлялись они, — все это зорко, необычайно зорко, по-звериному видела, носом чуяла рыковщина и стремилась истребить. Светлое сознание, ум, малейшие проявления доброй воли, прямоты совести, словом, малейшее проявление *души* — все это претило, бесновало зоологический инстинкт рыковщины, которая не церемонилась и пускала в ход всякие средства: «всемогущий бог», «с божиею помощию», «помощь бедным и нищим», «расширение производства», «страдание сердца», «шантаж и подрыв доверия» и т. д., словом — все, что может заставить верить, что на кровати лежит бабушка, а не волк в бабушкином чепчике. И для чего все это? Для того же, для чего и волку нужно вечно рвать овец и вечно быть голодным; в этом рванье, в этом бесплоднейшем истреблении все содержание бессмысленной зоологической рыковщины — рванье, грабеж для рванья и грабежа; разворовав миллионы, рыковщина не научит даже детей своих читать и писать; у ней нет фантазии истратить эти миллионы; она может только хватать их, воровать и ввергать в помойную яму. Ни за́мков она не выстроит, ни морей не оживит, ни гор не коснется и ничего ни из каких сокровищ не извлечет. Чтобы быть *хорошим эгоистом,* нужна продолжительная наследственность, нужна порода, а здесь наследственность фантазии хватает только до паюсной икры и чистосердечного приношения городничему: на миллион уже нехватает этой фантазии; но, несмотря на то, что фантазии хватает только на полтинник, этому зоологическому типу, мужику без мужицкого труда, нельзя остановиться в грабеже и в зле̇, нет других форм для проявления самого себя, не угнетенного мужицким трудом, а освобожденного от него. Волка сколько ни корми, как ни ухаживай за ним, но он уйдет в лес голодать, выть и рвать всякую падаль.

Теперь благодаря суду стало уж ясно, что́ такое эта рыковщина и какая у нее суть нравственная, нравственная подоплека, облекаемая, смотря по обстоятельствам, как заячья шкура, то якобы патриотизмом, то смирением,

то волчьим оскаливанием зубов, — теперь ясно, что рыковщина есть обман по отношению к существующему порядку.

Рыковщина отучила нас всех — и мужиков и не мужиков — верить и думать даже о том, что есть человек, душа, совесть, стыд, обязанность к ближнему; отучила верить, что не только нужно, а даже можно думать и делать хорошо; как дважды два доказала, что по-хорошему поступать — страшно, опасно и не время. Вот почему и хороший, честный, порядочный мужик притаился, приумолк, предоставив волю деревенской рыковщине во образе грабительства, кулачества и кабачества. Порядочный крестьянин верит, что это не навсегда, что у торжествующей рыковщины будет конец — объестся и лопнет, и ничего, кроме смрада, от нее не останется... А пока это еще будет, он идет мимо меня и не заходит: не к чему разговаривать и расспрашивать — «еще не отъелись, чавкают еще! — думает он, — пущай, апосля приду!..» Раза два-три, правда, заходили ко мне такие хорошие мужики — спросить, скоро ли откроется банк крестьянский, да какие правила насчет лесных торгов, и больше, кажется, не было у меня хороших посещений... А вот кляузник идет! Чует он носом, что теперешний образованный, грамотный человек, который газету читает, должен понимать, где раки зимуют... Он знает старую, заскорузлую кляузу, произошел, и новую, деревенскую знает, — так вот нет ли, думает, еще какого-нибудь иного нового манера, чтобы оформить по-новому заскорузлую кляузу, выскочить чрез и сквозь все древние и новые кляузы еще выше, под самый, так сказать, перемет неправды? . Не виню я этих тварей за такое мнение о барине, — барин, к несчастью, очень и очень мало заявляет себя перед мужиком с хорошей стороны, — но все-таки тип деревенского кляузника для меня в такой степени противен, что одно появление бумаги, в которой я привык видеть непременно вступление в обширнейший кляузный разговор, один запах этого лоскута, валявшегося за пазухой кляузника вместе с кучей других кляузных «скопий» и документов, этот большею частью умышленно запутанный и омерзительный язык, эти бледные каракули, запятнанные чернилами, маслом и грязью, — все это давно уж стало возбуждать во мне физическое отвращение, боль головы,

груди... Вот почему я, по уходе работницы, принесшей мне бумагу, не мог не раскаиваться в своей неосторожности: зачем я взял эту гадость? Но так как бумага была уже в руках, то волей-неволей я прочитал ее. Вот что было нацарапано на ней:

«18** году двадцать пятого числа марта месяца бывши я крестьянин сопсвеник деревни Кубышки Чихалковской волости Купреян Муравушкин бывши во храме святыя Софии в Нове граде при служении соборне имел мысли о себе самом и о Расеи и о прочем и тогда впав в состояние слез и даже до обморока в бесчувствии на весь храм произносил необыкновенные слова горести весь в слезах и не могу даже остановиться по случаю вдохновения до изнеможения и язык мой стало тянуть взад к затылку и упал в беспамятстве. Иерей же Иоан Лисицын засвидетельствовал с течением времени выздоровления, о дивных словах кои были мною возвещены вдохновением, и золотыми буквами на поучение заблудшему народу изъявлял опубликовать, но я даже не могу найдти и вспомнить тех слов. И было со мною в течение времени шестьдесят восемь лет необыкновенных вдохновениев трие: первое — на съезде дворянства, второе — в поучении сыну моему художнику Симеону Муравушкину, а третье во храме св. Софии о чем покорнейше доношу вашему сиятельству, как даровано мне от бога вдохновение, то покорнейше прошу не оставить без внимания. Кр. с. Кубышки» и т. д.

Прочитав эту тарабарщину, я все-таки чувствовал, что есть тут какая-то гадость или вообще что-то старое, уродливое, нелепое, хотя прямой, видимой кляузы и нет. «Что ему нужно?» — думалось мне. Но пока я раздумывал, работница опять явилась в моей комнате и со словами: «Пущать, что ли, его?» впустила в комнату незнакомого посетителя, не дожидаясь моего ответа.

2

Вошел длинный, сухощавый пожилой человек с смиренным выражением какого-то тусклого лица, с гусиными маленькими красноватыми глазами, и «первым долгом» с благоговением помолился на образ; в его опрятненьком,

крытом черным сукном тулупчике, тщательно подпоясанном кушаком, в его манере держать себя так, чтобы вы чувствовали, что он не просто пришел к вам, а «предстал перед вами», опять мелькнуло мне что-то неприязненное, не просто крестьянское, а опять-таки кляузное и ехидное. При ближайшем знакомстве все эти подозрения мои вполне подтвердились, хотя ехидство и кляузничество этого человека были особенные, имели не личный характер, а, так сказать, государственный: он вообще кляузничал на существующий порядок во имя благоговения пред старым, в котором для него все свято и совершенно.

— Осмелюсь доложить вашему высокородию, что я с тысяча восемьсот сорок шестого года и до реформы, и даже после реформы, завсегда был на первом счету у высшего начальства. Я живу при третьем императоре и, благодарение создателю, всегда был примерного поведения! И господа управляющие палат, окружные начальники, а впоследствии времени мировые посредники завсегда становили меня на первый план. Потому я как от бога награжден даром ума и совести, то я не послаблял ни в едином мгновении. . У меня подати, сборы, повинности — ни боже мой, чтобы запоздать или что — никогда! Я себя не помнил, не знал, какой я есть человек сам по себе: рюмки водки не выпил, но стоял, как сторож на часах, при начальнике... Этого безобразия не было, как теперь! Я, старшина, или будучи головой, встану до свету, — вижу, кто что делает... кто в кабак идет, кто на работу — и не потерплю. Я знаю, на какие деньги у кого что куплено. «Это откуда у тебя салоп?» — «Тятенька купил». И этого довольно. Я знаю, на какие деньги куплен салоп; он, тятенька, что-нибудь продал в хозяйстве, а этого я не попущу. Я разыскиваю его, допрашиваю, и ежели вижу, что точно продал что-либо хозяйственное, то немедленно же и жестоко накажу, не взирая; салоп сниму и вновь обращу его в лошадь или корову и не дам (это слово он сказал с такой энергией, что затрясся весь), не дам своевольничать, не дозволю!

При последних словах он так воодушевился, что даже вспотел и отер лицо синим набойчатым платком.

— У меня по волости вот этакой соринки не было непорядку!.. За версту кланялись и шапку ломали, не то

что теперь дозволяется всякое непочтение и нахальство! Я имею две медали и почетный кафтан, и даже жена моя удостоилась получить почетный шугай от высшего начальства за примерное домашнее поведение и строгость, что ни малейше ни в чем даже не послабляла! И когда началась реформа, тогда даже начальник губернии, при личной бытности в моем доме, взявши меня вот за это самое место (гость осторожно взял меня за плечо) —«Только, говорит, на тебя и есть надежда; поддерживай господ, не давай воли мужикам; ты, говорит, понимаешь, что есть бог, который установил устав и правила, — так ты и не послабляй. .» Так я восемь лет, почитай, не спал как следует и восьми ночей, потому что началось развращение, пьянство, своевольство. Бога никто не признавал, не почитал, и никто об этом внушений не делал; бывало, со всех концов кажинный божий день идут бумаги: «такие-то мужики не идут ко мне на работу»; «такой-то сделал грубость, обругал моего приказчика»; «сего числа у меня украли двух кохинхинских кур и цыпленка голландского, почему прошу взыскать по всей строгости закона». Не пимши, не емши, по горячим следам во мгновение ока везде был и порядок утверждал бескорыстно... Сам в помои руку запущу, вытащу оттедова куриные ноги и головы, тотчас обличу, разыщу — кто был, кто ел, кто воровал, и через два часа у меня готова расправа. Ежели бы не я, так что́ бы тут было! А будет еще хуже, идут времена зловещие, народишко распустивши, не знает правилов, забыл бога и пользуется своим неуважением к начальникам! Сменили меня своею властию, а предпочитают пьяницу, но господь ниспровергнет их и в ничтожество произведет!.. Когда мировой посредник, его сиятельство граф Зайцев-Волчищев, оставлял пост, то рыдал и обливался слезами: «Без тебя, Муравушкин, должны прекратиться порядки и строгость, и народ, забывши бога, должен впасть в разврат». Оно теперь и у вашего высокого благородия вполне на виду... И я сам претерпел со слезами от сына моего родного... Вот извольте почитать... Здесь все описано вполне, для опубликования по всей России.

Все время он трясся от волнения и трясущимися руками подал мне тетрадку, вытащив ее из-за пазухи.

— Даже сын мой родной, — продолжал он трястись, — увенчал мои дни оскорблением отца своего! до того дошло послабление и развращение начальства!..

— Как развращение начальства? — спросил я его довольно строго.

— То есть развращение ума, ваше высокое благородие, непочитание родителей, бога, и нисколько нет страху! Человечество сделалось подобно стаду без пастыря, не зная бога и страха пред его лицом: все развращено и погрязло в неповиновении... Я всю жизнь трепетал пред всевышним и пред начальниками, кои поставлены богом, и теперь терплю за правду... Здесь в книжке все сказано!.. Когда после увольнения моего из старшин взирал я на попрание божеских и человеческих правилов, когда видел я ниспровержение закону, то у меня слеза не высыхала из глубины сердца! Я целые ночи стоял на коленях в молитве, но увы! сын мой — и тот ниспроверг престол господень в сердце своем. Не говоря о скоромной пище, которую с наглостию дозволял себе, но даже отца ниспроверг!

— Как же это случилось?

— Содрогается душа моя, как подумаю!.. Будучи головой, старшиной и вполне взыскан от высших начальников за мою религиозную душу и поступки строгости без послабления, я заметил в сыне моем черту, и по совету господина мирового посредника, его сиятельства графа Зайцева-Волчищева, отдал его в живописное мастерство, так как замечено было в нем стремление, и был в надежде на утешение... Но развращение и забвение бога сокрушают все преграды! Россия должна чрез это погибнуть... Я и сейчас посещаю начальников, и завсегда мне первое место, и мнение мое — первое. И я, не хвастаясь, скажу, что ум во мне очень огромный: я вижу гибель... Я доводил до высшего начальства, но господь не похотел, дабы дьявол был побежден!.. Вот, ваше высокое благородие, почему в горестях и в содрогании сердца моего троекратно впал я во вдохновение! Впервые — на съезде сельских хозяев, когда прочие высокие господа высказывали взгляды, то я встал и в полном безумии, так как явное было наитие, провозгласил о ниспровержении закона. И так великолепно произносил — но теперече слов не упомню — что его сиятельство граф

Зайцев-Волчищев опосле того взял меня так-то за это место (опять прикосновение к моему плечу) и публично отрекомендовал: «Вот золотые уста поселянина, которые спасут нас!»... Так я даже не могу вспомнить моих слов: такое было восхищение!.. А второе вдохновение было во храме, как я описал в бумаге, и тоже с огорчения души возопил о социлистах публично, и отец Иоанн утвердил мнение, что устами моими глаголет господь! Но дьявол превозмогает! Подавал даже в Третье отделение, но ответа не имею... И в третий раз — по случаю разврата сына моего — чувствуя господа вседержителя, глаголющего устами моими, я уже все подробно решился записать — и вот книга. Извольте почитать, и не возможно ли будет опубликовать повсеместно для империи? А иначе все должно погибнуть! Правда божия в забвении, разврат, непокорство, постов не соблюдают, не почитают родителей и начальников. Это все есть против бога нашего, и козни дьявола превозмогают закон бога живаго... Извольте почитать, какие изложены мысли. Его сиятельство граф Зайцев-Волчищев чистосердечно уверял, что надобно опубликовать, дабы было почтение и уважение вновь установлено... Извольте почитать, будьте так добры!.

Взволнованный сын отечества вновь утер потное лицо, взял из моих рук свою тетрадку и, раскрыв ее на известном месте, сказал:

— Вот от этих пор извольте почитать!

Вот что там было написано:

«Вдохновение всевышнего чрез бывшего волостного старшину Куприана Муравушкина сыну моему семену для вразумления от развратных поступков.

«Сын мой Симеон!

Господь вседержитель Адонаи саваоф в первый самый день от сотворения света, когда сотворены были рыбы и птицы, а впоследствии того времени человек и жена его из ребра — создатель и промыслитель наш И. Христос, на горе Хориве утверди закон: Чти отца своего. Спрашиваю я тебя, бывший сын мой Симеон, каковым в настоящее время тебя не считаю, ежели господь

утвердил закон, то я как отец твой — покоряюсь закону его, но ты как сын — то для тебя закон — *я*! твой отец; мне же закон — бог, творец, вседержитель — тебе же закон *я*, ибо я тебя сотворил такожде как бы рыбу или птицу или пресмыкающую тварь. Больше ста двадцати пяти рублей серебром издержано мною на твое просвещение, не касаясь обуви и одежи, каковая позимнему была справлена и полетнему положению; харчей же, яиц, гусей, а по грибной и по капусной части, которые твоему наставнику препровождены, я с великодушием не утруждаюсь вспоминать. Но ты, забывши закон господень, ниспровергши святого духа, обуял себя форцем гордости и непочтения. Не говоря, что подобно бессловесной свинье ничего не стоит облапить кувшин с молоком или подобно какому зверю обжорствовать куриным мясом, оскверняя сердце и душу в постный день, — не упоминаю об этом! Ответ твой будет на страшном суде христове! Но спрашиваю тебя: что же я для твоего гордого ума? Не бессмысленный ли ты человек, утверждая в себе, что на отца можно наплевать? Где, спрошу тебя, двадцать три рубля серебром, как мною дознано стороною, взятые за патрет купца Ивана Ларивонова? Принес ли ты их отцу твоему, который тебе дал существование не подобное пресмыкающему, но просветил из своих последних кровных достатков? Не говорю тебе: сын Семен! но называю тебя: Жало! где твоя победа? В твоем гордом образовании невозможно для тебя онной победы отыскать: если бы со всего света собрать ученых и книги, то и тогда отец твой превыше всех должен быть, так как господь глаголет его устами, и никакая сила адова меня не сокрушит, хотя бы ты просвещал себя сто лет. Я уже просвещен создателем как твой отец и заблаговременно уже знаю, что в ожидании возобновления *Формозы*, Вакери, в Одеоне дают драму Жанна Марраса семейство дармель никто не знает как он овдовел, но сын его Октав не помнит своей матери. Этот сын недавно женился и уже обманут своею женою Ирена так зовут ее, собирается бежать с красивым офицером гонтраном де морвалем. Отец напрасно вызывает любовника, между тем муж узнает о своем несчастии, готовый исполнить совет Александра Дюма сына «убей ее!» или ты, безумец, осмеливаешься думать, что я так глуп по твоему высокому уму,

что мне неизвестно когда отец Гонтрана схватив топор бросается в одну из дверей, куда должна войти Ирена? Глупое твое высокоумие!»

— Что за чепуха такая? — невольно сказал я вслух.

— В каком месте-с?

— Да вот тут... Тут что-то, кажется, чужое у вас?

— Это-с? Это действительно чужое.. не мое... То, все прочее моего вдохновения, а это действительно взято из книжки... Я взял тогда, что под руку попало... Не разбирал-с! Потому что мне надобилось хоть бы мало его затмить...

— Вот видите, — сказал я не без некоторой грубости, — вы все о строгости, о правде, о развращении толкуете, а сами подделкой занимаетесь... Сами не знаете, что́ написано в книге, а хотите изумить, будто все знаете!

— Нет, нет! Против ваших слов ничего не могу сказать! Извлекал без смысла, это верно, что там написано — не могу знать. Чего не знаю, того уж, прямо вам докладываю, не знаю! А что действительно надобно было мне его изумить: «пускай, думаю, не поймет этих слов — авось задумается, уважать будет!», уверует, что от бога мне много дано! Ежели сказать чистосердечно, как пред богом, так взял он на себя такую дерзость, что я для него стал в дурацком звании — больше ничего! Так уж тут мне надобно было как-никак стараться нагнуть его башкой-то, чтоб не драл головы-то пустой.. Я ведь, ваше высокоблагородие, отец: я на него расходовал больше ста двадцати пяти рублей, не касаясь харчей, обуви, одежи. Близу двух лет я ему дозволял обучаться живописи у живописца на Гороховой. Но и в два года уже в него проник социлизм, неповиновение... Я его хочу брать домой, а уж он храпит: «Хочу учиться!» Я говорю: «Когда отец тебе говорит: «довольно», то, следовательно, это прямо от бога, и мне, старику, лишивши я доходов, нужно утешение от сына, спокойствие, и я могу сказать: «довольно!» Но он и тогда сопротивлялся и храпел... А когда я принужден был его вытребовать и водворил его в моем доме, то не только хотя бы стремился принести домой рубль серебром и подарить отцу, отказал даже патрет мой списать, а предполагал, что по нынешнему своевольному времени будет просвещеннее рисовать котов и петухов, или дерево, но не отца своего, от которого

произошло самое существование. Я для него оказался глупей последней собаки бесхвостой. Даже злодеем провозглашал публично в пьяном виде... Так мне надобно было его ошеломить-то хоть чем-нибудь... В последнее время едва-едва вогнал в церковную живопись — не идет! «Я, говорит, дальше хочу, ты меня погубил...» Вот как дьявол-то его обуял!.. И нигде нет управы: отец для нынешнего века хуже мочалки... Ежели меня родной сын становит дураком, когда я всю жизнь от первейших начальников почтен, так мне надо ему доказать. Вот я выхватил у него книгу — натащил он их целый сундук — и употребил в середине, незаметно...

— Что же он?

— Будто как немножко осел, потишел, поглядел эдак на меня... Ну а потом еще хуже стал, довел меня до последнего предела... Да вот вы извольте почитать... Там все прописано в тетради.. Сколько я претерпел ущербу! Только единый господь был моей опорой! Извольте-ка почитать, а я покаместь вас не буду беспокоить... пока что, погляжу ваше заведение.

И гость ушел осторожными, кошачьими шагами.

3

Не могу выразить, до какой степени измаяли меня эти бесконечные толки деревенских стариков о непорядках, о развращении, об отсутствии строгости. Все эти люди, еще не забывшие помещичью или начальническую палку, муштровку — во всей многосложности новых явлений народной жизни, многосложности непривычной и во многом совершенно новой — видят только беду в недостаточном употреблении палки и везде суют ее, как вернейшее средство от всех общественных деревенских недугов. Осеннее дранье из-за податей идет неукоснительно, ничуть не убавляясь с годами; выражение — «постановили: наказать двадцатью ударами розог» положительно встречается на каждой странице решений волостного суда. В нынешнем году, например, неурожай по всей губернии; не только ничего не уродилось, но погнило от дождей на корню то, что обещало уродиться; подати стали, и что же? Едут почтенные старцы со стар-

шиной брать расписки «к розгам». Ежели к 21 числу не будет денег представлено, то должен явиться в волость для телесного наказания. И являются, а там секут в волости. Нет у них ничего кроме палки для решения больших общественных дел, и согласия по большим общественным делам еще нет. «Старик» вообще еще действует и главенствует на миру, и мужик лет сорока — самый молодой из мирских деятелей. Но уж есть поколение недраное, непоротое, видевшее не мордобойную школу, а хорошую книжку, и крепко думающее; и лучшее деревенское будущее, несмотря на все неприглядные стороны настоящего, уже чувствуется вами.

Как-то мне пришлось пересмотреть в волостном правлении за много лет книги для записи решений старинных расправ и нынешних волостных судов по делам тяжебным и «по проступкам», и несмотря на то, что выражение: «к наказанию двадцати ударов» — за неплатеж податей, за дерзость, за драку, за пьянство или мелкое воровство — положительно пестрит страницы решений волостных судов, все-таки в конце концов я думаю, никто даже из приговариваемых к двадцати ударам не променяет теперешних порядков, против которых можно кричать и вопиять, на образцовое благообразие порядков старого времени, неусыпными держателями которых были люди того мужицко-чиновничьего типа, образцом которого может служить мой гость, Куприян Муравушкин.

Перелистывая протоколы заседаний старой «расправы», целые месяцы иногда не встречаешь ничего, кроме краткого заявления в таком роде: «Н — ская сельская расправа имела сего числа непременное заседание в присутствии старшины и добросовестных, и как с жалобами и доносами никого не явилось, то занимались чтением узаконений и в два часа пополудни присутствие закрыто». Такие присутствия собирались каждую неделю; на протяжении целых месяцев вы видите только эту неизменную запись: ни жалоб, ни доносов — ничего, чем изобилует настоящий волостной суд.

Жалоба мелькает изредка и всегда дает вам доказательство того, что в прежнее время точно было, ух, как строго по части требований от человека, чтобы он ни о чем, кроме как об исполнении своих мужицких обязанностей, не мечтал. Старшина Муравушкин (тот самый, который

явился ко мне с повествованием о своих вдохновениях) значится утверждающим своею подписью грозные решения по делам нарушения мужицких обязанностей. Я разыскал подлинное дело о салопе и лошади, о котором он упоминал в разговоре, и вот что там сказано: «Н — ская расправа, *по предложению сельского старшины,* разбирала дело о крестьянине деревни Чихалово, Василие Нестерове, который, по замечанию его, всегда обращается к праздности, лености и чрез то неисправно платит общественные сборы и сверх того расстраивает собственное хозяйство продажею необходимо нужного ему скота и употребляет вырученные деньги на предметы роскоши, именно: до сведения старшины дошло, что с месяц тому назад он продал г. инженер-полковнику корову за 20 руб. и деньги употребил на покупку нарядной шубы для своей дочери. *Постановили:* за продажу *без надобности* коровы, на основании 188 ст. сельского судебного устава, а равно за нерадение, леность и расстройство своего хозяйства, по статье 179, наказать 16 ударами розог».

Мелькнет такое доказательство необычайной зоркости тогдашнего попечительного начальства раз в полгода, и опять целые другие полгода идут краткие известия, что собирались в непременное присутствие, читали узаконения, а жалоб не было. Очевидно, что был какой-то порядок, если такие мелочи, как продажа коровы без надобности, наказывались и карались. Но это не так. После целого ряда страниц, рисующих тишь и гладь, трудолюбивую жизнь поселян и бдительность начальства, вдруг выскакивает такая страница: «Н — ская расправа слушала предложение сельского старосты о наказании за соблазн и дурное поведение уличенных в непотребной жизни: 1) вдову Агафью Федорову, 2) сестру ее, девицу Анну Федорову, 3) Псковской губернии девку государственных имуществ Настасью Иванову, 4) Витебской губернии крестьянскую девку Федосью Никифорову и 5) крестьянина Боровичского уезда Александра Платонова, так как Агафья Федорова уличена в открытии у себя непотребного дома и сама тут же способствует, а Анна Федорова, ее сестра, и другие — собственно для этого дела в доме Федоровой проживают... Вдова Федорова показала, что она, по случаю неимения мужа своего, занимается такими делами и для чего придерживает девок... Девки подтвер-

дили, что не имеют себе постоянных любовников, а продолжают вообще. Постановили: 6 дней чистить мусор около церкви, а ночевать в холодной».

Выскочит такая страничка, и видите вы, что старинные тишь и гладь были не вполне образцовые. Ни жалоб, ни краж, ни обид — одни только хозяйственные погрешности, а между тем в таком-то образцовом селении существует вполне «форменный» дом, заведение, чего при теперешнем якобы развращении нравов пока даже в помине нет. Есть распутство, но без такой правильной, городской организации, — и когда? когда, по словам Муравушкиных, только и делали, что бога чтили...

Тишь и гладь сильно начинают мутиться, по мере того как время приближается к шестидесятым годам. Тщательно каллиграфически записываемые прежде протоколы о том, что жалоб не было и т. д., теперь начинают записываться все хуже и хуже — руке надоело строчить эту ерунду; иногда вы видите, что рука пьяна, царапает каракули во всю страницу: «в непременном заседании членов, а равно проступков и жалоб не было, почему в два часа присутствие закрыто для чтения проступков и узаконений». И чем дальше, тем хуже: случается полное отсутствие записей или жалоб без всякого решения; наконец, последние страницы с чернильными пятнами, каракулями судейских подписей и покачивающимися направо и налево крестами безграмотных судей отдают явным развращением нравов. Кресты эти — знаки могил старых порядков старых людей и всего чернильного благолепия.. Последние страницы совершенно пусты: в глубине их покоится бездыханный дореформенный клоп.

Но с 1861 года жалобная книга совершенно изменилась: точно хлынула со всех сторон полая вода жалоб, обид, оскорблений, требований; владельцы имений, мужья, жены, отцы и дети, — все принялось вопиять и жаловаться, все изливало свои беды.

«Вчерашнего числа, — пишет мировой посредник, — крестьяне (такие-то) вечером буйствовали, и когда караульщик их унимал, то они ему сопротивлялись и бесчинствовали, а потому предписываю тебе...» и т. д.

«20 сентября, — пишет посредник, — крестьяне (такие-то), а равно и повар, служащий у меня, Тверской губернии и уезда, Иван Андреев, уличены в краже у меня

вечером курицы и петуха кохинхинских и цыпленка голландского, а равно — в жареньи их в моей кухне и ужине их вместе с водкою на моей же кухне, вследствие чего предписываю тебе. . .»

«Крестьяне селения Н., бывшие мои крепостные, отказались идти на работу и грубыми ругательствами обозвали моего управляющего, почему, доводя до сведения, прошу на основ. . . по всей строгости закона. . .»

«Крестьянин с. Ч. (имя рек) жалуется на крестьянина Алексеева о нанесении ему обиды ругательными словами, называя бессовестным, говоря: «ты дешевле меня стоишь. . .» почему прошу взойти. . . об удовлетворении меня. . .»

«Крестьянин Н. жалуется о нанесении ему обиды крестьянскою девицею Анною Егоровою и разных неприличных слов с нанесением удара. . . почему взойдите в защиту. . .»

«Крестьянка д. Н. Наталья Яковлева жалуется на крестьянина той же деревни о нанесении ей побоев, причем Наталью от Никиты отнял даже Петр Михайлов, а почему взойдите. . .»

«Крестьянка Матрена Сидорова жалуется на мужа своего о нанесении ей увечий и побоев, на что ответчик показал, что он побоев ей не наносил, а как она непослушна, то соглашается, чтоб она отошла от него прочь, на что и Сидорова согласилась».

«Крестьянская девица Ольга Федорова просит на крестьянина Михайлу Иванова, что он обещал ее взять в замужество, чрез что она оказалась беременна, на что ответчик показал, что на союз не склонял, а более потому, что она была в союзе с Дмитрием Михайловым, но миролюбно готов заплатить Ольге 60 руб. в три срока».

«Крестьянка Татьяна Терентьева просит на крестьянина Василья Яковлева о нарушении первого числа октября на Покров чести дочери ее Настасьи, которая в настоящее время находится беременною, и обещался взять в замужество, и на сию любовную связь имеется у нее письмо Василия, на что Василий показал, что за связь с Натальей им уплачено ей три рубля серебром, но в замужество он не обещался, а письма им писаны собственно в насмешку».

«Крестьянка д. Тушино просит поступить с мужем ее по закону о нанесении побоев, а также и о том, что ей не дают жить в людях, а потому и просит сделать распоряжение — ежели пожелает муж жить, то без свекрови, а ежели не пожелает, то она жить с ним не согласна».

«Жена крестьянина Марья принесла жалобу на мужа своего Андреяна в нанесении побоев и похваляется отомстить мне и пусть выдаст мне паспорт, на что муж ее показал, что побоев он не наносил, а что вышла жена его на улицу для свиданья и переговоров с крестьянином, служащим на железной дороге, с которым имеет грех, и когда я стал звать домой, то они скрылись, и на другой уж день она принесла жалобу о побоях, на что крестьянка Марья объяснила, что к мужу она не пойдет и чтобы дал паспорт».

«Крестьянин Семен просит на родного брата своего Никиту о недаче ему навозу, и чтобы Никита не делал ему побоев, на что Никита показал, что брата своего он не намерен бить, а нечаянно махнул возжами и попал Семену по губам, а Семен начал бить его палкою... Свидетели показали, что между ними идет обоюдная драка уж пятый раз, а четвертого июля они ходили друг на друга с вилами».

И так далее, до бесконечности: все зашаталось, все рвется из тисков, из нескладных условий, требует *своего;* все это, задохнувшееся в деспотизме свекрови, отца, мужа, жены, брата, рвется на свободу, не хочет покоряться и, вырвавшись, усиливает сумятицу то кабацким бесчинством, то кражей с голодухи, то кражей для смеха, то дерзостью для смеха и для собственного удовольствия, и надо всем этим столпотворением в ужасе стоят мочальные фигуры начальников, не ведающих никаких средствий, кроме палки, вопиющих о развращении нравов, вопиющих о том, что страха нет, страха, страха.

Нет! Страх давно уже не спасение в настоятельных общечеловеческих нуждах деревни, и *старики,* как специалисты по этой только части, как люди, не умеющие проповедывать ничего иного — будь это кстати и не кстати — кое-как еще терпятся новыми поколениями деревни, но уже не пользуются уважением. Хороший теперешний мужик, видевший школу, нередко куда лучше

и разумнее любого старика даже в хозяйственных делах, и немудрено: он уже отведал «воли».

Теперь на волостном суде бывают иногда такие сцены:

— Господа судьи, — жалуется упрямый, нескладный и зараженный страхом и деспотизмом отец, человек несомненно уж прошлых времен, — прошу наказать моего Мишку. Способо'в мне нет, старику, жить с ним... Не слухает меня, мошенник, ни в едином слове... Пущай идет вон из моего дома и с женонкой своей.

— Что ж? — говорит сын. — Я уйду, да ведь ты помрешь с голоду... Кто тебя будет кормить-то? Ведь ты это зря ворчишь... Скучно тебе, потому что я тебе всякий покой дома делаю... Чего тебе надо? Я тебе отвел целую половину, а ты все ворчишь; печку тебе поставил, кофей пьешь, когда угодно. Чего тебе? Ну я уйду, ну что ты будешь делать?

— Не смей мне прекословить... Страху никакого нет, набалованы.. непочетчики...

— Это вы, старики, точно что набалованы... Как была ямская гоньба, так вы никакого крестьянства не знали, только в трактире чай пили... А я, твой сын, сам с малолетства начал крестьянством заниматься, со слезми... Ты мне косы не дал, серпа в доме не было... Я — крестьянин и тружусь, работаю, и ты мне не указчик, потому — ты ничего не понимаешь; тебе бы только мудрить да пьянствовать, а смыслу в тебе нет нисколько.

— Вот извольте, господа судьи, слышать... Пущай идет из дому вон.

— Что с ним разговаривать, с глупым! Он и сам-то не понимает, что́ у него язык болтает... Я даже сам могу его выгнать, только жалею... Ты живи-ка да бога благодари, а не мудруй!

— Ну вот что, Михайло, — говорит судья, — ты тово... Оно точно, что старик обдурел.. успокой ты его, уважь, за глупость за евонную... Глуп, это верно, только он тебе пуще надоест. Уважь его дурь древнюю — сядь хоть в темную-то на время, ну хоть на сутки...

— Будет что ль с тебя? — спрашивает сын отца, как спрашивал бы взрослый человек малого ребенка. — Потишеешь ли ты, ежели я день в темной просижу?

— Да хушь на день его, шельму, посадите, все ему наука.

— Наука! Тож о науке бормочет старый хрен! Нá двадцать копеек — иди чай пить... Нет ли, Иван Иванович, у вас какой газетки? Скучно ведь день целый сидеть...

— Газет нету! — отвечает писарь. — Книгу не хочешь ли?

— Какая книга?

— Пушкина сочинение: «История пугачевского бунта».

— Что ж? Давайте Пушкина. Сочинитель известный, я помню... давайте. Ну ты чего стоишь? Мало еще?

И вот старик идет в трактир — галдеть о непокорстве и пить чай и водку, а сын, не пьющий ни капли, сидит в темной с «Историей пугачевского бунта» в руках и находит, что Пушкин — хороший писатель. Темную даже и не запирали для него, зная, что из трактира придет отец посмотреть: «сидит ли?» И точно: приходил смотреть...

— Да сижу, сижу, не беспокойся! — отозвался сын из глубины отворенной тюрьмы, куда пришла к нему жена.— Иди, ложись спать, только уж потом смотри, не дури!.. Уж я, брат, тогда потребую от тебя послушания; не даром я сижу...

Недавно в нашей местности был такой случай: два брата крестьянина «посекли» родную мать.

— Как так?

— Да очень *набалована*... ничего не поделаешь!

С уничтожением ямщины и проведением Николаевской железной дороги масса крестьян, привыкших к легкой наживе, чаям, сахарам, наливочкам, подаркам проезжающих и т. д., принуждена была «сесть на землю», взяться за косу. Это пришлось сделать молодому поколению, ибо старое было уже *набаловано*. Таким образом, молодое поколение положило начало, почти по всему старому тракту, настоящему крестьянству, а старому осталось одно — допивать остатки и доживать свои годы. Вот из числа «допивающих» и была та набалованная мать, которую принуждены были учить родные дети. Пила она много и воровала у детей, у невесток разные вещи, которые и закладывала в кабаке...

Вот ее и поучили, для «ее же пользы». И как это ни жестоко, но и эта избалованная господами, проезжающими купцами мать и этот глупый старик, чувствующий

успокоение расстроенной пьянством печени в заключении сына в «темную», в глубине души чувствуют превосходство детей их над собою во всех отношениях: они и умнее, и аккуратнее, и работящее... Допивая остатки, они чувствуют, что песня их спета и что дети лучше их. Не таков, однако, тот родитель, тот из оскорбленных временем и порядками отцов, с вдохновенными произведениями которого мне пришлось случайно познакомиться... Этот верит в правоту свою непоколебимо, не раскаивается и не прощает.

4

Вот что читал я в его рукописи, после того как он пошел осматривать все мое «заведение»: «Топор выпадает из его рук и адюльтер остается ненаказанным «что же мне делать теперь?» восклицает муж, но в объятия его бросается маленькая дочь его Марта и занавес падает. Альбер Дельпи также порадовал парижан новинкой... Если бы ты долотом продолбил свою голову, то́ и в это время невозможно для тебя сообразить о моем уме, который может проникать повсеместно, единственно волею всемогущего творца. Безумец, говорю тебе: не хотяй смерти грешника! Успокой старость преклонного отца, который все средства содержания на тебя опровергнул, оставшись при конце дней в унынии и без помощи. Для того ли я жертвовал до последней капли на твое образование и просвещение? все решительно истощил как деньгами также и вещами, не упоминая о харчевом довольствии наставников твоих, между тем вижу в течение трех месяцев, не соблюдая постов и не почитая родителей, занимаешься недостойно просвещенного человека описанием всякой твари, кошки, собаки, какой-либо пень и тот дороже отца, почтенного от высшего начальства и кровь свою источившего на твое образование, дабы под старость иметь опору. Отжени врага рода человеческого, призови бога всевышнего, омой слезами оскверненную душу и успокой родителя помощию от трудов твоих, ибо без меня не только образования, но и существования ты бы не имел...»

Месяцев через шесть после этого письма (под каждым письмом находился год и число) вдохновенный отец переписывает в свою тетрадь такое письмо:

«Его привеллебию отцу иерею Михаилу Остромыслову в селении Глушице священнослужителю всепокорнейшее прошение!

«Сего числа известился я о сыне моем Симеоне, как будучи он по живописной части, снял подряд написания во храме селения Глушиц четырех образов суммою, сказывают, до ста рублей серебром — то как отец припадаю об удовлетворении меня в означенной сумме. Будучи преклонных лет и по слабости своего здоровья, которое все пожертвовал в ревности служения и почтен от высшего начальства — я из последнего моего соку, не жалея копейки, оставшей от трудов, и окончательно истощив всякие способы пропитания своего — все сие употребил для высшего просвещения сына моего Симеона, дабы под старость иметь утешение и денежное удовлетворение от его ко мне любви за мои труды и последние капли крови моей, коие я истощил на него, оставши нищим. Но зловредное учение социлизма, внедривши подобно какой болезни развратной, будучи он в Петербурге в учении — то не только чтить отца, но с гордостию считать стал дураком, а себя превыше всякого смысла как бы великолепного ума. Но как верую в творца вседержителя, то молясь денно и ночно и со слезами призывая бога в помощники с ангелы и архангелы, получил утешение в том, что согласился взяться он за церковную работу, а то все презирал. Ваше священное благоутробие! Отец иерей! внемли голосу престарелого старца! на краю пропасти могильной уже одною ногою близко нахожусь! Какие будут моему Симеону деньги, то я умоляю до последней копейки отнюдь не отдавать и все то неусыпно удержать до моего прибытия, так как я одного убытку для его просвещения понес все мое состояние и силы до последней капли крови. С умилением вопию к творцу и зиждителю и богу нашему, да не соблазнит тебя, священнослужи-

тель, злоумышленная хитрость сына моего Симеона, насчет выдачи ему под работу хотя бы трех рублей — но укрепится десница твоя в опровержении. . .»

Следующее письмо писано недели через две:

«Господину становому приставу первого стана ... уезда Чихаловской волости Николаю Ивановичу Фиалетову.

«Сокрушенное и всеподданнейшее со скорбию прошение плачущего отца, крестьянина Куприяна Муравушкина противу сына его Симеона, забывшего бога и отца, а потому и весь престол и отечество.

«Как мы видим из ведомостей об учении зловредных сициилистов, которые хуже языческих кровопийцев, коие не побоялись распять Христа, то как верный подданный и неподкупный земледелец и принявший присягу согласно священному писанию, то не дозволю себе впасть в малодушие, но иду к высшему начальству глаголя: «возьмите от меня его и распните!» Отечество наше, которое имеет славное воинство и армии, и флоты и везде повсеместно прославлено — то ежели не будет повиновения, тогда держава должна прекратиться. Окончательно сказать, даже иностранцы чувствуют сокрушение, видя повсеместное забвение бога: развращенный крестьянин, не имея страха, запрягает тощию лошадь, каковая только ковыряет пашню, но не пашет, чрез что появляется голод и недостаток средств для славы отечества, но становится против иностранцев на худом щету. И как сын предпочитает не повиноваться и уходит от отца жить отдельно, то ни скотины у него нет, и не пахота у него, а одно посрамление, чрез что не имеем весной дождей, а осенью заливает хлеба — от чего же все сие происходит? От неповиновения родителям, забвения бога, почему имею честь донести, что сын мой Симеон, на просвещение и образование которого я истощил последнюю мою кровь. . .»

Здесь следует почти то же самое, что и в письме к священнику. Рассказав о том, что после денно-ночной

молитвы сын его, наконец, согласился взять церковную работу, старец продолжает:

«. . .Но не токма ста рублей серебром я не получил, но даже едва семьдесят пять рублей мог выпросить у него чрез священноиерея отца Михаила, причем отзывался об отце с ожесточением, называя тираном, каковой тиран истощивши на образование сына своего последние свои жилы и даже сок последний — едва к могиле может достигнуть, подобно младенцу невинному. И это все есть зло в неповиновении отцу, следовательно, сицилизм, через что происходит повреждение хозяйства, а также отечества, посрамление перед иностранцами и уничтожение державы. Ныне же известен я, что сын мой Симеон снял новый подряд в селении Колобове, поблизности становой квартиры вашего высокоблагородия уже в сумме до трех сот рублей серебром и с дерзостию возмечтал о вступлении в союз с девицею Феоклистою, живущею без отца при матере, каковая безнравственная девица не имея отца и надзора при матере потатчице — то сын мой Симеон может погибнуть и окончательно предать отца в забвение на голодную смерть. Почему, как верноподданный, не желая разврату державе, доношу вашему высокоблагородию обо всем чистосердечно с низкопоклонением, дабы повелено было строжайше арестовать онную сумму в триста рублей серебром, каковая сумма по закону должна быть предназначена отцу, издержавшему на образование сына все средства жизни, и привлечь к законной ответственности девицу Феоклисту за развратное ея поведение вместе с материю ея, что недозволено в законе. Слезами написаны эти строки мои, но как есть я раб престола и бога вседержителя, то хотя бы мне повелено было руку отсечь свою топором, то отсеку, не потерплю ниспровержения бога живаго и войду с прошением к господину министру, почему и прошу об удовлетворении меня в трех стах рублях».

После крошечного промежутка времени нацарапана копия с следующего прошения:

«В глушицкое волостное правление, в волостной суд, покорнейшее прошение.

«Проживающий в с. Глушице родной сын мой Симеон, находясь якобы на хлебах у вдовы Аксинии Михайловой, с дочерью ея Феоклистой предался непотре́бному поведению, намереваясь взять в замужество, то я как отец не позволяю этого разврата и так как находящиеся у сына моего триста рублей сопсвенного моего капиталу захвачены им без позволения и оставляет меня без пропитания, то покорнейше прошу за неповиновение и развратное его поведение и наглые поступки подвергнуть телесному наказанию, арестовать сумму 300 р. в церковных деньгах впредь до разбирательства по жалобе моей в вышем месте и подвергнуть крестьянскую девку Феоклисту как за распутное поведение телесному наказанию, ибо по обоюдному ея с сыном моим распутному поведению меня постигает разорение и голодное состояние — почему и прошу на законном основании подвергнуть их строжайшему взысканию, о чем и доношу начальнику губернии и N-цкую духовную консисторию. Ежели мы будем послаблять, то не будет никакого повиновения, а это есть против бога и даже вся Россия может погибнуть. . .»

Далее следуют копии с бумаг: «Господину начальнику губернии. . .», «В святейший правительствующий синод. . .», «В третие отделение сопсвенной е. и. в. канцелярии. . .», «Г-ну жандармскому начальнику. . .»

Но я уж не буду приводить этих вдохновенных произведений. По тому, что́ уже было мною прочитано, можно было догадаться о содержании и других документов. Я не дочитал их и пошел возвратить рукопись автору.

Автор сидел в кухне и, очевидно, расспрашивал прислугу о моем поведении, и вид его был не смиренный и не благоговейный; но он тотчас же облекся в смирение и благолепие, как только в дверях появился я.

— Где ж теперь ваш сын? — спросил я.

— Помер-с, помер! А почему? потому, что в нонешние времена...

Затем между нами произошел непродолжительный разговор, вследствие которого, я уверен, вдохновенный автор тетрадки ушел от меня восвояси не в весьма хорошем расположении духа; я же расстался с ним с истинным удовольствием.

II. ХОРОШИЙ РУССКИЙ ТИП

1

Все рождественские праздники мне пришлось провести не в деревне, а в Петербурге, и я уже решился было встречать в Петербурге и новый год, но какая-то необычайная тоска — результат всего виденного и слышанного в столице — до такой степени обуяла меня в утро тридцать первого декабря, до такой степени охватила все мое существо испугом и холодом, что я почувствовал непреодолимую потребность тотчас же уйти в свой деревенский уголок, к печке, к теплу, к одиночеству, тишине, книге и вообще к *какой-нибудь,* хотя бы также ужасной деревенской правде.

И вот, обуянный этим трудно формулируемым, но внезапным страхом и тоскою, я, не повидавшись даже с лучшими моими приятелями, мгновенно собрал свои пожитки и скоро, к величайшему удовольствию моему, был уже в вагоне третьего класса.

По случаю праздников народу было мало, в вагоне было просторно, то есть почти пусто, а стало быть, и хорошо. Спутниками моими по вагону были только двое: крестьянин — из числа «хозяйственных» народных типов — и пожилая дама.

Не могу припомнить, каким образом между нами завязался разговор; кажется, что причиною общей беседы был крестьянин, долгое время разговаривавший один, сам с собой, и невольно вызвавший на ответ сначала даму, а потом и меня. Но что замечательно, так это именно то, еще недавно невозможное обстоятельство, что мы, случайные дорожные знакомые, люди разного звания,

положения, развития, как-то дружно повели разговор именно об этом нравственном испуге, испуге души, который мы все — и крестьянин, и дама, и я — увозили с собою из столицы.

В былое время шел бы между нами какой-нибудь пустяшный разговор; мужик говорил бы об урожае, об овсе и сене, о сыне, которого сдали в солдаты; может быть, и дама вспомнила бы что-нибудь из своей семейной жизни, да и мне пришлось бы разговаривать о чем-нибудь случайном, отвечать на вопросы: «вы чьи будете? где служите, какая ваша должность, велико ли семейство?» — но теперь, и не только в этот раз (я езжу по железной дороге очень часто), а вообще в последнее время дорожный разговор случайно встретившихся людей почти утратил характер разговора о будничных делах и частностях жизни, а всего чаще прямо начинается с разговоров «вообще» или «вообче» и всегда имеет неопределенный, плохо оформленный вид несвязного бормотанья о чем-то, что чрезвычайно ужасно для всех нас, но что нельзя, невозможно определить, назвать точно одним, двумя словами.

Всем нам знакомо это ужасное, лежащее камнем на душе, тяжкое, многосложное, сбившее всех нас с кругу, с толку, теснящее и давящее грудь, пугающее ежеминутно и днем и ночью, и все мы, говоря об этом, родственном всем нам и не покидающем нас, людей разного звания, ощущении душевном, можем только перекидываться вздохами, иногда даже только обмениваться отчаянными жестами или фразами вроде: «Ужас что такое! То есть, знаете ли, просто не знаешь куда деваться!» и чувствуешь себя уже бессильным разменять эти жесты и фразы на текущие житейские недуги, ошибки, желания; все это сто тысяч раз было думано, передумано и все это сто тысяч раз должно было из передуманного сделаться переживаемым, и все пошло прахом, теперь возможны только жесты, выражающие присутствие в душе человека, измученного бесплодными размышлениями, чего-то умирающего, коченеющего, от чего только холод идет по всему существу человеческому...

И на этот раз разговор наш как-то сам собой сосредоточился на этом неразменном на реальные явления сегодняшнего дня душевном испуге, отчаянии перед чем-то

«вообще». Что же такое в самом деле мы видели и слышали в столице? Все мы видели наших старых знакомых, людей нам близких, людей, с которыми мы прожили весь век, людей, которые пережили вместе с нами все то, что пережили и мы, но все — и мы от них, и они от нас — ушли и расстались с пугающею мыслью о нашем взаимном духовном упадке, нравственном унижении, падении, даже умирании духовной жизни и вообще в сознании близости для всех нас чего-то недоброго, тусклого, сурового и даже глубоко позорного.

Это тяжкое, гнетущее душевное состояние, всеми нами, случайно встретившимися в вагоне людьми, вывезенное из столицы (точно так же, скажу кстати, и привозимое нами в столицу из деревень), было до такой степени тягостно всем нам, что мы употребляли всевозможные умственные усилия для того, чтобы почти мимически выражаемое отчаяние перевести на реальную почву и разговаривать, придравшись к какому-нибудь тягостному для нас жизненному факту. Но каких бы фактов мы ни касались, все они как-то были ничтожны перед огромностью тяготы «вообче», терялись в этой огромности и как-то даже утрачивали свою отдельную, маленькую возмутительность.

Прежде всех и больше всех из запутанной массы впечатлений, сливавшихся «вообче» во что-то удивительно неожиданное и нехорошее, старался выбраться на дорогу к какому-нибудь реальному факту упомянутый выше хозяйственный крестьянин. Он не бывал в Петербурге лет восемь; занимался хлебопашеством; но у него в Петербурге было много знакомых односельчан, торговавших дровами, сеном, камнем, занимавших места дворников, трактирных буфетчиков и хозяев разных дровяных, сенных и извозчичьих дворов; в прежнее время, когда еще не подросли его ребята, он также хаживал на заработки в Питер и возил туда и сено, и дрова, поставлял и камень, и кирпич. И никогда ни он не получал, посещая своих односельчан в столице по делам, таких не подходящих ни к чему впечатлений, какие вывез из столицы теперь, ни односельчане таких впечатлений не внушали ему: все они просто-напросто «делали дела», продавали привезенное, копили полученные деньги, думали о деревне, а окончив дела, заходили в трактир, слушали ма-

шину, пили чай и разъезжались по дворам и по домам. Ни в делах, ни в мыслях, ни в поступках не было заметно у них ничего такого, что́ бы было непонятно, необъяснимо, чего-нибудь такого, что́ было бы и удивительно, и ни к селу ни к городу, и в то же время страшно. А теперь вот есть, и есть в такой степени, что, повидавшись с этими же самыми дровяниками, сенниками, буфетчиками и трактирщиками, односельчанин их едет домой и понять не может: что́ такое творится? что сделалось с народом?

— Ну уж Петербург! — качая головой, бормотал хозяйственный мужик, хлопая руками о полы романовского полушубка и в недоумении качая головою. — Уж точно... да! Уж чисто, кажется, ума решивши. Перед истинным богом!.. Ай-ай-ай!

— Да что же такое, в чем дело?

— Да тут порассказать, так, перед богом, и слов таких не подберешь. То есть перед истинным Христом сказать ежели... так что это такое с народом?!. так даже невозможно и сказать этого! Вот перед истинным богом говорю: чистое расстройство в уме пошло... ей-ей!

— Да все-таки в чем же собственно беда-то?

— То есть так спутавши народ, так сбивши в мыслях, даже... Да как же, позвольте вам сказать: человек, мой земляк — шестьдесят пять лет ему от роду — почтенный человек: семейство, дом собственный на Лиговке, — подгулял, например, и при всех, при жене и при дочерях — ведь невесты, перед истинным богом, невесты, взрослые девицы! — «поедем, говорит, Михайло (мне говорит; ей-ей не лгу вам), поедем в такое-то место!» — При детях и при жене, шестьдесят пять лет от роду человеку! Да это что! Это нельзя сказать всего, что с мозгами поделалось. «Поедем, говорит, погуляем!» И хошь бы что... постыдиться или что, или например... Ничуть, а чисто на отделку, при детях! Да что!

Говоря это и всячески желая выяснить подробности того удивительного «вообче», которое так поразило его наблюдательность в Петербурге, крестьянин, очевидно, чувствовал, что все это не то, что он ощущает, и выражение лица его то вдруг делалось смеющимся, то серьезным, то просто испуганным, и вообще отражало крайнюю спутанность и сложность полученного впечатления. Все,

что он видел у знакомых односельчан относительно их «делов», все было то же, что и прежде: дровяники торговали дровами, сенники — сеном, содержатели извозчичьих дворов занимались извозом, — все было по-старому; но к этому старому *делу* присоединилась какая-то новая, незнакомая ему черта душевной, нравственной нескладицы, нелепицы, чего-то совершенно недостойного уважения, словом, какой-то огромный нравственный изъян, схватить который метким словом он никак не мог, и вот почему он то жестами рук, то движениями головы, то выражением лица, быстро менявшегося и глуповато переходившего из серьезного в смешливое, хотел подсобить своей речи, но речь продолжала быть нескладной и продолжала касаться фактов, только частью дававших возможность понять то, что собственно его огорчило.

— Да что я вам скажу-то, господа почтенные! Вот богом побожиться, не вру, а истинную говорю правду. Эта самая дочь, девица, сейчас оделась, надела шляпку — марш! А я тут у ворот на извозчика сажусь! «Куда, мол?» А мне к Синему мосту. «Ах, говорит, и мне к Синему мосту, в Немецкий клуб. Довезите меня до клуба». И какой-такой клуб, не знаю. «Ну садись!» Поехали. «Что такое за клуб?» — «А, говорит, танцы, театры». — «А мать-то, я говорю, что ж, дозволяет?» — «Да что же мать? Мать старуха. Нельзя мне с ней целый век сидеть». — «А женихи-то есть?» — «Сватают там каких-то, говорит, полотеров, либо ломовиков; только я, говорит, несогласна. Никакого, говорит, с ломовиком мне нет удовольствия. У меня, говорит, в клубе очень много хороших мужчин знакомых, угощают меня и уважают. Я ежели не найду хорошего жениха, так я согласна жить тут с одним женатым (ей-ей, истинный Христос, правда!). Я с женатыми лучше согласна, говорит, чем с холостыми. Потому — женатый жены боится и с нашей сестрой должен обращаться вежливо». Вот перед самым Христом богом говорю, как есть эти самые слова сказала! Да что еще! То есть. . . Да тут, боже милосердный! Одним словом. . .

И опять на помощь плохо выраженному словами впечатлению крестьянин пустил в ход и мимику лица, и жесты рук, то хлопавших в ужасе о полы полушубка, то творивших крестное знамение в удостоверение справедливости рассказываемого.

И хотя все мы, не исключая и самого рассказчика, чувствовали и знали, что то, что он рассказывает, только частица того «вообче», которое нас всех напугало, но все-таки благодаря и этой частице мы имели возможность заговорить о каком-нибудь факте, о какой-нибудь ясной, общезнакомой нам частице, тысячной доле того, что угнетало нас *вообще*.

«Падение нравов» сделалось, таким образом, предметом довольно оживленного разговора. Оказалось, что у всех нас было накоплено по этой части множество материалов, почерпнутых нами в случайных разговорах в театральных и клубных залах, в массах всевозможных «собраний» мужской и женской толпы, которых теперь такое множество в наших городах, — материалов, касавшихся всех слоев общества и всех возрастов, начиная от гимназиста и до почтенного старца, члена свято-петровского филантропического братства, пекущегося о распространении идей религиозно-нравственного направления среди невежественных масс. Нехорошая, жуткая картина вырисовалась пред нами, но меткое и умное слово нашей спутницы, пожилой дамы, рассеяло в нас впечатление срамоты и гнусности, к которому приводил нас в таком обилии накопленный материал, касавшийся «падения нравов», — и то, что нам начинало казаться только срамотою, вдруг получило значительный и серьезный интерес.

2

Пожилая дама, о которой идет речь, женщина, впрочем, еще совершенно бодрая, живая, оказалась обладающею массой наблюдений по части всевозможных нравственных настроений, пережитых русским обществом за довольно значительный период времени. Она была постоянная обитательница города N, но также имела и постоянные связи с Петербургом и преимущественно с педагогическим миром Петербурга. Ее дед, отец и покойный муж испокон веку были педагогами, содержа в г. N хороший частный мужской пансион, приготовлявший в высшие учебные заведения. В течение более чем пятидесяти лет пансион этот выпустил на свет массу молодежи, из которой иные давно уж старики, в чинах и в орденах,

да и дети этих детей также прошли через ту же школу, где учились их деды и отцы. Из числа воспитанников этого пансиона вышло впоследствии много известных людей, имена которых и громки, и славны. Почтенная дама, с которой нам пришлось познакомиться, как оказалось, только недавно, и то по случаю смерти мужа, прекратила свое старинное родовое дело; но долгое и постоянное пребывание ее в кругу молодежи, среди которой она взросла и интересами которой жила ее семья, оставило на всей ее фигуре, на ее манерах и на всем складе ее мыслей какой-то неизгладимый след юношеской бодрости и молодой впечатлительности. Живость ее объяснялась еще и ее происхождением: дед ее был француз, оставшийся в России после двенадцатого года, а русская жизнь и работящая среда, в которой она жила всю жизнь, прибавили к живости ее природы какую-то серьезную простоту обращения; влиянием русской жизни среди молодежи можно объяснить и ту внешнюю особенность ее, которая у нас считается еще несомненным признаком нигилистки: седые, но густые и сильные волосы почтенной старушки были подстрижены «в скобку», как у мужиков и «студенток».

— Да! — заговорила почтенная женщина, после того как благодаря крестьянину тема нашего разговора выяснилась в смысле порицания нравов. — Да! Нехорошо! И обидно, и неприятно... Случалось и мне бывать кое-где, в разных общественных собраниях... Аллегри разные, елки и... нехорошо! Толпа везде страшная... Никогда так много не бывало этих собраний. Каждый день в десяти местах, и везде тьма тьмущая... Одного голого женского тела: плеч, спин — видимо-невидимо! Но не только нет веселья или разгула, а, напротив, скучно ужасно. Скучно и обидно: какие-то «ужасно простые» взгляды мужчин и женщин, которые встречаешь на каждом шагу, всего ужаснее. Нет! Это не разгул и не разврат. На моем веку, я помню, была такая ухарская полоса после освобождения крестьян: тут помещицы и помещики, покинув проданные или заложенные имения, с выкупными свидетельствами в руках, вырвавшись в мир разливанного моря железнодорожных денег, концессий, прожигали жизнь напропалую; здоровья, досужества, фантазии, своевольства, лени, дикости — всего было много накоплено в родных гнездах. Дым коромыслом

шел. Иная барыня сама правит тройкой, в кучерском армяке, штанах, словно старинный кутила-ремонтер. Или, вырвавшись из родной Заманиловки, накуролесит и в Петербурге, и в Москве, и за границей так, что только небу жарко. Это все было! Теперь вовсе не то... Теперь нет ни ухарства, ни прожигания, а именно одна ужасная простота, бесстрастная простота отношений этих масс мужчин к этим массам женщин. Скверно, нехорошо, скучно, обидно, но это не разврат. Нет! Это именно падение души. Душа остановилась, не действует, точно как часы остановились и стоят. Они могли идти неверно, врать, бить вместо двух двадцать часов, вместо часа показывать восемь, словом, куролесить, как куролесило общество после освобождения, но теперь они стали и стоят на одном месте, не двигается стрелка... и во взглядах, и в отношениях, и во времяпровождении масс мужчин и женщин вы именно и видите, что души-то нет, что стрелка не движется, а неизменно и днем, и ночью, и во все часы дня стоит на одном месте: полночь!

Наш общий собеседник — крестьянин, слушавший эти речи почтенной женщины с напряженнейшим вниманием и, очевидно, отлично понимавший, что разговор идет «о том самом», что именно и волновало его самого, попробовал было выразить сочувствие словам говорившей, но так как при всех усилиях его выразить свое мнение у него ничего не выходило, кроме: «то есть перед истинным создателем, ежели порассказать...» или: «и что только, ежели порассказать, с народом творится, так, перед истинным создателем...», то он и прекратил свою речь, ограничившись одними жестами и мимикой: сначала плюнул, потом засмеялся, махнул рукой, перекрестился и, глубоко вздохнув, опять стал внимательно слушать, как говорит барыня. А барыня между тем продолжала так:

— И знаете ли, что я еще заметила? — говорила она, внимательно смотря на меня. — Я заметила, что теперь совершенно как-то нет... Ну, как это сказать? Ну, я буду говорить по провинциальному, губернским жаргоном... *Нет теперь интересного мужчины*... Вот что мне кажется. Совсем нет. По крайней мере не видишь на поверхности, нет такого мужского типа, пред которым можно было бы... уж скажу опять жаргоном губернских дам... можно было бы преклониться. Нет его!

— Ну, как! — сказал я, как-то зря, повинуясь единственно инстинктивному желанию сказать что-нибудь в защиту «нашей сестры» — мужчины, но никаких иных существенных аргументов в пользу этой защиты привести не мог: как-то они не приходили в голову.

— Знаю, знаю, — не давая мне времени подыскать хоть каких-нибудь смягчающих в пользу «нашей сестры» обстоятельств, продолжала старушка. — Знаю все; но я говорю про общество, про публику... про сотни этих плеч, шей и спин... Эта публика была всегда, но всегда у нас, по примеру, по типу лучшего общества, избранного круга, был господствующий тип мужчины, «достойного благоговения», поклонения. А теперь нет его! Всякой женщине, чтобы любить человека, мужчину, мужа, надобно наверное знать, что в самой глубине глубин его души есть такое хорошее, пред чем можно благоговеть. Это то святое, что лежит в самой глубине сердца любимого человека, и есть главное, что дает смысл всей жизни женщины, всем ее поступкам, что способно заставить ее все вынести, все вытерпеть, на все решиться. «Это» в мужчине должно быть непременно святое, непременно искреннее, «настоящее». Опять-таки я говорю о толпе, об обществе. Множество женщин, и хороших, и честных, и чистых, и талантливых, способных, могут сгинуть, пропасть задаром, не отведав счастия сознательной жизни, если их не пробудит избранный человек и то, что таится в глубине глубин этого избранного сердца. Кругом нее могут быть и книги, в которых масса интересного, важного и такого, что способно захватить всю жизнь, но пока это способное не придет «во образе», в живом слове, книга может лежать покойно хоть тысячу лет. Но то же самое, явись оно в устах живого человека, непременно «настоящим образом» запечатленное в его сердце, может сделать чудеса. Непременно надо только, чтобы это святое было «в самом деле» настоящее; женщины это умеют понимать чутьем. И еще есть великая масса женщин, которые не так одарены богом, как те, о которых я говорила, не так благоприятно поставлены, не так даровиты. И тем надобно, чтобы в сердце мужа было что-то святое, надобно, если не для того, чтобы благоговеть и жить этим святым, то хоть для того, чтобы бояться. Да! И бояться даже этого святого — и то для

многих счастие, опора и серьезный смысл жизни. И вот я вам говорю: нет теперь такого типа, сокровенную глубину души которого масса женщин могла бы в самом деле благоговейно чтить, уважать или, наконец, просто бояться. Красота, успех, здоровье, богатство — все это, конечно, хорошо, все это, пожалуй, и надобно для удовлетворения мелких сторон женского тщеславия, но все это сущий вздор, если нет главного — благоговения пред высокими, святыми тайнами сердца любимого человека. Не будет этого, можете десять раз разворовать все банки и кассы, и все-таки ничего, даже веселья настоящего не получится, ровно ничего. Женщина в таком «бессовестном» состоянии может расточить на кружева целую страну, расточить, даже и не заметить этого, и после всех ваших разбойств и краж ничего вы от нее не получите, кроме того, что все-таки ей надо чего-то еще. собачку какую-нибудь нужно в два золотника, а то она умрет от тоски, вовсе не замечая того, что эта тоска уже стоила кому-то и гибели, и страдания, и разорения.

— Не дай бог! — проговорил крестьянин, продолжавший внимательно слушать речи старушки, но опять-таки, вследствие многосложности волновавших его впечатлений, не успел разобраться с мыслями и неизвестно для чего прибавил: — Это и из наших деревенских, которая чуть мало-мало в городе пожила, поглядитко-сь, как хвосты заламывать навострилась!

Но, чувствуя, что сообщение о хвостах как будто бы и не подходит к разговору, счел нужным округлить его и проговорил:

— Поглядеть-то на это, так не приведи царица небесная!

Но так как и это изречение также хвостам плохо соответствовало, то ему не оставалось ничего другого, кроме жестов, которыми он и закончил свою речь: он махнул рукой, плюнул, вздохнул и опять стал слушать.

А старушка продолжала:

— Я стара уж; я помню далекие, далекие времена, о которых теперешнее поколение и понятия не имеет. Лет сорок, пятьдесят тому назад все наше общество по внешнему виду было не то, что теперь; не говоря вообще о дикости всевозможных видов и форм, надо всем царила

солдатчина, бурбонство, солдатская вытяжка, — словом, мертвечина. Даже литературы не было. Военный — вот господствующий тип, герой... Но эта обязательная для всего общества внешность, обязательная для всякого вытяжка, туго стянутая шея, картеж, кутеж вовсе не исключали возможности «святого», спрятанного в глубине сердца, спрятанного за этим на все пуговицы застегнутым мундиром. Напротив, там было много «настоящего», такого, что могло захватить всю жизнь и что совсем было не похоже ни на эту солдатскую внешность, ни на эту внешнюю топорность и грубость. Ведь даже такие люди, как Лермонтов, не могли миновать этой солдатской и залихватской внешности жизни, а между тем в них таились Лермонтовы. Я и теперь говорю не про какую-нибудь хищническую или вообще низменную, грабительскую общественную группу, а про группу так называемых хороших людей. И вижу, что теперь как раз наоборот вышло. Тогда этот бурбон, расстегнув свой мундир и туго стянутый воротник и оставшись один на один, дав волю своему сердцу и своему тайному желанию, мог не только по совести высказать свое негодование на свое положение, но имел еще нечто за душой, именно имел желания, как раз противуположные его топорной внешности, имел желание быть гуманным, мягким, справедливым, освободить своих крестьян и вообще *наверно* знал, что̀ — неправда и какая должна быть правда; ясно видел, в чем и как, в какой форме и в каком виде эта правда — тайна, святая святых его души — может быть выражена, и верил, непоколебимо верил, что она, эта правда, непременно так, как он думает, и будет выражена. Эта-то «святая святых» и могла пленять женщину, могла воодушевлять ее, давать ей силу, вносить смысл в семейные отношения, то есть в самые интимные стороны семейных отношений, а это-то ведь и главное... самые-то интимные. Они-то непременно и должны и могут держаться только на святом, на великом, перед чем можно преклониться или чего во всяком случае нельзя не бояться... И чем дальше шло, тем все больше и больше развивалось этого святого в обществе. Бывало, идет ли молодой человек в университет, или в инженеры, или по какой-нибудь профессии, то и дело слышишь, что профессия эта ему нужна не для профессии

и не для карьеры, а, напротив, карьера, деньги, слава нужны для чего-то другого, именно для какого-то святого дела. Ну, он купит землю и будет сам с товарищами пахать, работать, или накопит денег и откроет школу, больницу и т. д. Он будет справедлив, он будет в народе — учить, лечить, хлопотать, защищать. Все это свято, все это ясно, понятно, велико, и это святое, великое, таившееся на глубине глубин и было главное, что подняло женщину из ничтожества, обновило ее жизнь, пробудило, наконец, ее к этой самой жизни. Карьера, деньги, места — все это долго, долго считалось ничем; *главное*, что держало на свете, что ясно освещало весь путь человека, каждый его шаг и наполняло совершенно определенным и притом светлым и святым смыслом каждую минуту его жизни, — это главное было свято. Жили не для средств, а нуждались в средствах для этого главного, святого. И так долго шло. А потом как-то все это спуталось, размякло, скомкалось, осрамилось, озлилось, — словом, все это как-то пропало... Долго об этом говорить... И вот теперь совсем, совсем другое! По внешности, никакого сравнения с прошлым: ни затянутых воротников, ни ртов, запертых на замок, — ничего этого и в помине нет; развязность, шум, говор, тысячи вопросов так и кишат на тысяче газетных столбцов каждый божий день. Мало нам сотен тысяч русских «вопросов», и европейские-то все вопросы в нашем распоряжении, и азиатские, и американские, — словом, горы интереса и материала для внимания и языка... А все-таки чувствуешь, что нет во всем этом гаме, шуме и трескотне, и во всем этом обилии общественных толков и пересудов ничего «настоящего»... Чувствуешь, что во всем этом обильном говоре, среди массы всевозможных мнений о бесчисленном множестве всевозможных вопросов и дел есть что-то, напоминающее анекдот о том мужике, который, стоя у притолки в то время, когда барин ел поросенка, в ответ на слова барина: «Какой отличный поросенок!» сказал: «Нет, ветчина вот, так та много скусней!» — «А ты ел ветчину-то?» — спросил барин. — «Сам-то я не ел, а мне приказчик знакомый сказывал, что видел он, как один офицер проезжающий ел». Вот именно это: «я сам не ел, а слышал от приказчика, который также сам не ел» — слышится положительно

во всем этом нескончаемом говоре о миллионах вопросов и русских и общечеловеческих, разрабатываемых и на столбцах газет, и в комиссиях, и за чайным столом, и в собраниях, и в салонах, — словом, везде.. Никто сам не знает настоящего вкуса ветчины, никто сам не ел и не думал сам есть, а так же, как мужик, стоя у притолки и желая из приличия поддержать разговор, говорит довольно развязно: «Нет, вот ежели как следует уезд, например, устроить, так тогда много лучше будет, скусней!» — «Да что же тебе уезд? Тебе-то очень это нужно? Сам-то ты ел ли что-нибудь в этом вкусе?» — «Нет, сам-то я не знаю настоящего скусу... мы этого не ели... а сказывал мне один проезжающий, что видел он, как один публицист ел, так хвалил, говорит...» Без шуток, самая глубина-то сердца всей этой говорящей и пишущей о миллионах вопросов толпы, глубина-то эта холодна, как выстывшая печка... При шумной и развязной внешности интимная-то сторона души безжизненна, испугана. Прежде при холодной и грубой внешности в глубине сердца таилось настоящее тепло; теперь же именно в глубине-то холодно, испуганно, а только по внешнему виду кажется, что будто бы человеку даже и жарко... Оттого так и много всяких вопросов, что нет главного, что и в интимном-то разговоре, в интимной-то беседе с глазу на глаз, я, женщина, услышу от вас, мужчин, не это *главное*, што́ бы дало мне возможность сразу, с двух слов понять и проникнуться благоговением к источнику, из которого выходит этот нескончаемый говор ваш о миллионах дел и вопросов, а, напротив, услышу, что вы это «только так», что главное состоит вообще в испуге вашем жить на свете, в неверии в ваш развязный разговор, что вообще в глубине-то души вашей утомление, холод и боязнь. За что же мне любить вас? К чему привязать мою жизнь и силы? У вас нет желаний, вы «сами не ели ветчины» и скусу не знаете, а если и говорите, что она лучше поросенка, так это только из приличия... Заветного, чего-нибудь такого, што́ бы вы берегли «про себя», у вас ничего нет, а без этого... зачем мы вместе? И вот мы видим стремление мужчин и женщин как можно чаще быть в толпе, в стаде, в куче, ходить, говорить, двигаться, как случится, как все, как толпа, —

стремление тратить себя на случайные впечатления, случайные разговоры... Потому что дома, за чайным столом, с глазу на глаз, нам, мужу и жене, только боязно и холодно... Между нами пусто, ничего нет. Единственное спасение — идти жить в толпу, в кучу незнакомых людей, и жить тем, что даст случай вечера, дня. Здесь все чужды и все одинаковы. все не имеют необходимости уважать друг друга и все имеют возможность упражнять друг на друге свое внимание. Вот почему иным могут показаться противными те слишком *простые* взгляды, которыми теперь так часто обмениваются мужчины и женщины в толпах общественных собраний. Эти взгляды не вызов, но обоюдное невнимание — только обоюдное непочтение, обоюдное заявление о том, что наши души не живы, не действуют, что стрелка показывает полночь — только!

— Верно! — воскликнул крестьянин, не спускавший глаз с одушевившейся старушки. — Так, правильно ты говоришь. Порассказать ежели все, как должно, честь честью, так перед богом...

Но, вероятно, опасаясь каким-нибудь неудачным комментарием испортить беседу, понимаемую только чувством и чутьем, собеседник наш замолк и еще раз проговорил как-то особенно громко и энергически:

— Верно! Так! Нечего разговаривать!..

И, заслышав свист машины, подъезжавшей к какой-то станции, он стал торопливо собирать свои пожитки...

3

— Уважать-то вас, господа мужчины, стало почти не за что, вот в чем беда! — с непритворным сокрушением в голосе сказала мне почтенная старушка, когда нам, наконец, пришлось прекратить разговор о падении нравов и проститься.

Разговор этот, и на ту же тему, продолжался между нами еще очень долго после того, как наш собеседник, крестьянин, оставил вагон и мы остались вдвоем. Признаюсь, не раз приходило мне в голову замолвить словечко и за «нашу сестру», за не всегда очень счастливую «мужскую часть», притом на память как-то сами собою

приходили аргументы самого громокипящего свойства. Но искренность той горести, которая проникала каждое слово старушки, — горести, исходившей из глубины удрученного сердца, — заграждала мои уста, и я не посмел предъявить ни единого из моих защитительных аргументов, предпочитая уважить старушку и промолчать.

Эти громокипящего свойства аргументы в защиту «нашей мужской части» некоторое время невольно отвлекали меня от мысли о том душевном общественном недуге, предметом которого был продолжительный дорожный разговор, и серьезность затронутой этим разговором темы некоторое время как бы затемнялась воспоминаниями массы всевозможных мелочных частностей, касавшихся как участи «нашей сестры», так и участи ихней сестры. Но вот потянулись знакомые деревенские виды, постройки, фигуры людей. Припомнилась теперешняя, сегодняшняя жизнь и маята этих людей, живущих в этих постройках, — людей мне давно знакомых, и опять стало чувствоваться неладно «вообще», опять стало страшновато и опять проснулась томительная жажда в чем-нибудь найти опору, прибежище....

«Уважать-то вас, господа, стало не за что!» — вновь припомнились мне слова старушки, и я был очень рад этому: они хоть чуть-чуть, а все-таки разъяснили мне, отчего мне стало жутко и страшно. И сознание справедливости этих слов старушки не только не убавлялось во мне, по мере того как я, минуя деревню за деревней и проникаясь все более и более деревенскими впечатлениями, приближался к моему углу, но, напротив, впечатления деревни, сменяя впечатления, привезенные мною из столицы, только переменяли материал, не изменяя душевного настроения и нимало не искореняя внутреннего сознания в своем недостоинстве. Не знаю, в каком томительном настроении духа пришлось бы встретить мне новый год, если бы одно случайное обстоятельство, маленькая, неведомо как попавшая под руку книжка не дала мне возможности воскресить в моем воображении один хороший, как будто бы запропастившийся куда-то русский тип. Раздумывая о судьбах этого типа, я уже не чувствовал себя как бы в каком-то кошмаре; напротив, мне стало совершенно ясно, отчего и почему так справедливы слова старушки: «не за что вас, господа, уважать!»

Книжка, которая, повторяю, совершенно случайно попалась мне в руки, было тощенькое издание какого-то благотворительного общества и заключало в себе кратчайшую (для народа ведь!) биографию св. Стефана Пермского. Биография эта написана чрезвычайно плохо, несмотря на то, что из-под пера г-жи Толычевой, автора этой биографии, выходили произведения очень замечательные, но в этом «издании для народа» талантливый автор почему-то счел нужным елико возможно обесцветить оригинальность изображаемого лица, подогнать его биографию к обыкновенному житию, излагающемуся на трех страничках и продающихся за три копейки. И, несмотря на всевозможные недостатки этого произведения, несмотря на шаблонность изложения, — шаблонность, выработанную на Никольском рынке, — все-таки тот незначительный подлинный материал жизни святого, которому удалось проникнуть на эти бледные страницы, был весьма достаточен для того, чтобы в моем воображении возник тот славный человеческий образ, который народ именует *святым человеком.*

Русский святой человек — тип весьма замечательный. Шаблонные жития обыкновенно всячески стараются вогнать его биографию в шаблонные рамки «жития святого», полагая, что чем менее в этой биографии будет отведено места практическому, реальному делу на земле, сделанному святым человеком, и чем более, напротив, будет сказано о постной пище, ночном бдении и искушении беса, тем жизнь чтимого человека будет святее для простонародного читателя и тем более он будет чувствовать душевного умиления при чтении биографии. На деле, однако, оказывается не так.

Практическая польза, ясное, видимое, ощутительное добро и полезное дело всегда составляли отличительную черту святого человека, всегда составляли главнейшую особенность его личного желания быть «угодным богу». Желание угодить богу в *русском святом* всегда выражалось в труде, самом реальном и самом простом, на пользу ближнему, незнающему, невежественному, неимущему. Начиная с Кирилла и Мефодия, принявшихся «угождать богу» пером и книгой, ученьем безграмотного народа слову божию, и кончая русским святым человеком наших дней — Тихоном Задонским, закладывавшим свои часы

и платье, чтобы купить задонским мужикам семян для посева или дать взятку приказной строке, безвинно томящей в остроге отца семьи, — все, чтимые по разным углам России истинно русские святые люди — все свои душевные сокровища, все свои знания, все свое уменье, весь свой ум всегда *отдавали* нуждающемуся в них, толпе, массе народа; никто из них не берег этих сокровищ «про себя», а прямо нес на улицу, туда, где они нужны, и везде оставлял ясные, видимые и ощутимые следы и знания, и доброты, и умения.

Да и нельзя было русскому человеку, желающему «угодить богу», повторять своею жизнью те образцы «нерусских угодников», по которым он учился. Борьбу со страстями и похотьми и с самим собою пережили уж другие — сирийские, греческие подвижники, а нам, их ученикам, уж и так, из книжки только, вполне ясно видно, чему именно следует подражать. Этот чужой опыт указывает прямо то, что хорошо, и как старинных, так и теперешних людей, желающих угодить богу и «жить свято», обязывает не таить в самом себе свое знание, свое сокровище, а отдавать его тем, кто не обладает им, расточать его в толпе, тратить на общую пользу, не вводить во искушение, но выводить из него.

Только в самые ранние времена русского просвещения, в киевский период, борьба с собственною плотью и со врагом рода человеческого удручает мыслящего русского человека; чем дальше, тем задача человека, желающего угодить богу, делается сложнее, труднее, практичнее; он уже знает, что плоть его немощна, но приковать к ее немощности свою молодую душу он уже не может, и вот он начинает уничтожать свою плоть не в стоянии на столбе, а в трудной будничной работе на пользу ближнему. Он прямо несет свои знания и свою доброту в толпу, учит и грамоте, и опрятности, и порядку, и справедливости, и рукомеслу, и, словом, всему, чего нет кругом него и что должно быть, и что ему знакомо.

Вот таким-то «трудом» и работой и Стефан Пермский угождал богу. «Еще мальчиком, — говорит г-жа Толычева, — он возлюбил чтение духовных книг», но в то же время и также «еще мальчиком» любил он толкаться по базару г. Устюга, куда по праздникам приезжали зыряне; стал этот мальчик приглядываться к зырянам, стал рас-

спрашивать их о житье-бытье, и пермские купцы вели с ним охотно разговоры. Из этих разговоров он узнал, что несчастные зыряне в большом рабстве и невежестве пребывают, и в то же время у него зародилась мысль просветить их и помочь им выбиться из-под гнета разных тогдашних воротил. В юношеском возрасте поступил он в монахи, но выбрал Ростовский монастырь, между прочим потому, что там «был богатый запас книг». Монашество и изучение церковных книг не сделали, однако, из него «постника», человека, хлопочущего о личном совершенстве, а, напротив, привели к мысли реализировать приобретенные знания в среде тех несчастных зырян, с забитою жизнью которых он был знаком с детства.

И вот началась эта реализация знания. Это была деятельная, практическая борьба со злом, с народным невежеством, умышленно поддерживаемым теми, кому это невежество было выгодно. Бороться приходилось с самыми первыми зырянскими тузами и авторитетами.

Глупенькие зырянские мужики обвешают, бывало, соболями, куницами, лисицами какой-нибудь священный дуб, а местные авторитеты (жрецы, как называет их г-жа Толычева) оберут эти приношения, объявят народу, что «бог принял ихние дары», и продадут эти дары московским купцам. С кулаком в настоящее время очень трудно бороться интеллигентному человеку, но св. Стефан не робел. Один какой-то кулачишка, разъевшийся на соболях и куницах, по имени Пима (и у нас есть Пимка-кабачник, первый плут), желая отстоять «своих богов», то есть право продавать купцам соболи, а деньги класть в карман, предложил «на отчаянность» Стефану пойти в огонь вместе — кто, мол, сгорит? Пима этот, очевидно, рассчитывал, что Стефан, так глубоко верующий в своего бога, по наивности своей сам вскочит в пламя и сгорит там. Это тому было бы на руку. «Вот, мол, евонный бог! Несите-ка, ребята, опять соболей на дерево!» Но Стефан хотя и верил в своего бога пламенно, однако не поддался на удочку кулачишки, а был себе на уме.

— Я готов принять лютую смерть за нашу святую веру, — сказал он всенародно. — И ежели я должен повелением божиим погибнуть, то молитесь за меня и не забывайте учения Христова.

По приказанию Стефана разложили костер, и лишь только он разгорелся и лишь только Пима подумал, что вот-вот враг его вскочит в огонь, как Стефан схватил его за руку и бросился вместе с ним к пламени, «но Пима упирался ногами в землю и искал около себя, за что бы ухватиться».

— Идем! — крикнул Стефан и рванулся с ним вперед, но Пима вырвался из его рук, а в толпе поднялся гул.

— Что ж в огонь-то не идешь, Пима? — кричали в толпе, полагая, что Пима — авторитет несгораемый.

Но Пима совершенно растерялся и бормотал:

— Этот иноплеменник совратил нас с пути истины... Я хотел вас спасти. хотел его запугать... *Я думал, он не пойдет в огонь!* (стр. 24)

Зыряне, очевидцы плутни кулака, поверили Стефану, да и нельзя было не поверить. На стр. 29 читаем: «В то время не было грамотных (да и сейчас немного их), а сборщикам податей оно было с руки: всякий обманет безграмотного; сборщики и обманывали народ, и брали с него, что хотели. Но великий князь дал большую власть Стефану во всем крае, и с тех пор никто уже не смел притеснять бедных зырян — знали, что у них есть защитник; народ стал пользоваться своими заработками, и торговля пошла успешно». При такой манере русского святого человека «угождать богу», воюя с сборщиками, с кулаками, с обиралами, давая народу возможность пользоваться заработками, торговать, жить лучше и яснее видеть вообще, что́ «вокруг меня» делается, нельзя не слушаться, не веровать в этого человека и нельзя не считать его за человека, вполне угодного богу.

4

Позволю себе сделать здесь несколько замечаний по поводу дела, далеко не постороннего разговору о русском святом человеке. Некоторые из читателей моего очерка «*Трудами рук своих*» письменно выражали свои недоумения относительно теории, изложенной в рукописи крестьянина, для объяснения которой и написана самая статья: жить трудами рук своих невозможно потому-то и потому-то, а следовательно, и самая теория крестьянина едва ли правильна. Мне кажется, что на эту теорию следует

смотреть таким образом: она, несомненно, правильна как, во-первых, для самого автора и, пожалуй, для всего русского крестьянства, так и для тех интеллигентных людей, для которых выполнение ее на деле возможно; кто хочет добывать хлеб своими руками, а главное — кто может это сделать, для того она будет так же правильна, как и для всякого крестьянина. Но, оставаясь правильной в своей сущности, она для множества людей теперешнего общества может быть просто неисполнима, невозможна и даже непонятна; это — так, но это вовсе не означает, чтобы «неисполнимость», «невозможность» «жить свято», повинуясь крестьянской теории труда своими руками, преграждала бы возможность «жить свято» вообще. Типы хороших людей из народа не исчерпываются типом одного только хорошего работника своими руками, земледельца: не один шестидесятилетний старик, с которого за старостью лет «сняли мирское тягло», который уж пережения своих сыновей и выдал замуж дочерей, словом, освободился от *своей* заботы, служил еще общей пользе, миру, принимал на себя общую мирскую заботу, мирские хлопоты, и именно потому принимал, что уж был свободен, мог рисковать собою, изживши все, что полагается изжить на свете работнику и земледельцу.

Не знаю, нужно ли, да и возможно ли, в этом очерке перечислять, какие именно дела мог бы и сейчас делать русский образованный человек, желающий жить хоть чуть-чуть свято. Таких дел всегда находил множество всякий, кто хотел их находить. Русский святой человек, то есть русский интеллигентный человек старого, церковного воспитания, как мы видели, находил уж их в достаточном количестве, настолько достаточном, что мог отдавать им всю свою жизнь. На наших же глазах и не святой, а обыкновенный русский интеллигентный, совестливый человек также не искал дела и знал, что́ надо делать. Припомним, например, хоть такого человека, как князь Васильчиков. Это был и барин настоящий, и богач, и аристократ, словом, имел все, что имеют теперь тысячи богачей на Руси, но в придачу к богатству и положению имел еще и ум, и совесть, и не затруднялся в разыскивании того, что нужно сделать народу. Говорят: народ спивается, мотает деньги, не платит податей; предлагают меры — акцизы, строгости, нравственность. Васильчиков говорит,

что если те деньги, которые выручаются с кабаков, будут выручаться в виде прямых налогов, то кабак не будет свирепствовать; если же кабацкий доход надобно выручить все-таки кабацким путем, то никакое искусственное поднятие нравственности немыслимо, а попытки — пустяки. Говорят ему о распущенности нравов наемных рабочих и о нарушении ими условий с хозяевами — и в этом случае Васильчиков находит возможным знать свою обязанность по отношению к народу и говорит: «Если действительно от распущенности нравов терпят интересы землевладельцев, то еще бо́льшая опасность угрожает самим крестьянам и сельским обществам; помещики еще могут найти исход из этого положения, но на самих крестьян эти беспорядки лягут тяжелым бременем, круговая порука свяжет их на целое полстолетие, и в этот долгий срок положение их, если не будет принято мер к правильному образованию народа, сделается невыносимым: мироеды их объедят, пьяницы разорят» (стр. 26). И, согласно таким правильным и простым взглядам на положение народа, Васильчиков знал, что́ следует делать и ему, образованному человеку, чтобы чувствовать себя совестливо: расширение крестьянского землевладения, народный кредит, избавляющий от кулачества, народная школа, — все это он не боялся отстаивать везде, где было можно. Все это можно отстаивать и теперь всякому, кто чувствует внутреннюю потребность делать людям добро.

Все это припомнилось мне благодаря маленькой книжке, напоминавшей мне хороший русский тип, всегда присутствовавший на поверхности русской жизни, но както затертый, куда-то запропастившийся теперь, в наши серые дни. Как бы мрачна, тяжка ни была картина, между мрачными, неприветливыми типами виден был и этот хороший тип. А вот теперь как-то неприметно его... Где он? А ведь был он, был, и об нем даже деревенские люди иной раз вспоминают с сожалением.



III. «ПИНЖАК» И ЧОРТ

1

— Кабы ежели бы *в ту-то пору* послухать бы евонных (или ейных) слов, так оно бы, дело-то, пожалуй что и по-хорошему бы... Да что, дубье, больше ничего! И вся-то цена нашему брату — медный алтын! Как были всю жизнь дураками, так, видно, и в могилу ляжем!

Такими нелестными эпитетами приходится наделять самого себя почти всякому современному крестьянину, достигшему примерно сорока или сорокапятилетнего возраста и почему-нибудь задумавшемуся над текущей минутой своей жизни. Надо сказать правду: нехороша, нескладна и вообще как-то тяжко несветла эта «последняя минута» его сорокалетнего жития на белом свете; лет пятнадцать, даже около двадцати прожил он в тяготе крепостного бесправия, в фантастических, почти сказочных грезах о том времени, «когда будет воля», представлявшаяся также в сказочных, по-детски представляемых размерах и очертаниях, и затем, дождавшись, наконец, дня, в который воля была объявлена, все последующие двадцать — двадцать пять лет пережил среди небывалых, новых, непостижимых и всегда почти непонятных явлений и веяний, в результате которых — трудный сегодняшний день. Что-то неладное, вкравшееся в его «вольную жизнь» в самом начале, какие-то, вовсе не соответствовавшие его детским, крепостным мечтаниям «ошибочки» против его крестьянской правды, ошибочки, сделанные «в земле», то есть в самом корне его миросозерцания, сделали то, что ему не удалось сразу стать на ноги, сразу расстаться

со сказкой и мечтанием. «Ошибочка», напротив, заставила его смотреть на все то новое, что шло ему навстречу, сквозь нерассеявшуюся дымку этой сказки, и это постоянно сбивало его с толку, качало и направо, и налево и вообще туманило голову. Чуть не с первого же вольного дня он стал объяснять «ошибочку» теми причинами, которые напевала ему сказка. «Отойдет!» — верил он и в иных местах открещивался от земли, а в других хоть и брал то, что пришлось, но никак не мог поверить, чтобы скотина должна была пастись в болоте, а не на лугу, или чтобы вместо пашни можно было хозяйствовать на песке или камне. Долго, бесконечно долго жил он мечтами о «слушном часе», о «генеральной меже» и радовался «всем нутром», что кулачишка Пимка расхищает барина: рубит у него без пощады лес, покупает и разламывает его родовые поместья; Пимка — «свой брат»; он тоже говорит: «отойдет», и благодаря его совету они только посмеиваются в бороду, слушая предложения «барина» купить у него землю, имение, не слушать Пимку... Но шли времена, и приходилось не верить Пимке; Пимка оказывался куда не тем, чем бы ему надлежало быть, ибо сам начинал поговаривать, что «ничего от него-то, от Пимки, уж не отойдет». А скотина тем временем продолжала пастись в болоте, и пашня была не пашня, а неведомо что, то есть «ошибочка» оставалась ошибочкой попрежнему.. Кому же тут верить? Хорошему барину? Но не видно, чтобы он что-нибудь делал хорошее в самом деле. Мысль об антихристе, о страшном суде мелькала не раз в недоумевающей крестьянской голове, но так как и антихрист также медлил своим появлением и не давал, таким образом, возможности выяснить положение дела, то волей-неволей приходилось опять думать, что «ошибочка» должна быть исправлена, а в ожидании этого — жить кое-как, как придется, закладываясь Пимкам, решая водкой дела, которые «по-настоящему-то» могут быть решены только тогда, когда уж не будет «ошибочки». И так, путаясь в мечтаниях, веря и разуверяясь, сорока-сорокапятилетний деревенский житель в настоящую минуту видит, что «ошибочка», как разбитое корыто, стоит на своем месте, но что, помимо ее и из-за нее, вокруг него и над ним со всех сторон, во всех общественных и домашних делах и отношениях наросла неведомо какая

пропасть тяжкого, кажется, даже вполне ненужного, но в то же время, кажется, и неизбежного. И вот, раздумывая о каком-либо теперешнем явлении будничной жизни, сорокалетний деревенский житель в конце концов не может не заключить своих размышлений почти всегда одной и той же фразой:

— Да что! Одно слово — дубье! Нам, дуракам, видно, и в гроб лечь дураками придется!

Но что значит, что, награждая себя такими нелестными эпитетами, деревенский житель, как бы припоминая что-то, не может миновать и другой фразы: «кабы ежели бы в *ту-то пору* да послухать...» и говорит эту фразу (или думает — все равно) с некоторым оттенком сожаления в голосе.

А значит это, что в его сумбурно-тяжком сорокалетнем опыте жизни было нечто еще и *иное*; и хотя это «иное» было также сумбурно, ни с чем несообразно, не принесло в результате ровно ничего существенного, но, вспоминая его, это иное, нельзя не сознавать, что было в нем как бы какое-то *легкое дуновение сущей правды*.

Много за эти сорок лет видел мужик всякой всячины: и боялся-то, и переставал бояться, и принимался плясать «на радостях», и антихриста начинал ожидать со страху; слышал и то, и другое, и верил всему; а потом ничему не верил, или оказывалось совсем не так, как думалось, как верилось и должно бы быть. Но какая-то едва приметная струя правды, чего-то такого, про что нельзя не сказать: «верно!», была в том сумбуре, показывалась кое-где, через пятое в десятое.

Да!.. Как ни нелепо, как ни сумбурно предъявил в народной массе «сердечный» человек шестидесятых годов свое стремление «к народу» и «в народ», в каком бы ни с чем несообразном виде ни появлялся он в народной массе с своими сердечными излияниями, планами, советами, — все-таки он «был» тут, был в деревне, бормотал «свое» наряду с тем, что бормотали, советовали, сулили, предсказывали все другие, и это бормотанье не могло пройти бесследно; оно оставило в воспоминаниях сорокалетнего деревенского жителя какой-то, хотя и слабый, едва ощущаемый звук, но звук правдивого *слова*, чего-то подлинного, справедливого.

— Кабы ежели бы «в те поры» послухали бы Михал Михалыча да укупили бы его землю-то обчеством, так оно бы, пожалуй что, и не того.

Натворив на мирском сходе или в волостном суде пропасть всякой неправды и возвращаясь под хмельком домой, сорокалетний деревенский современник не может не раздумывать об этой неправде и всегда либо про себя, либо вслух непременно вспоминает что-нибудь из «той поры».

Но можно ли было «в ту-то пору» послухать этого Михал Михалыча? Михал Михалыч был барин — это первое; и потом «с чего» это он лез к мужикам целоваться, совал деньги в руки, обнимался? Откуда деньги-то у него? И кто добрый человек будет этак-то швырять? «Берите у меня землю! Отымайте ее у меня! Подлец я, да, я подлец!» Кто этак-то делает? Одной Марфутке передавал денег зря более, пожалуй, пятисот серебром, а что в ей скусу, в Марфутке-то? Больше ничего — солдатка. Связался при всем честном народе с этой шкурой, а свою законную жену зря покинул. Да и опять ведь сказывали: и так, мол, отойдет. Так чего ж ее укупать-то? Ведь тож, укупи-кось... А ведь как набивался-то: «Купите, православные, дайте мне вам послужить. Душа моя требует этого!» — Ишь вон Марфутка-то... что́ была? А ноне, поди-кось, как орудовает по сенной части... Мужа, вишь, купила себе из благородных... Нет, кабы в ту-то пору... так... Да что уж!.. Дубье! И цена-то нам всем, дуракам, медный грош... Как жили дураками, так, видно, и в землю дураками ляжем!.. Да и в самом деле, как тут узнаешь, что к тебе пришла правда, а не какая-нибудь хитрая штука, не подвох? Вот тоже еще «объявлялся» в наших местах человечек и тоже, как подумаешь, не все зря болтал. Ежели б нам тогда, по евонным словам, Пимке-кулаку не покориться, да на оборотку ему с заливными лугами сделать, так оно бы, пожалуй что, и попревосходней вышло... А болтал ведь, как кричал-от! А опять же как вспомнишь все подробно, так тоже нельзя было дать веры этому человеку: и неведомо откуда взялся, и неведомо кто. Ну, Михал Михалыч, положим что, барин; ну, взбрело ему в ум, вот он и стал мотать деньги. Ну, а этот с чего? Ни кола, ни двора, ни штанов, ни даже жилетки нет... Только цыгарки жжет да

книжку читает, а между прочем, только и зудит: «Вам убыток в десять тысяч, тут убыток вам в тридцать тысяч». Тыщи, да миллионы, да горы золотые сулил, а самому иной раз нечего перекусить.. Что ему, бесштанному-то, тыщей чужих жалко стало? Ну положим, что... Ну, а слова-то какие говорил при всем честном народе? Ведь за эти слова-то, так ведь четвертовать его, идола, и то мало! Нешто может человек, который понимает бога, да чтоб он посмел? А ведь он что! Ведь он даже... Ну как же Пимку-то не послухать было? Нешто Пимка-то не правду говорил: «Эй, ребята, глядите в оба! Он вам наделает делов! Сма-атрите!» Да чего мне Пимка? Я бы и сам его своими руками, жида этакова, скрутил да представил. Тут и слухать-то крещеному человеку таких слов невозможно, не токмо что.. А что ежели бы в ту пору насчет Пимки бы... и действительно насчет лугов, так оно, пожалуй, и на другой бы манер обозначилось. Пимка-то вон и точно, по его, как он сказывал, оболванивает нашего брата. Ежели бы в ту-то пору захватить кузьминские-то покосы, так Пимка теперь бы. Да чего уж! Одно слово — дубье! Так дураками, видно, и в могилу ляжем.

Нескладно и даже как бы «неприлично» для «барина» проявилось в нем это стремление жить и действовать по сущей правде; в нескладных, ни на что непохожих и ни с чем несообразных формах проявилось оно среди народа, в деревне, в мужицкой избе; да и для народа, среди которого оно проявилось, оно казалось также ни с чем несообразным, нескладным, ни на что непохожим и уж во всяком случае «сумнительным» явлением; но во всей этой нескладице, неожиданности форм проявления действительно таилась «сущая правда», настоящая, без всякой примеси и обмана, и миллионная доля ее, понятная и постижимая, припоминается теперь на каждом шагу, так как на каждом шагу — в общественных, мирских, домашних, семейных делах и отношениях — чувствуется потребность в коренном обновлении крестьянского дела, крестьянского духа, ума; чувствуется потребность выразить стремление к правде, всегда неизменной, в ином виде, иной форме, ином размере.

И вот в такие-то минуты и припоминаются сорокалетнему современнику эти, неведомо откуда принесшиеся,

дуновения сущей правды, «объявлявшейся *в ту пору»* и неведомо куда канувшей, и никакого иного, кроме смутного воспоминания, не оставившей следа.

К сожалению, это появление в народной среде каких-то едва-едва вспоминаемых очертаний «сущей правды», то есть каких-то таких поступков и каких-то таких слов и указаний, в которых как будто бы заключалось именно то, что надобно было крестьянину новой жизненной обстановки, то́, чему следовало бы верить, — к сожалению, все это появлялось в народной среде в таких капельных размерах и с такой неподходящей внешностью, что оставило только действительно едва заметный след, частицу какого-то случайно хорошего звука, едва припоминаемое ощущение какого-то благотворного дуновения.

И хотя поэтому выражение: «кабы ежели бы *в ту пору»* и слышится в устах деревенского современника чуть не на каждом шагу, потому что на каждом шагу он ощущает и тьму, и страх, и безрассветную тяготу нескладицы, но это вовсе не значит, чтобы «в ту пору» он почерпнул так много необходимых ему идей, что с помощью их вполне понимает все, что теперь творится с ним. Далеко нет: «в ту пору» было только что-то похожее на правду, частица, крохотная капелька, которая много-много что даст возможность задуматься над спутавшейся и сбитой в кучу современностью.

2

Вот и семидесятилетний старец, исконный деревенский житель, Афанасий Фирсанов, закручинившись о своей домашней беде, которая как снег на голову свалилась на его дом и семью, также не может почему-то не вспомянуть прошлые времена.

— Кабы в те поры-то, — размышлял он, — послухали бы энту самую барышню-то, да взяли работницу, да Прасковью-то свезли в лазарет, так оно бы, пожалуй что, и совсем бы по-хорошему вышло.

Вспоминает Афанасий Фирсанов, как однажды «в ту пору», неведомо откуда, не то «на дачу», не то — так, неведомо зачем, налетела какая-то барышня-лекарка, в очках, стриженая... И как она шумела по избам, ругая мужиков и баб за больных детей, как она баб было всех

взбунтовала против мужиков, говоря, что им, почитай, всем бабам, нельзя было работать в поле, что у одной одна болезнь, у другой — другая; что это злодейство — не лечиться, что будет хуже. Вспомнил он, что и Прасковье сказала она: «Нельзя, надо лечиться», и Прасковья уже подумывала было не идти на работу. Но вспомнил и то, что никогда этого ничего не бывало, что бабы завсегда работали и будут работать, и проповедовать: «лечись» — значит бунтовать, становить вверх дном весь обиход крестьянской жизни. «А кто подати будет платить? А с кого спросят? А есть-пить кто добудет? А скотина?».. Все это такие возражения, что даже сами бабы скоро перестали слухать лекарку, которая, очевидно, говорила чорт знает что, бунтовала, да и по прочим речам ее видно было, что она больно сумнительная дама, потому — такие слова говорила, что каждый крещеный человек беспременно должен бы представить ее по начальству, а не то что «слухать» да покоряться ее бунтовству.

Но, выбирая из всех этих воспоминаний только едва вспоминаемый совет — лечить Прасковью, он хотя и чувствует, что этот совет был точно правилен, но очень хорошо знает, что, даже и вспомнив этот правильный совет, ему не понять всей беспросветной тьмы навалившегося на него горя.

То, о чем он думает, — такая тьма, что разобрать ее нет источников; в общих чертах горе Афанасия Фирсанова состоит в том, что нежданно-негаданно прошлою осенью в дому его появилась порча. Женил он сына; и сын молодой, и жена его молодая; оба молодцы-силачи. Но на второй день свадьбы сделалась порча с молодой, а потом и с молодым, а затем и пошло «бить» оземь, ломать всю родню; даже соседних баб ни с того, ни с другого начало корчить, бросать и катать по полу, — словом, произошло неведомо что. Весь дом упал духом, опустил руки, стал приходить в упадок; грызущая тоска, никогда не знакомая прежде жителям этого дома, стала сосать их всех, и всех закручинило глубокой тоской.

Вот что стряслось над домом и над всею семьею Афанасия Фирсанова; и не без основания мелькнуло ему воспоминание о словах барышни лечить Прасковью (тогда бы не надо было женить сына), но все-таки эти слова лекарки-барышни и сотой доли не освещают и не

разъясняют в этом сложном и необычайном происшествии. Чувствует и видит старик, что в этом горе, кроме явного участия чорта, явившегося нежданно-негаданно, сплелось все то, что запутало вообще теперешнего человека, с чем не может справиться стариковский опыт, к которому в помощь не выработано ничего нового, верного, прочного, и только вот когда-то мелькнула какая-то капелька, подходящая к тому, что нужно, мелькнула «в ту пору» и исчезла.

Но, делая попытку рассказать эту темную историю и разобраться в ней, чтобы иметь понятие о том, до какой степени вообще запутаны головы наших деревенских современников, я чувствую уже, что едва ли мне удастся благополучно выбраться из этой сложной тьмы события, и пусть читатель извинит меня, если, не одолев всей сложности дела, я ограничусь, главным образом, выяснением только самых характерных особенностей упомянутых выше двух жизненных течений, столкнувшихся в этом деле.

3

Семья и дом Афанасия Фирсанова с давних времен считались в нашей «округе» самыми образцовыми и самыми счастливыми в отношении крестьянства и крестьянского дела; все, что следует по крестьянству, шло у них всегда ладно, складно, обильно, прочно и вообще солидно. Да и немудрено; посмотрите на мужиков: дед, который в настоящее время как-то расслаб и растерялся, несмотря на свои семьдесят с лишком лет, до неожиданного события был истинно молодец; не отличить было от сына, которому всего-навсего лет сорок пять; здоровые оба, сильные, а главное, что особенно отличало эту семью от других, веселые — редкое явление в деревенской жизни. В поле на работе, на сходке у кабака, даже на учете мирского старосты, где уж непременно все злы и норовят разорвать друг дружку, Афанасий с сыном Иваном непременно хохочут, — не смеются, а хохочут, медленно, громко, раскрывая весь рот широко и держа голову прямо. Миряне вопиют, галдят, упрекают друг друга и ругаются самыми отборными словами, уличают друг друга и распинаются из-за каждой копейки, хотят разыскать сущую правду в каждом глотке мирской водки, а Афанасий

с Иваном, засунув руки в карманы расстегнутого полушубка или армяка, только хохочут да изредка приговаривают:

— Пущай его... эк его!.. Хо-хо-хо!.. Чего не скажет!.. Ха-ха-ха!

«Пущай!» Этим словом они подтверждают всякое мирское решение; не спорят, не прекословят, а только говорят одно:

— Пущай! . По многу ль? По полтине, вишь... Ха-ха-ха! Ну пущай по полтине... Ишь что шуму-то... Ха-ха-ха!.. Ладно, что уж, по полтине... Доставай, Иван... Ха-ха-ха!

И на дворе со скотиной тоже у них веселое обращение, не слышно чего-нибудь вроде: «У, пропасти на тебя нет!.. К-ккуд-ды понесло тебя, проклятущую?», а, напротив, тот же поступок коровы или лошади обсуждается всегда с веселой точки зрения:

— Глянь, глянь, куда полезла!.. Аха-ха-ха! Ишь ведь, что мудрит... Хо-хо-хо!

И даже в самых, повидимому, критических обстоятельствах, когда вся деревня ходит понуря голову, когда неурожай, даже холера — и тогда Фирсановы разговаривают не так, как все.

— Что, Афанасий Петрович, никак холера идет? Не умереть бы как-нибудь...

— Да ведь как же не умирать-то? Ха-ха-ха! Уж без этого нельзя, чтоб не помереть.

Или:

— А что, Иван Афанасьевич, сказывают, хлеба-то совсем не родилось?

— Даже и совсем ничего не родилось... ха-ха-ха!.. ей-богу!..

— Так как же быть-то?

— Да вот, поди-ка! без хлеба-то поживи! Ха-ха-ха! Изволь-ка вот, без хлеба-то оборудовать, умудрись! Хо-хо-хо!..

Да и в самом деле, убережешься ли от холеры, если она порешит отправить тебя на тот свет, если будешь причитать о ней и говорить жалкие слова? И хлеба не прибудет, ежели выть да стонать о бесхлебье. Если даже придется в долг у кулака хлеб занимать, так тоже нет никакого резона роптать или негодовать: скрежещи —

не скрежещи, рыдай — не рыдай, а все отдашь занятое вдвое или втрое.

— Ты уж мне, Афоня или Ваня, — говорит кулачишка Афанасию Петровичу или Ивану Афанасьевичу, — ты уж мне, миляга, в две препорции отдашь, в обработку-то! Это надыть помнить.

— Так пущай же и в две... ха-ха-ха! — отвечает Афоня или Ваня. — Коли в две надо, так и в две.. ха-ха-ха... препорции надыть отдавать... ха-ха-ха... а не в одну препорцию... ха-ха-ха... Коли в две надо... хо-хо-хо!..

Как раз под стать здоровым, рослым и хохочущим мужикам попались и бабы в семью Афанасия Петровича. Еще прабабка, корень всей этой веселой породы, установила правильно и прочно «бабью часть», выбирая баб не кручинных, а веселых, легких сердцем. И Афанасию, своему сыну, и Ивану, сыну Афанасия, она сама разыскала невест, и все из таких «некручинных» баб. Тяжкий крестьянский труд испокон веку, благодаря такому веселому «заводу», веселому тону, отличавшему семью «сыскони», ни капли не теряя в своей тяготе, шел, однако, с легким сердцем, веселым порядком. В таком же тоне стала жить семья и тогда, когда и прабабка и бабушка померли. Сильные и здоровые мужики — дед и отец, да два подростка, из которых Михайле (сыну Афанасия) было уже под двадцать лет, а Семену (сыну Ивана и Прасковьи) лет тринадцать, решительно не нуждались после этих двух смертей в каком бы то ни было приращении еще новой силы в семье, хотя бы в лице жены Михайлы, которого по-настоящему-то уж и следовало женить. Одних таких мужиков, как дед, сыны и внук Семен, да такой бабы, как Прасковья, было совершенно достаточно для того, чтобы все хозяйство шло как должно.

После смерти бабки Прасковья почувствовала себя не только не хуже, но, напротив, как бы просторнее, шире, самостоятельнее; маленьких детей не было, а у мужиков столько было силы, что иногда Михайле, двадцатилетнему детине, совсем нечего было делать: Афанасий, Иван и тринадцатилетний Семен «играючи» переделывали столько домашних пустяков (на которых Сенька «учился» хозяйствовать), что Прасковье оставалось только бабье дело, не осложненное присутствием маленьких ребят.

И она, как хорошая печь, нагревающая сразу четыре комнаты, была центром семьи, вполне удовлетворяя необходимому присутствию в доме женского или бабьего элемента, и притом в размерах самых надлежащих: есть в доме уют, уход и бабий (особенный) разговор, — и нет никакой надобности прибавлять ко всему этому ни новых сил, ни новых осложнений жизни, принимая в дом сноху. Можно было приглашать соседку на подмогу, например, в стирке или зимой к скотине, но брать в дом бабу, то есть принимать в семью незнакомого человека, входить в новые связи и, согласно им и характеру новой бабы, изменять что-нибудь в прочно установившемся обиходе жизни не было решительно никакой надобности. Вот отчего Михайло, двадцатилетний парень, рослый, здоровый и веселый, пока был не женат и жил благодаря излишку в доме мужских сил свободно, легко, привольно.

4

Иногда Михайло, сын Афанасия, чувствовал себя в своей семье совершенно лишним, и не в том отношении, чтобы он был лишний рот, а просто не требовалась семьею его рабочая сила; помогать деду, отцу, то есть убавлять их труд, «облегчать» — это значило бы то же самое, как облегчать труд поэта, заставляя его не писать, или труд актера, живописца помощью блестящего обеспечения, лишая их возможности играть на сцене или трудиться над картиной.

Ни Афанасий, ни Иван, ни даже Сенька не могли бы «спокойно» высидеть в доме не только дня, а двух часов, часа подряд без какой-нибудь работы; одна потребность дышать не комнатным, а настоящим воздухом, и та уже не дает возможности усидеть дома часа; а потребность движения, ходьбы, упражнения всего тела? Посоветуйте-ка Афанасию или Ивану пойти, положим, в управляющие к хорошему господину, получать хорошие деньги и смотреть за людьми, а не работать, — не пойдут. «Нет, — скажут они, — уж мы насчет работы не утерпим... нет, не утерпишь!..» И точно, нельзя утерпеть не работать, так же как нельзя и поэту, и художнику не измучивать

себя над своим трудом. «Мне ежели посидеть так-то дома день, так у меня сейчас зашкурная кровь начнет в темя бить, и сейчас во всем теле пойдет ломота и звон, и не приведи бог!»

— У нас леченье известное, — говорил мне Афанасий, — как чуть что, сейчас разделся, пошел в одной рубахе на мороз да принялся ворочать, что там следует, покудова дым от всего корпуса не повалит как из овина, — вот и все, и всеё болезни-то духу не останется! Ха-ха-ха! Духу-то ее даже не слышно будет. хо-хо-хо. . и куда она девалась, эта самая болезнь-то... ха-ха-ха. с собаками ее не сыщешь... хо-хо-хо!.. Вот какая у нас аптека-то... ха-ха-ха!..

А Михайло был детина молодой, здоровый, не сидеть же ему дома сложа руки? Таким образом, сама судьба, отстраняя его от крестьянства, стала понемногу да полегоньку вталкивать его в тот новый сорт деревенских людей и дел, который держится уж не на хлебопашестве и не на труде рук своих, а на «наживе» денег, на «оборотах», и вообще толчется вокруг разных дел и предприятий, жизненная сила которых — не руки, а деньги. И таких дел и людей не мало уже в деревенской среде, хотя «дела» эти носят общий всей теперешней деревенской жизни сумбурный, случайный характер.

Вдруг пронесется между денежными людьми разного звания и состояния, «здешними» и пришлыми, как бы мания строить паровые мельницы, как предприятия чрезвычайно выгодные, и вокруг этих предприятий уже толчется куча народу, который «поставляет материал», занимает места, «смотрит», закупает. Но мания проходит: год-два опыта отлично выясняют, что не только пяти мельницам нечего делать в наших бесхлебных местах, а и одной-то еле-еле окупить дровяной расход. Смотришь, и потух один промышленный кратер, за ним потух другой — и целая толпа людей, в «пинжаках», в высоких сапогах с бураками и при часах, «толкается» по трактирам и станциям, по лавкам и другим людным местам, норовя наткнуться еще на какое-нибудь предприятие, в котором ничего никто, по обыкновению, не смыслит, результатов и целей которого никто не знает, но жалованье получать может всякий.

Погасли мельницы — пошли в ход лесопилки.

— Досшечки стали каки-то пилить! — говорит человек, приткнувшийся к «досшечкам».

— Пятнадцать рублей в месяц дает, только надзирай да матерьял проверяй!

— Что ж, пятнадцать рублей ничего!

— Чего ж, ничего!

— Да какие такие досшечки?

— Да пес их знает... так, махонькие.. аршин долины да вершка два ширины... невеликие досшечки. Отправляют куда-то... сказывают, за границу... в селедочные места, откуда селедка действует.

А лопнет дело с «досшечками» и с селедкой, глядишь, и новое какое-нибудь нарождается: кто-то начал с керосином орудовать, «вагоны стали приходить», и опять «пинжачная» деревенская толпа толпится у нового дела, до тех пор покуда оно не лопнет.

Замечательно, что вся пинжаковая толпа, толкаясь около этих новых дел, надсматривая за ними, закупая, поставляя, действует всегда в таком направлении, результатом которого в конце концов непременно будет то, что предприятие «лопнет», чтобы дать место новому мыльному пузырю. Отправляясь делать закупки, поставлять, всякий «пинжак» с самого начала предприятия почему-то таит в глубине своей души мысль о том, что дело это должно лопнуть, таит эту мысль невольно от себя, без умысла даже, и сообразно с этой неотразимой уверенностью, что дело затевается именно только для того, чтобы в конце концов лопнуть, производит и закупки, и поставки. «Не век же ей пыхтеть, досшечки пилить!» — думается этому слуге капитала. То, что у всякого дела существует и начало, и продолжение, и конец, даже в случае успеха, томит уже «пинжак», расслабляет его, лишает расторопности, проворства, надоедает своим однообразием, «манером». А когда дело, наконец, лопается, «пинжак» вновь оживает и, оживленно обсуждая в трактире историю только что лопнувшего мыльного пузыря, пытливо смотрит вперед, ожидая, какую еще штуку, затею, выдумку пошлет ему чей-нибудь, пока еще совершенно неведомый карман.

Мало-помалу Михайло, совершенно свободный от крестьянства, стал «толкаться» вокруг этих дел; сначала толкался он так, от нечего делать; потом — чтобы не быть

праздным, а наконец стал брать и места. Да и как же не брать? «Иди, смотри за досшечками... пятнадцать рублей, больше ничего!» Как же не взять пятнадцати рублей за такое дело, да и вообще: как же не взять денег, коли дают? И так постепенно, то по керосиновой части, то по селедочной, то по кирпичной, прилаживаясь и практикуясь, Михайло, сам того не замечая, далеко ушел от крестьянства и года через два-три такой практики стоял уже совершенно на другой линии. Он теперь, незаметно для самого себя, сделался уже членом этой пинжаковой среды, толкающейся вокруг денег и денежных дел. Жениться ему на крестьянке, на бабе, уже совершенно нет никакого резона; он стоит на такой *линии*, которая прямо ведет его к браку на девице с деньгами, которые дадут ему возможность завести свое дело, «орудовать» на свой капитал. Он молод, здоров, красив, получает тридцать рублей серебром жалованья на хозяйских харчах, и между молодыми девицами этого «пинжакового мира», родители, родственники и женихи которых все либо «орудуют», либо «жалованье получают», — девицами, которые гуляют в «дипломатах», Михайло уж желанный жених; на «балах», которые задает этот пинжаковый мир, он всегда в числе кавалеров. Даже «на пристани», где самый цвет и центр кулачья и всякого люда, получающего жалованье, Михайло не последний гость. Кулачье, по случаю безграмотства, изобрело пригласительные билеты, напечатанные в губернии: «Иван Иваныч господин Пощечин с супругой Анной Петровной просят вас, милостивый государь, почтить их благосклонным вниманием на чашку чаю с танцами и духовой музыкой, о чем имею честь уведомить». Таких билетов у Михайлы полны карманы, так как таких вечеров на пристани тьма-тьмущая: и старшина, который сеном орудует и отлично знает, что мирской учет кончится неблагополучно, и урядник, и из железнодорожных служащих масса лиц, получающих жалованье, и десятки других воротил по дровяной, рыбной, овсяной частям — все это живет весело, дает вечера, выписывает военную музыку, благо близко стоит полк. Вместе с пинжаками, дипломатами, картами и другими внешними признаками привилегированных людей вторглись в этот мир и танцы, и музыка, а по части съестной и говорить нечего: портвейн, херес, мадера, сыр, сиги коп-

ченые, маринованная корюшка, шоколад, апельсины, пунш, ром, ветчина, сардинки — и несть числа и меры всему благородству, которое вломилось сюда, и все это в широких размерах истребляется на балах.

— Сначала, — рассказывал Михайло родителям, — на балах на этих самых наешься всего, например щеколаду, ветчины там, мороженого, колбасы, апельсинов, ну и прочего всего как нахватаешься, так, бывало, башку-то так тебе и разламывает, точно клином... (Хо-хо-хо! — гремят родители.) Стоишь, стоишь потом у забора, пока все кончится.. (Хо-хо-хо!.. Бал! Вот так бал!.. Ха-ха-ха!) Ну а теперича, так что хошь: апельсин, так апельсин, щеколад, так щеколад, рыба, так рыба, — что хошь! Налей ты меня и набей всего как кулек с овсом — ни в одном глазе! Как был, так и есть. (Хо-хо-хо!.. Вот так ловко же прокоптел ты, Михайло!.. Ха-ха-ха!)

Со временем Михайло надеялся пообвыкнуть и пообкоптеть хорошенечко и относительно знакомства с другими свойствами и качествами этого нового общества. Он вовсе не хотел быть из последних; последними они и в мужиках-то не привыкли быть; вся семья такая у них, так и тут вовсе нет резону соваться зря, не разузнав дела. Невест — сколько угодно, но нет никакой надобности соваться в это дело, не разобравши хорошенько всего. И Михайло не спешил с своей карьерой, все более и более входя в знакомство с этим новым обществом и все более проникаясь его идеями, нравами и обычаями.

И по мере знакомства Михайлы с пинжаком, табаком и трактиром, вместе с знакомством, как вести себя на балах (ешь сколько хошь, только чтобы не икать громко и т. д.), незаметно для Михайлы стала, как тонкая отрава, проникать в его душу и мораль этого «пинжакового» образа жизни. То, что для него, как для крестьянина, было бы делом совершенно немыслимым и иногда прямо позорным, здесь стало представляться в совершенно ином виде. Обмануть, хотя бы сказав «не знаю», когда «знаешь», или «не был», когда «был»,— для него сделалось не только не конфузным, а как бы даже необходимым делом. Скажи он, что знает цену керосину, или сену, или дровам, он повредит своему хозяину, даст возможность нажиться другому, — словом, поступит совершенно глупо и бессовестно. Напротив, хорошо, ловко соврать, так, чтобы

в результате получился успех, стало для него делом обязательным; лганье, обман, уловка, оказывались нужными для этого денежного дела так же, как для крестьянства нужна коса, чтобы скосить сено, серп, чтобы снять хлеб. Вместе с тем насилие над человеком, которое бы он сам считал грехом в крестьянском обиходе, также стало для него обязательным и ничуть неудивительным, раз он стал на денежную линию. Заключить контракт, пользуясь чужою недогадливостью, незнанием или, вернее, просто сном не подозревающего беды человека, а потом обирать этого человека как липку, тоже стало делом вовсе неудивительным. «Плати и торгуй, а без моего позволения не можешь на копейку продать, потому у меня вот какой контракт сделан: на пятнадцать верст один я могу торговать, а никто другой не имеет права». Все это уж нисколько не удивляло Михайлу.

Средств нет перечислить, сколько совершенно невозможных в крестьянском быту неправд вторглось в сознание Михайлы в виде самых непреложных истин, не только не унижающих его пред своим братом-крестьянином, но, напротив, становящих его куда выше мужика и притом на необозримо далеком расстоянии. Между прочим, отношения его к женскому полу, имеющие для нашего рассказа большое значение, приняли совершенно иной смысл сравнительно с крестьянским. Будь он деревенским парнем, он хотя бы и баловался с девицами на посиделках, но баловство это никогда бы не могло перейти во что бы то ни было дурное; он и подумать бы не посмел дурного, не стесняя себя, впрочем, в полной свободе «игры» с девицами; с этими девицами можно играть и баловаться, но их нельзя не почитать, как будущих хозяек, работниц, матерей, продолжательниц населения и обихода этой «нашей» деревни. Новая *линия* совершенно изменила его миросозерцание на это дело: местные девицы были для него уже чужие, мужички, с которыми у него никогда не будет ничего общего; по примеру «золотой» пристаньской молодежи и всего вообще охочего до «грязцы» «пинжакового» общества, он знал, что до того времени, покуда он не устроится при хорошей денежной невесте, ему, молодому человеку, получающему хорошие деньги, вполне можно пользоваться женским полом, покупая его на деньги и уплатою оканчивая всякие обязательства.

Не раз он прямо щеголял своими деньгами на деревенских посиделках, совершенно привыкнув к тому, что отблагодарив рублевкой, он не сделал ровно ничего худого. «Вольна брать, а вольна и не брать: это ведь как хочешь. Коли бы я тебя обманывал, или замуж бы обещался взять, ну тогда так, нехорошо! А то ведь это по согласию: хочешь, так бери, а не хочешь, так и другую найдем!» Вот как привык рассуждать Михайло, не находя в этих рассуждениях решительно ничего недостойного.

Да и надобно сказать правду, что «линия», на которой стоял Михайло, линия денежной наживы, выработала уже целый класс женщин и девиц, для которых мораль, впитанная Михайлой, решительно не представляет ничего удивительного. «Предприятия», «дела», «обороты» скопляют около себя не одних мужчин, а также и массы женщин, нуждающихся в работе, в тридцати копейках поденной платы. Такой ли несчастной девушке отказываться от красной, а то и от беленькой бумажки, когда она к тому же еще знает, что вряд ли ей удастся выйти замуж? Ей известны все женихи и все невесты, имеющие право «в ихних местах» сойтись друг с другом и вести хозяйство, не нуждаясь в поденщине. Неурядица в земельных порядках, прямо связанная с избой и с семьей, живущей в ней, выбрасывает на улицу много лишних ртов, с голоду нарожденного народа, девиц, которым не с чем выйти замуж, вдов после «случаем» умершего мужа (простудился, таская из речки весной дрова, или разорился, стал пить, помер). И весь этот *излишний* народ подбирает какое-нибудь предприятие, дело, затею; здесь сходятся люди с деньгами и люди без денег, и нигде так сила денег не убедительна, как здесь, в деревне.

Сила денег, а также сила обстоятельств, ставящих женщину в необходимость обменивать себя на рублевки, здесь, в деревне, так велика и так понятна, что иногда не решаешься употребить слово «падшая» женщина. Вот хоть бы некая «девушка» Аннушка, о которой у нас будет еще речь впереди. Она — не здешняя, забрела она сюда из Тверской губернии на заработки, поступила на место к приказчику в кухарки за шесть рублей. Деньги эти она все сполна посылала домой, где были больные отец и мать. Но вот умер отец, стала она посылать

рублем меньше; умерла мать, стали у ней оставаться все шесть рублей. Она стала человеком совершенно свободным; дома у ней нет, хозяйства нет, имущества нет; на родине ее замуж *некому* взять, да и не с чем; а здесь, в чужом месте, ее и вовеки не возьмут; тут женихов меньше, чем невест, в два раза, — куда ей соваться? И вот она прямо-таки приведена к тому, чтобы располагать собою так, как лучше. Как же лучше ей? Да вот приказчик предлагает ей бумагу белую, а почтсодержатель предлагает две белых бумаги. Что же лучше: шесть ли рублей, или две белых бумаги?

И девушка Аннушка, *рассчитав* (да!) все правильно, как следует, рассчитав так, что ее никак даже не похвалить невозможно, пристраивается на задворках у знахарки Афимьи (о ней тоже речь будет впереди) и начинает жить *сама*. Она как раз под стать всему «пинжаковому» сорту людей, «ихнему» миросозерцанию и образу мыслей и действий; деньги у них есть, а у Аннушки нет; а до свадьбы, до невесты с оборотным капиталом — им надо же куда-нибудь предъявлять свои пьяные морды. И вот «девушка Аннушка», как непременный член этого общества, ничуть даже и не конфузится своего положения; она внутренно убеждена в полной законности своего появления в избушке Афимьи и в полной правоте своего образа жизни.

— Вы что же, Михайло Кузмич, ко мне в гости не ходите? — громко, на весь вагон, спрашивает она своего соседа из числа пиджаков, сидящего напротив нее и так же, как она, отправляющегося в город за покупками.

— Да не знаю вашей фатеры, Анна Ликсевна!

— Да что ж у вас отвалится язык людей-то спросить? Ведь в деревне-то всякий знает Аннушку. . Я ведь, почитай, тамотка одна Аннушка-то *из гулящих*.

И эти слова говорятся громко, просто, вполне натурально и развязно.

Так вот так же натурально, развязно и просто приучился и Михайло смотреть на свои отношения к женскому полу, в ожидании того времени, когда линия укажет ему подходящую невесту.

А в то самое время, когда Михайло учился новой морали и все более и более приближался к идеальному «пинжаковому» типу, в доме Фирсановых случилось что-то неподходящее: что-то занеможилось Прасковье, как-то шатнулась она — «крянула» немного...

Здесь впервые и Прасковья сама, и Афанасий с Иваном вспомнили ту, неведомо откуда появившуюся «в те поры» барышню, которая до того рассердила их и возмутила своими бунтовскими разговорами, что даже Афанасий Петрович — хохотун, и тот сулился связать ей руки к лопаткам. Вспомнили эту востроносую, стриженую, несуразную девицу все; вспомнили шум и гам, который она подняла «в ту пору» насчет Прасковьиной болезни, когда, также в ту пору, эту самую Прасковью так же вот «крянуло» на жгучей полевой работе.

— Кабы в ту-то пору схватиться, — подумала прежде всех Прасковья, — так, пожалуй что, и еще десяток годов выстояла бы.

Подумали так же точно все, весь дом, но, увы, воротить прошлого было невозможно: оно как пришло неведомо откуда, так и ушло неведомо куда. И волей-неволей Прасковья, хотя и «крянувшая» немного, но все-таки продолжавшая греть своим присутствием и своей живой работой, своим живым разговором весь фирсановский дом, принуждена была прибегнуть к помощи Афимьи.

Об этой Афимье необходимо сказать несколько подробнее, так как в рассказываемой истории она играет довольно видную, хотя и совершенно неожиданную роль.

Деревенские жители не могли бы определить, чтó это собственно за существо: не то колдунья, не то знахарка, не то как будто бы и еще хуже, в виду хоть бы того, что она дала приют упомянутой «девушке Аннушке». Мнение о ней в деревне было неопределенное, хотя и не вполне одобрительное, потому что колдовство, знахарство и потворство «Аннушкам» были дела вообще темные. В сущности же Афимья была женщина весьма изуродованная жизнью и несчастная.

При крепостном праве она была самою любимою и приближенною прислугой одной жестокой и грубой помещицы. Афимья была гроза девичьих: колотовка, змея

подколодная, ехидна — вот эпитеты, которые давал ей тогда всякий крепостной, всякий дворовый человек. Много зла она натворила в угождение барыне; но сама она, как живой человек, тоже не была безгрешна, и если без пощады преследовала девичью, обличала чужие шашни и без милосердия выводила их на свежую воду, то сама она грешила тайно, «как тать в нощи», умея ловко пользоваться отлучками барыни в столицу или за границу.

И когда по весне в пруду всплывал трупик ребенка или когда тот же трупик находили в дровах, Афимья, как ястреб, налетала на девичью, и пощады от нее не было в такие минуты никому.

Но вот кончилось крепостное право, барыня продала имение купцу Тютькову и уехала за границу; на прощанье дала она Афимье поцеловать свою холеную руку, подарила ей кучу старого тряпья и хламу, подарила пятьдесят рублей и отпустила на все четыре стороны. За пять рублей, которыми Афимья поклонилась обществу, поставив ему ведро вина, общество позволило ей поселиться на задах, отвело лоскуток земли под огород, и Афимья, купив рублей за двадцать старую баню, переладила ее в каморку и стала «доживать век».

И ужасные начались для Афимьи минуты: когда она очутилась одна-одинешенька в этой крошечной каморке, сама с собой с глазу на глаз, вблизи этих тихих полей, ее охватили жуткие воспоминания прошлого; воскресла в самых ничтожнейших мелочах вся прошлая ее жизнь, все ее неправды, злодейства, которым она теперь не находила объяснения и только ужасалась предстоящей казни на том свете; но с особенной, ужасающей неумолимостью стали преследовать ее образы этих выплывавших по весне и откапываемых под дровами мертвых ребят... Это ведь она, Афимья, кидала их, как щенят, боясь потерять свою репутацию и страшась гнева. Ужас потрясал ее по ночам: ангельские души, погубленные ею, были невидимо тут, в самой избе; они, невидимые, стонали вокруг избы, шуршали крыльями над самой головой Афимьи и каким-то явственным, но совершенно неслышным шопотом над самым ухом ее что-то шептали ужасное. Она стала худеть, томиться, терзаться: ад, вечные муки не выходили у нее из головы; об аде и му-

ках она расспрашивала священника; купила страшную картину последнего суда, купила другую картину, на которой был изображен лежащий в огненном озере дьявол, а из утробы его росло дерево, все обвешанное по сучьям грешниками. Бабы деревенские дивились и пугались этих картин, в которых было так много огня, железных крючьев и чертей, и этой одинокой, с испуганными, ввалившимися глазами страшной женщины... Уж и тогда у деревенских баб мелькнула мысль: «Уж не колдунья ли она?» Они не знали, что этот ад, развешанный по стенам, был в душе Афимьи, что она сама ежеминутно горела в этом адском пламени.

И вот однажды после мучительной ночи, проведенной без сна, в страхе и напряжении всех нервов, терзаемых и шелестом невидимых крыльев, и отдаленным жалобным детским душу раздирающим плачем, отдаленным, беспомощным, детским смертным хрипением и, главное, этими неотступными ужасными образами ее мертвых детей, которых она видела в мельчайших подробностях ежеминутно, — в конец истомленная всем этим, Афимья, совершенно изнемогшая, ослабевшая, как бы в забытьи, опустилась на лавку у окна.

Окно было открыто; за ним шло бесконечное ржаное поле, тихое, еле шушукающееся колосьями; жаркое солнце палило землю без малейшего ветерка, и только кузнечики неумолчным, однообразным чириканьем нарушали мертвую тишину. Афимья была рада этому чириканью кузнечиков; слушая их, она чувствовала, что как будто слабеет, как будто засыпает.. Чирик! чирик! чирик!.. и вдруг лавка, на которой она сидела, и пол, в который упиралась ногой, и косяк окна, к которому было прижато ее плечо, — все как-то раздвинулось, ушло в стороны, опустилось под нею. Она было испугалась, чувствуя, что падает куда-то, сердце ее тоже упало, но в то же мгновение она убедилась, что ее несет не в бездну, а напротив — куда-то в высь необъятную мчит неведомая сила.

Господи, помилуй! Жаром палит ей темя; она под самым небушком, под самым солнцем раскаленным, а вдали, точно необозримая гора раскаленных угольев, играет и сияет в ослепительных лучах какое-то великолепное здание... Это рай. Афимья несется все ближе и ближе

к этому зданию, — и вот райские врата; они распахиваются пред ней, и еще новым, невиданным светом обдает ее всю в бесконечной светлой храмине, куда ее внесла неведомая сила. Она ослеплена, изумлена до того, что падает на золотой пол...

— Афимья! — слышится ей голос, и она знает, что это голос самого Христа спасителя. — Тебе бы надо было умереть, но я тебя жалею... Жалею я тебя, Афимьюшка, много ты намучилась, настрадалась... Я твое покаяние принял... А не покайся ты, так было бы тебе худо-худо. Угодники мои святые! покажите Афимье, что́ было ей приспето за ее злодейские, проклятые дела! Пускай посмотрит, как и другим достается за беззакония..

Какой-то старичок поднял Афимью с полу, и она мгновенно очутилась около какой-то великолепной золотой решетки, много лучше той, которая при покойнице барыне вокруг сада была. «Погляди-ка, говорит, Афимья, каков рай-то у боженьки есть!» Глянула она через решетку, а там цветы растут лазоревые, запах от них идет несказанный, ручейки там бегут «журчастые», светленькие, и на золотых деревьях поют райские птички... и все-то деревья обвешаны разными ягодами и фруктами несказанными... А промежду деревьев бегают маленькие ребяточки с золотыми кудрями, забавляются, и с ними ангелочки играют, крылышками их обмахивают и нежно-нежно по личику гладят... «Вот, Афимья, и твои невинно убиенные детки тут же бегают. Ишь вон! Вон твой первенький, а вон и другой... что под дровами-то...» И их Афимья своими глазами видела. Залилась она горючими слезами, и радость такая у нее разлилась по сердцу, такое счастье загорелось где-то в ней, что век бы, кажется, не ушла отсюда.

Но старичок стал ее торопить: «Будет, говорит, ты и так уж цельный день смотришь!» А Афимье казалось, что она только «глянула». Старичок взял ее за рукав, толкнул — и очутилась она в таком месте, где люди томятся ни в аду, ни в раю... По виду место похоже на «нашу деревню». Домики стоят чистенькие, и человечки какие-то сидят на завалинках, ничего не делают, а только раскачиваются из стороны в сторону да болтают головами от дыму, который валит на них прямо им в лицо из окон и из дверей чистеньких домиков... «Это вот

за трубочки, папиросочки. Кто табачище курил, так вот теперь и душит его дымом: ни с завалинки встать, ни в дом войти». А немного подальше целая толпа деревенских баб: лица их совершенно засыпаны кострикой, так что они не видят света божьего, в ладони воткнуты веретена, а за ногти забиты зубья гребней... «Это бабы, которые жадны до работы, которые и праздников не соблюдают господних, только бы побольше наработать да нарядов у разносчиков выменять... Вот и сиди весь век так-то!»

Отсюда незаметно поднялись они на высокую гору, а на верху этой горы, в глубокой и огромной яме, кипело целое озеро меди расплавленной. Медь клокотала белым ключом, бушевала, как кипяток, а в этом медном кипятке варятся и не могут свариться тысячи тысяч баб: тела их то всплывают на поверхность, то, перевернувшись, исчезают опять в медном кипятке; там высунется рука, там — нога, там — спина, и все опять исчезает; изредка с воплем высовывается горящая растрепанная голова, но ее сейчас же захлестывает пеной медного кипятка... «Вон, Афимья, где бы тебе быть-то за твои проклятые дела! — сказал старичок. — Посмотри-кось, да запомни хорошенечко!»... И увидела она еще, что по берегам этого озера, там, в самой глубине, стоят с баграми бесы и отпихивают в глубину озера тех баб, которые норовят на берег выскочить, за кусты руками хватаются. Тело на бабах все сожженное, клочьями болтается... Обуял Афимью ледяной холод, а старичок хотел было еще столкнуть ее туда. Но Афимья уцепилась за куст. «А детей губить любишь?» — с гневом сказал старичок и, рванув ее за рукав, пихнул в другое место, сказав: «А вот тут все твои любовники, поганка этакая! Полюбуйся-ка на них! ..»

За огромными, высокими железными дверями слышен был такой необыкновенный стон, визг, вой, вопль, какого в жизнь свою не слыхала Афимья. За этими железными дверями открылось бездонное озеро кипучей смолы, и чтó тут было мужиков и чтó с ними делалось — рассказать того невозможно! Доезжачий бучиловского барина, Петька, с которым она, Афимья, «в те поры»... сидит в смоле по горло, и смола беспрерывно льется ему в рот... Егорка-кучер, с которым Афимья также «в те поры», плавает на дне и не может выбраться на свет

божий... Яшка-кузнец, Митька-форейтор — также все тут налицо, и в таком виде, и так кричат, что душа у нее замерла от ужаса. «Ну, — сказал старичок, — теперь будет! Ступай!» И с силой толкнул ее в спину с высокой горы.

Неслась, неслась она... упала... и открыла глаза.

6

Полная изба народа — мужиков, баб с грудными ребятами, ребятишек, стариков — приветствовала пробуждение Афимьи шопотом молитв, крестными знамениями, земными поклонами. Афимья, лежавшая на полу (причем голова ее покоилась на подушке, подложенной чьею-то заботливой рукой), ничего не могла понять от слабости и необычайного утомления; она видела только народ, видела, что тут же в избе стоит, опершись на посох, и внимательно смотрит на нее батюшка, что какой-то старец неведомо зачем кадит ладаном, а другой старец — с ополоумевшим лицом торчит в образном углу, держит на темени икону и что-то шепчет. Среди молитвенного шопота и несказанного удивления она едва-едва могла понять, что припадок ее продолжался, ни много ни мало, как четверо суток, что она ничего не пила, не ела, что ее уже собирались было хоронить, но отстоял батюшка, заметив дыхание.

Понемногу Афимья начала поправляться; сердобольные люди, пораженные необыкновенным событием — смерти и воскресения, — не покидали ее, помогали чем могли, ухаживали. И Афимья стала оживать. Голос боженьки, который, несомненно, простил ее, дозволил ей жить, обещал ее не губить, — голос, который она слышала собственными своими ушами, снял с ее души страшную тяготу; а маленькие ребяточки, играющие в раю, в числе которых она обрела и своих невинно погибших детей, наполняли ее сердце чистой радостью. Ей было так приятно быть совершенно покойной за детей, что... даже стало жалко и Егорку-фалетора, и Петьку-доезжачего, и всех прочих.

— За что уж их-то так, голубчиков? Легко ли дело: смолой кипучей в рот! И какие славные ребята были, хоть



бы Петька или Егорка... да и прочие. Бывало, как на балалайке-то действовали!

И эта нежность к Егоркам, Петькам и прочим молодым людям, пробужденная в Афимье сознанием, что теперь не за что их мучить, что ребятам хорошо, весело на том свете, была причиною того сочувствия, которое она выказала, приняв в сожительницы веселую «девушку Аннушку»; да и парни, которые к ней хаживали, вроде хоть Михайлы, посещавшего Аннушку довольно частенько, почему-то пользовались ее симпатией, хоть она и не обнаруживала ее. Всякий раз, когда такой парень гуляет с Аннушкой в кустиках, играет на гармонии и песни поет, она вспоминает и Петьку и Егорку.

Вот основания, которые впоследствии дали деревенским жителям право выражать неодобрительные мнения об Афимьиной нравственности.

Но это сделалось уже впоследствии; тотчас же после воскресения Афимьи она, напротив, стала предметом всеобщего внимания и уважения. Она несомненно была на том свете, несомненно «видела» там «здешних» знакомых, мужиков, баб и детей. И с каждым днем картина виденного выяснялась для нее все больше и больше, так что иногда на вопрос какой-нибудь наивной бабы: «А что, Афимьюшка, не видала ль моего мальчика-то, Ванюшку? Приспала я его!» Афимья не менее наивно спрашивала: «А какой он из себя?» И, получив полнейшее и подробнейшее описание, долго как бы всматривалась во что-то, припоминала, перебирала все детские личики, которые видела она за райской решеткой, и, наконец, совершенно твердо отвечала: «Как же, видела, видела я его, Аксиньюшка. Ничего, хорошо ему, дюже хорошо!..» И сначала, с первых моментов пробуждения Афимья не говорила неправды, а потом мало-помалу, из желания, может быть, не остаться в одиночестве и поддерживать к себе общее внимание, выражавшееся в пособиях, помочи, она сделалась посмелее насчет своих загробных сведений. И бывали по этому случаю весьма тягостные эпизоды.

— А что, Афимьюшка, — спросила раз Афимью молодая, нервная, впечатлительная женщина, только что вышедшая замуж, — долго ли я проживу? Не слышала ли *тамотко* чего?

— Нет, Марья, не долго проживешь.. Слышала, слышала я... Год всего тебе только и житья на свете.

Почему, зачем дернуло Афимью испугать такими речами несчастную бабу? Но речи эти так поразили ее, что баба стала чахнуть, сохнуть и, точно: умерла ровно через год!

— Вишь, ведь — верно! — говорил народ. — Стало быть, открылась ей там... прозорливость эта самая.

Мало-помалу Афимья очень привыкла давать советы, предсказывать, растолковывать сны, разъяснять предчувствия, а потом, как-то «само собой», стала и лечить. После барыни, в числе разного негодного хлама, досталась ей куча банок, склянок от флаконов с духами, от лекарств, остались сигнатурки, мази, масла, спирты, порошки, пилюли. Все это Афимья забрала с собой для себя — «лечиться» на старости лет, что́ любят старухи и вообще деревенские женщины. При барыне она кое-что даже и понимала в лекарствах; барыня была нервна́я, и Афимья волей-неволей должна была научиться различать одни капли от других: желудочные от успокоительных и т. д. И понемногу к ее уменью разговаривать, советовать и предсказывать присоединилась и репутация лекарки. «Накось вот!» — скажет она, давая капли, и глядишь — баба поправилась. Двух удачных случаев было совершенно достаточно, чтобы не только народ признал Афимью за лекарку, а чтобы и сама Афимья уверилась в своей способности «пользовать», стала даже узнавать от тех же деревенских баб о разных средствах и способах лечения. За это не только благодарили, а и деньги платили; это был кусок хлеба. С годами за Афимьей вполне упрочилась репутация женщины таинственной и лекарки.

Вот к этой-то Афимье и прибегла Прасковья в ту минуту, когда почувствовала, что в ее организме, в самом нутре его, что-то как будто «крянуло». Конечно, и обращаясь к помощи Афимьи, Прасковья крепко печалилась, что *в ту-то пору* не послухала она доброго совета, что́ хорошо бы, ежели бы теперь проявилась эта стриженая барышня. При всем желании Прасковьи получить настоящую помощь, помощи этой не было ниоткуда, и пришлось обратиться к Афимье.

Афимья пришла, принесла горшок, свечку страстную, ладану, какую-то тряпку, пузырек и мазь. Ладаном она надымила, в горшок подула, плевала на все четыре стороны, читала молитвы, потом повела Прасковью в баню, где в течение двух-трех часов и делала «что следовает». Из бани принесли Прасковью на руках мужики и уложили в постель. Афимья еще пошептала, поплевала, побормотала и ушла.

— Ну что, милушка, как? — спрашивала она Прасковью на другой день.

— Худо, родимая, худо мне! Еще того хуже стало, что было.

— А худо, так надобно, чтобы лучше было! Дай-кось, я еще тебя попользую...

На этот раз были в ходу уже два горшка, и плевала на этот раз Афимья не на четыре стороны, а по всем местам, и притом через плечо, дула она, куда только было возможно дуть, а затем была баня, уже не днем, а ровно в полночь, где Прасковья битых четыре часа кричала не своим голосом и была принесена домой почти в бесчувствии.

— Ну что, красавушка, как? — спрашивала Афимья больную на другой день.

— Ху... ж-же... ху... ддо... — еле-еле могла прошептать Прасковья.

— Так можно, ангел мой бесподобный, и на другой манер облегчить.

На этот раз Афимья уж, признаться сказать, не знала, что и делать. Однако ушла домой за средствами.

Между тем с самого того момента, когда Прасковью пошатнуло и крянуло, в доме Фирсановых появилось тотчас же уныние, с каждой минутой овладевавшее всем домом все сильнее и сильнее. В то же мгновение, как только Прасковья «на минуту» должна была приостановиться в работе, приостановился весь механизм дома. Все пошло не так со скотиной, с птицей; после первого посещения Афимьи уже слышался рев голодных коров, блеяние неприбранных овец, а еще через день и овцы, и куры, и лошади, и коровы — все уж потерялось, упало духом, не знало, что делать, куда идти, толкалось, лезло с своими недоумениями к крыльцу, в сени, совало голову даже в горницу. «Мужики» — Афанасий, Иван, Сенька —

окончательно растерялись, ослабли духом, ходили как помешанные... В таком расшатанном душевном состоянии, горько опечаленный болезнью жены, которая уж еле-еле шептала что-то, а не говорила, стоял Иван Афанасьев посреди двора, среди целой толпы животных, решительно расстроенных домашним несчастием, когда в воротах появилась Афимья, таща уж целых три огромных горшка и, очевидно, приготовляясь совершить что-то необычайное.

Мгновенно Ивана рванула за сердце такая жалость к своей жене, которую эта карга приготовляется истязать, что он как бешеный подскочил к ней и не своим голосом заорал:

— Ты что это, чертовка, опять мучить пришла? Тремя горшками уж норовишь все нутро выволочь оттуда? Я тебя, псовка экая!

И он оглушил Афимью таким универсальным ударом, что и она, и горшки, и какие-то банки, и пакля — все это разлетелось и исчезло неведомо куда, но где-то тут же на дворе.

— Я тебе дам, чортова кукла! — не имея возможности остановить своего гнева и хватая в руки первую попавшуюся жердь, вопиял он и, может быть, убил бы Афимью, но прибежавший на крик Афанасий силою утащил Ивана в избу.

И здесь, не имея сил успокоить своего волнения, Иван тяжело дышал и трясся всем телом, пока не услышал, что с улицы доносится визгливый голос очувствовавшейся, наконец, Афимьи.

— Погоди, чорт этакой! .. Будешь ты меня *помнить!* .. *Помни же!*

7

Эти слова, пропущенные мимо ушей в момент раздражения на Афимью, получили для всей семьи Фирсановых, не больше как через день после этого эпизода, совершенно неожиданное и грозное значение. На другой день еле живую Прасковью отвезли в больницу, где сказали, что положение ее опасно, и тотчас для всего дома стало ясно, что Михайло должен жениться.

Этого брака требовало решительно все, что только жило и было в доме: упавший ухват, пустой рукомойник,

опрокинутое ведро, нетопленая печь, и куры, и бараны, и коровы, и люди — все требовало брака Михайлы, брака немедленного, и вот тут-то вся семья Фирсановых припомнила слова старухи: «Помни же!» и содрогнулась. Ведь что может натворить злая баба с людьми, со скотиной, с молодыми!

Михайло, этот уже, казалось, вполне полированный человек, испугался этих слов: «Помни же!» гораздо больше, чем даже и старики, испуганные ими решительно не на шутку. Незадолго перед болезнью матери он побранился с «девушкой Аннушкой», жившей около Афимьи, которая попеняла ему, что он стал шляться к новой гулящей, к Катьке, которую только что пустил в ход один кулачишка, получивший от земства подряд на содержание лошадей. «Ну, помни!» — сказала ему тогда и Аннушка, погрозив кулаком, но тогда он не обратил на это внимания: он тогда стоял совершенно на *другой линии* — на такой линии, где все было для него совершенно ясно. «Помни! Чего тут помнить? Приду как-нибудь, прогуляю трешку — вот те и все!» Тогда, два-три дня назад, миросозерцание его было совершенно определенно, он не верил «предрассудкам», был вполне уверен, что раз у человека деньги в кармане, так тут сам чорт ничего не поделает, да и чорта-то никакого нет. Но вот сегодня, через три-четыре дня, когда его как громом поразила необходимость бросить, расстаться с пинжаковым направлением мыслей, покинуть линию и вполне примкнуть к крестьянству, от которого он уже отвык, отстал, которое забыл, — его охватил страх. Он возвращался в крестьянство с такой кучей грехов на душе и на теле, с таким изобилием прав у Катек и Аннушек делать ему зло в его хозяйстве, в скотине, в поле, в конюшне, что слово: «Помни!» приняло совершенно потрясающий смысл... Афимья, Аннушка, обе обиженные, обе нечистые (он теперь должен был думать *по-чистому*), они могут, бог знает, что сделать.

Но главный источник его темного и в то же время безграничного испуга, поселившегося в самой глубине его души с того момента, как только он убедился, что жениться «надо», что хозяйство без этого брака должно развалиться, — была та женщина, на которой он должен был жениться.

Возвращенный мыслями к «крестьянству», Михайло тотчас же знал, которая именно из деревенских девиц *должна быть* его женой. Кроме «Варьки», ему *нельзя* было брать за себя никакой иной девицы, и вот почему: с болезнью Прасковьи и с его женитьбой (которая неизбежна) народу в доме, на которого должна работать будущая *новая* баба, должно прибавиться; одних мужиков теперь будет уж не трое, а четверо, да пятая, если выживет, будет хворая Прасковья; такая огромная семья *должна* иметь в центре своем — куда уж веселую, а просто только железную женщину, и притом самое главное, женщину, которая, войдя в дом, сразу бы прониклась интересами всего живущего в этом доме, *только в этом доме*, которая бы *свою* курицу могла отличить среди тысячи других точь-в-точь таких же кур, — словом, такую женщину, жизненный интерес которой весь бы состоял *только* в совокупности интересов всего хозяйства, у которой бы не было сердца *для себя*, но сердце, и мысль, и ум которой могли бы действовать только под влиянием куриных, коровьих, телячьих, овечьих, бараньих, гусиных, мужичьих и других желаний, печалей, нужд, случайностей, требований. Нужна была такая женщина, которая не могла бы жить на свете, была бы, с позволения сказать, совершеннейшей *дубиной*, если бы не была именно *только* и исключительно центром инстинктов зоологической жизни всего живущего в доме и на дворе. Не нахожу возможности иначе определить коренные свойства того типа женщины, который нужен был не Михайле собственно, а всему дому без исключения; Михайло же — это собственно только причина, вследствие которой женщина такого типа, теперь, за два-три дня до свадьбы, быть может, еще и не помышляющая о замужестве и не знающая еще, кто ее муж, жених, должна после свадьбы навеки пригвоздиться к одному месту и не иметь даже тени мысли о том, что есть на свете где-то какие-то другие места, кроме того, на котором она толчется.

Наседку нужно накрывать решетом, чтобы она не видала света белого по крайней мере день, чтобы заставить ее сесть на яйца; иных, особенно непокорных, кормят хлебом, пропитанным водкой, и пьяную сажают в лукошко, но раз она села, она уж *не может* встать. Она не разбирает — куриное или гусиное, или утиное яйцо

лежит под ней; но у нее с этим яйцом образовалась уже какая-то неразрывная связь, благодаря которой она не может не измаивать себя до того, что «просидит» до голого тела. Вчера еще эта самая курица не обращала на снесенное ею яйцо ни малейшего внимания; она снесла его, где пришлось: на чердаке, под печкой, в дровах, и ушла слушать, как петух поет: «Скажите ей». А сегодня, после того как ее насильно усадили на то же самое яйцо, после того как ее лукошком прихлопнули, опоили водкой, чтобы она одурела, она хоть и слышит, что вышел в свет новый романс г. Пригожего «Под моим она окошком» и т. д., но уж не может встать с места, а отчего? — и *сама не знает*.

И когда мысли Михайлы сосредоточились на крестьянстве, которое он представлял себе не иначе, как в самом благообразнейшем виде (ведь он из хорошего дома, да, наконец, что же может быть ужаснее неблагообразного крестьянства?), ему стало жутко. Ведь то, что называется «крестьянством», то есть весь строй трудовой крестьянской жизни, ведь он весь находится в полной зависимости от тайны, от этого неведомого, что́ даже курицу пригвождает к яйцу. Как бы ни была курица премудра, она будет сидеть «до голого тела», неведомо зачем и отчего. И это *неведомое* проникает весь строй жизни, начиная с земли, с зерна и дождя, и ветра, выражается в успехе, в неуспехе, в болезни людей и животных. Во глубине всего этого лежит не своевольная мысль, выдумка, а никому неведомая тайна, среди которой можно жить только при безукоризненности инстинкта, чутья. Мужик и баба, составляющие центр крестьянского дома, центр всей этой тайны, тогда только могут благообразно существовать, то есть без страха жить неизвестно для какой цели, когда в глубине их взаимных, интимных отношений, помимо всяких человеческих соображений и побуждений, *безукоризненна* та необъяснимая, неведомая никому из них зоологическая связь, прочность которой только чувствуется инстинктивно, а непрочность расшатывает весь строй, неизвестно для чего существующий обиход. Но вот такого-то *безукоризненного*, зоологического инстинкта Михайло уже не ощущал в себе в той мере, в какой он должен бы был ощущать его как крестьянин. Варька — существо, взятое прямо от земли,

«вынутая» из самой сердцевины тайн крестьянства, — даже и понятия еще не имеет о том, что́ такое мужик, хотя и видит их перед глазами всю жизнь; она даже и мысли не имела никогда о том, что́ с нею будет, когда она выйдет замуж, как и курица понятия не имеет о том, что́ с нею сделается, когда ее посадят в лукошко. *Эта* зоологическая струна даже и не звучала в ней никогда, несмотря на то, что она кровь с молоком; она и «стыдиться»-то начинает только в мясоед, потому что ей известно, что по мясоедам ихнюю сестру мужики лукошком-то накрывают, а в пост так даже ей нисколько не стыдно никого, потому — что ж по постам стыдиться? Ежели стыдиться, так надо в мясоед, а не в пост. А вот в Михайле благодаря тому, что он долго жил на другой линии, уже нет этой-то самой важной зоологической безукоризненности, и вот отчего он, зная, что ему непременно надо брать Варьку, уже боится этой Варьки.

«Линия», на которой до сих пор стоял Михайло, отставший от крестьянства, никогда бы не привела его к такой *боязни*. Там, на той «пинжаковой» линии, *дело* нисколько не зависит от прочности связи мужа и жены; что такое значит жена, взятая «пинжаком» с приданым, благодаря которому этот пинжак начал «орудовать», положим, по керосинной части, — в этом самом керосинном деле и керосинном успехе? Ровно ничего. На *той линии* даже очень хорошо, если жена настолько *развита*, что не суется не в свое дело, а сидит дома и пьет чай. А так как таких *развитых* женщин в пинжаковом обществе, *ровно ничего не понимающих* в мужниных делах и благодаря своему умственному развитию не сующих носа в мужнины дела, обороты, связи, уже довольно много, то женское общество *той линии* совершенно справедливо считается также *развитыми* мужчинами «той линии» довольно глупым и скучным и совершенно извиняет это общество пинжаковых мужчин, если они «балуются с Аннушками». Аннушки тоже ничего не смыслят по керосинной части, но они веселее, с ними развязнее, — надо ж отвести душу! Веселее быть с женой в пинжаковом обществе невозможно, потому что тогда «не сующаяся в дела» и большею частью некрасивая жена совсем сделается ни на что не похожим существом. Там нужна строгость, молчание, чтобы жена *понимала*, что ей не след соваться.

Если муж не будет с женой молчать как пень или камень, так тогда ей не за что будет и уважать его. А если попираемая Аннушками зоологическая правда и заговорит в жене, так ведь это опять же не вредит *делу*, ни керосинному, ни свечному, ни дровяному. С женой могут делаться истерики, припадки, обмороки — все, что угодно, но ведь где есть деньги, там будут и доктора и лекарства. Лечиться жена может всю жизнь, сколько угодно; муж (развитой ежели) не жалеет денег, — чего еще? Наконец, и побои и увечья, практикуемые на той же «линии» в темноте и удушье спален с лампадками, — все это ни на волос не вредит *делу*, успеху оборота, наживе, а стало быть, и положению в обществе и вообще тому, что для пинжакового общества может почитаться целью жизни и успехом. Если же поступать умненько, уметь во время приласкать жену, подарить ей дипломат, поболтать без рычанья и хрюканья, так и вовсе можно жить в полное свое удовольствие: и от людей почет, и жена почитает, и любовниц сколько угодно, и в конце концов деньги, барыши, успех.

Вот на какой линии стоял Михайло до того момента, когда судьба вновь повернула его в крестьянство, и здесь он сразу ощутил, какая огромная разница между «той линией» и этой, крестьянской. Там на первом плане «выдумка», «*свой* ум», «хитрость»; здесь — полная тайна, в самых существеннейших чертах вовсе не зависящая ни от каких расчетов и умствований, которые здесь не имеют никакого значения. Все крестьянское *дело*, не имеющее никакого результата, подобного делам той линии и выражающегося в увеличении денег, обстановки, имущества и т. д., держится и стоит на неразрывной и в то же время таинственной связи мужика и бабы; в глубине этой связи, на которой держится все «крестьянство», то есть одновременно и дело крестьянское и жизнь, должна быть только зоологическая безукоризненность, а он, Михайло, уже не имел ее. Он был и силен, и здоров, и ту же Варьку мог бы совратить с пути истины, если бы попрежнему стоял *на этой линии*; но теперь он боялся этой Варьки, боялся именно ее безукоризненности.

И не того он боялся, что Варька может узнать о его поведении, может «осуждать» его, как распутника,

подозревать его в желании приволокнуться и после свадьбы. Нет, Михайле было страшно именно потому, что Варька не может об этом *думать,* рассуждать и вообще понимать; ему было страшно оттого, что она *почует* в нем порчу, почует неведомо как, не зная и не умея определить даже, что́ такое она почуяла и почему ее за сердце взяло, и почему она вдруг возненавидела зачатого ребенка. Варька страшна именно потому, что она *невольна* в этом. Она *почует* что-то там, в самой глубине своего физического существа, — и начнет дурить также «неведомо с чего». Неведомо с чего она возьмет да и взбеленится на неродившегося еще ребенка, начнет рвать и метать, и проклинать.

Кстати сказать, ведь вон был же подобный случай рассматриваем недавно на суде. Хороший, умный, добрый мальчик доведен был матерью до того, что пытался ее отравить, чтобы она хоть познакомилась с чувством жалости к самой себе, не обнаруживая его к сыну всю жизнь, и притом без малейшей причины. Из дела выяснилось, что мать возненавидела его вот именно таким, Варькиным манером, и нужно было довести славного мальчика до скамьи подсудимых и до обвинения в преступлении, грозившем каторгой, чтобы сия зоологическая дама пришла к мысли «простить» мальчика. «Ну, что уж в каторгу! — глубокомысленно изрекла она на суде. — Мы его *прощаем*».

Чувствуя в себе изъян по части зоологической безукоризненности, Михайло также *чуял*, что этот изъян *не может* не отразиться на безукоризненности Варьки. А если это так, то ведь «все может пойти прахом». Отчего родятся на свет калеки, слепые, безрукие? Отчего родятся двухголовые не люди и не звери? Одна такая-то мать обругала ребенка, когда он был в ее утробе, со зла сказав: «Вот еще пасть собачья народится! .. Тоже хлеба будет просить, чтоб ему первым куском подавиться!» И что же? Посмотрите: этот ребенок теперь портной; рот у него собачий, хлеба он есть не может, а только и жив молоком, а говорит по-человечески еле-еле... Другая мать также сказала: «Чтоб тебя черти уволокли!» — и опять вышло слово в слово: как только мальчонка подрос, так чорт и увел его и водил тринадцать лет, заставляя все овины поджигать, пока мальчонку не упекли

в Сибирь... А все отчего? Целая масса подобных ужасных случайностей пришла в память Михайле, как только он стал думать по-крестьянски, и страх перед Варькой гвоздем засел в его сердце... «Если она почует да поглядит на меня, как сумасшедшая, да начнет неведомо что говорить», — думал он, и мороз подирал его по коже. Случись, что она задурит, случись, что придется ее бить, тогда все пойдет бог знает как. Какое это крестьянство?

А тут еще и «помни!», которым погрозилися Афимья и Аннушка. Афимья может сделать «со зла», а пред Аннушками он уже считал себя не только виноватым, а и великим грешником; теперь он *боится* этого, а как он попирал это самое еще недавно, зная, что́ это значит в жизни человеческой!

Таким образом, начало беды зародилось прежде всего в самом Михайле: он испугался, что его физическая небезукоризненность внесет во все существо Варьки, его будущей жены, страшную, неисцелимую, потрясающую смуту, которая может расстроить, разрушить, уничтожить все, всю жизнь его и ее, и всего дома, и всего, что живет около и вокруг дома. Этот страх физических бед осложнился тяжким сознанием греховной нечистоты, греха, который у бога не может быть оставлен без наказания, и наказание это придет, и он ждал его ежесекундно с той минуты, когда уха его коснулось слово: «Помни!»

Испуг Михайлы понемногу заразил и всю его семью (целый вечер Михайло почему-то разговаривал с своими родными об уродах, и всех обуял страх), а потом перекинулся и в дом невесты, куда тоже дошли слухи об этом «Помни!» Было бы долго рассказывать, до какой степени исполнен всяческого суеверия такой деревенский тип, как Варвара, невеста Михайлы. Она не могла не быть бесконечно, безгранично суеверной; это была образцовая, прямо взятая из глубины тайн «крестьянства» женщина. И одной мысли о том, что ей что-то сделают, было совершенно достаточно, чтобы потрясти все ее гигантское тело. Она захолонула от испуга именно потому, что не была в состоянии понимать, обдумывать, соображать. Не такая она была натура, чтобы уметь думать; она могла только «озираться» и трепетать всем существом с того самого момента, когда услышала слово «Помни!». И когда, наконец, настал день свадьбы, то в обеих

семьях, жениха и невесты, не было человека, который не ожидал бы чего-нибудь ужасного.

Именно в этот день, день свадьбы, всякая гадость и творится с молодыми.

Совершенно струсивший Михайло не пил и не ел по совету дружки два дня, даже не дозволял себе выйти из комнаты в течение этих двух дней, так как именно в эти-то моменты, когда человек не думает, тут-то и делаются ему гадости. Таким образом, в день свадьбы он был совершенно изможден, с страшною болью в животе и еле держался на ногах. Невеста вся обомлела, и «вся внутренность» у нее затряслась и захолонула, едва она глянула на жениха: лица на нем не было, потому что, кроме физических страданий, он с минуты на минуту ждал, что это «Помни!» вот-вот проявится в каком-нибудь угрожающем действии.

От трепещущего жениха страх перед «чем-то» передался всем поезжанам, всей родне, всем зрителям, и когда следовало бы тронуться свадебному поезду, то вся толпа народа, с минуты на минуту ожидавшая какого-то события, окружила поезд в таком глубоком, загадочном молчании, что даже лошади испугались, не понимая, почему это целая куча давно знакомых им мужиков среди белого дня что-то шушукает вокруг них, тогда как еще вчера все они говорили громко или во все горло...

— Но! но! — трепещущим голосом понукал лошадей кучер, но лошади только пятились, а народ расступался.

— Но! — уже едва слышно прошептал кучер, а народ еще подался, лошади еще попятились.

В это время как раз мимо открытых ворот прошла Афимья...

Тут уж всем стало ясно, что дело нечисто, что уже что-то случилось непоправимое.

8

Как происходили венчание и свадебный пир, я не стану изображать; скажу только, что все, и гости и хозяева, чувствовали себя мучениками. Наутро подозрения семьи оправдались. Молодые встали как бы испуганные и ошалелые. Они были испорчены; это несомненно. Скоро и

Афанасий и Иван убедились в этом сами. В тоске и в каком-то отчужденном остолбенении провели молодые этот день и кое-как дотянули до ночи.

В спальню они пошли, трясясь от страха всем телом. Кровать казалась им не кроватью, а разверстой дьявольской пастью, и когда они легли туда, то оба почувствовали себя как бы окаменелыми от холода. Зубы стучали и у мужа и у жены. С испуга с женой ночью сделался припадок истерики. И это так подействовало на мужа, что он, выскочив в испуге из спальни и уже нимало не сомневаясь, что «беда» сделана, не успел раскрыть рта, чтобы позвать на помощь, как упал на пол, и его стало ломать, корчить, трепать.

Теперь не узнаешь Михайлу: так он изменился, похудел и подурел. А давно ли это был вполне развязный молодой человек нового деревенского направления, человек «пинжака», кадрили, хорошего обращения? Глядя на него и на этот «пинжак», на этот бал, на котором он кушает щеколад, и сига, и апельсин, подумаешь: как изменилась деревня против прежнего, какая «образованность» распространилась в ней и как она далека от старинной мужицкой темноты! А между тем темнота-то эта совсем как была, и даже с самим чортом, которого всякий хороший мужик видал на своем веку не раз, вся тут, в этой кадрили, на этих балах, среди этих «пинжаков»... Во всякую минуту самый настоящий чорт может появиться среди этой образованности и превратить ее всю без остатка в прах и пепел.

IV. «ПЕРЕСТАЛА!»

(Из деревенских заметок)

1

— Ну что же, Михайло, как же ты поживаешь? Как твои дела?

— Ничего! Слава богу! .. Теперича ничего; живем помаленьку!

Более десяти лет не видал я этого Михайлы, и теперь, когда он меня опять вез по той же самой дороге и в те же самые места, где много лет назад и мне с моими близкими и Михайле со всеми нами было так хорошо жить,— оба мы, встретившись после долгой разлуки, жадно стремились поговорить друг с другом «по душе», поговорить долго, много, откровенно, как «говаривали» в старину мужики, освободившиеся от господ, и господа, стремившиеся «из господ» если не в мужики, то хоть к мужикам. Однако и мой вопрос и Михайлин ответ вышли как-то официальны и сухи, и даже конфузливы, несмотря на то, что нам обоим хотелось завязать самый душевный, самый настоящий разговор. И такой разговор непременно бы завязался у нас, если бы у меня хватило духу начать его с вопроса о самом существенном и важном для нас обоих деле и вместо ничего почти не означающих слов: «Как ты поживаешь?» прямо бы спросить:

— Ну как ты, Михайло, теперь с женой живешь? Перестала ли она мудрить, бунтовать?

Но, признаюсь, у меня на это нехватило духу: говорить с Михайлой о его жене — значит вспомнить те времена, когда мы, так называемые «хорошие господа», что-то такое хотели сделать по-хорошему с хорошими Михайлами и, вспоминая все это, знать, с горьким ощу-

щением ясно сознаваемой вины на сердце, что из всего этого, начатого по-хорошему, ровно *ничего не вышло* до сих пор ни для нас, «хороших господ», ни для них, «хороших Михайлов». Вообще мы, «хорошие господа», и они, «хорошие Михайлы», как-то осрамились за этот двенадцати-пятнадцатилетний промежуток времени и, осрамившись, решились существовать изо дня в день, немного привирая, немного сокрушаясь, немного фантазируя и затем опять-таки привирая понемногу, конечно всякий раз с глубоким вздохом.

И вот почему я не мог начать разговора с Михайлой так, как бы следовало начать. Дело Михайлы с женой чисто семейное, но оно обоим нам напоминает «те времена» и те взаимные влияния, под которыми мы в то время жили, то есть влияния «хороших Михайлов» на «хороших господ» и «хороших господ» на «хороших Михайлов»; мы в то время, и Михайлы и господа, — конечно, «хорошие», — жили исключительно хорошими впечатлениями, получаемыми друг от друга. Прошлое — нехорошее, темное, тяжелое — нам не вспоминалось; о будущем мы еще не думали как следует, а жили настоящим, зная, что оно хорошо, что нам, во-первых, надобно и, во-вторых, можно быть хорошими. Тогда для нас, «хороших господ» (нас тогда жила в деревне целая компания), не могло быть в деревне ничего дурного, все деревенские люди добры, все заслуживают полного уважения, волноваться какою-нибудь неприятною чертой в каком-нибудь неприятном деревенском человеке было просто глупо: чтó можно спрашивать с таких людей, которые, мы сами видели собственными глазами, трудятся в поте лица? Какая же тут критика со стороны нас, живущих без труда? Им нельзя не быть такими, они ни капельки не виноваты, — напротив, мы виноваты и должны делать для них все хорошее. Чтó собственно должны были бы мы «делать», мы не знали, но знали, что относиться к ним, как к самым уважаемым людям, было вполне обязательно — обязательно без всякого притворства и насилия над самим собою. Принимать всякого мужика лучше всякого городского гостя, называть по имени, по отчеству, отнюдь не «торговаться» насчет грибов, подводы, дичи, ягод, отворять дверь всей деревне, когда в доме именины, елка или вообще праздник, — это

тоже было непритворно-обязательно, а главное, приятно. Разговоры о школе, о необходимости дороги через болото, о ссудном товариществе, разговоры огромнейших размеров с широчайшим развитием задачи предприятия — тоже были задушевнейшие, отраднейшие и любопытнейшие. С другой стороны, и «хорошие Михайлы» были тоже довольны и чувствовали себя хорошо с нами: «приди, когда хошь, спрашивай везде»... «без торгу»... «по совести»... «не гнушаются нашим братом, мужиком»... «просто», — вот те черты, которые нравились в нас Михайлам. «Дела» какого-нибудь существенного не было, но было что-то обоюдно хорошее, обоюдно снисходительное, ни капельки никому не обидное, напротив, одинаково заманчивое как для «хороших господ», так и для «хороших Михайлов».

Среди таких-то взаимных отношений между хорошими господами и хорошими мужиками *особенно* хорошими оказывались они между нами и Михайлой. И нам было «особенно» с ним хорошо, и ему «особенно» хорошо с нами. Он был такой же мужик, как и все, в таком же армяке и таких же лаптях, и с такою же, как у всех мужиков, бородой, но было в нем нечто и иное: он уже был грамотен, и грамота, очевидно, затронула его мысль, которой было уже над чем попрактиковать себя. Вследствие домашних затруднений он много лет жил в городах, много перетерпел, перестрадал, но в конце концов сохранил и на себя и на все виденное и пережитое им светлый и неодносторонний взгляд. Он мог судить «вообще», не жалуясь только на неправду относительно его самого. Вот эта-то черта, то есть возможность с Михайлой говорить «вообще», не чувствуя при этом неловкости разговора с рассуждающим писарем или дьячком и, к удивлению нашему, не замечая даже ни малейшего коверкания языка, — это и было первое, что особенно нравилось нам в Михайле, а затем понравились и его деликатность, покойная, невыдуманная, его «достоинство», никому не мешающее, и затем желание «жить почище, поблагородней, потише, поумней». Он был мужик, но понимал мужиков больше, чем понимали их мы или даже сами они. И его ирония, спокойное, добрым голосом сказанное ядовитое словцо или характеристика были и умны, и просты, и приятны. С своей стороны

и Михайле было хорошо и свободно с нами: мы поняли ведь, чтó именно в нем хорошо, поняли, что он умен, что он умно и хорошо думает, что есть в нем что-то, кроме лаптей и мужицкого армяка, — словом, поняли и оценили то, чего, быть может, никто в нем не ценил с тех пор, как он живет на свете. Из сторожа сельской школы он превратился в нашего сожителя, то есть он работал там на дворе, колол кое-какие дрова, но здесь, в комнате, был совершенно как «свой».

Другое *особенно* нам приятное и симпатичное лицо среди «вообще» хороших деревенских людей была Авдотья, молодая девушка, сирота, существо живое и милое. Она из замарашки с босыми ногами, из худенькой и оборванной нищенки-девочки на наших глазах превратилась в стройную, опрятную девушку, выучилась читать и писать вместе с «господскими» детьми, не забывая в то же время подметать пол, сказывать сказки, играть в горелки, работать самую черную работу и в промежутках учиться, добиваться возможности читать Некрасова, Григоровича. Было в ней все, что нам, «хорошим господам», могло быть приятно: было, во-первых, все крестьянское, начиная с проворных босых ног, с этих непрестанно работающих рук и кончая неизменно веселым настроением духа во всевозможного рода черном труде; было, кроме того, еще и другое, не крестьянское, именно пробужденная мысль, желáние почитать книжку, желание узнать, «чем кончится» история, которую вчера читали вслух, — словом, было что-то, особенно нравившееся нам, все-таки еще городским жителям.

Под влиянием таких взаимных симпатий немудрено, что у всех нас должны были являться мысли о будущности Михайлы и Авдотьи. «Не выходить же Авдотье за мужика?» «Не жениться же Михайле на деревенской бабе?» Положим, что мужики и бабы деревенские были нам тогда «вообще» все очень симпатичны и приятны, но Михайло и Авдотья все-таки не то, что настоящие черноземные мужики и бабы. Им уж как-то иначе надобно жить, как-то гораздо лучше, светлее и изящнее. А Михайло и Авдотья? Несмотря на то, что между ними не было еще и помина о каком бы то ни было сближении, раздумывая о своем будущем, они не могли не думать о нем точно так же, как и мы. Можно ли было Авдотье

кончить замужеством с мужиком, хоть бы и богатым? Нет. Она уже знала, что «будет бить ее муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть», знала это, думала об этом и, разумеется, не могла не желать какой-нибудь иной перспективы. Да и Михайле, у которого, кроме мужицких мозолистых рук и мужицких лаптей, было еще что-то, в голове бродили какие-то размышления, едва ли улыбалось сожительство с самою несокрушимою в работе деревенской бабой; ему уж надобно было и человека, с которым «можно слово сказать». Благодаря таким отношениям и взаимным влияниям — не знаю с чьей стороны, с нашей или с ихней — возникла мысль о браке Михайлы с Авдотьей. Она как-то нечаянно явилась между всеми нами и никого ровно не удивила. Брак состоялся и именно во имя наших общих мечтаний: они будут жить «хорошо», умно, тихо, мирно. В это мирное, тихое, благообразное житье гораздо более нас верили сами Михайло и Авдотья. Михайло ее ни в чем не будет неволить; не такой он человек, чтобы, боже сохрани, тиранствовать или безобразничать над женой. Знает он мужика и мужицкий норов; он перенес все это на себе, и не то что повторять его над кем-нибудь, ему и вспомнить страшно о нем. И Авдотья вполне была уверена, что ее жизнь не будет похожа на жизнь истираненной деревенской бабы: не такой Михайло человек.

«Хорошие господа» помогли Михайле завести лошадь и телегу, а он начал заниматься извозом, что дало ему полную возможность существовать безбедно. «Пока» было хорошо; оставшийся Михайле домишко, долгое время стоявший пустым, благодаря Авдотье преобразился совершенно и ожил; мы, «хорошие господа», заезжая к Михайле, всегда чувствовали себя чрезвычайно хорошо: светло в домишке, тепло, опрятно, уютно, весело. Картинка на стене из «Нивы», в шкафу вместе с чашками книжки — Некрасов, «Записки охотника»; угостят нас чаем — выйдет совсем не по-мужицки, а точь-в-точь так, как и мы сами угощаем Михайлу и Авдотью, когда они приезжают к нам: ни стеснения, ни низкопоклонства, ни раболепства, а самая простая, деликатная, человеческая ласка и внимательность.

Дальнейших перспектив, как я уже сказал, насчет продолжения «хорошего настоящего» ни у нас, ни у Ми-

хайлы никаких мало-мальски определенных еще не было. «Пока» теперь было «хорошо» и, вероятно, так же хорошо и будет. Но вот к нам, «хорошим господам», приехал становой пристав, приехал неведомо зачем, покурил папироску, извинился и уехал, и с этого дня мы уже стали понимать направление, по которому пойдет будущее «хороших господ», очертания «перспектив» стали нам делаться с каждым днем яснее и яснее, а по мере этой ясности нам становилось то обидно, то невыносимо, то ужасно, то гадко, то по-заячьи трусливо, малодушно-подло и вообще так худо, так скучно, что сначала мы съежились, потом загрустили, затем перебрались в город и так постепенно, «со ступеньки на ступеньку», дошли до теперешнего «тишайшего» влачения дней за днями, начинаемых, продолжаемых и оканчиваемых глубокими воздыханиями.

А Михайло и Авдотья остались в деревне совершенно без всякой перспективы. Сначала от них бывали письма — письма хорошие, приятные нам, потом они перестали писать. Потом чрез деревенских людей стали доходить слухи, что у Михайлы и Авдотьи неладно, нехорошо. И так пошло, что дальше, то хуже. Однажды кто-то принес известие: «Бьет он ее, Михайло-то», а в другой раз: «Пьет Михайло мертвую... в темной сидит». А что рассказывать стали про Авдотью, так это и сказать совестно.

Вести эти как-то духовно придавливали нас.

«Вот они, книжки-то!» — иногда мелькало в нашем напуганном сознании, и мысль о «суете сует» все чаще стала сжимать сердце в тех случаях, которые, бывало, могли его только радовать.

2

И вот теперь, почти через двенадцать лет, мне опять пришлось встретиться и с Михайлой и с теми самыми местами, где когда-то так «хорошо жилось». Но едем мы с ним, Михайлой, зная, что все теперь стало по-иному: и мы, и усадьба, и порядки, и дух усадьбы, — все уж не то́, все по-новому, «по-скучному».

Впечатления настоящего и прошлого не дали нам возможности начать искренний и простой разговор, и мы

долго не могли наладиться. Верст десять мы ехали, постоянно разговаривая, и все-таки это был разговор не настоящий, не о том, о чем нам следовало и хотелось бы говорить. Но вот кончилось разбитое и трескучее земское шоссе, телега свернула в сторону, въехала в лес, в тот самый, в глубине которого стояла когда-то наша милая усадьба, пошли знакомые болотца, послышалось знакомое чавканье лошадиных ног в мокром мху.. и нам стало просто необходимо говорить друг с другом без всяких экивоков, а так же просто и свободно, как гаваривали и «тогда».

— Ну что же, Михайло, — произнес я уже без всякого стеснения, — как же твоя жена? Как ты поживаешь с ней?

— Слава богу! Перестала теперича! — быстро обернувшись ко мне, радостно ответил Михайло и глянул на меня влажными, ласковыми глазами.

— Ну, слава богу!

— Совсем перестала! Слава тебе, господи!

Михайло соскочил с козел, как это он делал в старину, проезжая топкие места, и пошел рядом с телегой, положив руку на ее край.

— А уж как она меня умаяла!

Он сказал это почти шопотом, но так покачал головой, что я только теперь понял, до какой степени он действительно устал, только теперь разглядел, как он изменился и постарел; он сделался как-то у́же в боках и плечах, щеки его сильно ввалились, ноги как будто подлиннели, расслабли, и весь он, слегка сгорбившись, держался как-то наклонясь вперед, а то особенное, «интеллигентное», что когда-то так пленяло нас в Михайле, исчезло теперь без следа: он был просто измаявшийся мужик.

«Устал, устал!» — думалось мне, и я не тревожил его расспросами.

Некоторое время он шел молча, продолжая держаться рукой за край телеги и, очевидно, отдыхая от той тяжести, которая у него до сих пор лежала на душе и которая как бы свалилась с нее, когда он сказал: «Перестала!»

— Нет! — начал он, поотдохнув, — кабы в ту пору нам с Авдотьей прямо бы в крестьянский хомут влезть, то есть прямо бы за крестьянство взяться, а не разговоры разговаривать, так ничего бы этого не было. Верное

слово! Нам свою силу мужицкую нельзя по ветру распускать, нам нужна запряжка, чтоб дохнуть некогда было. Силы много, особливо в бабе. Ее ведь, силу-то, тоже надобно девать куда-нибудь, а куда ее в нашем-то положении денешь, ежели крестьянством не охомутаешься? Ну вот от этого от самого. Не отбейся я сам-то от крестьянства с малых ден, так и прожил бы век тихо, благородно. А то ведь меня с малых ден от крестьянства-то отбивало, дальше да дальше... Наше семейство было завсегда первое по крестьянству-то; были мы завсегда в полном достатке и век бы так прожили, да как грянула эта самая оттоманская порта...

— Какая порта? что такое?

— А как же? А севастопольская-то кампания, англотурецкое столкновение? . Мы были мужики всегда исправные, хлебные. Этой палки или оплеухи какой-нибудь, как крепостные, мы и знать не знали, ведать не ведали; мы были крестьяне государственные; я был мальчишка холеный, любимый, в школу казенную бегал, а учитель меня шибко хвалил; баловали меня, потому работников было в доме много: отец, два брата... Все шло честь-честью, ну а как император Николай Первый потребовал ключи от Ерусалима, да ключей-то ему черномордые дураки не отдали, так он тогда и зачал их, подлецов, лущить по башке... Вот тут-то никак года в два четыре набора было, тут-то вот наш дом и разорился... Как потребовали первого брата, так отец-то весь дом распродал, хотел его как-никак высвободить, докторам платил, всякие манеры перепробовал, однакоже взяли, а немного погодя, слышим: помер на Черном море, а дело-то не меньше как в тысячу рублей стало. Не успели оглянуться — и второго берут... Тут отец весь по шею заложился — охотника купил; заложился он моему дяде, своему брату, темному кабатчику петербургскому. И только было охотника сдали, принялись в дому дыры чинить, разоренное гнездо поправлять, хвать — и второй брат помер... И затосковали мои родители, руки опускаются! Запустел наш дом, ослаб, вся сила из него вышла... Хирели, хирели мои родители, да один по одному и ушли на тот свет... Перед смертью-то родитель мой и объявил мне: «По случаю, говорит, кампании задолжал я Михайле Кузьмину, брату-кабатчику, тысячу

триста рублей, так ты, говорит, Михайло, по случаю нашей смерти один ему и остаешься плательщиком... Терпи, баит, малый!» и помер. А как заключили парицкий трактат, тут меня кабатчик-то и сгреб! Да лет двенадцать он, дьявол, выколачивал из меня эту самую порту оттоманскую! Швыряет меня, как полено, с места на место, куда ему угодно, обирает за меня деньги, и все я никак не могу рассчитаться! Там уж и мир заключили, и ключи отдали, а он — то в печники меня, то в квасники, то в полотеры, нет мне никакого перемирия! А мальчонка-то я был не простой, балованный, любил, чтоб меня похвалили да погладили, а не так, чтобы за волосы или по шее. И стало меня зло забирать, и умишко-то тоже у меня заворчал. Злей да злей становлюсь, не хочу жить, уйду, наплюю, а за обиду к мировому. В ту пору уже суд пошел новый, а я ведь грамотный был, и мимо меня это дело не прошло. Возьмешь листок — видишь, что не потакают подлецам. Это мне по вкусу пришлось, думаю: «буду воевать с негодяями!» Об это время разыграл я большое представление! Устряпал меня трактирщик в кучера, в казну, возить курьеров. Вот один из них и свистни меня по уху: попал я не в тот переулок, куда надо. Я, ни слова не сказавши, с козел долой, прямо с разбитой рожей к городовому: «Где доктор?» Курьер остался, орет, зовет, вопиет, — сколько угодно! .. Я своею дорогой в участок: «Извольте засвидетельствовать, так и так»... Да к мировому! Да такую там речь провозгласил, рты разинули! И не о своей обиде я провозгласил, а расшумелся о неправде, о том, как нас, бедных, притесняют, мордуют. «Мне не надо, говорю, ничего: ни денег за обиду, ни того, чтоб его, курьера, наказали, ничего не надо! Ничего мне не надо, а я, говорю, хотел только доказать против подлости!» Отбрил всех негодяев, хлопнул дверью да и был таков. И стал я, признаться, с этого дня зашибать вином. Получил в казне расчет, двадцать восемь рублей, ни копейки моему кровопийцу не отдал, пил, пил, домотался до участка.

— Да сколько же тебе тогда было лет?

— Да когда парицкий трактат-то заключили?

— Трактат заключили в пятьдесят шестом году...

— Ну, при трактате мне было лет пятнадцать, а как зашибать-то стал, тут, надо быть, лет уж под двадцать

пять подошло... Однакож мой хозяин вытрезвил меня и опять водворил на место. Утвердил он меня в щапинском дилижансе, с Большой Садовой в Новую Деревню... Уж и маята ж только настала для меня! Не приведи-то господи! Что одежа, что одры-лошади — чистая смерть! День-деньской дерешь-дерешь одров-то, самого-то бьет-бьет на козлах, — жарища, пылища... Смерть моя! Замучился я, вся у меня душа изныла, думаю-думаю: «когда этому будет конец?» Никакого свету не видать! Нет! Нет моих сил! Бросил все, напился пьян, дилижанс вывалил, одежу разодрал вдребезги, — «Подавай расчет!» А расчета не дают, мой живорез уж так обделал дела, чтобы все ему шло... Ах ты... Стащил хозяйский армяк, уволок, продал, пропил... Украл! Что станешь делать? Украл, думаю: «конец, все одно», пустился во все тяжкие... Этого рассказать невозможно всего, что было... Ведь я вам как на духу говорю — в остроге сидел! вот до чего! По этапу препроводили на место родины, а на родине принялись меня учить, драть, ожесточили! Опять я задурил, опять меня упечатали в темную... Кончилось — «не принимает общество» — и шабаш! Иди в Сибирь! Тут уж живорез меня выручил, потому я ему нужен... Приткнули меня к обществу кое-как... Вот тут-то я, весь изуродованный да измордованный, и прилип в училище в сторожа... Ну, а потом господь послал добрых людей, хорошую компанию, обратили на меня внимание... не дали пропасть... Вот тут-то я и оженился на Авдотье-то... Вспомнишь-вспомнишь прошлую-то жизнь — жуть одна, мороз по коже подирает! Не видал я хороших людей; и города боюсь, и деревня мне не сладка досталась; видел их, как они меня учили, знаю уж этих старичков почтенных, — вот и надумал жить почище да не кланяться и не якшаться... Бог, мол, с вами, проживем с Авдотьей поблагороднее... Ан вот...

С тяжким коротким вздохом произнес Михайло эти слова, но, к удивлению моему, вместо того чтобы, как я ожидал, заговорить о чем-нибудь тяжелом и неприятном, вдруг неожиданно улыбнулся.

— Как вспомню первое-то время, как мы с Авдотьей жили, — заговорил он, весело улыбаясь, — так уж не перечесть, сколько я в ту пору всякой смехоты

нагляделся. Бабенка молодая, сильная, складная, а хозяйства-то настоящего нету. Я в ту пору и думать не хотел, чтобы мне пойти к обществу поклониться: «Дайте, мол, земельки!» И сохрани бог! Это чтобы галдеть, кланяться, врать и поить их? И ни-ни, ни за какие миллионы! Да и так хватало на расход, очень даже прекрасно пошла моя езда. Ну вот, Авдотье-то и некуда свою силу-то деть... А силы-то много, — у-ух, сколь много в бабе силы! И девать ее куда-нибудь надобно. Ну вот она и стала из моей Авдотьи-то вывинчиваться во что ни пришлось. Жили мы в старом флигелишке отцовском — сенцы да каморка в три окна с русской печкой. Всего объему будет шагов восемь в долину, да шагов шесть в ширину, а до потолка и руки не разогнешь — упрешься; так вот она в этаких-то размерах и то сумела ни дня, ни ночи себе покою не найтить! И моет, и скребет, и трет, и царапает, и приколачивает, и то есть никакого нет окончания! Тысячу верст вокруг самой себя сделает в сутки, а все еще не все переделала. И занавески, и полотенцы, и всякие малости. Так у нее игла-то и шмыгает в пальцах, как молния.. Кровать вознесла такую — даже лечь совестно — придешь в грязи, думаешь: да как же это можно? Это, мол, все равно, что лаптем в горшок с молоком стать, то и мне в этакое благолепие воткнуться. И кажинный божий день этаким манером, к ночи с ног собьется, а с утра опять! Таракан какой попадется или клоп там, уж она его выдерет из самой стены со всем семейством. Бабенок каких-то молодых подобрала в компанию, так они, бывало, целою компанией за тараканом-то в щель вопьются... Выволокут, дверь настежь распахнут, всею компанией на двор выбегут: тра-ра-ра-ра-ра-ра! Кипяток сущий кипит, как у них этот разговор идет! Одна из ихней компании, тоже горячая бабенка, так та за черным тараканом без памяти так втиснулась за печку, еле я ее выдернул оттуда за ногу... Да неужто же не всё, думаю? Нету, куда там! Еще на всю жизнь хватит! Забила, заклеила во всех щелях, все искоренила, обшила, обрядила, — «нет, говорит, надо все ободрать, да ножом выскоблить чисто-начисто!» И все ножом ободрала, обскоблила, и стены, и полы, и лавки, и столы, и шкафики, и полки, и подоконники; скребла-скребла — доскреблась до потолка, на та-

бурет установилась, перегнулась вся, смотреть-то душа замирает! Ну, тут уж, должно быть, и господь осерчал: оступись она с табурета, да кубарем, да головой о печку, а спиной об пол. «Ох, матушки мои родимые!» Ну, думаю, окончание первого действия! Занавес опускается! Положил ее в кровать, поехал за доктором, привез примочки. «Лежи, думаю, друг любезный, поправляйся! Не будет ли чего любопытного во второй пьесе?» — «Ох, матушки-матушки родимые!» А меня так и разнимает смехом: доскреблась же до беды!

Посмеялись мы над Авдотьей, и Михайло продолжал:

— Начинается, однакож, и второе действие. Лежит она, стонет, охает, а бабенки одна за одной к ней да к ней, пожалеть, поохать, потужить, присоветовать. Тарара, да тарара, вошла моя Авдотья во вкус сплетни плести. Поправляется, с постели встает, по избе ходит, а язык свое делает: у Петра курица пропала, у Ивана овца чихает, у дьякона жена сердита, на колокольне галчата вывелись. Я молчу, пущай, думаю, галчата выводятся. Дальше — больше, поправилась, надобно и соседок отблагодарить. Сегодня у Марьи побывала, целый мешок новостей принесла, а завтра у Дарьи еще того больше заимствовала. Помаленьку да помаленьку стала моя Авдотья совсем шальная: то все вокруг себя мучилась, по тысяче верст в сутки делала, а тут дня мало стало чужих людей обегать. Ворочусь с работы, так из Авдотьи и хлынет: «У Захаровых зеленый платок купили, а Марья два аршина ситцу подарила куме, староста избил Пелагею, старшина любовницу завел, у Егора украли полушубок, Акулина мужа не любит, Петра приревновала. Никита — снохач, у Кузьмы деньги в погребе» — не приведи бог! Слушаешь, слушаешь, только около ушей словно бы вьюга шумит. А затем пошло дело Авдотьино и еще шибче: то она поодиночке перебирала Дарью да Марью, а то зачала от Марьи к Дарье переносить, а потом и в оборот — от Дарьи к Марье. Долго ли, коротко ли, смотрю, начали к нам и гости жаловать; то Марья придет, перекрестится и скажет: «Ты что ж это, Авдотьюшка, Акулине-то сказывала?», то Дарья вломится, загалдит: «Ты какие-такие про меня слова говорила?» Авдотья моя, само собой, отпирается: «Не я, мол, а Фекла». — «Как Фекла?» Глядь, и Фекла бежит: «Когда я говорила?»

Глядишь, и началась баталия. А Авдотья моя не такова баба, чтоб обробеть, горло у нее здоровое; как начала входить во вкус горло-то драть, так не успел я и оглянуться, как она на все село «горластым чортом» пошла считаться. Да ведь как! на пять верст слышно; да мало того, что из двора бабья визготня целый божий день звенит, точно паровик на фабрике, стала Авдотья и на середину улицы выбегать; станет, орет во всю глотку направо и налево, кулаком грозит: «Я тебе докажу, такая, сякая!» да еще и эдаким манером (он показал, каким) не постыдится сделать, ей-богу! Чистая срамота! А я-то боюсь круто на нее налечь, потому я себя знаю: чуть у меня защемит сердце злом, так уж я не остановлюсь. Вот я и помалчивал да кое-как урезонивал, а она все во вкус входит! — «Подлячки, такие, сякие. . . я им пропишу правду!» Догадай меня нелегкая, и начни я усовещивать ее таким родом: «что за охота, мол, тебе Авдотья, со всякою сволочью вожжаться? . . Ну чего ты к Марье полезла? Чего тебе у Петра надо? Зачем тебе про любовницу старшины знать? Ведь это, говорю, *вот какие люди* — они тебя съедят», — да и распиши их по-своему (а я от них ведь предовольно потерпел). Думаю, попритихнет, поопасется на грех наскочить... А она эти мои слова возьми да и разнеси по домам: «Мой, говорит, Михайло так и так вас почитает! Ты, говорит, вор, а ты душегуб». И отрапортовала! Так такой мути намутила — и зги-то не видно стало! Все село перемесила, точно тесто в квашне. Гляжу, и ко мне уж идут: «Ты что ж, Михайло, про меня сказываешь? Да я тебя, острожного мошенника. . .» Приду в лавку — «Нет тебе кредиту, пошел вон! Про мою жену твоя Авдотья. . .» Смотрю, старшина зовет: «Ты как же, мошенник, про меня смеешь такие слова рассуждать?» Да такую кашу заварила, еле-еле я вином судей отпоил, а то бы меня, раба божьего, и выдрали бы да из деревни бы вон выгнали... Вот ведь чего намутила!

Вздохнул Михайло, и взгрустнулось ему.

— Вот и второе действие кончилось у нас с Авдотьей, и кончилось не по-хорошему. Как пришел я домой-то с волостного пойла да как вспомнил, до чего меня глупый бабий язык довел, сколько я денег извел из-за бабьих сплетен да сколько я поклонов сделал нестоящим людям, — взяло меня зло! А на грех, и мне пришлось с мир-

скими пьяницами и водки и пива хлебнуть, вот я спьяну-то и зарычи: «Ну, говорю, Авдотья, ежели ты не перестанешь языком звонить, так я тебя — вот! (Михайло погрозил кулаком.) Расшибу, говорю, в мелкие части!». Она было мне: «Что ж? Я вправду говорила...» А я-то с пьяну хвать ее за это место под горлом: «Я, мол, тебе покажу правду! только пикни!» Да маленько ее тряхнул вперед, назад. Ничего она мне не ответила, а только грубая сделалась сразу, и глаза у нее стали грубые; взглянет — точно обухом ударит. «Кабы, говорит, у меня ребенок был, так я бы и на тебя-то, дурака, не глядела, не то что по людям ходить!» Только и сказала, а по голосу мне слышно, что опротивел я ей. Да и мне-то стало нескладно, потому ребенка действительно не оказывалось. вот с этого разу и стало между нами студенó. . Бывало, стараешься взять недальнего седока, который поблизости, чтобы от дому недалеко было, ну а тут что-то будто и не охота стало дома-то сидеть... Иной раз сидишь в трактире, пиво пьешь, а домой не тянет... и даже стал брать самые дальние концы, верст за сто, за полтораста, по неделям дома не бывал... А Авдотья между тем думала, думала, да и надумала новую заботу — ревновать! Воротишься откуда-нибудь из дальней поездки, ничего не скажет, а поглядит, точно топором ударит... Гляжу-погляжу, раз прибежала в трактир, оглядывает, осматривает: «Ты чего, Авдотья, тут? Зачем?» — «Я, говорит, знаю зачем». А у нас в трактире, на станции, всякого сброду довольно, и мужчин и баб. «Тебе любо, говорит, тут с девками-то бражничать?» И главное то досада, что правды-то нисколько нет, а зла в ней по этой части с каждым днем больше делается. А уж коли в бабе неправда против тебя, да еще зло бешеное, так тут и мужик начинает думать по-звериному. Стало так, что ни шагу ступить, ни слова сказать ежели с бабой — сию минуту Авдотья тут, караулит и злющими глазами смотрит. Ходит за мной с своими глазищами, точно с заряженным ружьем, а меня всего так и рвет за сердце от этого. Докараулилась до того, что вышел я из всех границ. Привез я на хутор как-то со станции купчиху одну с девочкой, вдова... Купила она хуторишко, верст десять отсюда — «буду, говорит, век доживать!» Хорошая женщина. Знакомых нет, вот она у меня то тó

спросит, то другое; я, что знаю, скажу; «съезди-ка туда-то» — съездишь; «привези то-то» — поеду, привезу. И стали мы не концами считать, а так: «за все». И хорошо платит, добрая. Иной раз скажет: «Чем тебе домой ехать, да опять завтра приезжать, ночуй в кухне», ну и ночуешь. А наутро уедем с ней в лес, тес или что прочее покупать, да так иной раз ден шесть — хорошая женщина! А мне кого ни возить, сами знаете. «Поди, Михайло, в кухню, попей чайку», скажет; ну, сидишь и пьешь. А чтобы худого — ни боже мой! Вот раз сижу так-то, пью чай в кухне; глядь, моя Авдотья на дровнях, в дипломате подлетела и прямо в дом к купчихе. Минуты не прошло, смотрю, содом в доме начался. И Авдотья визжит и купчиха. Слышу: «Любовник! любовник!..» Не успел опомниться, а Авдотья и купчиха, обе как ястреба, в кухню влетели. Купчиха-то тоже не в себе: «Как так? как она смеет? чтобы я. .» Тут я понял, рвануло меня, бросил я стакан с чаем, да прямо в Авдотью. Сгреб ее, себя не помню, да как был в фуфайке, так и выскочил, да с Авдотьей-то на тех дровнях без шапки, да дул ее, дул без памяти всю дорогу, уж и не помню, что я с ней делал. только большой скандал вышел, шибко мы осрамились, а Авдотья и совсем слегла. Жаль мне ее стало; стал я ее ублажать — нет! Молчит, ни слова не говорит! И вижу я, что с каждым часом отходит она от меня дальше и дальше, словно льдина оттаяла от берега и поплыла. Отмяк ледок от берега, тронулся — чуть глазом приметишь, а потом понесло его стрелой. . Так и с Авдотьей стало. Откачнулась она от меня, остыла, и не успел я оглянуться, опомниться, нету моей Авдотьи! .. Чужая она мне стала, совсем незнакомая, будто мы и друг дружки-то не встречали. Зашла к ней без меня прохожая богомолка, побормотала ей про святые места и сразу втянула в богомолье. Я ведь по словечку обо всех Авдотьиных делах вам сказываю, а ведь ежели бы обо всех-то ее поступках и моих мученьях говорить, так ведь это в год не расскажешь. Захватило ее за душу богомоление, святость, и потянуло ее вон из дому, в пустыни, в леса дремучие. Как чуть весна началась, только и видел я Авдотью. Палочки, котомочки с зимы готовы, товарок ждет не дождется, и никакими силами не удержишь! .. Один я в избе-то, пусто, холодно, ни привета,

ни ответа. Просто хоть руки на себя наложить! .. Еле-еле лето кое-как пробьешься, и уж только в глухую осень, уж к снегу и Михайлову дню дождешься Авдотьи. Да и то совсем чужая! Нет того хозяйского неугомону, как сначала: топлена печь, не топлена — ей все равно; только бы зиму перезимовать, а потом и опять ее нету! И эдак года два она подряд меня томила; исхудала, отощала, оборвалась вся; тоска в избе-то, сокрушение одно. «Уйду, говорит, Михайло, совсем от тебя, на подвиг. Прости меня Христа ради!» А у меня у самого глаза слезами заливаются. На третий год, думал, совсем пропала, уж на санях стали ездить — нет Авдотьи! Все сердце мое изорвалось. потому хорошая баба, одно слово — сокровище! Не то, чтобы набормотать, да дела не сделать. Уж возьмется за что — так огонь! уж дойдет до последнего предела. Думаю: «пропала моя Авдотья, в самом деле в монашки ушла!» Только уж под самый Николин день привозят ее: больнешенька! Всеё продуло ее, дождем промочило, сгорбило, согнуло, а кашель так и ревет в груди. А я уж и не помню себя от радости! Хошь такую-то, мол, дай сюда! Свалилась, бедная, всю зиму промаялась, смерти ждала, да, спасибо, доктор добрый у нас человек, очень за ней глядел, каждую неделю навещал, лекарства давал — выправил-таки ее к весне... Стала моя Авдотья по избе ходить, и все на старое: «Вот придет весна, уйду на богомолье! В Ерусалим поплыву. .» — «Ну, думаю, ладно, попробуй!» — и решил так, что уж ни за какие миллионы ее не пущу; стосковался я, измучился. А заместо того случилось такое, что ни мне, ни Авдотье и во сне не снилось. Опять эта самая оттоманская порта чудить начала. Сидела, сидела смирно, да и стала народ резать без всякого снисхождения. Стала резать, а ее стали бить за это. Началась война. Вот в это самое время, как Авдотью потянуло вон из дому, хвать-похвать, вступает к нам полк. Авдотья рвется уйтить, храпит на меня, что я ее силом не пускаю, а солдат Яшка-красная рубашка, постоялец, сидит с трубочкой на крыльце, на гармонии жалостные песни играет... Такие жалобные фигуры выводит и голосом нежным песни жалобные поет. А детина здоровый, пес бы его взял, красивый, собака, удалой, и на гармонии мастер играть; гармония складная, «тальянка» называется,

четырехугольная. Только тронет, бывало, гармонию-то, а Авдотья уж и вздыхает: «Жалко мне его... убьют бедного!» Ну, как она его разок пожалела, вы уж и сами можете понимать, что́ дальше... Сердце у нее горячее, за что уцепится, так уж не как-нибудь... Недели не прошло, приезжаю из Тифина, сидят милые дружки, водку пьют, жалобные песни поют, на тальянке играют... Ну, тут уж мне и рассказывать-то не охота... Не то что рассказывать, а страшно даже подумать. Озверел я совсем, а уж Авдотья... ну, не дай бог никому этого! Все разорилось, все пошло прахом, все пропились, передрались, перецарапались... Срамоты что́ было — вовек этого не забудешь! Устрашился я как-то однажды своих злодейств, пошел к солдату: «Уйди, говорю, добром; возьми что хошь, только оставь!» — «Давай сорок целковых — оставлю твою бабу, а коли сама прибежит, так в шею накладу. А не дашь сорок серебром, ей-ей, сведу бабу!» Отдал, продал последнее. Тут Авдотью колотить начали с двух сторон: и солдаты «учат», и я из пределов вышел. Не знаю! Нет! И что такое было и как рассказать — нет, не приведи бог! Четыре месяца эдак-то тиранились, и чем бы окончилось это дело — не знаю, только не по-хорошему бы окончилось, это уж верно! да господь нас обоих спас от греха! Лаемся мы как-то с Авдотьей в холодной избе, без огня; она с кровати рычит, я с печи огрызаюсь, и вдруг незваная, непрошенная, входит калашница Артамоновна... Перемер весь ее род, так она на большой дороге около своей избушки калачами торговала... Помолилась богу, отдохнула и говорит: «Была я у всенощной, богу молилась, и всю-то службу, сама не знаю отчего, только про вас, горемычных, и думу думала. Вложил, говорит, сам господь, должно быть, эти думы в меня. И жалость меня к вам взяла. Шепчет вот кто-то на ухо: «Вызволи Михайлу, вызволи Авдотью! Скоро твой конец, помоги!» Меня даже слеза ударила от этих слов, а Авдотья так сразу коровой заревела. И говорит мне Артамоновна: — «Глупый ты, безбожный и безрассудный балбес! До чего ты довел твою жену и до чего себя самого произвел? Не дурак ли ты: хотел прожить с женой весь век за самоваром; думал ты, дурак, что будет она тебе благодарна, ежели ей только чай с сахаром пить, а никакого беспокойства не иметь? Куда ж она силу-то

свою денет, подумал ли ты? Ведь у ней, у жены-то твоей, на четырех баб силы-то хватит, а ты думаешь чаем ее отпоить? Ведь твоей Авдотье цены нет; вот она с солдатом связалась — так ведь на смерть готова; в богомолье ударилась — прямо на небо норовит, не как-нибудь; баб на чистую воду выводила — так ведь ее голосто за пять верст слышно. И этакую-то золотую бабу ты, балбес, удумал на всю жизнь оставить без затруднения? Почему же ты не делаешь ей в жизни затруднения? Ведь она всего хочет, понимаешь ли ты? Ей всего нужно. А ты самоваром хочешь отбояриться? Иди, глупый человек, в волость, созови сход, поставь угощение да в ножки мужикам поклонись, проси земли, да оба с Авдотьей впрягайтесь в один хомут, — да чтоб спина трещала, — вот и окончание будет вашей безбожной жизни! Всякий человек хочет всего, ну, богатый и укупит все; так ли, сяк ли, сумеет силу свою размотать и душу приютить, а вы-то, мужичье-то, что задумали? Куда вам окроме хомута? На такую бабу-то, как Авдотья, по-настоящему, надо бы какую заботу-то навалить, чтоб она не мудрила? Ей мало целого стада коров, да овец ежели двести, так и то она каждой имя даст и характер узнает, да кур тысячу, и то она запомнит об каждой, что́ которая курица думает, да детей ей нужно полдюжины, да чего тебе угодно навали на экую силу, так ей только-только в самый раз почувствовать, что она жива, на свете живет, а не в могиле зарыта. А ты, болван, поставил перед ней самовар, да и «живи в свое удовольствие!» А ты-то, говорит Авдотье, балалайка бесструнная, чего думала? Ты бы хоть мужу на портянки холста наткала, так и то бы тебе потрудней было, повеселей! Ах вы, глупые, бессовестные! Задумали без крестьянского хомута век свековать!». То есть ревмя ревели мы от этих слов оба, и Авдотья и я... И дай ей бог! Вот с этого-то дня мы с Авдотьей и опять оживать стали. Артамоновна-то не то что на словах, а и делом помогла. Сто рублей серебром вынула кровных денег: «мне, говорит, все равно помирать надо; на что мне деньги? Лучше вы начинайте жить сызнова!» И стала она нам заместо матери. Придет, журит... Усадила-таки Авдотью за стан. Уселась, растопырила локти, как калегвард на коне, да как застучал челнок, так у нее, у растрепы, и засияло расцарапанное-то лицо!.. Каким родом

опять я в крестьянство вошел, как всему покорился, как с Авдотьей в одних оглоблях пошли, — этого уж не стану рассказывать. А точно, затрещали наши спинушки в хомуте-то! У Авдотьи на жниве в первый-то раз спина от солнца пузырем вспухла, тело-то непривычное. А ничего! Барыша никакого нету, и достатка нету, ничего нету такого, чтобы сказать, «из-за чего бьемся», а что жить — точно, *жить* стали, стали словно бы не чужие на белом свете! И что трудней, то Авдотья горячей. Мало ведь и этого ей стало. «Ах, говорит, ребенка бы мне!» — «Да у тебя и так, мол, не мало заботы». — «Нет, говорит, у меня сердце тоскует; я-то сама в хлопотах, а сердцу-то нету заботы». И тут Артамоновна поняла. «Верно, говорит, ты, Авдотья, говоришь: надобно, чтобы и сердцу было затруднение, и тогда будет легче!» Подумали и так решили: взять на вечные времена чужого ребенка. И что́ хлопот было — боже мой! Что́ слез-то! Отдал было один вдовый мужик ребенка, мальчика, и контракт сделал, «чтобы не касаться, а в противном случае должен он отдать Авдотье тысячу рублей». В пьяном-то виде мужик все это подписал и пять рублей получил, ребенка отдал; а через месяц пришел тоже пьяный, да и унес его без всяких разговоров. «Я, говорит, женился!» А Авдотья уж так к нему привязалась, больше чем к родному! Что слез-то было! Потом ездили по тихвинскому тракту, девочку отдавала какая-то курлянка. Ну, не понравилась девочка-то Авдотье. Тогда уж с Артамоновной ударились в Петербург, в воспитательный дом, выбрали там мальчонку в полное свое удовольствие. Перебрали, говорят, штук двести, перепробовали, перещупали. Артамоновна-то сказывает, как очутилась Авдотья в этой куче ребят, так у ней глаза-то и разгорелись. Дать ей волю, так она бы дюжину привезла. И тот хорош и этот хорош, да вот ушки велики, а у этого ручки коротки. Наконец уж выбрали черномазого мальчишку, — растет! И то мало! Девочку, говорит, хочется. Вот у нас теперь и вышла запряжка крестьянская, почитай, в полном виде: Артамоновна заместо матери, мальчонка заместо сына, а мы с Авдотьей будто отец ему и мать. Ну кое-как, за работой да за крестьянством и живем помаленьку. Так вот отчего Авдотья-то мудрить перестала!

3

Скоро мне пришлось убедиться, что не один Михайло с Авдотьей перестали мудрить. Перестали мудрить и «хорошие господа». Убедили меня в этом два дня, проведенные в той самой усадьбе, где когда-то мудрили мы все. Повидимому, все то же: и лес, и усадьба, и люди, которые в ней живут, но того радостного тона жизни, который когда-то проникал во всевозможные отношения «хороших господ» с «хорошими мужиками», нет и в помине. И не враждебностью заменился он; заменился он отчужденностью, держащею мысль на сухих мелочах настоящего дня, ничего никому не сулящего, не имеющего никаких перспектив.

Все «перестали» — и Михайло, и Авдотья, и «хорошие господа». И это слово так въелось в мою мысль, что я, отправляясь с Михайлой в обратный путь и находясь под впечатлением этого, во всем видимом звучащего слова, не мог не спросить его:

— Ну, а мужики, Михайло, как? Перестали?

— Мужики-то? И-и! Так «перестали», что лучше требовать нельзя! Намедни отвалили господину Чибисову двадцать восемь тысяч рубликов из крестьянского банка! Стало быть, уж очувствовались! А ведь как мудрили-то!

— То есть как же?

— Да как же? Как вышло освобождение, так господин-то Чибисов в скорости сам им эту землю отдавал — «почем ни возьми, да возьми». Не брали! Куда! Дядя Сафрон говорит: «Чего ее укупать-то? Она и так должна отойтить. Потому, что́ земля, что́ вода, что́ нёба — все божье. Отойдет». Вот тебе и отошло! Нёба!

Михайло даже засмеялся.

— В ту пору учитель тут у нас был молодой. Сам Чибисов его привез школу учредить. Так этот учитель-то, бывало, как умолял мужиков-то: «Купите, ребята! Он теперь с актеркой связался, ему деньги нужны, покупайте! Поздно будет! А то ведь в банк заложит, не достанется вам!» Так его, этого учителя-то, за эти слова как поняли? Когда стали разыскивать, нет ли каких умышленников, злодеев, на первого на него указали: «вот кто злодей-то!» Ну, тот и пропал куда-то.

— Да за что ж злодеем-то его сочли?

— На зло подущал, вишь!

— Да какое же зло — купить землю?

— Вот в этом-то и зло-то! За это в Сибирь должны все пойтить, ежели землю-то купить, — вот какие были мнения! А он, стало быть, подущает ко греху, погубить хочет. Учитель-то говорит: «Барин, говорит, по рублю, по два отдаст десятину-то, берите!» А наш брат думает: «Нет, не обманешь! Царь нас высвободил, а вы опять хотите нас залучить? Нет, шалишь! Как же! Опять обвязываться помещику? Это, значит, царя не слушать... Все равно, если бы меня из тюрьмы выпустили, а я бы не подорожил милостью да опять бы грех сделал — за это шибко наказывают!» Вот тогда и думали: «Не соблазняйся! Не делай бумаги! Пускай его сам пашет землю! Самому ему нечего делать, стало быть, ее отберут и так...» И как стал этот господин Чибисов деньги-то мотать, то-то было нам любо, дуракам! Из города то кабатчик приедет, то лавочник, — не наслушаемся, как они про барина рассказывают: «Тут, говорят, куролесит, с актерками на тройках, шампанским собак поит...» А нам-то и любо: «не работает, а кутит, стало быть, отберут от него!» Пущай, пущай скорей просвистит деньжонки-то! Слышим — «просвистал!» Слава тебе, господи! Скоро ли отбирать приедут? Прошел слух, что к няньке к своей крепостной приезжал, деньги у нее занял. «Ну, думаем, конец! Видно, последки обирает!» Ан вот не по нашему вышло! Приехали мужичонки из банку, показывают бумаги, а там *за все заплачено:* и за шампанское, и за актерок, и за тройки, — за все мужичишки отдали. И в банк отдали, и закладчикам, и все должишки заплатили, все недоимки, да еще в два раза против всего пропитого надбавили господину-то Чибисову!.. Вот тебе и «нёба», «земля», «вода», «по-божьи»... Приехали — тише воды, ниже травы... А уж чего намудрили, пока втридорога пришлось расплачиваться!.. Нет, теперь куда уж мудрить! Перестали!

Таким образом, возвратившись в столицу после непродолжительной отлучки в деревню, я привез в себе твердое убеждение в том, что вообще на Руси мудрить перестали.

ОЧЕРКИ

I. БУРЖУЙ

1

Было шесть часов вечера — время идти пить полстакана знаменитого № 17 Ессентуков с полстаканом теплого молока. Дней двадцать аккуратнейшего исполнения предписаний доктора приучили уже меня к ощущению некоторого страха, как только стрелка часов начинала приближаться к известной, указанной доктором точке на циферблате. «Шесть часов утра. шесть часов вечера. .», следовательно, «нужно торопиться», «спешить», «бежать», чтобы «не опоздать». «Полстакана нумера семнадцатого и полстакана молока. .», «полстакана молока и стакан нумера шестого» — ничуть не менее роковых часов вторглись в мое сознание, как нечто в высшей степени значительное, хоть и непостижимое, и все это вместе, то есть и «шесть часов», и «полстакана», мало-помалу, по мере ежедневной практики, приняло размеры дела первейшей важности, чего-то неотвратимого, неумолимого и не подлежащего ни малейшему снисхождению, а тем менее какому-либо пониманию.

«С испугом» узнав, что «уже» шесть часов, что необходимо спешить, что там ждут неумолимые «полстакана и полстакана», которых я теперь трепетал, как трепетал в детстве учителя немецкого языка, который, ни слова не понимая по-русски, был неумолим к тем, кто ни слова не понимал по-немецки, я, «второпях и суетясь», забывая то надеть галстук, то, надевая сюртук, не надевал жилета и т. д., елико возможно спешил выскочить из моего номера «в меблированных комнатах», чтобы «бежать», чтобы оправдать доверие ко мне строгого «полстакана» и не оскорбить этих «шести часов», которые, как я уже привык думать, существуют исключительно

для меня и поправления моего здоровья, и что я поступлю подло, если пренебрегу этой стрелкой, нарочно для меня остановившейся на «шести», дожидающейся меня и притом дожидающейся исключительно для моей пользы.

В больших попыхах наконец-таки выскочил я из номера и по обыкновению не пошел, как ходят люди, а уже побежал по коридору к крыльцу, но вдруг на этом самом крыльце, с которого мне следовало бы сбежать так же проворно и торопливо, как я делал это до сих пор, вдруг я как-то ослаб, размяк, как-то вдруг совершенно потерял потребность быть впопыхах, бежать, как-то вдруг почувствовал, что «не пойду» овладело мною так же сильно и всемогуще, как до сих пор всемогуще владело сознание необычайной важности «полстакана». Я вдруг увидел, что все это до такой степени несказанно уже надоело мне, наскучило и уже сделалось нестерпимым, что я как бы прозрел, одумался, очувствовался и с величайшим удовольствием почувствовал, что теперь я уже *не пойду,* ни за что не пойду, что не боюсь я ни шести часов, ни семнадцатого нумера, ни шестого нумера не боюсь, и чорт с ними, с этими «дурацкими» полстаканами!

Под сильнейшим впечатлением этих нежданных мыслей и желаний я немедленно почувствовал потребность полнейшей свободы, потребность надеть туфли, снять с себя все, что я под страхом «полстакана» напялил на себя, не взирая на изнуряющую жару дня, пойти на крылечко, которое выходило на засаженный деревьями двор, сесть там на плетеный стул и сидеть, наслаждаясь вечером и единственным, охватывавшим всего меня сознанием полнейшего освобождения от *всего этого*. Но когда я все это выполнил с лихорадочной быстротой человека, выпущенного из тюрьмы на свободу, когда я беспечным образом, в туфлях и легкой парусинной блузе, уселся на плетеном стуле, радостно чувствуя, что я никого «из них» не боюсь и могу безгранично наслаждаться приближающимся вечером, во мне так же неожиданно, как и жажда свободы, пробудилась самая настоящая жажда *«поговорить* хоть с кем-нибудь, услышать какое-нибудь живое словечко... о чем-нибудь! Буквально о чем-нибудь, но лишь бы оно было живое...» И я почему-то понял, что я не только глупо, но даже просто подло поступал, что ни разу во все время пребывания в этих меблирован-

ных комнатах не поговорил вот с этим старичком, крестьянином-каменщиком, живущим со мною в одном дворе. Все время я видел его в углу двора «тюкающим» какою-то железной кривулькой по камню, высекающим из него надгробный памятник с неуклюжим крестом, видел его живые, ласковые глаза и не подошел, не поговорил, не отвел душу живым словом живого разговора, не подошел, боясь, что меня сердито дожидается какой-то сердитый «полстакан». Мало этого, целая партия переселенцев, скрипя немазаными колесами и боками телег, разбитыми дальней дорогой, поздно ночью остановилась под самым моим окном на ночлег, простояла здесь и проговорила всю ночь, и я не выскочил к ним, не поговорил с ними, полагая, что мне завтра предстоит серьезное дело — «вставать в 6 часов и бежать»... Правда, проглотив полстакана, я тотчас же воротился домой с целью поговорить с ними, но, когда воротился, партия переселенцев ушла. И все это я променял на какие-то «полстаканы с полстаканами», тогда как тут-то, среди этих-то живых людей, говорящих о живом деле и притом теми самыми словами, какими следует говорить, — тут-то и есть исцеление, лекарство для бездействующего духа, от которого я полагал исцелиться каким-то нелепым полстаканом!

Конечно, в этой жадности услышать живое слово, «поговорить с живым человеком» немалую роль играла и непривычная мне изолированность таких учреждений, как те, которые называются «минеральными водами», учреждений, собирающих известную публику и обязывающих ее к повиновению известным порядкам. Трудненько, конечно, обязательно два-три часа без всякого толку шляться из угла в угол по палящей жаре, трудненько не съесть вот этой вкусной-превкусной рыбы, которую на ваших глазах ест какой-то еще не бывший у доктора счастливец, и еще более трудно ежедневно по два раза в день подставлять свои нервы под беспорядочные удары музыкальных «попурри», в которых умирающая (ежедневно в пять часов утра и в шесть часов вечера) Травиата, вместо того чтобы испустить последний вздох, к которому уже приближаются курлыкающие, как индюшка, звуки кларнета, вдруг восклицает после неожиданного удара в барабан: «Ах, как я люблю военных!» и вслед за тем, также в неожиданном месте, начинает

путаться пьяными ногами пьяного камаринского мужика, сопутствуемого также полупьяными звуками как будто полупьяных смычков. От всего этого, конечно, весьма легко одуреть, и все это может привести в самое ненормальное состояние самые нормально настроенные нервы. Но не эти минеральные вздоры угнетали меня, когда я, освободившись от них, ощутил потребность поговорить с живым человеком. Эти вздоры даже и не припомнились мне в момент моего пробуждения, но зато припомнилось что-то, действительно мертвенное, что-то, прямо сказать, мертвое, как труп, холодное, распухшее, безжизненное, дурно пахнущее и в общей непривлекательной сложности своих свойств неосязаемо извивающееся тут, в этом обществе минеральной группы, среди этих полстаканов, семнадцатых и шестых нумеров, этих Травиат, умирающих по-камарински, вообще всего этого пустяшного и надоедливого обихода. Вот именно это еще не ясное для меня и ни в какие определенные формы не вылившееся ощущение заставило меня с такой страстной жаждой чувствовать свободу и искать удовольствия живой беседы. Теперь уже я ясно чувствовал, что не надоедливая и однообразная сутолока лечебного заведения так мне опостылела и так мне сделалась ненавистна, а постыло и ненавистно вот это что-то мертвое, трупное, что меня мучило постоянно, гораздо сильнее, чем мучил поиндюшечьи курлыкающий кларнет.

Никак не в «обличение» современного русского общества и тем менее в обличение этой группы этого общества, которая в самом деле лечилась нынешним летом на кавказских водах, говорится все это. Не говоря о действительно тяжкобольных людях всех званий и состояний, не подлежащих никакому обличению, не подлежит обличению решительно никто в отдельности, никто из образованных, высокообразованных или простых, необразованных людей, которые по тем или другим причинам сочли нужным приехать полечиться. Уж если что́ подлежит обличению, так это именно та мертвенная черта в нравственном настроении русского общества, которая вообще заставляет и образованных, и высокообразованных, и вообще людей с большими нравственными требованиями *поубавить* эти требования до минимума, *погодить*, *повременить* с ними соваться, дает вам, образованному

и высокообразованному человеку, очень ясное понятие о том, что теперь не время для проявления ваших высокообразованных мыслей и связанных с этими мыслями целей; что большие знания и большие нравственные и даже, вообще говоря, опрятные человеческие отношения можно и даже должно отложить до другого времени, что их надобно держать до поры до времени про себя, что теперь не то время, что волей-неволей, а надобно переждать, пока кончится это давление мертвенной тяготы жизни, что, наконец, с этой тягостной безжизненностью.. жизни ничего не поделаешь, покуда она «сама собой» не окончит своего существования естественною смертью.

Ощущая до полной ясности силу этого гнета и степень отвращения, испытываемого не мною, конечно, одним к угнетающей, а главное, как бы обязательной для всех и вся узости и низменности, не только в общественных, но, опять-таки, главное, прямо в личных требованиях, в личной строгости к самому себе, я, однако, долгое время упорно напрягал свое воображение, чтобы олицетворить сложность моих дурных ощущений в каком-либо живом, видимом и осязаемом типе, найти виновника, распространяющего в живом людском обществе запах холодного трупа. Кто же это такой мог быть, вот хоть бы среди всех этих разных сортов людей, которые собрались сюда лечиться? От кого, от какого типа, от какого образа человеческого с полстаканом № 17 в руках несет этим мертвенным запахом, заставляющим одновременно сознавать, что «иначе и не может быть» и что в то же время чувствительность вашего носа оскорбляется не во-время и не у места?

Не знаю, правильно ли было течение моих мыслей в весьма продолжительном и напряженном разыскании «виноватого», только в конце концов я, кажется, нашел «что-то», если не вполне достоверное, то во всяком случае несомненно приближающееся к истине. Сужу об относительной достоверности моих соображений по тому многочисленному количеству современных явлений, которые вдруг стали мне понятны, когда я невольно остановился мыслью на этом «виноватом» и не мог не почувствовать, что этот «виноватый» есть именно он, «новорожденный российский буржуй», продукт, взросший на банковых дрожжах, на усовершенствованных способах европейского кредита, так широко разросшегося на рос-

сийской почве в последние двадцать, двадцать пять лет и призвавшего к пользованию благами цивилизации массы людей, у которых даже и потребностей-то в этих благах не существовало.

2

Слову «буржуй» я решительно не придаю значения, свойственного слову буржуа или «бюргер»; если же я и заимствую это слово из какой-то повести Тургенева для определения того нелепого явления, о котором говорю, то именно потому, что явление нелепо, как и самое слово; есть в этом явлении, как и в слове, нечто совершенно понятное, действительно буржуазное, дающее право слову «буржуй» походить на слово буржуа, — именно низменность нравственных побуждений, но есть, кроме того, и еще нечто совершенно нелепое и притом «наше», родное, что заставляет исковеркать понятное слово «буржуа» в непонятное и бессмысленное «буржуй», отдающее, как видите, чем-то нелепым и в то же время чем-то «нашим», родным.

Наш «буржуй» и европейский «буржуа», имея, повидимому, некоторое внешнее сходство, во внутренней своей сущности не имеют почти ничего общего. Помилуйте! Возьмите вот хоть бы эту толстую колбасу с языком и с фисташками — один из бесчисленных продуктов умственной деятельности подлинной европейской буржуазии — и подумайте, какие усилия должна была сделать колбасная мысль колбасного европейского мыслителя для того, чтобы первобытная форма колбасы (образчиком которой, я думаю, можно считать колбасу малороссийскую) достигла удивительного совершенства форм колбасы современной? Не подлежит никакому сомнению, что колбасная мысль должна была хоть и медленно, но беспрерывно работать над усовершенствованием малейших деталей, из которых, наконец, создалась как современная колбаса, так и все колбасное дело во всех своих разветвлениях и подробностях. Не сразу создались начинки с языком и фисташками; не сразу создались начинки с чесноком и луком; не сразу выработались кожа, облекающая колбасу, размеры — длина, толщина; не сразу выработался колбасный запах, потому что изучение вкуса носов ничуть

не легче изучения вкуса языков и ртов. А манера отрезать колбасу, то грубо — для какой-нибудь горничной, то нежно и кротко — для нежной и кроткой дамы, то, наконец, соблазнительно — для гвардейского офицера? А манера завернуть в бумагу какую-нибудь чудовищную оглоблю с чесноком, завернуть «двумя пальчиками» и так изящно, как будто это не оглобля, а венок для невесты? А подать к самому носу покупателя окорок с таким жестом, что у покупателя защемит сердце и что он, желая купить два фунта, почувствует себя в невозможности не сказать: «Заверните весь! Нет, дайте еще... другой»? Сообразите, сочтите все эти тонкости, всю эту неустанную, непрерывную работу колбасной мысли, и вы не можете не быть убежденными в том, что личная жизнь европейского буржуа всегда была наполнена какою-нибудь идеей, что «личность», как и «идея», руководившая ею, росла, совершенствовалась и развивалась.

Но это еще не все. Почему фисташки попали в свиное мясо? Потому, что Фридрих Великий любил, во-первых, фисташки и, во-вторых, — колбасу; но оба эти предмета существовали бы и до сих пор в полнейшем отчуждении друг от друга, если бы колбасник Пфуль, тенденциознейший поклонник монарха, пожираемый чувством преданности и не имея возможности выразить ее иначе, как в колбасе, не напряг всей своей умственной деятельности на изобретение комбинаций приятных для великого человека продуктов в создании одного, нового продукта, немыслимого для колбасника иначе, как в форме колбасы. Пфуль достигает своей цели, конечно, после многих лет тяжкого опыта, и, таким образом, его личная колбасная мысль не была исключительно личною, узко-эгоистическою, но примыкала и к общему ходу отечественной истории, соприкасалась с жизнью великих деятелей страны, и Пфуль, а затем потомки Пфуля, говоря о фисташковой начинке, могут говорить также и о Фридрихе Великом, не выходя из узкого круга своей буржуазной жизни и специальности.

Но и это еще не все. Пфуль вследствие известных исторических обстоятельств дошел до мысли водворить фисташку на свинине; но почему вот этот нынешний знаменитый Шнапс делает колбаски почти по первобытному способу, не заботясь об изяществе формы и стараясь

достигнуть только того, чтобы большая, толстая колбаса продавалась по дешевой цене? А потому, что Шнапс ищет популярности в массах, в пролетариате, потому что он — социалист, радикал, и именно в целях общественной реформы создает и начинку и форму колбас такие, какие соответствуют его убеждениям и могут способствовать осуществлению этих убеждений в общественном деле.

Сообразив все это, то есть, что взятый нами наудачу маленький типик европейского буржуа не только так или иначе упражняет свою умственную деятельность, но что эта хотя бы и капельная умственная деятельность в лице Пфуля примыкает даже к отечественной истории прошлого, а в лице Шнапса не чуждается фантазировать и о будущем, — зная и припомнив все это, читатель, надеюсь, поймет, что Пфуль и Шнапс, потрудившись и для себя, и для прошлого и хлопоча о будущем, имеют полное право заканчивать свой день десятками двумя-тремя не совсем доброкачественных сигар. Правда, противным дымом этих сигар и скверным запахом пивных бочек пропахла и прокоптилась вся вселенная во всех углах, но что Пфуль и Шнапс не «добрые буржуа» — этого сказать невозможно.

Пьет, и не то что пьет, а, говоря собственными словами нашего буржуя, жрет он и пиво, и шампанское, и «душит водку», и квасом от всего этого пойла отпивается, и потом опять жрет, что попадется под руку на заставленном бутылками столе трактирного кабинета. И не до десятого часа, как Пфуль и Шнапс, сидит он за питейным столом, а сидит бесконечно, после того как трактирные лакеи измучаются почти до потери сознания, когда разъедутся по домам даже ночные извозчики, пьет, когда уже звонят к заутрени, народ идет на работу, да и окончив, наконец, это нескончаемое питье в большом и шикарном ресторане, едет куда-то, едет туда, где уже заперто, умоляет отворить, а когда не отворят, лезет в извозчичий трактир, просит сделать пирог с яйцами, требует папирос в три копейки десяток после великолепных сигар, которые остались в нумере роскошного ресторана, воткнутые в ликер, в шоколад, расплющенные о зеркальное стекло. Наш буржуй ни перед чем не останавливается по части пользования продуктами цивилизации и куда как превосходит в этом отношении скромное сосание пива и скверных сигар, которые позволяет себе евро-

пейский буржуа, но европейский буржуа имеет право на пиво и сигару, а наш буржуй этого-то права и не имеет.

Ни малейшей личной мысли, ни малейшего личного участия в приобретении права пользоваться дарами цивилизации наш буржуй не истратил даже и на две копейки серебром; никогда личная «выдумка», личная работа мысли, имевшие целью хотя бы только личное благосостояние, не были свойственны ему в размерах, даже более ничтожных сравнительно с размерами умственной работы немецкого колбасника; никакого исторического прошлого, которое есть у колбасника, и никакого будущего, о котором колбасник позволяет себе фантазировать, никогда не было у нашего буржуа и, вероятно, не будет. Он появился вдруг, неожиданно, как неожиданно, точно с неба свалился, появился неведомо откуда широчайший *кредит;* банки промышленные, земельные, городские, общественные, концессии и т. д., — все это в огромнейших размерах взалилось в общество и, как магнит притягивает одинаково и ключ, и иголку, и ножик, и перо, притянуло к себе и купца, и чиновника, и помещика, и инженера, и офицера и создало совершенно новое сословие, стоящее вне всяких определенных трудом или общественным положением установившихся сословий, — сословие людей с кучей денег в руках, с кучей денег не заработанных, не «нажитых», не имевших, в огромном количестве случаев, даже плана истратить эти деньги. Какой-нибудь инженерик, инженерные предания которого не простирались далее возможности приворовывать по зернышку шоссейную щебенку; какой-нибудь помещик, возлагавший все свои надежды единственно на троюродную тетку и ее скорую смерть; какой-нибудь купчишка, не возлагавший ровно никаких надежд и полагавший только, что он рожден на свет именно только для того, чтобы играть в шашки около своей лавчонки с хомутами, — сегодня, вдруг, ни с того, ни с сего, оказались заваленными чуть не по шею всевозможными кредитами, кучами денег, такими кучами, которые не только устраняют мысли о щебенке, тоску о долголетии тетки или терпеливое сидение около лавки с хомутами, но прямо становят на высоту, с которой и инженер, и помещик, и купец даже самих-то себя, вчерашних купцов, помещиков и инженеров, различить не могут, не могут узнать: «Я ли, мол, это, Ванька Хрюшкин?»

Умертвив, таким образом, все капельные тревоги купчишки, инженерика и изнывающего о неумирающей тетке помещика, то есть умертвив все их прошлое, сделав его совершенно нелепым, смешным, глупым и внимания не стоющим (тогда как для европейского буржуа это *прошлое* его колбасной истории чрезвычайно дорого), необыкновенные, неожиданные деньги в самый момент своего появления умертвили в новорожденном сословии и всякие мысли о будущем. Чего ж думать и о чем? Стоит написать одну строчку в Нью-Йорк: «Пришлите мне паровой лесопильный завод», или: «Пришлите мост в две версты», или: «Пришлите железную дорогу»,— все сейчас и пришлют, и стоит только вбить гвозди в дырки, сделанные в требуемых механизмах в Англии или Америке, как, глядишь, и лесопильный завод уже дымит и стучит, и по мосту идет паровоз... Что ж остается? Прошедшего нет — оно глупо и, точно, не стоит внимания; будущего не нужно — оно «все готовое». Остается одно настоящее.

И вот, как из квашни, завязанной старыми тряпками, под влиянием банковых дрожжей и искусственного тепла, распространяемого жадными животными стремлениями к наживе, стала выпирать, раздирая старые тряпки, пролезая во все дырявые места, пролезая везде, где можно вылезть, полезла эта вздутая, рыхлая, расплывчатая масса, тестообразное, бесформенное сословие; полезло оно и в общественные учреждения, полезло оно и в частную жизнь.

В общественные учреждения полезло оно потому, что «настоящее», на которое обрекли это сословие умерщвленное прошедшее и совершенно «готовое» будущее, обязывало его непременным сохранением этого денежного торжества, и вот бесформенное сословие, думающее только о деньгах, вторглось и в думу, всюду. Мост, водопровод, и опять мост или мостовая, — вот что уступили место в общественных учреждениях и разговорах «всему прочему». Мост, водопровод и т. д. — это ведь деньги, о них можно и галдеть до хрипоты, из-за них можно и на выборах мутить и подкупать, — словом, творить всякую гадость, потому что «как же без денег-то?»

И в частную жизнь влезает это тестообразное сословие, но уж не за деньгами, а *с деньгами* в кармане, влезает затем, чтобы жить, доставить «себе удовольствие». Но ведь, чтобы извлечь из человеческих отношений одни

удовольствия, необходимо иметь и нервы достаточно прихотливые, капризные, — словом, достаточно культивированные для восприятия наслаждений. А между тем наследственность буржуйных нервов в каком угодно отношении совершенно ничтожна. Какая такая сила, восприимчивость и прихотливость нервной системы могла развиться в Ваньке Хрюшкине, если позади его, во многих поколениях его предков, нервы только привыкали быть нечувствительными к холоду лабаза, амбара, к оплеухе самодурного барина и тумакам неумолимо строгого родителя? Какая такая нервная щепетильность, разборчивость в тонкостях изящного могли наследственно передаться нервам помещика, которые также в целых поколениях культивировались на отъезжем поле, закаляясь в удовлетворении далеко не человеческих инстинктов, не говоря о немузыкальности звуков кнута «на конюшне», — звуков, также не содействовавших разработке и совершенству нервной организации? А уж про инженерика Пичугина, сына мелкого чиновника, вышедшего из духовного звания и уже с детства придавленного ужасом «многочисленного семейства», среди которого пришлось расти, для которого пришлось учиться, чтобы потом при помощи щебенки вывести в люди братьев и сестер, и говорить нечего. Только бы до щебенки-то добраться дал бы бог! — вот и вся нервная наследственность.

И вся-то эта новорожденная орда людей, мгновенно вознесенная на недосягаемую высоту, в миллионы раз превышающую доступные ее пониманию размеры желаний, никогда не думавшая ни о чем «общественном», опустошенная нравственно в отношении к недавнему прошлому, опустошенная умственно в отношении к будущему, а в настоящем поставленная исключительно в самое благоприятнейшее положение — живи в свое удовольствие, — увы, ничего не могла изобрести ни по части широты размаха, ни по части прихотливости, ни тем менее по части изящества. Да! даже по части прихотливости-то ровнехонько ничего не могла изобрести эта буржуйная орда. «Купить!» — вот что внесла она в общество. Купить чужую жену, купить балетчицу (был случай, что один петербургский купец покупал полбалетчицы, так как она была уже наполовину куплена), купить начальство, купить выборщиков, — словом, ничего, кроме *купить*. Бур-

жуйная орда началась прямо с конца: немцу Шнапсу нужны были целые поколения, чтобы *достигнуть*, наконец, благосостояния и кружки пива, а наш буржуа сначала *достиг* и, следовательно, должен был прямо перейти к пойлу, к результату, к увенчанию здания. И в своих отношениях личных он также требует конца. Ухаживает он за буржуйной дамой и ничего не может выдумать, кроме пойла. Поит ее и опаивает все, что кругом ее есть. В «густолиственной» аллее ему нечего назначать ей свидания. С глазу на глаз ни буржую, ни буржуйке нечего сказать; она понимает, чего ему нужно, а он ничего иного и понимать не может. Свидание назначается поэтому не в отдаленном уголке парка, не в густолиственной аллее, а тут, на самом юру, под самым турецким барабаном. Пускай его бухает, барабан-то этот, все на музыке-то оно не так трудно язык ломать, занимать даму разговорами, все хоть предлог есть помолчать, не утруждая себя, ан время-то кое-как и протянется «*до ужина*». Ну а уж тут начнется такое бормотанье, что и до свету ему не будет конца; а про что бормотали — никто потом из буржуйной компании и припомнить не в состоянии. «До ужина» и вообще до той минуты, с которой благодаря купленному возбуждению, благодаря русской и иностранной сивухе всех видов и сортов начинается развязность и настает минута, когда «все можно говорить и делать» (деньги есть),— вот тот предел нервного томления и нервной маяты, испытываемых буржуем, по крайней необработанности нервной системы, во всех людских отношениях: влюблен ли он, норовит ли сцапать подрядец, норовит ли подкупить или замазать какую-либо гадость, — только бы «до ужина», а там уж не я, буржуй, оборудую, а само собой оборудуется и упростится до ничтожества всякое дело.

3

— А пожалуй что пора уж и ко дворам собираться, — сказал мне один такой-то буржуй, подсаживаясь ко мне на садовую скамейку во время музыки.

Надоел он мне давным-давно, но нельзя же сказать ему: «Убирайся прочь!», иначе пришлось бы браниться целые дни. Надо было говорить.



— Отчего так?

— Да чег тут больше-то? Брюхо, слава богу, кажется, утвердилось, окрепло... Просолили его ловко — на всю зиму хватит, выдержит... Ну, а что же еще-то? Всего уж, кажется, отведал... А третьего дня даже и на Бермамуте ел...

— То есть как «ел»?

— То есть ездил на Бермамут и там ел. Обыкновенно. Ел я с дамочками и в долинах, потому вид великолепен снизу вверх... Экскурсия называется. Ну, и в ямах ел и из ямы вверх глядел. Ел и на превысочайших горах и оттуда тоже глядел вниз, в яму, — тоже экскурсия, с шашлыком, конечно, и все прочее. еле-еле до постели дополз. . А третьего дня как въехали с бараниной прямо на небо... ей-богу! Чего вы? Шестериком взволокли нас, компанию: пудов на тридцать па пять собралось с дамочками-то. Вижу, возносят нас, пьяниц, на самое небо! Прямо в облако вкатили! И тут, признаться, мне немножечко и жутковато стало: ведь небо! Ведь тоже, как бы то ни было, бога-то боишься. Ловко ли, думаю, в этаких-то местах пьянствовать? Ну, а потом, постепенно, кое-как, по рюмочке, с молитвой, дальше — больше. да так надрызгались на небесах-то, хоть бы тебе у Патрикеева или в «Эрмитаже». И не то что бояться, а даже смех меня пронял: сижу с костью, стало быть, с шашлыком в руках, жру, а облако лезет ко мне в морду! Ну, думаю, шабаш! Надрызгался даже и на небесах; теперича, думаю, пора и в Москву... Там нет ли чего новенького. А брюхо ловко просолили доктора! Молодцы, право, молодцы! Помните, как вы меня встретили, такой ли я был?

А встретил я это, с позволения сказать, буржуйное брюхо, на мое несчастье, совершенно случайно месяца два тому назад.

Ехал я два месяца тому назад на пароходе по одной южно-русской реке, ехал просто так, посмотреть народ. О народе в этом отрывке мне говорить не приходится, но я не могу умолчать, что нигде во внутренней России я не видал так много простых людей, живущих или пытающихся жить сознательно, заинтересованных нравственными вопросами и пытающихся разрешить их, как именно на юге России: штундисты, менониты, молокане, баптисты, — все это думает и живет или пытается жить

по-своему; прибавьте к этому особенности жизни колонистов немецких, болгарских, прибавьте к этому тысячи паломников, идущих в Киев, едущих в Иерусалим, великороссов, живущих в чужих местах, и нигде, нигде по всей России вы не найдете такого края, где бы народная душа выяснялась в такой необыкновенной разносторонности и разнообразии, как здесь. И нигде в то же время местная пресса... Впрочем, молчание, молчание! Об этом когда-нибудь в другой раз, а теперь о знакомстве с брюхом.

Брюхо это лежало в каюте второго класса, лицом к стене и спиной к публике; публики, впрочем, было немного; кроме меня и брюха, были еще три еврея; один, старый, пухлый и одетый с головой в какую-то мантию, угрюмо молился, уставившись в угол и не обращая ни на кого и ни на что ни малейшего внимания; иногда он поворачивал голову и смотрел какими-то остановившимися, круглыми, страшно отчужденными от всего, что было кругом, глазами. Глаза эти отталкивали всякого, на кого смотрели; в них было что-то не отталкивающее, но прямо пихающее вас прочь от себя; он был мыслью, очевидно, не здесь, на земле, но я думаю, что и не на небе; с неба он, вероятно, не смотрел бы такими холодными, круглыми, лягушечьими глазами.

Два других еврея ели, сидя за столом, поставленным вдоль каюты, какие-то сдобные булки и то, кажется, бормотали какие-то молитвы, то бормотали, вероятно, о делах, и сорили своими булками по столу ужасно. Кончив есть, один из них взял в руку остатки булки, присоединив к ним толстый шелковый шейный шарф, все это вместе сжал в руке и потащил в карман, соря и по столу, и по полу, и по дивану, на котором они сидели.

Слуга принес мне порцию жареных карасей, и, дождавшись, пока стол, усеянный остатками сдобных булок, был прибран, я стал есть, но едва я постучал ножом и вилкой, как спавший спиной к публике человек проснулся, повернул голову, потер себе лоб, пытливо поглядел в мою сторону и, быстро, проворно соскочив с койки, подбежал ко мне и, опираясь обеими руками в доски стола, с выражением в голосе крайнего любопытства, нагнулся над моей тарелкой и спросил:

— Это у вас что такое?

— Карась.

— В сметане?

— Да, в сметане...

— Человек! Эй! — вдруг завопил он, побежав к двери. — Эй!..

С необычайной ажитацией и торопливостью приказал он человеку сию же минуту принести точь-в-точь такую же порцию карася, причем сказал ему вслед: «Сию минуту. Живей, скорей, как можно!» — и, бегая мимо меня, потирал и живот и начинавшую лысеть голову и в то же время поминутно заглядывал в мою тарелку, бормоча:

— Ах ты, боже мой! Как долго, пошел и провалился... Нет, в Варшаве бы этим подлецам задали. Только что пришел аппетит... сию секунду надо! И чорт его знает, куда провалился!.. Я второй день не могу придумать, что́ бы съесть, и вдруг вот сейчас увидал у вас... и нет его, подлеца! За это их, подлецов, и с хозяином-то...

Это был человек лет под сорок, несомненно, российского, мочального типа, но отлично сшитое платье и ножницы хорошего парикмахера сумели подчистить мочальные черты лица и фигуры настолько, что «не отличишь и от барина». Лицо его было не старо, но заспано и вообще поношено, и все его тело казалось вялым.

Наконец явился карась. С шумом, гамом и криком, дребезжа дряблым голосом, накинулся на него дряблый человек, пробормотал что-то о Варшаве, о полиции, накричал что-то об аппетите и, делая все это, всем своим существом стремился к принесенному карасю. Из собственной бутылки он проглотил две рюмки водки, одну за другой, уселся, расправил локти, расстегнул рубашку на шее и, очевидно, готовился «пожирать».

Но увы! первый же кусок, который он положил в рот, так и застрял у него в горле. Он жевал этот кусок необычайное количество времени и проглотил с величайшими усилиями.

— Нет! Не идет в горло! — бросая вилку и нож на стол, беспомощно воскликнул он, прямо обращаясь ко мне. — То есть, чорт его знает, что такое творится! Что ни съем, не идет! Что тут делать?

Именно беспомощность, в которой он находился при виде прекраснейшего карася, и невозможность удовле-

творить им своего огромнейшего аппетита и заставили меня разговаривать с ним.

— И ведь главное, — дребезжал он дряблым голосом и дребезжал жалостливо, беспомощно, — главное дело, ведь как-то вдруг две напасти... Давно ли? Да двух лет не будет, как я «закатывал» во всех отношениях! Бывало, пить если, так хоть неделю без просыпу — ничего! Конечно, помаешься, покряхтишь с денек, ну в баню там... А через день как не бывало, опять жарь! А второе — женский пол тоже... А теперь, вот подите! И как-то вдруг!.. Заскучал, аппетиту нет, думаю — пройдет, ан, гляжу, хуже: то в горло не идет, этого не пропихнешь, рюмки три-четыре пропустишь — ко сну клонит... А в то же время и по женской части... Теперь вот в Киеве был в «Шатошке»: ведь какие штучки ходят! В былое время да разве я бы мог быть хладнокровен? Эдаких-то милочек пропустить? А теперь вот три вечера ходил, смотрел, думаю: неужели же во мне не пробудится фантазия? И нет! Сижу, гляжу — хоть бы что! И ведь сразу стряслось, и чувствую, что хуже да хуже... И не знаю, что делать... Главная беда, фантазия-то, кажется, приотупела... Надобно какие-нибудь средства; вот в Самарской губернии старик какой-то травами лечит, попробовать бы... Я и еду-то теперь по совету докторов: воздухом, говорят, надо... Какой тут воздух? Бывало, как только платье женское увидишь — и уж воодушевлен... А теперь и бормотать-то с дамочками не охота... А уж это мне чистое наказание... Что и за жизнь после этого!

Утрата двух таких благ, как удовольствие бормотать с дамочками и «закатывать» по неделям «по питейной части», до того печалила и искренно угнетала несчастного человека, что невольно думалось: «Не пособлю ли я ему, напомнив, что, кроме питей и дамочек, есть и другие интересные вещи, которые могут рассеять его уныние?» Спросил его поэтому о его лесопильном заводе и о том, интересует ли его это дело?

— Чего мне в нем? Велико дело — лесопилка! — недовольным тоном отвечал несчастный буржуй. — Там у меня приставлен дядя, человек старого закала, железный... Уж этот не даст маху, а приезжай я, вмешайся, все знают, что я добр, полезут с жалобами да просьбами, не выпутаешься! У того палец оторвало — пенсию ему!

Того обочли — жалуется... И — да тут тьма-тьмущая!.. Давай им пенсию! Он спьяну сунет голову в машину, а я отвечай тут! «Ты, говорят, не станови к машине, когда она опасна!» А я почем знаю? Какая она там машина, у меня и понятия нет... Пускай там разбираются! Что я за судья? Пусть там по закону, как знают; там человек приставлен от меня, доверенный, вожжайтесь с ним, как знаете! Есть чего — лесопилка!

Спросил я его, женат ли он, есть ли у него дети; оказалось, что он женат, но что с женою не живет.

— Кабы если бы дети были, ну еще, может быть, жили бы. А то сами посудите, детей нет, ну какой же у меня интерес? Брюзжит за каждую малость: «Не ходи, да не пей, да сиди дома», и невесть что... А то так: «Возьми меня!» Куда? В «Эрмитаж», что ли, или к цыганам?.. Ну, так брюзжали, брюзжали оба, наконец говорит: «Коли ты так, так и я так же буду!» — «И сделай твою милость!» Отдал ей приданое; живи, матушка! Живет с кем-то! Я рад, хоть беспокойства от нее нет... Да и что толку-то? Все один чорт... Да фантазия-то стала пропадать! Скучно!.. Даже иной раз и жену вспомнишь.

Спросил я его и о том, отчего он, имея средства и ценз, не попробует развлечься общественной деятельностью. Но этот вопрос почти рассердил его.

— Это галдеть-то, горло драть в думе из-за щекатурки для тюремного здания? Да зачем мне? Подряд, что ли, надо? Так у меня лесопилка действует, какой же мне расчет на щекатурке-то мошенничать? Ну уж это... избави бог! И близко-то к ним не пойду...

И в конце концов вся наша беседа поздней ночью закончилась опять тем же:

— Главное, фантазия прекращается, вот что горько-то! Из-за чего же жить-то?.. Позвольте вас спросить?..

На другой день, часу в одиннадцатом утра, пароход остановился у небольшого южно-русского городка, где мне следовало продолжать путь по железной дороге. Справившись на пристани о времени отхода поезда, я был неприятно удивлен, когда узнал, что поезд уходит поздно вечером. Волей-неволей приходилось ехать в гостиницу и брать номер. Я уехал с парохода, когда несчастный

страдалец увядающей фантазии спал, обернувшись лицом к стене. Его не будили, пароход стоял около городка долго.

Извозчик привез меня в небольшую гостиницу. В больших, просторных сенях, с буфетом у задней стены, я нашел хозяина, человека российского происхождения. Коренастый, широкобедрый, в белом парусинном пиджаке, он отвел мне номер тут же, внизу, по коридору, направлявшемуся влево от буфета. Гостиница была маленькая, номеров пять, шесть.

Долго я сидел в моем номере и безмолвно пил чай. Направо и налево из номера были двери в соседние номера; двери эти с одной стороны были заставлены комодом, с другой — кроватью.

Спустя некоторое время в номере слева отворилась дверь и послышались детские частые шаги и детские голоса.

— Учитесь здесь! — слышался голос хозяина. — Да не баловаться!

— Хорошо! — весело отвечали дети.

— То-то!

Дверь хлопнула, хозяин ушел, дети остались.

— Ну, Вася, — послышался голос девочки, — учись... в самом деле, будет кривляться, не лазай на окошко.. Ну, Вася!

— Сейчас!

— Ну, Вася, учись! Мне самой надо из географии готовить...

— Ну, давай!

— Ну, читай молитву утреннюю... Знаешь?

С шутками и понуканием, переходившим в смех и беготню, и с беготней, переходившей в просьбы со стороны девочки учиться и не шалить, началось, наконец, ученье, и Вася зачитал утреннюю молитву.

— Что значит: дьявольское поспешение? — спрашивала девочка строгим тоном учителя. — Тут сказано: «помози мне во всякое время и во всякой вещи и избави мя от всякия мирския злыя вещи и дьявольского поспешения»... Что значит дьявольское поспешение?

— Дьявольское поспешение? — переспросил мальчик невнимательным тоном. — Это значит (он говорил, стуча равномерно в стену не то рукой, не то ногой), что дьявол поспешает...

— Ну вот ты опять начинаешь врать... Куда ему поспешать?

— Он поспешает соблазнять...

— Ну вот и глуп!

Смех, беготня и опять серьезная беседа.

— Не поспешает дьявол, — с чувством говорила девочка, — а нужно молить бога, чтобы он избавил нас от дьявольской помощи в злых делах... А «от всякия худыя вещи» — это значит, что с нами может в течение дня приключиться несчастие, болезнь, пожар, беда какая-нибудь...

— Дети! — опять послышался голос хозяина. — Варя, Андрюша! Идите в третий номер.

Дети шумно пробежали по коридору и очутились в номере, который был у меня справа, а в том номере, где они учились, послышались шаги взрослого человека и шопот его с хозяином.

Шептались они минут пять.

— Так можно? — спросил мужской голос, в котором я, к глубочайшему сожалению, узнал голос моего дряблого спутника.

— Да уж... будем стараться!

— Пожалуйста... Главное, поскорей!

— Сию минуту-с. Минут пятнадцать пройдет...

— Ну, валяйте! Да дайте пока пива хорошего...

— Сию минуту!

Дверь хлопнула, хозяин вышел, потом вошел. Хлопнула пробка, забулькало пиво.

— Так пожалуйста!

— Поехали, поехали-с!..

И в номере настала тишина.

— Ну, Вася, — послышалось справа, где были дети,— теперь вечернюю молитву!

Долго пискливый детский голосок девочки раздавался из-за соседней двери, долго она учила, «билась» с братишкой из-за молитвы «На сон грядущий»; долго в полнейшем молчании всей гостиницы шумел на моем столе маленький, кривобокий самоварчик, долго кряхтел мой пароходный сосед, подливая пива, как вдруг по пустынной улице (город полуеврейский, и была к тому же суббота) затрещали колеса извозчичьего экипажа и мимо моего окна пронеслась на извозчике какая-то

молоденькая девушка, премилой наружности, в дешевеньком платочке на голове.

Извозчик сразу остановился у крыльца гостиницы.

— Кто приехал? — прерывая разговор о молитве, проворно проговорил мальчик и побежал куда-то.

— Не смотри в окно! Не твое дело! Вася, не высовывайся! — умоляюще закричала девочка.

А вслед за тем в номере с левой стороны послышалась суматоха, хлопнула дверь, послышалось много шагов и звонкий, свежий девичий голос и смех...

— Ну, снимай платок, пальто!.. Чего ты хочешь? Тебя как звать-то? — дребезжал голос пароходного соседа.

Надобно было тотчас уйти куда-нибудь.

Я вышел в коридор и натолкнулся на хозяина, который, весь в поту, запыхавшись и, видимо, торопясь из всех сил, тащил какой-то поднос с бутылками и тарелками.

— Как вам не стыдно позволять это в вашей гостинице? — сказал я. — Там ваши дети...

— Да как же не позволять-то? У меня дети. Помилуйте! Надо кормить, одевать, учить. А какие доходы? Город жидовский... Как же не позволять-то? В одно кредитное общество извольте-ка выручить... Да я их сейчас в сад выгоню... не беспокойтесь... А нельзя не дозволить... Кабы не номера, так...

На улице было скверно, пыльно, пустынно, неопрятно. Скверно, неопрятно было и у меня на душе. Этот звонкий девичий голосок, этот мальчик, этот отец, дозволяющий гадости ради «семейства и детей» и не имеющий времени за хлопотами подумать, что и у той девушки, которую он «представил», тоже есть родители, что и она такое же «дитя», как и его девочка, что даже голос и смех ее — почти детские, и, наконец, эта больная и дряблая, несчастная свинья, «дающая хлеб» хозяевам, этим извозчикам, этим девушкам с почти детским голосом и смехом, — какая во всем этом бесконечная тоска и мука!

А на минеральных водах мне опять пришлось встретиться с этим дряблым, несчастным и скверным типом, явившимся сюда во всевозможных видоизменениях. Говорить с ним прямо и подлинно — это значит прямо сказать ему, что он подл, гадок, что он кровопийца, что он язва, что всему его существованию имени нет на человеческом языке. Но говорить так — значит, во-первых,

говорить правду, а во-вторых, — говорить правду о целом ряде таких общественных явлений, которые пользуются не только безнаказанностью, но, напротив, составляют именно обыденную, привычную, сегодняшнюю жизнь. «Буржуй» не просто только, с позволения сказать, животное, он — прочно установившиеся формы жизни, против которых мало моего отдельного, личного негодования и против которых я один ничего не сделаю ни с моими широкими взглядами, ни с моим высшим образованием, ни с моим негодованием на несправедливость. Вот и приходится каждому отдельному человеку молча переносить каждую отдельную буржуйную тварь со всеми ее буржуйными делами, терпеть эти дела, таить хорошее про себя, до тех пор, конечно, когда «отдельные» друг от друга ненавистники буржуйного течения перестанут быть отдельными или когда, быть может, само буржуйное течение не исчезнет в каком-нибудь случайном и сильном течении, так же неожиданно для себя, как неожиданно оно родилось на свет.

4

Не знаю, как будет с ним, но знаю, что вот теперь, сидя на этом крыльце, на этом плетеном стуле, и наслаждаясь этим славным южным вечером, я так счастлив, что теперь, покончив с полстаканами, покончиваю и с возможностью наталкиваться на буржуя, на необходимость терпеливо таить в себе глубокое к нему отвращение. И, боже мой, как мне страстно, как мне жадно хочется поговорить о чем-нибудь живом и услышать опять живое человеческое слово от этого старика-крестьянина, который вон там в углу двора продолжает «тюкать» своим железным инструментом по камню, высекая из него надгробный памятник. Сейчас я пойду к нему и отведу душу...

II. «ДОХНУТЬ НЕКОГДА»

— Тоже, чорт бы их побрал, земство называется, самоуправление! Трясись вот тут, на облучке, как калика какая перехожая!.. Все нутро-то выколотит, пока доедешь до волости. Только бы себе в карман хапнуть... дьяволы этакие!

Такие, не вполне резонные, но зато уж вполне сердитые слова говорил судебный пристав Апельсинский, сидя на облучке земской телеги и трясясь на ямах и колдобинах плохой земской дороги, местами покрытой еще не растаявшими пластами льда, местами, напротив, обильной полосами глубокой и жидкой весенней грязи. Пристав Апельсинский потому попал на облучок, что задние места той же самой земской телеги были заняты исправником и мировым судьей; желая вести беседу со своими спутниками, Апельсинский сидел на облучке задом к дороге и благодаря этому не имел возможности принять какой-нибудь предосторожности против неудобства дороги, почему и должен был поминутно прерывать свой разговор сердитыми и негодующими восклицаниями.

— Да осторожнее ты, братец! — вопиял он к ямщику. — Ну что ты гонишь на рытвинах и ухабах? Авось успеешь... Вы тут, право, с вашим разиней-земством с ума спятили совсем. Деньги дерут, а в результате — извольте-ка вот поездить этаким манером. Вот! Вот! Ну, брат, ты мне положительно спину переломишь. Это называется земство! Земский тракт! Ах, анафемы!

Исправник и мировой судья, хотя и не поддерживали гласно мнений своего спутника, но, несомненно, глубоко ему сочувствовали. Судите сами: земство, которое, на памяти у всех, задирало нос против всякой кокарды и навострилось выговаривать слово «администрация» таким тоном, которым прямо вызывало на личное оскорбление, дошло теперь до такого падения и низости, что, поминутно клянча у той же администрации о содействии, о помощи, особливо при «взысканиях», не в силах настолько поддержать свой авторитет в среде плательщиков, чтобы доставить этой самой администрации, единственной добычнице земской копейки в земские сундуки, помощь в самых элементарных вещах: езди, взыскивай, шуми, бранись, неистовствуй — этого земство желает; а вот устроить так, чтобы исправник, мировой, судебный пристав могли ехать каждый по своим делам и на отдельной подводе, — не может! Средств нет! Было прежде шесть троек на земской почте, а теперь только три, — вот и приходится какому-нибудь административному органу иногда по полусуток сидеть на вокзале, ждать другого административного органа, чтобы ехать вместе, хотя у каждого органа своя часть.

Конечно, если бы все три административных органа, восседавших на одной земской подводе, могли и желали вспомнить прошлое этого ныне падшего в их глазах земства, они бы знали, что уже давным-давно само земство предвидело и публично заявляло о неминуемом своем падении, если только вместо простого, но существенно важного для народа дела оно принуждено будет ограничиться канцелярской суетой и вместо «дела» только бумагой, — конечно, повторяю, если бы рассерженные представители администрации помнили все это, они бы не удивились тому, что вместо трех троек им еле-еле удалось получить одну, а вместо «тракта» — ямы и лужи грязи. Но представители администрации не помнили этого; у них и у самих было довольно всяких душевных невзгод, вытекавших также из не вполне успешной, хотя и суетливой деятельности, и вот почему они вполне сочувствовали негодованию Апельсинского, который между тем продолжал свои речи таким образом:

— Езди вот для них день-деньской, как чорт какой-нибудь! Все бока-то переломал, ей-богу, право! И так-то

уж, чорт знает, что за должность... получай да получай, а что с них возьмешь? Да и тут-то иной раз трясешься, как бы только господь сохранил в живых... ни дорог, ни мостов... ложись да умирай! Я намедни ездил также вот с исполнительным листом в деревню Незамайку... Так что ж вы думаете? Один день я всего-то и проездил, а чего-чего не натерпелся! Из города выехал я, конечно, честь-честью — в вагоне, по железной дороге, во втором классе... Проехал до станции Масловки как следует, по-человечески... Из Масловки тоже не совсем по-свински; положим, что пароходишко еле-еле дышит, сто раз на мель садится в час, ну все ж таки; спросил закусить — подали карту, и на ней написано: «Шато-Бреян»... Ну, давай, какое оно там! Все-таки как будто в человеческом обществе... Но вот как пристали к берегу, тут и начало-ось! Сначала повез меня мужик парой в телеге... грязь по ступицу. драл, драл мужик лошадей. «Нет, говорит, надо перепрячь!» Еле-еле добрались до Осиновки, пересел в «беду», в двухколеску; поплелись лесом — то есть сущее божеское наказание! Нашвыряны по болоту бревна на аршин одно от другого, то в яму упадем, то на бревно еле влезем... Бились, бились — три версты пять часов ехали. «Нет, барин, неспособно так-то!» — говорит ямщик. «А как же быть?» — «А уж надыть верхом!» Что тут делать? Бросили «беду», сели вдвоем на клячу, дули, дули ее и в хвост, и в голову, прошла две версты и стала, хоть убей, ни с места! Ни взад, ни вперед; да и точно: затянулась клячонка.. «Как же быть?» — «Уж и не знаю, барин!» Попробовал я пешком, провалился по шею! Как есть в полном смысле слова! Даже портфель с повестками едва не утонул... «Ну вот что, барин, — говорит мужик, — лошаденку надо бросить, пущай отдохнет, а ты уж садись на меня верхом, делать нечего; авось я кое-как да кое-как доволочу твое благородие по пням-то до лесного объездчика, а там, пожалуй, и лошадь добудем...» Ну что вы будете делать? Сел. Взобрался ему на плечи! «Ну-ко, господи, благослови!» У мужика-то палка — прет! С кочки на кочку, раза два оба чубурахнулись кубарем, ну, однако, не дошли! Захрипел мой мужик, шапку снял, мокрый весь. «Нет, говорит, господин, неспособно! Как бы, пожалуй, жила какая не оборвалась; пожалуй,

помрешь!..» Нечего делать, слез я с мужика; стояли, стояли в грязи и уж совсем не знали, что делать! Хоть пропадай! Говорю: «Как хочешь, а доставай мне лошадь! Иди в деревню пешком, неси повестку старосте, а я буду здесь ждать!..» А заметьте, вечер, седьмой час; я вспотел, а уж крепко морозит... того и гляди тиф. Ну, пошел мужик. Остался я один в лесу. Жутко! Волки в эту пору стадами шляются. Думал, думал, вскарабкался на дерево, сижу! Да до глухой полночи проторчал на суке-то с портфелью, покуда уж к свету мой мужик приехал на подводе и уж кое-как доплелись до пароходишка... Конечно, я воротился опять по железной дороге. Иной и подумает: «Ишь, разъезжает на бархатных подушках!» А поди-ка, попробуй поездить-то!.. Да хорошо бы, ежели бы толк был, а то толку-то нет! Чего с них возьмешь? Им, незамаевским-то мужикам, и самим есть нечего, чего с них возьмешь? А поди-ка, оставь, не исполни, так ведь корреспонденцию такую отпечатают — любо-два... Дохнуть некогда, а из-за чего бьешься, сам чорт не разберет! Ведь вот я чуть было в лесу не умер, ведь волки налетели бы стаей, так костей бы не осталось, а иди, тащи бумагу за тридевять земель. Кулачишка какой-то, изволите видеть, взыскивает с них тринадцать с полтиной за сено; сено, вишь, у него растащили, у негодяя... Да кабы у меня не хозяйство, так я бы сам его, анафему, в тюрьму бы заточил. Я его знаю, что это за живодер... А вот между тем сидишь на дереве, трясешься, что волки слопают... Я ведь тоже не палач какой-нибудь, понимаю, что нечего им есть, неурожай, а поди-ка!

— Это верно, вашескобродие,— неожиданно произнес ямщик, — неурожай у нас, вот главная причина. Тут уж и хлопотать-то не из чего, верно вам докладываю.. То есть чисто ни зерна, ни сена клока. Теперь вот, изволите видеть, снег еще не стаял, а уж мы гоняем скотину в поле.

— Да ведь там ничего нет! — заметил кто-то из трех седоков.

— Да именно и нету ничего.

— Так что ж она ест-то?

На этот вопрос ямщик сначала засмеялся, а потом вдруг снял шапку, перекрестился и сказал:

— Вот перед истинным богом, как есть, как перед создателем, говорю, то есть пес ее знает что она там

ест. И ежели вам угодно, чтобы, например, можно было утвердить, что́ она ест, так неизвестно, что такое: идет в поле — брюхо пусто, как мешок болтается, а назад идет — эво как раздуло! А чтобы, например, сказать, что такое, так даже понять этого невозможно.

— А все-таки набьет брюхо-то?

— Набьет-с! Умереть на месте, а что набьет брюхо... Разопрет его вот как! а в чем именно заключается, никто не может понять. Мох, что ли, она там роет какой, глину ли какую жует, — этого никаким способом не можем понимать... То есть иной раз даже смеху достойно.

И ямщик действительно засмеялся, прибавив:

— Вот извольте посмотреть, ведь вот вся тройка существует почитай что неизвестно чем, а ведь бежит-с!

И в доказательство полной непостижимости обсуждаемого факта ямщик тронул возжами, хлестнул по всем по трем и, промчав своих седоков с полверсты по ухабам и грязи, обернулся к ним с удивленным лицом и сказал:

— Ведь ишь как орудуют! а какая такая пища им способствует — неизвестно... Истинно, надо быть, только что господь нам помогает, питает скотину по премудрости своей. Все кое-как дышишь, а то бы...

— Да! — почему-то с некоторой укоризной проговорил Апельсинский. — Вам вот все как-то господь помогает, а ты поди-ка в нашу шкуру влезь! По-вашему, «господа, господа — невесть что такое», а поди-ка, попробуй... У вас вот тут неурожай, — это мы отлично и без тебя знаем, — а лошадь-то вон у тебя все-таки, как-никак, бежит... Чем она сыта — тебе это неизвестно, а ты все-таки в телегу ее запряг да поехал на станцию, да пассажира посадил,— вот у тебя рубль или полтинник и есть.

— Да только что тем и дышим, перед богом ежели сказать!

— Да! Однако дышишь. А ты поди-ка, поживи-ка без божьей помощи, да чистые денежки отдай за каждую малость, так не так бы запел. Неурожай, неурожай! Я вот хорошо знаю, что неурожай у вас, и ничего нет, и есть нечего, однако еду, мучаюсь, на дереве вон чуть не замерз, а знаю, что без толку.

— Так чего уж беспокоиться-то? — робко спросил ямщик. — На дереве, в лесу — это тоже очень мудрено. И верно, что волки ходят. Сохрани, господи, от этого!

Так я так думаю: ежели уж неурожай, например, божеское наказание, так мне, примером сказать, на дерево с бумагой лезть? Да волки еще съедят. А что толку-то?

— Да и без тебя я знаю, что толку никакого нет и не будет, да вот, видишь ли, в чем дело: у меня, друг любезный, шестеро ребят, да как разинут они рты с утра, так ка́к, по-твоему, будут они сыты, ежели я их в поле выгоню: «Набивай, мол, ребята, брюхо, чем вам будет угодно, что, мол, вам бог даст?» Как ты об этом полагаешь?

— Господи, помилуй! — сказал ямщик с удивлением. — Кажется, мы можем понимать...

— То-то и есть! Так тут полезешь на дерево. «Господь помогает!» Нет, у нас, брат, нету этого, а отворяй кошелек да деньги вынимай... Да и тут еще, бьешься, бьешься хоть бы с ребятами одними, а и то... неизвестно еще, что выйдет... Ошибся твой сын в склонениях или там в спряжениях, наказали его, нагрубил он — и убирайся на все четыре стороны. Все и пошло прахом. Куда его пристроишь? Везде и так битком набито народу. И ты-то не справишься с головой, да и он-то тоже очумелый ходит. Иной глядит, глядит, да и пустит пулю в лоб... Много этаких случаев было... А ты после всех твоих хлопот да забот остался только что в дураках... Нет, брат! Это вы тут, полушубники, про нашего брата судачите: «Баре да баре; готовые деньги берут, ездят взад и вперед, а толку нет», — а ты поди-ка, в нашей шкуре посиди, давно бы уж волком взвыл.

— А много ль у тебя на шее народу-то? — спросил Апельсинского исправник.

— Да ежели все рты сосчитать, так, пожалуй, человек пятнадцать, а то и больше наберется... Сколько одних стариков да старух, да все крепкие, бог с ними... Так вот тут и подумаешь, да не только что на суку готов, как птица, сидеть, а придется, так и летать начнешь по воздуху, а как принажмет семья, так и нырять начнешь, как торпеда какая под водой... Нет, брат, нам господь не поможет! У нас, брат, «купи», а так, чтобы брюхо набить неизвестно чем, этого у нас нет... Вот и вертишься, как бес перед заутреней... Да еще неизвестно: это теперь человек пятнадцать сидит на шее, а может, и еще бог пошлет. Это еще неизвестно!

— Так ты бы того,— не без иронии проговорил исправник. — Ты бы прекратил...

— Чего прекратил?

— Да, то есть распространение-то, например.

Апельсинский пристально посмотрел на исправника, помолчал и, наконец, проговорил, понизив голос:

— А ты-то, сам-то, прекратил уж, поди?

Исправник захохотал. Захохотал и извозчик и, стегнув лошадь, проговорил:

— Прекратишь, как же!

— Ну так нечего и болтать! Вон Арапкин-то, сам, чай, знаешь, почти что совершенно ошалел от этого самого многолюдства, а поди-ка, заикнись ему. «И не знаю, говорит, что будет: дети да дети, а окончания не предвижу!» Уж и я-то ему сказал: «Ты бы, говорю, поосторожней!» А он что мне на это ответил? «Поди-ка, говорит, попробуй! У меня жена с детства воспитана в таком мнении, что она пикантная женщина. «Я, говорит, пикантная!» А пикантная-то, что такое означает? Знаешь ли ты это? А пикантная-то то́ означает, что «чуть что», ан она и сделает каламбур с офицером, вот тебе и сказ!» Так Арапкин-то и говорит: «По этому, говорит, случаю я и должен продолжать... и единственно, говорит, из-за одного реноме, а то бы, говорит, давно уж надобно бога вспомнить! Потому что, говорит, случись этакой какой-нибудь эпизод, сейчас осмеют, пойдешь дураком, и с места согнать не поцеремонятся. Только, говорит, единственно из-за одного реноме!» Реноме-то оно реноме,[1] об этом чего уж разговаривать, а только что поглядел я как-то на этого Арапкина, так ведь человек-то совсем вроде полоумного стал: бегает по городу, деньги занимает у встречного и поперечного... «Земство, говорит, затягивает, не выдает»... А какое уж, чай, земство?

— Ну это-то точно, верно! — довольно серьезным тоном проговорил исправник. — Подожди да подожди, это сколько угодно! И все на нашего брата сваливают; понуждения, мол, нет относительно взыскания... А какого понуждения нет? Я даже и не помню, когда своим голосом говорил: только и делаешь, что орешь, да шумишь,

---

[1] Доброе имя (франц. renommée).

да свирепствуешь... Сегодня вот в шести волостях надо бушевать, все мало!

— Ну в этом, я думаю, и им надо дать извинение. Тоже и у них пикантные штучки существуют, да и насчет реноме по нонешним временам не зевай... Подвернись там какие-нибудь деньжонки, так, разумеется, прежде всего себе в карман сунут, а уж никак не тебе... Да из-за чего и биться-то в самом деле? Конечно, только из-за денег и маешься, как маятник, ни днем, ни ночью покою не имеешь. Ежели за этакую маяту да денег давать не будут, так это лучше петлю на шею... Да что же, в самом деле? Какое такое получаешь удовольствие? Что я, от удовольствия, что ли, на дереве-то чуть не замерз, или приятность мне, что ли, какая по мужицким избам ходить... или тебе вот орать, горло драть? Конечно, семейство... А семейство-то вот иной раз за твои хлопоты да мучения возьмет да и плюнет тебе в морду. Да! Вон у Кузьмичова, у Ивана Егорыча, сын, так что ж он сделал? Отец-то бился-бился для семьищи, растил-растил их, — ну, конечно, не без греха. . На одно жалованье такую ораву где же прокормить? А сын-то пришел в возраст да вместо благодарности и пропечатал все отцовские поступки, да и в глаза-то отцу прямо так и ляпнул: «Вы, говорит, папенька, не благодетель для народа, но враг и зло! Я, говорит, должен вас обличить для общего блага, не как отца, а как общественного деятеля, злоупотребляющего общественным доверием!» И подвел под суд. Правда, и сам пулю в себя всадил, да отцу-то каково? Он и воровал-то, может быть, для семейства, а семейство-то вон как его на старости-то лет. Вот и подумай! Сидишь-сидишь иной раз на суке-то на каком-нибудь, как птица перелетная, да подумаешь о том, какая будет благодарность, ан и жутковато станет на свете-то жить...

— Да, — вздохнув, сказал исправник. — У меня вон дочь родная двадцати лет ушла из дому в учительницы, да меня же и выбранила. «Вы, говорит, работаете против народа, а я, говорит, буду ему служить; мы с вами не товарищи». А как я ей представил вопрос: кто ж тебя вырастил, вспоил и образовал? — так она мне такую отрапортовала рацею, что окончательно я вышел, по ее мне-

нию, извергом рода человеческого. Что ж? Пускай поживет на своем хлебе! А кабы побыла на моем месте, как я двадцать лет ни днем ни ночью покоя не имею, так узнала бы, каково легко деньги-то достаются на газеты да на журналы. Может, там, в газетах-то, и правильно пишут, только эту газету надо купить, а купило-то нашему брату не очень приятно достается... Коли не раздерешь глотки со старшинами да со старостами, так начальство-то и без тебя обойдется, а ты зубы на полку клади... Ну да что!.. Как-никак, надобно век доживать.

— Да еще доживешь ли век-то мало-мальски поопрятней, и того неизвестно... Ты вот о семействе... а ему какое дело, как ты там орудуешь? Мне вон иной раз и рассказать совестно, какие такие мои были труды; я расскажу, а меня мои же ребята на смех могут поднять, да еще злодеем пропечатают... Их, брат, тоже по нонешнему времени не очень ловко кулаком к уважению приводить... В старину я бы огрел его оплеухой, вот он бы меня и не критиковал, а теперича я не моги этого... Ну и молчишь... Таскаешь деньги и помалчиваешь... А ведь семье без уважения к отцу и мужу тоже, брат, трудно существовать... Как бы не рассыпалась вдребезги... да! Да ты что думаешь? Мне вот недавно один флотский какую историю рассказал. Приехал я как-то на станцию, жду поезда — часа четыре мне пришлось на вокзале проторчать. Приехал, смотрю, а около буфета какой-то человек вертится. По платью-то вижу — флотский, только что в большом градусе, весь в грязи, шатается, бормочет что-то, орет, а уж человек не молодых лет. Болтается этак около буфета, и все хлопает, да все буфетчику приказывает: «Побольше, мол, налей рюмку». Вижу я, что и очень уж он грузен стал; и на стол наткнется, и на стул опрокинется, а тут как-то ни с того, ни с другого подскочил к лампе, схватил ее со стола да об земь. Слава богу, лампа-то была не зажженная, а то бы пожар наделал... Разбил лампу и заорал: «Вот он, враг мой, вот он где! Будь он проклят!» Я уж подумал, не допился ли он до чортиков; думаю, не наделал бы чего худого, подошел к нему, говорю: «Что вы беспокоитесь? Какой враг? Никого нет». — «Нет, говорит, есть; вот он — мой враг, керосин! Вот он, мой злодей!» И стал топтать лампу ногами. «У меня, говорит, теперь приюта нет! Я семьи

лишился... Это он, дьявол!» Что такое, думаю, каким образом керосин... семейство... и такой гнев? Но все-таки, думаю, что нельзя ему давать воли; кое-как уговорил его, уложил на диван. Похрапел он часа два, разбудил его сторож, и пришлось нам ехать вместе. Хмеля все еще много было в нем, да и у буфета он прибавил стаканчик на дорогу. Тут с него взяли за лампу рублей пять. Как напомнили ему о лампе-то — «А, говорит, очень рад! Разбил? Отлично. Это моя месть за все!» — «Да что такое? — спрашиваю его, как уж мы в вагоне очутились.— Как это так керосин вас оскорбляет?» — «Не оскорбляет, говорит, а разрушил всю мою жизнь и превратил меня в ничто! Вот что такое керосин для меня!» Слово за слово, дальше — больше, и оказывается в чем же дело? А был он, изволите видеть, смотрителем маяка; человек женатый, семейный... Где был этот маяк — не упомню хорошенько, а знаю, что по его словам выходило, будто бы освещение на маяках масляное, то есть деревянным маслом. Между тем жена у него тоже, как видно, дама была пикантная, бонтонная: по-французски, по-немецки, на фортепианах — все как следует. Расходу, понятно, пропасть, потому что «не считать же ей там какие-то копейки, и она не кухарка». А детей в то же время весьма довольно, и что дальше, то больше расходу. В это время объявляется керосин и возникает мысль применить его к освещению маяков. Экономия важная, так как на войну истрачено было очень много миллионов. Вот как возникла эта мысль, так этот самый офицер и задрожал по всем суставам. — «Потому что, говорит, жена моя завела такие порядки, что при керосиновом освещении не было никакой возможности существовать; все в доме держалось исключительно благодаря деревянному маслу, и цена на бочку масла и бочку керосина — никакого сравнения, и насчет экономии...» Словом, как только будет керосин, так жить нечем, хоть по миру иди. А начальство между тем запрашивает — нельзя ли экономию сделать? и т. д. «И тут, — рассказывает мне бедняга, — стал я, говорит, уж врать и плутовать». То есть, конечно, уж и до этого времени он пользовался, показывал одно, а тратил другое, но тут пришлось врать на особый манер. «Лет восемь, говорит, я только и делал, что лгал перед начальством, единственно из-за семейства и потому, что жена иначе

не может жить. И сначала, говорит, врал я по науке, с вычислениями и таблицами: сила света, расстояние, — словом, врал по морским правилам, доказывал в том роде, что, если будет отменено деревянное масло, тогда Англия нас может превзойти; кораблекрушение, говорит, даже одно устроил, и доказал так, что именно оно от керосина... Ну, говорит, кое-как да кое-как протянул таким манером лет пять. А тем временем дочь гимназию оканчивает и жена хочет вывозить ее. Что тут делать? Между тем начальство уж и посерьезнее стало приставать, а по морским наукам врать мне, говорит, стало нечего, истощил я все; что было можно по этой части соврать, давно уж соврал. Пришлось мне, говорит, врать без всякой совести. «Горелку, говорит, надо приспособить, а потом и опыт». Начальство пишет: «Поспешить приспособлением горелки». Я, говорит, отвечаю: «Приспособляю немедленно», а между тем полгода кое-как со дня на день и протяну. Чрез полгода начальство спрашивает: «Что ж горелка?» Отвечаю: «Горелка приспособлена, но требует исправления» — и опять полгода. А тут уж жених стал свататься. Тут начальство опять вопрошает: «Да что ж, наконец, горелка?» Отвечаю месяца через два: «Горелка готова, но не доставлена». Спрашивают: «Когда будет доставлена?» Отвечаю через месяц: «Горелка будет доставлена в непродолжительном времени»... Тянул-тянул, врал-врал. вдруг ревизор, как снег на голову! Прямо ко мне со всеми документами.
Все раскопал, разрыл, рассортовал. под суд! Жена моя бросилась к нему, но он так ей меня расписал, так, прямо скажу, справедливо, так все мое лганье-вранье представил ей, что. что вы думаете? Влюбилась в него по уши! «Герой! — говорит. — Идеал! Неумолимый! Честный! Непреклонный! Вот мужчина!» Закружилась, завертелась, за голову хватается: «Вся жизнь пропала с каким-то воришкой.. Вот человек! Вот гражданин! Я не могу, уйду!» И ушла».

— Ушла? — спросили одинаково изумленным голосом исправник и мировой.

— Ушла! Вот ведь что! Дочери — невесты, а она, сама мать, ушла. Говорит: «Вот кому готова отдать жизнь! Вот где энергия!..» А тот ей, конечно, расписал

это деревянное масло с высшей точки зрения: отечество, родина, Англия, Португалия и тому подобное.

— Ну, конечно, — сказал исправник.

— «И как я могла жить, погубить свою жизнь с таким подлецом?» Это жена-то. А муж-то говорит: «Да ведь я подлецом-то из-за тебя стал! Ведь из-за кого же я и воровал, и крал, и обманывал?» Ну вот в эту-то пору я и встретился с ним. Совсем малый ошалел: жена бросила, куча народа на шее и к тому же под судом... Ехал в Петербург — оправдываться... и все пил. Как увидит лампу — хлоп ее кулаком: «Вот, говорит, где драма в пяти действиях!» Так вот иной раз как семейство-то орудует! А спрашивается: из-за чего же колотишься-то, как не из-за семейства?

Несмотря на обильный материал ко всевозможным остротам и шуткам, который, казалось, мог бы доставить рассказ Апельсинского о керосиновой драме, никто, однакож, из слушателей его почему-то не счел уместным шутить или острить по поводу несчастий несчастного моряка. Напротив, все, не исключая и словоохотливого Апельсинского, как будто бы поприуныли; мировой судья, слушавший этот рассказ с особенным вниманием, произнес по окончании его самым многозначительным тоном: «Н-да, все это вещи довольно сложные!» Исправник ничего не сказал, но глубоко вздохнул, а Апельсинский совершенно примолк на некоторое время.

— Ишь ведь, каки дела-то! — произнес шутливо ямщик, весьма внимательно вслушивавшийся в рассказы и разговоры Апельсинского. — Что значит этот самый Нобель-то американский!

Но и эти шутки не развеселили наших путников, так как всем им, вероятно, вовсе не в шутку были знакомы кое-какие из треволнений семейной жизни, разговор о которой так случайно завел Апельсинский.

— А ты, любезный, пошевеливай-ка! — довольно сурово сказал исправник извозчику. — Некогда раздобаривать, да и в волости, поди, уж давно дожидаются...

— Потрогивай, потрогивай! — присовокупил Апельсинский тоном довольно деловитым.

Извозчик тронул лошадей, но, желая изгладить в своих седоках неприятное впечатление неудачной

остроты, произнес, не обращаясь собственно ни к кому из седоков отдельно:

— И трудно ж только, ваше высокоблагородие, ваше дело, погляжу я... Что одной езды! Что, например, разных членов ездит, что всяких начальников!.. Уж, кажется, что такое наш брат, мужик, старшина какой-нибудь, а и тот еле-еле тройкой обойдется...

— Вам только и видно, что ездят! — сурово сказал Апельсинский. — Только езду и видите... Мне одна старушонка-раскольница тоже вон так-то: «И что это вы беспречь тут ездите, толчетесь? И когда вы наездитесь? И чего от вас проку-то?» Только езда у вас и на примете. А не езди, так...

Апельсинский хотел было опять упомянуть о семействе, но увидел, что этот аргумент вовсе не будет убедительным для ямщика, и потому замолчал, прибавив только:

— Езду только и видите!

— Мы, ваше благородие, не то что езду, а и беспокойство ваше видим, — сказал извозчик, — а только что сумлеваемся насчет хлопот-то. Ведь мы видим хлопоты-то! Старшина вон пустится по волости, дерет-дерет, с позволения сказать, по мягкому-то месту, а ведь хлеба-то он из мякоти-то нашей не выбьет... Вот собственно насчет чего... Вот и насчет езды то же самое. Чай, не одна езда, а беспокойство, труды всякие, огорчения, а нету хлеба, так и взять нечего... Вон тоже следователя вчерась возил по убийству, так тоже разговор был. Я говорю, кабы у нас достаток был, так и беспокоиться вашему высокоблагородию нечего... Вот она, девчонка-то, ухлопала дубиной двух старух, и ее за это за самое в острог надо, и вы, ваше высокоблагородие, по этому случаю из города приехали, побеспокоились; а ежели вникнуть, так и окажется дело-то таким манером, что кабы не нужда, да не горе, так и не за что бы девчонку-то в острог сажать. Вот про что-с! А не то что «езда, езда!» Мы тоже видим... Девчонка-то эта без матери, одна у отца, на руках куча ребят, а хлеба-то нет, неурожай у нас; вот и нужен в доме мужик, а чтобы мужик-то пошел, надыть его приманить, надыть тоже хоть на посидках какой-нибудь достаток показать. Вот девчонка-то и пойди к старухам-теткам, не дадут ли нарядов ей каких, потому надо

спешить со свадьбой: не выйдет осенью — до весны не дотянут, а с мужиком все хоть самой-то уйтить можно в прислуги. А тетки-то, вишь, пожадничали; сундуки полны у старух-то всяким добром, да жадность велика — не дали! Думала, думала, горькая, да и украла у старух-то чулки там, сарафана два, два али три платка — утащила, да домой. А старухи-то догадались, да за ней, да настигли ее дома-то ночью; да со зла одна тетка-то прямо начни ее бить поленом, а девчонке-то, само собой, обидно стало, да и испужалась она, — она и хвати старуху-то таким же манером, то есть, стало быть, поленом же ее треснула, а старуха-то и дух вон!.. Ну тут уж и испугалась, да со страху и другую прикончила. Ну и должна идтить в острог... А как ежели разобрать, да был бы достаток, да сиротство-то ежели бы у нас человека не заедало, так, пожалуй, и без острога бы дело-то справилось. Опосля этого случая, как нашли убитых в проруби, купец у нас тут один говорил: «Кабы знато да ведано, так я бы и так ей пятьдесят целковых дал бы на свадьбу!» Эво когда! То-то и есть-то! А как надо, как припрет к горлу, так норовят поленом человека отблагодарить... А начальству хлопоты, разъезды, все такое — пакеты разные печатать, писать — все хлопоты, а так, чтобы настоящего устройства...

Ямщик во-время остановил свои неуместные речи и прибавил:

— Я докладывал об этом судебному следователю и все им подробно обсказал. Так они так сказали, что верно, мол, справедливо. Что ж мне? Мне врать не из чего... Даже водкой в кабаке угостили господин следователь-то!

— Ну, конечно! Известный пьяница,— сердито сказал исправник. — Недолго он насидит на своем месте. По кабакам-то очень охотник разглагольствовать.

— Такой простой барин!

— То-то прост очень.

Ямщик понял, что ему следует замолчать, и замолчал. Но и слушатели его тоже молчали, так как настроение духа их, благодаря случайностям дорожного разговора, становилось все сложнее и все неприятнее. Сначала Апельсинский омрачил душу путников, заведя речь о той тревожной, беспокойной жизни «ихнего брата», которую

он весьма верно охарактеризовал выражением «дохнуть некогда», и заставил каждого из путников припомнить целые долгие годы этой беспокойной служебной маяты, а заставив припомнить эту маяту, заставил каждого из измаявшихся и пожалеть самого себя, подумать о том, «из-за чего, мол, все это?» Но едва только путники начали было сожалеть о самих себе и едва только они ощутили к самим себе сострадание, едва только они хотели было объяснить свою каторжную жизнь горячими заботами о счастье семьи, как тот же словоохотливый Апельсинский ни с того ни с сего завел речь об этой самой семье — семье, из-за которой люди всю жизнь «бьются», «терпят», как речь пошла о таких, не подходящих к подобному настроению чертах семейной жизни, которые заставили усомниться этих измучившихся во имя семьи людей в том, что мучения их имеют хотя какие-нибудь плодотворные результаты. По словам Апельсинского выходило, что как только в семье, в том или другом виде, проснется в ком-нибудь из ее членов стремление к правде и к справедливости, так все эти хлопоты, заботы, все тяжкие труды, подъемлемые тружениками во имя семейства, разлетаются прахом, все разваливается, и вместо благодарности за заботы, труды и печали труженика может ожидать нечто, совсем не похожее на благодарность. Сто́ит ли эта бесконечная маята того, чтобы выращивать людей, которые только и могут, что издеваться над этой маятой и бежать от нее, как от глубокой неправды? Мысль о непрочности так называемого семейного счастия, о том, что счастие его и смысл вовсе не зависят от этой беспрерывной маяты, не только не подходящею к желанию пожалеть себя, возбужденному рассказом Апельсинского в начале беседы, но, напротив, нежданною, неприятною, неделикатною гостьей врывалась в душу, запрещала жалеть себя, свои в беспокойствах прошедшие годы, потому что для самого-то главного резона этих беспокойств — семьи — они ровно ничего не значат и ничего хорошего в нее не вносили... А тут, как на грех, не успели собеседники рассеять в себе нескладное ощущение борьбы собственных мыслей о полной ненужности «каторжной жизни» для блага их семейства, как ямщик своими разглагольствованиями о неурожае коснулся ненужности той же самой маяты и по отношению уже не к семье, а, так

сказать, к отечеству, к народу. По его словам оказывалось, что эта беспрерывная езда господ членов, сопряженная как с бесчисленными беспокойствами этих «членов», так и с весьма реальными страданиями бесчисленного множества «мягких мест» в империи, что все это не имеет никакой связи с действительными источниками совершающихся в отечестве-народе жизненных явлений; что такие простые, видимые для ямщика и всех его седоков явления, как неурожай, «нехватка» в хлебе, в работе, в земле и т. д., совершенно ясно и просто выясняют ту пропасть всевозможных «дел», во имя которых идет эта бесконечная «езда», бесконечное беспокойство господ и во имя которых, наконец, всем этим господам «некогда дохнуть».

И вот почему седоки земской повозки замолчали и ехали молча. А извозчик между тем с каждым шагом все ближе и ближе подвозил их к селению, в котором всем им предстояло совершить бесчисленное множество тех самых дел, которые как будто ничего не значат и ни для кого не имеют ровно никакого результата, кроме «езды» и «беспокойства».

2

Вот мелькнула изгородь села, вот и трактир «Белая Лебять», миновали и «Бакалейную и мускательную лавку с колониальными товарами» и подкатили к волостному правлению, а здесь, не более как через несколько минут, принялись и «дела делать». Судебный пристав, засучив панталоны, с портфелью подмышкой и в сопровождении десятского немедленно же отправился «описывать какого-то теленка», увязая по колена в грязи и проклиная свою участь; мировой судья поместился в одной из комнат волостного правления, а исправник — в другой. Один стал судить, а другой — бушевать. В сенях и на лестнице волостного правления, наполненных народом, настала мертвая тишина; только сторож поскрипывал сапогами, пробираясь к чуланчику, чтобы посмотреть, достаточный ли там запас розог. Сторож, как и весь народ, наполнявший волостное правление, не исключая и начальников, также очень хорошо знал, что в сущности все дело в неурожае и вообще в «нехватке», сопутствующей мужику на всех

путях, тем не менее, заглянув в чулан и убедившись, что розог припасено довольно, успокоился и притих.

И вот среди этой тишины из камеры мирового судьи стали доноситься такие речи:

— Да помилуйте, вашескобродие, как же мне его не обругать? Он же меня обчистил всего, всего меня оплел, значит, да не скажи я ему неласкового слова?

— Он — староста, начальник, и обращался к тебе с требованием податей, следовательно, по делу казенному, то есть он исполнял свои обязанности, и ты не имел права его ругать.

— Да чего же он, пропади он пропадом, теребит меня, когда я у него даже до последней жениной кацавейки позакладал? Ведь он, жид, ковриги хлеба не поверит без залогу-то! Ведь кабы ежели бы господь урожаю дал, так и без него бы пробились, а то, сами извольте подумать, как же тут управляться! Я ему телку должон был отдать своими руками за пять целковых, а кабы недельку погодить, так она бы пятнадцать серебром дала — вот и подати, а то он же меня обобрал, да я же ему и виновен.

— На него ты можешь жаловаться, если он тебя обидел, можешь взыскивать, но публично ругать его непотребными словами ты не имеешь никакого права. Он — начальник, он требовал денег не для себя, а как начальник, понимаешь ты?

— Чего нам понимать-то? Разбирай его, дьявола, когда он — грабитель, когда — начальник... Нам тоже недосужно... Вон третий год недород у нас... а тоже...

— К аресту на одни сутки. Доволен?

— Ну, пес с ним. Пущай, доволен.

— Маловато, вашескобродие! — послышался было голос из толпы, но на него не последовало ответа потому, что заскрипели перья, строчившие решение.

Слово «маловато» было произнесено одним из обиженных, и таких обиженных в дверях комнаты мирового судьи стояла целая толпа. Все это было сельское и волостное начальство; а известно, что начальство это, ознакомясь с правом иметь в своих руках мирские деньги, очень ловко пользуется ими для своих личных выгод и именно благодаря этим-то, очень короткое время остающимся в его руках деньгам и вырастает в кулаков. А когда же кулаку и раздолье, как не в неурожай, когда человек

и заклад несет, и телушку продает за бесценок? Тут-то и наживаться. И вот, наживаясь лично, это же начальство пристает к объеденным им же людям с требованием податей, или с требованием своих долгов, нужных на новый, более выгодный оборот. Неудивительно, что их ругают, а иногда и бьют, и в лицо им плюют обиженные ими люди; и вот это начальство наказывает их за оскорбление себя как начальства, а не как мироедов. Неурожай был большой, кулаков много, наживы много, а стало быть, и много бедности и негодования, а стало быть, много и дел об оскорблениях. Вот почему из камеры судьи слышались в течение по крайней мере двух-трех часов только одни и те же фразы:

— За оскорбление при исполнении служебных обязанностей...

— Да ведь он же меня обобрал-то!

— Ты можешь взыскивать судом, но не имеешь права.. На один день... Доволен?

— Шут его дери... пущай! Пес с ним.

И «довольные» выходили по очереди из камеры, держа в руках шапки и бормоча:

— Кабы урожаю бог дал, так не был бы я у него, у живореза, в лапах!

Но хотя «живорезы» и чувствовали, правда, не полное, «маловатое» удовлетворение, видя своих обидчиков, направляющихся в темную, «неурожай», о котором им было известно ничуть не хуже кого бы то ни было и который таился тут, в глубине всего этого беспокойства, заставлял их чувствовать, что ихнее начальническое дело тоже будет не совсем ладно: ведь за стеной сидит исправник, а это вовсе не означает, чтобы вместо неурожая вдруг урожай сделался.

А у исправника дела было еще больше. Для скорости и подмоги в маленькой каморке, прилегавшей к присутствию, занимаемому исправником, — каморке, в которой старшина и волостной писарь обыкновенно пьют чай, принимают взятки и шепчутся относительно разных дел, — заседал волостной суд; этим судом еще с осени было приговорено к двадцати ударам розог человек двадцать пять неплательщиков, обязавшихся к февралю месяцу представить либо деньги, либо «мягкие части». Но прошел и февраль, и март, и вот уж идет и апрель, а ни денег, ни мяг-

ких частей от этих козлищ не получено. Старосты и старшины, обессилев в личной борьбе с этой упорной и как камень бесплодной нищетой, представили теперь всю эту голытьбу прямо господину исправнику, а для «скорости» в исполнении приказаний последнего созвали волостной суд.

— Кабы ежели бы хлебушка бог дал!

— Все работишки нетути, вашескородие!

— Ономнясь вон хоть солому прессовали, а ноне...

— Не мое дело! — вопил исправник. — А на кабак есть деньги? Ты чего пьяный сюда затесался?

— Мы, вашескобродие, собственно...

— Собственно! Знаю я вас, каналий! Писарь, пиши волостной приговор...

— Эй, судьи, чего ж вы? — шепчет писарь, и судьи постановляют сечь пьяного.

Голос исправника гремит немолчно среди шума, просьб и объяснения причин, даваемых сразу всей толпой. Но разве может быть какое-нибудь уважение к этим объяснениям, если вообще невозможно уважить такую понятную и объяснимую, ясную причину, как неурожай? И вот почему исправник гремит и жестокосердствует, но он снисходителен, и некоторым опять дается отсрочка до Троицы, до Петрова дня, а некоторые «упорщики», «пьяницы» и вообще крайне неблагонадежные элементы деревенского общества идут под сарай, куда сторож несет розги, а два мужика идут помогать, то есть держать.

Таким образом, волостное правление, недавно еще молчаливое, начинает оживать, шуметь и двигаться. «Дела» кипят и выражаются в том, что под сараем идут разговоры о розгах, мочить ли их или так, идут уговоры непокорных: «ложись, ложись, не ломайся». В камерах судьи, волостного суда и исправника шум и крик, и все неурожай да неурожай. А в то же время из волости и из камер народ разбредается двумя потоками в разные места: от мирового судьи поток людской направляется в «темную», от исправника и волостного суда — под сарай. А скоро и третий поток хлынул оттуда же, из здания волости, хлынул сильным течением... Кто это? Увы! Это уж сами сельские власти, старшины и старосты... И их тоже исправник препровождает в темную, за нерадение, за неисполнение приказаний, за упущения во взыскании.

— Знаю я, какой у вас неурожай! Небось с своим сеном, так по неделям в Петербурге живали, негодяи, а в деревне хоть трава не расти! А кто отвечать будет? Что ж мне за вас, негодяев, в темной сидеть, что ли? В темную!

— Да ведь, вашескобродие, кабы урожай бы... а то...

— В темную, канальи!

Эти три потока «виноватых», которые обильно истекали из дверей волостного правления каждую минуту, смешиваясь на волостном дворе, служили обильною пищею для острот тем деревенским счастливцам, которые почему-то остались в числе правых и пользовались завидною долей — стоять в стороне от всех этих беспокойств и «делов».

— Ты куда, Сафрон Петрович?

— Да в темную, ангел мой, приказывают!

— Ты-то в темную? Да ведь ты, кажись, тоже из предержащих?

— Ну, брат, там этого не разбирают!

— Не ладно! И это ты вместе с Егоркой будешь тамотко?

— Мы, Кузьма Иваныч, — говорит сам Егорка, забулдыга из числа «неплательщиков» и «упорщиков»,— мы вместе с Сафрон Петровичем за границу едем. На менеральные воды. Он меня берет вроде губернантки..

— Компания, нечего сказать! Компания! А там, под сараем-то, что такое? Шумят что-то!

— А там, Кузьма Иваныч, молотьба идет. Хлеба нету, сами знаете... так вымолачивают из непокорных особов..

— Что ж, поди, подешевеет... хлеб-то?

— Навряд, штобы подешевел... Молотить — здорово молотят, а не видать, чтобы много намолотили. И даже до крови добрались, а зерна настоящего не видать.

— Да что ж он, дурак, дерет-то? Аль он очумел?

— Известно, дурак, солдат безмозглый.

— Поди-кось, я ему, подлецу... У нас и при господах, так и то больше по дереву хлопали, а он, дурак, теперича вздумал...

И разгневанный Кузьма Иваныч, мужик, имеющий некоторое представление о том, что́ такое означает в самом деле слово «порядок», уже без шуток идет под сарай.

Мало-помалу шум, толкотня, насмешки, брань, приговоры и приказания начинают стихать, сначала под сараем, потом у мирового, потом у волостных, а потом и у исправника. Все окончено; надо ехать в другое место. Исправник просит водицы и «с устатку» пьет прямо из ковша; мировой чувствует потребность умыться, вымыть лицо и руки; волостные судьи тоже устали и понемногу разбредаются, утирая лбы, и, наконец, появление донельзя уставшего Апельсинского, всего в грязи и всего мокрого от поту, кладет окончательно предел деловому дню. Приказывают подавать лошадей и уезжают.

Все затихло и замолкло, разошлось, разъехалось и разместилось в темной. Все было сделано не сумасшедшими и не пьяными; но все, решительно все действующие лица, участвовавшие так или иначе в событиях дня, чувствовали себя в самом нелепом душевном настроении. Все они давным-давно свыклись с той мыслью, что именно в том, что происходило сегодня, и заключается то, что называется «делом», «службой»; но в то же время каждый из них чуял, что все эти дела — ничто сравнительно с той простой нуждой народной, удовлетворение которой тотчас же прекратило бы весь этот тяжеловесный, деловой сумбур. Простое, внимательное удовлетворение простых человеческих потребностей, простой, понятной, ясной человеческой нужды, сделанное без шума, гама, крика, без розог и холодных, — в результате которых ничего, кроме сумбура и тоски, нет, — чувствовалось всем, как действительное, настоящее дело, то самое, которое именно и нужно делать; но оно, это простое внимание к нужде человека, в то же время казалось всем почему-то недосягаемо далеким, несбыточным мечтанием, фантазией, и, напротив, вот этот тяжеловесный сумбур, безрезультатность которого была также всеми понимаема, не рисовался в каком-то отдалении и тумане, а угнетал каждого, ощущался в самой явственной физической боли, недомоганье, усталости. Служба отечеству, оторванная от действительных нужд человеческих существ, из которых это отечество состоит, выразилась в массе каких-то таких служб и таких деяний, которые, по малой мере, возбуждают только всеобщее равнодушие, выражаются в безрезультатной суете-сует, и в то же время не уважающее этой суеты-

сует человечество привыкло, сжилось с мыслью о том, что эта суета-сует как бы вещь неминуемая.

Но в конце концов никто из действующих лиц этой сегодняшней сцены не мог, как говорится, разобраться в своих мыслях. Точно облака удушливой пыли, поднятые этой суетой, затемняли здравый рассудок каждого.

— И что же это будет? — сидя в темной, размышлял старшина или староста. — Я же начальник и меня же вместе с прохвостом? И кто же меня будет слухать, бояться? А ежели меня не бояться, не почитать, так что ж будет значить мое слово? И что ж это сажать начальника, когда явственно взять нечего? Теперича я просижу день, что ж, прибавится взносу-то от этого или нет? Ты сажай прохвоста, пьяницу, а начальника береги, да тогда и взыскивай!..

— Нет, это очень прекрасно, что вас, живорезов, учить стали! — говорил начальнику «упорщик» и грубиян Егорка. — Вашему брату давно бы уж пора руки к лопаткам прикрутить! Ишь ты, как лапы-то растопырил, пасть-то разинул... Так тебе и полезу я прямо в хайло! Кабы не неурожай, так попал бы я тебе в лапы-то, как же, ухватил бы ты меня! Очень прекрасно, что вашего брата приструнивают, а вот нашего-то брата уж не за что в темную-то пхать; уж это надобно сказать прямо... За что? У меня хлеба нет, работы нет, есть нечего. Чем я виновен, что урожаю нету? Опять же из-за чего я перезаложил вам, живорезам? Кто меня обобрал? Чем мне платить, коли я тебе все отдал? Нет! Тут правды нисколько нет! Ну чего от меня проку-то будет, ежели я сутки просижу? Ну?

И такие странные, тяжелые мысли, у которых никто не был в состоянии свести концы с концами, тяготели решительно над всеми участвующими. Мировой судья, сидя в земской телеге, направлявшейся на станцию железной дороги, попробовал было оправдать все происходившее какою-нибудь высшею целью, каким-нибудь неприметным простому глазу благом и пытался доказать самому себе, что такая на первый взгляд бесцельная суета все-таки в конце концов имеет соприкосновение с поднятием курса русского рубля, а следовательно, с благом общественным, но при всем его желании «свести концы с концами» из размышлений его не выходило

ровно ничего. Такая простая вещь, как неурожай, а вместе с ним масса других, не менее простых вещей и нужд, не имеющих даже и отдаленного права надеяться быть просто удовлетворенными, разбивали его софистические размышления, и он чувствовал только, что он устал, что дел никаких не было, что была суета, пустяки и шум... шум, езда и жалованье в конце концов.

Мрачен и утомлен был также и исправник, и ему было не по себе, до того не по себе, что, встретив на дороге мужика той деревни, из которой он уехал, он приказал ему передать, чтобы выпустили из темной всех, кто там есть. Он делал то, что следует ему делать, но все, что он делал, было никому и ни на что не нужно. Не нужно ему, не нужно семье, не нужно деревне. Он ясно чувствовал, что нужно вовсе не то, а что-то гораздо более тихое, простое, человечное. Но это опять-таки одна фантазия.

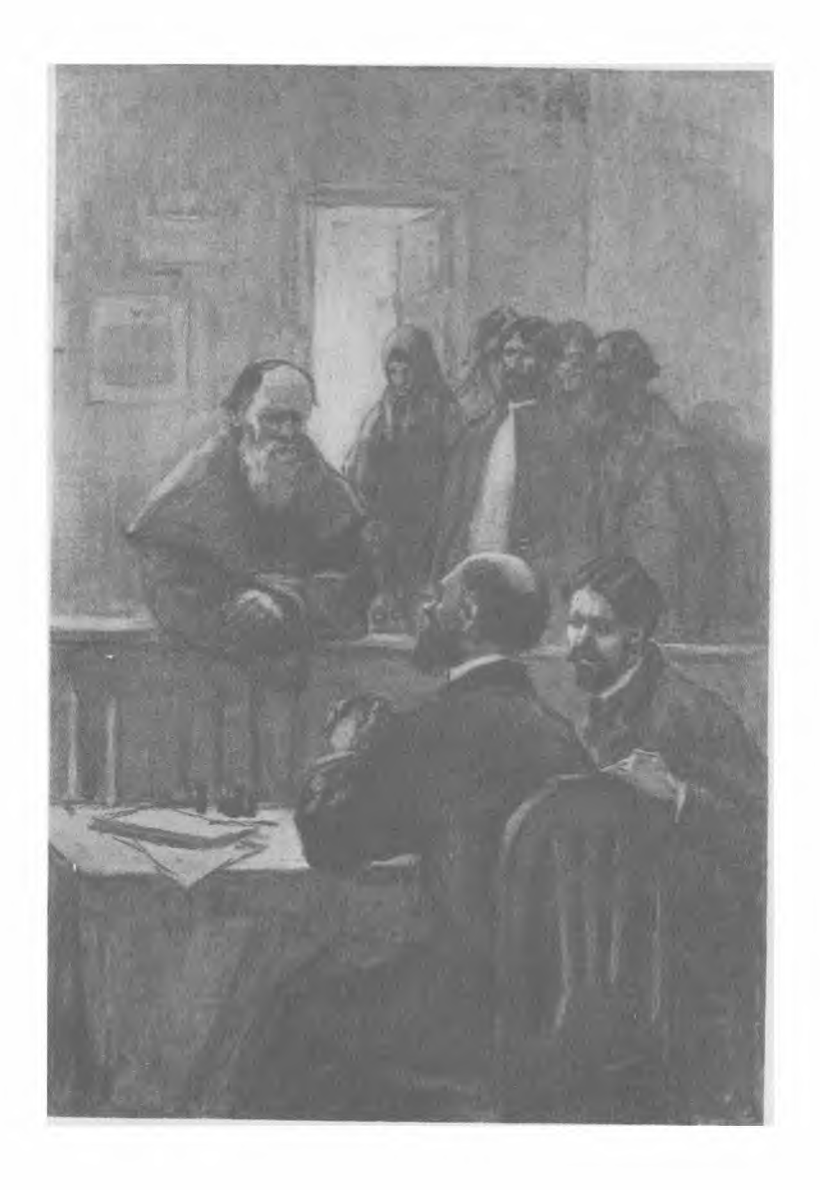
Апельсинский также нерадостно смотрел на белый свет. Он описал у мужика теленка, который был до того мал, что не мог держаться на ногах, для чего мужик должен был вынести его на руках, как младенца. И теленок-то стоит четвертак. Как все это чудно́, тяжко, бестолково, а надо! Ничего не поделаешь... А рядом с Апельсинским сидел тот же самый ямщик, который вез их всех в волость и раньше, сидел и думал:

«Сколько езды-то! Вон опять у лошаденок брюхо-то подвело! Сколько народу́-то ездит... А чего? Коли бы ежели бы урожай был, а то нехватка, недостача... А что шуму-то! Да не пимши, не емши...»

В самом мрачнейшем расположении духа подъехали пассажиры земской подводы к станции. Но здесь они неожиданно натолкнулись на сцену, которая весьма облегчила их измученные души, потому что в самых ярких чертах указала выход из бесплодной, но каторжной суеты жизни, которою они были подавлены.

Тяжелою, утомленною поступью поднялись они все трое по ступенькам вокзала, сопровождаемые земским ямщиком, несшим за ними портфели, плотно наполненные делами, когда в самых дверях буфета на них налетела какая-то пьяная фигура.

— А, ямщик! Михайло! Ты Михайло? — заплетавшимся языком бормотала фигура, бормотала громко, на весь вокзал, покачиваясь и махая руками.



— Так точно, ваше высокоблагородие... я-с самый!

— Это. т-ты м-меня вез?

— Точно так... мы везли-с.

— А про девчонку ты объяснял?

— Это про энту-то? Как же, ваше благородие... это я вам докладывал.

— А-а! Ну верно, верно! Давай я тебя поцелую! Верно, брат, брат ты мой милый! Михайло, голубчик, верно, родной, все верно!

И следователь (это был, к сожалению, он), как говорится, облапил извозчика и, шатаясь, целовал его в губы, в бороду, захлебываясь и всхлипывая. Он был сильно пьян.

— Верно! — бормотал он в промежутках между поцелуями. — Нужда, брат, Миша! .. А мы в острог, прррротокол. проккурор... Голубчик, прости! Подлец, да, подлец.. прости подлеца! ..

— Ну, будет, Николай Петрович! — желая прекратить эту сцену и трогая следователя за рукав, тихо проговорил Апельсинский. — Ведь народ... дамы, не ловко же!

— А-а-а! — удивленно и попрежнему громко, во всю мочь возопил следователь, обернувшись в сторону Апельсинского. — Сотоварищ... Э-э-э! и господин исправник тут же. да тут все... вся армия спасения... культура, цивилизация и эмансипация.

— Ну, будет, будет! — шептал Апельсинский.

— Нет! Очень приятно... Здравствуйте, господа, и прощайте... Оревуар! Мерси! [1] Не ожидал! Предоставляю вам аррену, арену-с, а меня увольте. Увольте меня! во мне есть бог! да! Бог во мне есть! Культурная вы мастеровщина! Не хочу! довольно! будет! Я учился, я читал, я думал. . и я пойду тащить в острог мужика? Нет, не будет этого!

— Ну, будет, будет, Николай Иваныч!

— Нет! Не будет! Я посадил девчонку, теперь мне надо сажать целую деревню... Кулачишка им сделал подтоп мельницей, оставил без сена, без молока, без пищи ребятам, без скотины, без дров... Я, университетски образованный, я должен стоять за кулачишку: у него собственность, плотина, а они самовольно ее разло-

---

[1] До свидания! Благодарю! (*франц.* Au revoir! Merci!)

мали... У них дети, старики, жены, это ничего! Это ниже собственности!.. Мне этого довольно, довольно! Позор, стыд, срам. . Эй! Эй! Человек! на́ тебе фуражку! Водки давай! Давай лапти! Лапти мне!. Это. это. что это? Что такое? Да! Это одна езда, езда и кровь человеческая. Лапти давай мне, каналья! Лапти!

— А ведь, ей богу, так! — сказал исправник.

— Верно! верно! — воскликнул Апельсинский и хотел было с объятиями броситься к следователю, но в это время с дивана вскочил какой-то пассажир и громко крикнул:

— Что это за безобразие! Выведите его вон, каналью! Здесь дамы!..

Восклицание это было до такой степени грозно, что любопытные, начавшие стекаться на шум, производимый следователем, вдруг раздались в стороны, следователь замолк, а я. проснулся.

Оказалось, что я спал крепким сном и проснулся оттого, что поезд владикавказской дороги, по которой я ехал, остановился около какой-то станции, а по платформе два жандарма тащили под руки какого-то огромного пьяного, ободранного человека с косой на плече...

— Выведите его, каналью! Долой с платформы! — кричал начальник станции. — Здесь дамы. дети!..

Я понял, что именно этот голос и разбудил меня.

Не все, однако, рассказанное мною, происходило только в сновидении. Я очень хорошо помню, что о весенней голодовке в наших северных местах и о той «деловой суете сует», которой она сопровождалась, я стал думать потому, что, садясь в вагон владикавказской дороги, чтобы ехать домой, на север, и, таким образом, поканчивая с летними впечатлениями жизни на юге, я невольно стал вспоминать то время, когда я только что стал собираться ехать на юг, и вспоминал весну, а с ней и голодовку и суету сует. Но где же та точка, с которой мои совершенно реальные впечатления перешли в сновидение? Этот вопрос тотчас же бросился мне в голову, как только я открыл глаза и убедился, что я спал, и, на мое счастье, действительность почти тотчас же рассеяла мои недоумения: как раз против окна вагона, в которое я смотрел на станционную публику, стояла группа тех самых деятелей, которые мне приснились; тут был

и исправник, и мировой, и следователь, и еще много разных людей с портфелями, набитыми бумагами; но все они были так светлы, так спокойны, здоровы и веселы, что решительно не напоминали своих сотоварищей, приснившихся мне во сне; ни сомнений, ни терзаний, ни вздохов — ничего этого нельзя было ожидать от совершенно спокойных, изящных людей, которых я видел в действительности. Ясные, светлые лица их и спокойные приемы не давали, правда, возможности решить вопроса о том, почему лица эти так ясны и самодовлеющи? Потому ли, что дела их ясны и светлы, или потому, что в темные и неясные дела они сами только и делают, что вносят свет? Но, и не затрудняя себя решением этого вопроса, можно было все-таки ясно видеть, что это вот не приснившийся, а настоящий исправник, это настоящий следователь, а это заправский судебный пристав, да вот и столик с картами и мелом пронесли для них два сторожа в первый класс, — очевидно, что люди настоящие, делающие какое-то, должно быть, тоже настоящее дело.

III. «ОДИН НА ОДИН»

(По поводу одного процесса)

1

Необыкновенное, поразительное, потрясающее уголовное дело разбирало недавно отделение орловского окружного суда в городе Болхове. Обвинялся и приговорен к бессрочной каторге некто Пищиков, который засек свою жену, беременную на девятом месяце, нагайкой. Процесс этот не сделал такого общественного шума, какой обыкновенно делают разные кровавые процессы, — и я не сомневаюсь, что *ужас*, именно только бесконечный и беспредельный ужас, которым запечатлено это дело, и был причиною того, что всякий, хоть чуть-чуть знакомый с ним, предпочел перестрадать его молча, про себя, а столичная печать не сочла уместным тиранить своих читателей подробностями ужасного дела, так как и маленького пересказа о нем, промелькнувшего во всех газетах, было совершенно достаточно для того, чтобы потеряться от невыразимой тоски.

В настоящей заметке я также не желаю тиранить читателя изложением подробностей этого дела, [1] потому что

---

[1] В коротких словах содержание процесса таково: бедный провинциальный писарек Пищиков случайно знакомится и женится на богатой девушке (девическая ее фамилия Сан-Венсан), благовоспитанной, образованной, что никак нельзя сказать о самом Пищикове. Вскоре после свадьбы Пищиков уезжает на жительство в деревню, и вот здесь стал совершенно обеспеченным человеком, что для грубой и дикой натуры Пищикова могло означать — полное освобождение от всяких общественных обязанностей (а это, к сожалению, как увидят читатели, оказывается делом вполне возможным); он начинает жить исключительно своими личными интересами и прихотями, в числе

не в них, как мне кажется, заключается то невидимо ужасное, из которого возникло ужасное видимое. Подробности процесса не дают вам ни малейшего понятия об этом невидимом, но ужасном. Сам виновник злодейства объясняет свое дело ревностью — «*ревностью к добрачной жизни жены*»; говорит, что жена раздражала его тем, что не говорила правды: «сегодня расскажет одно, а завтра говорит, что я все наврала, ничего этого не было», — и вот от такого-то раздражения человек мог постепенно дойти до того, что не нашел иного выхода из своих личных огорчений, как бесчеловечное истязание *в течение шести часов* беременной на девятом месяце женщины, истязание, про которое врач, видевший солдат, наказанных шпицрутенами до тысячи ударов, говорил, что он не видывал ничего подобного тому ужаснейшему положению, в котором застал мертвую г-жу Пищикову. Кроме полнейшего несоответствия такого зверского конца с размерами личного огорчения, эти размеры *в подлинном,* выяснившемся на суде виде, *в подлинном своем значении,* не только не имеют чего-нибудь мало-мальски фактически достоверного, чтó действительно могло бы довести человека до исступления, но умаляются до ничтожества (в смысле *коренной причины* ужасного дела) показаниями того же самого Пищикова, который засек жену, имея от нее уже четырех детей, — жену, совершенно ему преданную, засек *якобы* за ее «добрачную жизнь», тогда как с этой «добрачной» жизнью своей будущей жены он был вполне уже знаком до брака. Убитая теперь им женщина до брака была «влюблена» в пленного турецкого офицера, некоего Телят-бея. Девушка эта училась в институте (но не кончила) и жила не то чтобы

которых зерно ревности к добрачной жизни жены дает ему право проявлять относительно ее свои дурные, жестокие инстинкты. В настоящем очерке я опускаю только процесс развития в Пищикове этих жестоких инстинктов, то есть не говорю ничего о том, как от грубых слов и ругательств дело дошло до побоев, а от побоев — к драке, к увечью, к всенародному посрамлению жены, и т. д. Ужасного конца этих жестокостей вполне достаточно для того, чтобы читатель был потрясен и подавлен злодейством, и нет никакой надобности усиливать это подавляющее впечатление пересказом подавляющих подробностей. Все существенно важное для понимания этого ужасного дела читатель найдет в настоящей заметке: узнает, кто такой был Пищиков, кто такая была его жена, как они сошлись и т. д. (*Прим. автора.*)

на свободе, а так, без призора; отец ее женился на другой, когда ей было два года; жила она у какой-то тетки без дела и, повторяю, — без призора. Бульвары, прогулки, снование из угла в угол... Замуж бы надобно было барышне-бедняге, а тут Телят-бей какой-то по бульвару шляется. Она так в него влюбилась, что когда он уезжал на родину, так она хотела с ним бежать, просила, чтобы он «взял ее» с собой. (Ведь скука в самом деле адская *так жить* у тетки... Что ж? Тетка, тетка... все одно и то же!) И эти-то просьбы передавались Телят-бею через Пищикова; Пищиков носил ему письма своей будущей жены, уговаривал его прийти к ней на свидание, словом, помогал ей... Когда же Телят-бей отказал барышне, «не взяв» ее с собой, то она полюбила Пищикова — да в самом деле, ведь как он для нее старался, как хотел помочь! А тот оттолкнул ее... Разумеется, Пищиков «добрый», и не ходить же ей всю жизнь по бульвару из угла в угол... Пищиков женился на барышне, *зная все это* и будучи, *по его словам,* «до брака же» в мельчайших подробностях знаком со всевозможными другими романами своей жены (решительно не подтвердившимися на суде). Словом, все, что якобы ожесточило Пищикова после долгих, долгих годов супружеской жизни с безукоризненной женой, все это давным-давно было уже известно Пищикову, — а главное то, что все это «известное» положительно не подтверждено ни единым свидетельским показанием. В этой бедной женщине не только не видно признаков малейшего своевольства сердца, но мы видим, напротив, что она, обладая вполне независимым состоянием, дающим ей полную возможность жить «в свое удовольствие», — даже и мысли не имеет о возможности *уйти* от тирана-мужа, не в силах убежать от его ударов: даже в страшный день своей страшной смерти, чувствуя приближение чего-то неимоверно жестокого, она только просит не уходить, остаться ночевать каких-то двух мужиков, случайных гостей Пищикова... Мужики отказались, и она ничего не могла придумать иного для своего спасения.

Таким образом, мотив, выставляемый Пищиковым, при самом тщательном изучении показаний, касающихся «добрачной» жизни его жены, решительно не имеет ни малейшего значения сравнительно с невероятным результатом,

к которому он привел. Защитник Пищикова (к чести его) даже и не коснулся этого, во всех смыслах не подлежащего уважению мотива. Но и другой мотив, выставленный прокурором, — положительно так же как и первый, — не выводит вас на настоящую дорогу. Пищиковым руководило корыстолюбие: жена его владела имением ценностию до семидесяти тысяч рублей, и вот он, сделавшись ее мужем, хочет, чтобы жена сделала его полным хозяином имения, и ради этого он начинает ее бить, то есть побоями хочет добиться от нее того, что́ она, прикованная к нему какою-то неискоренимою привязанностью, могла бы сделать по одному ласковому слову. Но и этого не нужно, потому что (как видно из дела) она сделала это уже давным-давно; Пищиков давно уже имел от нее доверенность на управление имением, мог это имение продать и заложить и, кроме того, имел ее векселя на сумму, превышающую стоимость имения. Словом, он имел в своих руках все, и вот, когда он все получил, он и делает дело, за которое его ждет бессрочная каторга. Не мог же он не знать, что, истязуя жену, он идет не к свободе и богатству и тем паче не к счастью... Он отлично знал еще утром рокового дня, что день этот кончится как-то необыкновенно жестоко, он знал это накануне, задолго до рокового дня ощущал потребность разразиться в чем-то ужасающем... В день смерти жены он утром посылает ее отцу телеграмму, извещая его о приближающейся кончине жены, которая была еще жива, сидела с гостями, которых потом просила остаться ночевать.

Словом, всевозможные «резоны», приводимые прокуратурой, защитой, свидетелями и самим подсудимым в объяснение этого необычайнейшего злодейства, не только не объясняют вам его, но, напротив, чем более вы стараетесь вникнуть в «подробности» дела и с помощью их дорыться до «самого корня», тем более вы начинаете чувствовать, «что это не то», что «это не главное», что это мелочи, и что где-то тут, «около» этого процесса, а не здесь, в этом окружном суде, и не в этом отчете о заседании, который вы читаете, есть то главное, то ужасное, что гнетет вас несказанным ужасом. Ужас этот начинает возрастать именно по мере того, как «подробности» дела начинают надоедать вам своею ничтож-

ностью, мелочностью... Вы видите, что для объяснения злодейства никто из лиц, заинтересованных в процессе, — *не в состоянии* представить таких резонных объяснений, чтобы вы могли сказать себе: «А, вот, наконец, в чем дело!»

И вот в то самое мгновение, когда вы хотели бы совершенно забыть то ничтожное, до микроскопичности малое сердечное огорчение Пищикова на его жену за какую-то добрачную жизнь, — огорчение, источником которого была впоследствии кровавая бесчеловечная бойня, — вот тут-то вы и начинаете понимать, почему это дело так несказанно вас потрясает.

2

Вас ужасают те непонятные условия жизни, которые сделали возможным нечто совершенно невозможное. Что бы вы сказали, если бы кто-нибудь указал вам на огромное, толстое и крепкое, как дуб, дерево и сказал бы, что это не дуб и даже не дерево, а просто-напросто салат, доведенный до такого невероятного состояния какими-то особенными приемами? В деле Пищикова поражают именно те таинственные причины, лежащие где-то тут, *около этого дела,* которые сделали возможным, что крошечное, поистине как маковое зерно, ничтожное личное дело, *личный*, притом же вполне призрачный *вопросик* мог постепенно разрастись до таких необычайных размеров, что завладел всем человеком, сделался руководителем всех его помыслов, поступков, побуждений, сделался воздухом, которым он дышит, стал главнейшим и единственным мотивом ежедневного *времяпровождения,* до того единственным и насущным, что когда жестокосердию не было пищи, когда воображение отказывалось работать в направлении жестоких мыслей, за положительным отсутствием материала, словом, когда утомленная однообразием работы мысль начинала ослабевать, то человек, *живший* и дышавший только этими злыми мыслями, должен был прибегать к искусственным средствам, пить стаканами водку, возбуждать свою отказывающуюся работать фантазию — в том же совершенно противоестественном направлении, точно не будь у него этих

бесчеловечных мыслей, так ему и жить-то на свете не будет никакого интереса.

В чем же заключаются те удивительные, непонятные условия нашей жизни, которые, с одной стороны, дают человеку широчайшую, роскошнейшую возможность отдать всю свою жизнь, всю свою душу, силу, кровь и плоть капельному личному вопросику, разработать этот вопросик в необычайных тонкостях, довести его крохотное значение до гигантских размеров, а с другой, — каковы же те условия жизни, которые, позволяя даже маковым зернам личных вопросов разрастаться до пределов невозможного, тем самым дают возможность пожираемому личным делом человеку *по целым годам не ощущать ни малейшей потребности уделить что-нибудь из своих личных сил, личного горя, личного внимания на интересы, печали, радости того океана людей, среди которого он живет?* И почему, наконец, этот самый океан людей, тут, вокруг этого человека, может жить своею жизнью, не прикасаясь к нему, ничего от него не требуя и ничего не давая?

Вот те действительно ужасные вопросы, объяснение которых таится где-то «около» процесса, но никак не в подробнейших подробностях его.

Случалось ли вам, читатель, когда-нибудь заглянуть на большую фабрику во время перерыва работы, то есть точь-в-точь в такую же минуту, которую относительно русского общества я позволил себе характеризовать словом «безвременье». Живая сила пара еще действует и на фабрике идут шум и стук; вот здесь пыхтит какой-то здоровенный поршень, хляская масляной поверхностью, пыхтит и неустанно толчется на одном месте; там вверху неустанно, неутомимо, неугомонно вертится какое-то маленькое колесцо, вертится ужасно проворно, кажется, бьется из всех сил, до последнего издыхания; а здесь вот до последнего же издыхания прыгает какой-то крючок, прыгает на одном месте миллион раз в секунду. Но сколько бы ни вертелось это колесцо, какую бы бесконечнейшую неутомимость ни обнаруживал этот поршень, до поту лица измученный своей вековечной обязанностью соваться вниз и вверх; как бы ни изнурялся этот крючок, без устали долбящий своим железным носом по железу, — вы можете видеть только, что все эти мучения

винтов, поршней и крючков совершенно бесплодны, что никакого ситца или сукна не будет, несмотря на ужаснейшие усилия этих мучеников механики до последней капли крови исполнять свои механические обязанности, — не будет до тех пор, покуда не придет мужик и не наденет на это вертящееся без устали и толку колесцо вот этого приводного ремня, который по случаю остановки дела снят с него и висит тут, рядом с этим колесцом. Но стоит только надеть приводной ремень, то есть стоит только соединить тонкой эластичной нитью это отдельно мучащееся колесцо со всем механическим миром фабрики, со всем машинным «обществом», — как все приходит в порядок, все получает смысл, все начинает стучать и долбить, и пыхтеть с известною целью, и на этот раз из пыхтенья, и шипенья, и долбленья уж непременно получится и результат — и сукно и ситец...

А Пищиков-то именно и есть это одинокое колесцо, без устали вертящееся на оси своего личного вопроса. Будь это колесцо притянуто приводным ремнем, то есть какою-нибудь нравственною связью, ко всему общему механизму, к этим отдельно стучащим и шипящим гайкам и винтам, к этим людям, которые живут кругом него, ощущай он хоть чуть-чуть, что на нем лежит ремень, обязанность, — и эта лошадиная сила, вылившаяся в таком непостижимом злодействе, убавилась бы наполовину; а раз она должна бы была дать место чему-то *не своему, не личному,* а общечеловеческому, — она бы не посмела выразиться, по крайней мере так, так ужасно. свободно, как она могла выразиться... Всякий убийца, всякий злодей, всякий мститель *боится людей,* прячет свое злодейство, кладет яд потихоньку в лепешку, убивает врага, когда он спит. Злое, бесчеловечное дело, от которого человек не может удержаться, *обязывает его* по крайней мере облегчить себе ту подлость своего поступка, утаив его *от людей, запираясь, отрекаясь от него...* В деле Пищикова то-то и ужасно, что оно совершается при полнейшем сознании безлюдья; ни скрывать, ни притворяться, ни хитрить ему не приходит в голову. Он *один* с своим личным делом; кругом него пустыня, и размахи его кнута, делаясь все шире, все вольнее, удалее, встречают только пустое пространство, только в пустом воздухе свистит его окровавленный кнут.

У него полон дом народу, он живет в деревне, он бывает у священника, у кабатчика, у станового, кругом него живут крестьяне, — но каждый из них, как это одинокое колесцо, как этот пыхтящий поршень, как этот крючок, долбящий железным носом по железу, прикован, как и Пищиков, к своему горю, к своему делу, к кабаку, к пашне, к требам и т. д. Это — не камни, не звери, нет, это люди, — каждый поодиночке, как винты, гайки и поршни на фабрике, находящейся без работы, томящиеся в обилии и тяготе *своих* крошечных печалей и забот, без умолку толкущиеся в *своих* выше головы кажущихся горестях; но между всеми ими нет ничего связующего, нет этого приводного ремня, который, связывая отдельное колесцо с общим механизмом, ставил бы *мои* печали и желания в связи с печалями и желаниями соседей и, сливая их, ставил бы над всеми нами общие, понятные всем одинаково и одинаково обязательные цели. *«Один на один», «с глазу на глаз»,* «с самим собой», с своими радостями, с своими печалями, с своими дурными, злыми и добрыми желаниями, с муками или мелочами своей души, — вот характернейшая черта «безвременья», результат искусственно, с огромными, нечеловеческими усилиями оборванной связи, разрезанного нерва, который на наших глазах так животворно соединял когда-то «меня», отдельного человека, со всем человечеством вообще и со всей русской землей в частности.

Ничтожный провинциальный писарек Пищиков, которому предстояло бы существовать доходами в квартале, кляузами и т. д., неожиданно делается богачом, женится на богатой, получает любящую и преданную жену. Не случись этого, он бы из простого желания получить с мужика за аблакатскую практику рубль должен бы быть скромным, должен бы был *«держать себя»* прилично, хотя мало-мальски должен бы был «ломать голову» над *чужими* делами, чтобы, получив вознаграждение, отвести и *свою* душу где-нибудь в кабаке, в трактире. Но вот обстоятельства его сложились так счастливо, что уже ему не надобно так или иначе «держать себя», думать о *чужих* делах, хотя бы из-за денег, — и он оказывается в безвоздушном пространстве.

«Как так?» — быть может, спросит читатель. «Тут-то, то есть именно тогда, когда *вполне удовлетворены все*

личные потребности и нужды, — тут-то человеку и открывается простор для общественной деятельности, тут-то и можно, ни в чем себя не урезывая и не стесняя, подумать о чужом деле и житье». Но в том-то и беда, что, говоря вообще, именно у нас на Руси никто не предоставлен в такой степени «пустому пространству» относительно общественной деятельности, как человек «вполне обеспеченный». Желание так ли, сяк ли выскочить из условий «полного удовлетворения», иной раз «куда глаза глядят», — есть одна из самых замечательных черт общественной жизни, затерянных в хаосе постоянного «безвременья». Не только такая деревянная и ограниченная натура, как Пищиков, остаются за полным удовлетворением всех личных своих интересов в пустом пространстве, а и самые нежные, впечатлительные и восприимчивые натуры. «Вот тебе деньги, вот тебе миллион — живи и не суйся», «Не суйся» — видно обеспеченному человеку гораздо лучше, чем кому-нибудь другому. Нет места даже хоть поврать-то либерально или консервативно — но лишь бы на народе. Еле-еле в двадцать лет явится возможность напечатать какую-нибудь книжонку для народа в две копейки. Самый впечатлительный человек может у нас лет пятьдесят сидеть в углу своего кабинета и думать о правде сколько ему угодно, думать до тех пор, пока диван под ним провалится, пока под диваном провалится пол — и общественного толка от этого не будет.

Почему так? Да просто, говоря по чистой совести, *боимся!* «Поди-ка, сунься!» — вот что «начинается» для обеспеченного человека после того, как он, наконец, «достиг». Да, господа, боимся, решительно *боимся* сунуться из своего заколдованного угла на улицу, в толпу, в народ, в общество, — и это *боимся* начинается для русского развитого человека как раз тогда, когда бы ему следовало подумать и о «других», когда ему даже и самому приходит желание подумать и поработать для других. Если у впечатлительных людей на дороге от интересов личности к интересам человечества стоит это, довольно основательно обставленное «боюсь!» — то у Пищикова, человека нисколько не впечатлительного, нимало не развитого, оказалась, по удовлетворении личных нужд, бесконечная, голая пустыня... Мало образованный и бедный до сих пор, он мог только практически

познакомиться с областью дел общественных. Он знал, как человек, которому нужно где-нибудь получить жалованье, что есть какие-то общественные банки, общественные дела в думе, общественные дела в земстве. Но чему же действительно общественному он мог бы научиться во всех этих учреждениях, как практик, как человек опыта? Что́ такое сделали общественного в действительности все эти учреждения за последние годы, и что́ в них могла видеть и наблюдать такая грубая, ограниченная натура? Одни только корыстные мотивы — только одни безусловно; толкуют: «общественное, общественное», а глядишь — и пропал сундук с деньгами... Толкуют о развитии промышленности, о кредите, о заработке для бедного люда, то есть в конце концов об общественной пользе, а на деле оказывается — обворовали банк и больше ничего! И ведь это так в действительности; и если бы Пищиков был в нужде, то он старался бы изучить механику таких «общественных дел» и научился бы, может быть, довольно искусно врать об общественной пользе, имея в сущности какую-нибудь низменную цель; но у него нет нужды, нет надобности изучать эти звонкие слова для того, чтобы разломать сундук с деньгами, и вот он — в полной пустыне. Положа руку на сердце, скажите — в каком виде, в каких размерах «общественное дело», нужды вообще людей, среди которых мы живем, могут в настоящее время сами прийти к вам, постучаться к вам в дверь, сказать вам: «Что вы сидите! идите делать то-то и то-то. *Вы обязаны*». Никогда! Никогда они не стучатся теперь сами в вашу дверь и не приходят к вам и не требуют вас к себе... И вот Пищиков — совершенно в пустом пространстве. Кругом него крестьяне, нищета, нужда, кабала, теснота земельная, горе мужицкое; но из этого на памяти Пищикова никогда никакого вопроса и никакого «дела» не делалось, и он, видя все это, как человек, наученный практикой жизни — считать *все это* за обыкновенное,— нимало не думает сделать все это предметом хотя бы малейшего внимания и вовсе не считает материалом, годным для личной, духовной и умственной жизни.

Просторно и пусто кругом него... Просторно и пусто в нем самом, в его пустой душе, пусто, как в огромном пустом сарае. Ничего там нет... Но надо же, чтобы

там что-нибудь жило, нельзя же так, просто, лить туда водку, надо что-нибудь. И вот в его неласковом сердце является мысль о Телят-бее. Мысль крошечная, воспоминание ничтожное, как дым, легкое, прозрачное, но он уж и ему рад, он хватается за него и понемножечку, но каждую минуту (а теперь у него все минуты свободны) начинает развивать это зернышко, наконец-таки найденное в пустом сарае, начинает лелеять, разрабатывать, тысячи раз расспрашивая жену о том, что̀ ему известно давным-давно, и подбадривая себя сивухой в такие минуты, когда кажется, что лелеемому растению не из чего развиваться. И понемножку, по капельке, но не бросая этого дела ни на минуту, в несколько лет Пищиков успевает возрастить это капельное зернышко салата до размеров огромного дуба.

И во все эти годы *чужая* жизнь ниоткуда не вторглась в эту пустую, нищую душу, не дунула в нее ощущением стыда, не вложила в нее никакого *иного* материала, потому что и чужая жизнь состоит теперь тоже из миллионов жизней «один на один». А вот не угодно ли полюбоваться на ту же черту настоящего безвременья совершенно уж в другом виде? Пищиков, поставленный в положение полной изолированности от людского общества и общечеловеческих интересов, наполняет огромный пустырь, окружающий его, проявлениями своей жестокости в размерах, ничем не ограничиваемых, — а вот какой-то сельский учитель, чувствующий вокруг себя тот же пустырь (для Пищикова это «простор»), вот как описывает свое положение: «Сердце сжимается, *уста цепенеют* (?), кровь стынет в жилах, голова горит как в огне и мысль едва-едва работает при написании сих правдивых строк. Если бы не вопиющая действительность, не святая истина, всегда, везде, во всех жизненных проявлениях тождественная, если бы не *горькие, безотрадные, безутешные слезы* народных носителей по пути грамотности, — не заскрипело бы наше скромное перо. Но оно невольно скрипит, повинуясь глаголу вечной правды, рисуя неприглядную, забитую, запуганную, скомканную, искалеченную жизнь этого истинного труженика, сельского учителя Усманского уезда. Что ждет его в будущем? Где успокоит он свои старые кости? Разве только под сводом сырой могилы. Это, впрочем,

удел каждого движущегося индивидуума по непреложному велению творца. Но, прежде чем дойти до этого предела, что́ испытает сельский учитель, еще юный, *жизненная могила* которого протянется, быть может, на целые десятки лет? Нельзя без сердечного содрогания и нравственной муки смотреть на эту бледную, исхудалую, забитую горькой нуждой фигуру, сгорбленную, в дырявом сюртуке, в разорванном пальто, в изношенных сапогах, фигуру сельского учителя, идущего в усманское земство для получения каких-нибудь десяти — тринадцати рублей месячного содержания. Если при этом взять во внимание окружающую невежественную и пьяную массу крестьян, среди которых приходится насаждать светоч науки, крестьян, от которых нередко, как будто в награду, переносятся всякие оскорбления, то можно судить, насколько красна жизнь сельского учителя и сколько нужно терпения, умственного и нравственного устоя, чтобы без ропота нести такое ужасное бремя жизни! ..» («Тамбовские губернские ведомости»).

Читая эту корреспонденцию, невольно спрашиваешь себя: что такое случилось с беднягой — усманским учителем? Уж не истиранил ли его кто-нибудь ни за что, ни про что. У него «уста цепенеют» от ужаснейшего положения, для него жизнь не жизнь, *а жизненная могила*, «ужасное бремя», он не может *без сердечного содрогания* представить себе фигуру учителя: фигура вся изорвана в клочья, согбенна, изнурена и забита... Что же, наконец, такое делают господа усманские земские изверги с усманскими сельскими учителями? Но при внимательном чтении письма оказывается, что с усманскими учителями ровнехонько-таки ничего особенного не творится; жалованья мало, но по всей России учителя получают мало; вот и все... А между тем ужас, который владеет корреспондентом при изображении положения сельского учителя, несомненен; через несколько дней после этой корреспонденции появилось известие о самоубийстве какого-то сельского учителя из усманских, и я не удивился бы, если бы этот наложивший на себя руки человек оказался именно тот самый, который писал корреспонденцию. Отчего же такой ужас охватил его? Отчего ему представилось, что быть сельским учителем усманского земства почти то же, что быть живым зарытым

в могилу? Мне кажется, что ужас овладел беднягой именно от ощущения одиночества. Он один в пустыне, с своими тетрадками, книжками, чернильницею... Кругом — невежество, ничего общего с его святой миссией, он обречен на всю жизнь чахнуть над таблицей умножения, «фыкать» и «пыкать», — он один, а все чуждо ему и всем чужд он... Вот источник того неподдельного ужаса, последствием которого, кажется, даже было самоубийство. «Один сам с собой» — живи так всю жизнь! Да, это точно могила! Читая корреспонденцию, вы чувствуете, что человек иззяб, издрог в каком-то холодном погребе, исчах там, «измучился», должен знать, что ему ничего не предстоит, кроме гибели, — его забыли, до него никому нет дела.

И такое душевное состояние, такая душевная жуть, которая сквозит в словах учителя, делается совершенно понятной, если припомнить опять то же самое одиноко, беспрерывно и бесцельно вертящееся фабричное колесцо, не приведенное в связь с общим ходом живого общественного механизма и живого общественного дела. На нашей памяти опять-таки были времена, когда эта связь существовала и когда передаточный ремень притягивал маленькое колесцо к большому механизму. Тогда не страшно было бы жить сельскому учителю и на тринадцати рублях, и в рваном пальто, и не страшно потому, что он, точно так же «пыкая» и «фыкая» и до хрипоты изнемогая над таблицей умножения, чувствовал, что он «не один», что ему дороги не тринадцать рублей, не «средства к жизни», а самое дело; он мог *посвятить* жизнь этому делу, давать молодому деревенскому поколению возможность мыслить разумно и справедливо, и он охотно, с жаром и всем пылом молодости принимался за трудную черную работу умственного развития молодого поколения, вставал в шесть часов, когда на дворе еще темно, но ребята уж бегут к учителю; грелся от холоду, играя с этими же ребятами на-кулачки... Он знал, что он не один, что литератор, писатель пишут для него, для учителя, и этих мальчиков книгу под влиянием *тех самых* побуждений, которые и его заставили *посвятить себя* трудному делу, — и книга *поможет* ему придать работе бо́льшую силу, большее содержание; он знал, что и журналистика не забывает его, потому что работает

в одном с ним направлении; знал, что вот этот мировой судья не помирволит неправде, так как исповедует одни и те же принципы и проводит их в своем, не учительском, а судейском деле. Знал, что решение такого-то дела подтвердит его слова, сказанные ученикам. Словом, тысячами рук в разных видах и приемах делалось одно и то же, и ни один винт, поршень или крючок этого механизма не толкался праздно на своем месте, а знал, что он находится в связи с человеческим обществом, что идея, их связывающая, есть идея общечеловеческая, и, таким образом, долбя в холодной избе таблицу умножения, ни малейше не терял связи с развитием общечеловеческой мысли...

Да, если, может быть, не так вполне «прекрасно было» на наших глазах, зато действительно точно так, как здесь говорится, — прекрасно думалось, чувствовалось и частью, несомненно, осуществлялось в действительности.

Но, увы, передаточный ремень снят, живой нерв, соединявший мою духовную жизнь с духовной жизнью человечества и русского народа, разрезан; винты, гайки и поршни толкутся, шипят, суетятся, изнуряются каждый «сам по себе», «один на один», изнуряются без общей цели, без общего плана, без живой общественной связи.

Уединенный поэтик начинает маленьким воробьиным носиком копаться в крошечном цветке, обрызганном капелькой росы, и делает это дело с величайшей тщательностью... Уединенный беллетрист производит микроскопические исследования над психическим состоянием Петра Петровича, которому нравится толстая Марья Андреевна и опостылела худощавая Наталья Ивановна... Уединенный учитель пускает пулю в лоб, потому что ему пришлось жить с одними чернильницами, перьями, линейками, без всякой нравственной душевной связи с окружающим крестьянским обществом, без связи с командующим, распоряжающимся над ним земским классом, и ужас его одиночества, холод этой заброшенной нетопленной комнатки, эти рваные сапоги и дыры износившегося платья — все это, рисующееся его воображению в перспективе всей жизни, до конца, до могилы, невольно тянет к этому концу, к этой могиле, как полному успокоению.. А вот уединенный Пищиков, не нуждаю-

щийся в людском обществе и, к сожалению, по целым годам не ощущающий со стороны этого общества ни малейшего давления, сосредоточившийся на своих личных микроскопических обидах, позволяет праздному воображению увеличить эти обиды, как под микроскопом, в миллионы раз и, наконец, поглощенный, подавленный ими, берется за плеть, полагая, что ему нельзя жить на свете, покуда он эту в миллионы раз увеличенную обиду не отомстит миллионами ударов плети по здоровому телу!.. И хлещет, и хлещет, и хлещет!


ПРИМЕЧАНИЯ

ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ

(Отрывки из записок Тяпушкина)

Печатаются по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Впервые напечатаны в «Отечественных записках», 1884, №№ 1—4. В переработанном виде включены в шестой том Сочинений Успенского (СПБ., 1884). С изменениями вошли в последующие Сочинения писателя. В настоящем издании печатаются со следующим исправлением:

стр. 73, строки 23—28 сверху. Восстановлена по наборной рукописи «выдумка» учителя («и вследствие этого... на *ов* непременно»), без которой неясен дальнейший текст.

Сохранилась рукопись двух последних глав «записок Тяпушкина», послужившая оригиналом набора для журнала «Отечественные записки». Сличение этой рукописи с журнальным текстом свидетельствует о значительных изменениях, которые были сделаны в корректуре, очевидно, из боязни цензуры. Успенский вычеркнул ряд острых социальных деталей и сократил текст «записок». Так, например, значительно была исправлена страница 94. Вместо фразы «...шопотом спрашивает: «нет ли чего новенького?» вздыхает, говорит, что ему самое настоящее место «там», а не здесь...» в рукописи было: ...шопотом спрашивает: «нет ли чего новенького по части подпольной печати, вздыхает, говорит, что ему самое настоящее место в предварилке, а не здесь...»

Вместо «...словом, умеет до такой степени очаровать несчастную овцу...» в рукописи было: ...словом, умеет до такой степени очаровать несчастную курсистку... то бишь овцу...

Вместо ...съесть эту несчастную овцу» в рукописи было: «...съесть эту несчастную овцу, уже начавшую думать, что и в ихней партии есть люди».

В конце последнего очерка в корректуре был снят текст, вновь возвращающий читателя к первому отрывку из «записок Тяпушкина» — «Вместо предисловия» — и дающий более развернутый ответ на вопрос — почему так много нелепостей в русской жизни.

Очерки «Волей-неволей» не были закончены Успенским в связи с закрытием журнала «Отечественные записки». В апреле 1884 года Успенский писал М. М. Стасюлевичу, что не может тотчас же прислать ему для публикации какое-либо уже законченное произведение, так как все время работал «над очерками, прерванными закрытием журнала, и следовательно, должен бросить, — конечно на некоторое время, — материал, приготовленный на май, июнь и июль» (Г. Успенский. Полное собрание сочинений, т. XIII, изд. Академии наук СССР, М., 1951, стр. 357).

Из материала, упоминаемого писателем, известны лишь отрывки начала пятого очерка.

В 1884 году при подготовке «Волей-неволей» для шестого тома Сочинений Успенский сократил текст последнего очерка и изменил конец его, вычеркнув несколько строк, свидетельствующих о неосуществленном замысле нового произведения.

В тексте «Отечественных записок» Тяпушкин писал: «С этих пор в жизни моей начинается совершенно новый период, начинается «опыт», не окончившийся и до настоящего времени. Результаты этого опыта я передал в следующих очерках, которые будут носить уж другое название, так как до сих пор я касался только явлений и лиц, *волей-неволей* обреченных на самопожертвование. Люди воли не входили в план этих заметок, да и не могли войти, так как я именно желал коснуться обязанностей, без нашей воли лежащих на нас. Людей воли я встретил потом, и о них поэтому будет особая речь.

Теперь же мне... (далее см. текст на стр. 105, строка 1 снизу).

Исследователи творчества Успенского указывали, что герой очерков «Волей-неволей» разночинец Тяпушкин имеет много черт, роднящих его с самим автором.

В «записках Тяпушкина» Успенский ставит перед собою цель разобраться в многочисленных «несообразностях» русской жизни и объяснить причины бестолковщины, ярко проявляющейся и в городе и в деревне. Тысячи людей собрались проводить гроб Тургенева, но торжественность прощания с писателем-гуманистом нарушена взводом казаков, присланных «следить за порядком»; деревня так

нуждается в помощи врачей, но нет заботы об увеличении их числа, и крестьяне «волей-неволей» должны обращаться к помощи знахарей; выходец из деревни, коридорный Кузьма хорошо подметил неполадки деревенской жизни, но вместо того, чтобы встать на путь борьбы с несправедливостью, он, после соответствующей беседы «в конторе», начинает шпионить за жильцами.

Поделившись с читателями своими многообразными наблюдениями над явлениями бытовой и общественной жизни, Тяпушкин приходит к выводу, что столь резкие контрасты между тем, что должно быть и что на самом деле представляет собою русская действительность, обусловлены существующим социальным строем, тем, «что «обязательное» для нас» превратилось в самодержавно-бюрократической России «в запретное и недопускаемое».

В своих «записках» Тяпушкин характеризует деятельность современных интеллигентов.

В очерке «Наконец — нашли виноватого!» он обличает ренегатство народнической интеллигенции, выразившееся в отказе от общественных интересов и в равнодушии к судьбам народа.

Успенский говорит, что эпоха безвременья, т. е. годы после разгрома революционного народничества, создала своеобразный тип человека-перевертня, чрезвычайно «чутко» ощущающего «малейшее прикосновение новых течений и веяний жизни».

Писатель остроумно называет этих людей «телячьим студенем», быстро реагирующим на малейшее движение рядом: «Кто-то из обедающих чихнул, и студень тотчас «отозвался» трепетом... А разрежьте его — ледяной, точно мороженое».

В своем очерке Успенский использует современные литературные факты. Так, возглас интеллигента «довольно, довольно» намекает на появление в журнале «Русская мысль», 1884, № 1, стихотворения «Довольно» С. Андреевского, а протест против засилья «мужика» в литературе опирается на ряд критических выступлений. Так, помимо указанной Успенским газеты «Новости», 1884, № 13, от 13 января, против засилья «мужика» выступила и газета «Русь», опубликовавшая в 1884 году, № 3, от 1 февраля, «Письма из Петербурга о русской современной литературе» реакционного критика К. Головина. Называя Гл. Успенского главой плеяды писателей, которая «подобно уличной шарманке, продолжает наигрывать все ту же заезженную, некогда любимую тему», Головин утверждал, что «мужиковствующая беллетристика успела-таки понадоесть читателям».

Современная критика, говоря о «записках Тяпушкина», отметила исключительную наблюдательность Успенского, выразительно характеризующего новые, только что возникающие в жизни явления.

Острота восприятия Успенским наиболее характерных явлений современной жизни была отмечена и М. Е. Салтыковым-Щедриным. 8 февраля 1884 года он сообщил Н. К. Михайловскому, что очерк «Наконец — нашли виноватого!» предвосхитил его работу над родственной темой.

«Ужасно обидно, — писал Салтыков-Щедрин: — задумал я сказку под названием «Пестрые люди» написать (об этом есть уже намек в сказке «Вяленая вобла»), как вдруг вижу, что Успенский о том же предмете трактует! Ну, да я свое возьму не нынче, так завтра» (Полное собрание сочинений, т. XIX, М., 1939, стр. 387). Свое намерение писатель осуществил в девятом «Пестром письме» (1886).

Очерк Успенского был отредактирован Салтыковым-Щедриным (см. его письмо к Н. К. Михайловскому от 6 февраля 1884 г.).

Давая яркие зарисовки безрадостного детства и юности Тяпушкина, Успенский бичует социальные условия, направленные на подавление личности, на унижение человеческого достоинства, человеческого права.

Уродливые формы воспитания создают, как показывает Успенский, людей без сильной воли, не подготовленных к практической борьбе за переустройство жизни, вот почему их служение народу часто превращается в бесплодный альтруизм, в самопожертвование.

Выражение «волей-неволей», избранное Успенским в качестве заглавия записок своего героя, часто повторяется им и в тексте последующих очерков.

К образу демократа Тяпушкина Успенский возвратился в 1885 году в очерке «Выпрямила» (см. том 7 настоящего издания).

Стр. 9. ...*«не нам и не ему сей фимиам пахучий...»* — цитата из стихотворения Я. П. Полонского «27 сентября 1883 года. (У гроба Тургенева)».

Стр. 10. ...*«вмиг слетелись в общем крике»*... — неточно цитированная строка из стихотворения А. С. Пушкина «Делибаш».

Стр. 11. ...*речь Бекетова об астрономии*... — На похоронах И. С. Тургенева выступил ректор Петербургского университета А. Н. Бекетов, посвятивший свою речь «закону сохранения сил» не только в физическом, но и в духовном мире. Бекетов сравнил бессмертие творчества Тургенева с бессмертием вселенной («Огонек», 1883, № 42, стр. 777—778).

Стр. 16. ...*Александр Благословенный дарует мир Европе*... — Речь идет об Александре I, вступившем в марте 1814 года во главе союзной армии в Париж.

Стр. 36. *...разыскать нить... в печати, в больших, убористым шрифтом и без малейших признаков пустых белых мест напечатанных, газетах...* — т. е. без цензурных изъятий.

Стр. 41. *Когда объявились в газетах «иллюзии», а за чайным столом появился земец...* — Речь идет об издании закона о земских учреждениях в 1864 году.

— *«Песнь торжествующей любви»* — повесть И. С. Тургенева.

Стр. 44. *Жюдик* Анна (1846—1911) — французская артистка оперетты.

Стр. 46. *...в одной из газет, физиономия которой...* — Успенский цитирует слова из передовой газеты «Новости и биржевая газета», 1884, № 13, 13 января. В этой статье указывалось также, что народники «уснастили свой язык выражениями», заимствованными у мужиков Успенского и Златовратского.

Стр. 48. *Сарра Бернар* (1844—1923) — известная французская драматическая артистка.

Стр. 57. *...к числу тех «скелетов в доме»...* — Успенский намекает на повесть М. Печориной «Скелет», опубликованную в «Еженедельном обозрении», 1884, №№ 6—7, январь, герой которой, врач, выполняя волю умершей жены, поставил в своем кабинете ее скелет. Этот «скелет в доме» заставлял героя беспрестанно вспоминать о прошлом.

Стр. 60. *Ренан в надгробной речи...* — Имеется в виду речь французского историка и филолога Ж.-Э. Ренана, произнесенная при прощании с прахом Тургенева в Париже («Иностранная критика о Тургеневе», 2-е изд., СПБ., 1908).

Стр. 67. *Огромная масса тогдашнего священства вступала в брак непременно вопреки человеческому достоинству...* — Представители белого духовенства, чтобы получить церковный приход, часто вынуждены были жениться на дочерях священнослужителей из расчета, а не по любви.

Стр. 68. *«Сожги барина — нас же заставит строить: а как мы себя изведем, так с чего он возьмет?»* — Успенский вспоминает эпизод «Из разговоров с приятелями» (см. третий очерк «Интеллигентный человек», 1883).

Стр. 74. *Палкин* — владелец ресторана в Петербурге.

Стр. 93. *...расхищать башкирские земли.* — «Положение 10 февраля 1869 года» устанавливало передел земель в Уфимской и Оренбургской губерниях между коренными их жителями башкирами и переселенцами в этот край. В связи с этим земельным отчуждением началась беззастенчивая спекуляция «башкирскими

землями» и захват их крупными землевладельцами. Успенский не раз возвращался в своих очерках к этому вопросу.

Стр. 95. *«Гигиеническая скамейка».* — Речь идет о телесных наказаниях учащихся.

Стр. 97. *Бредло* Чарльз (1833—1891) и *Парнель* Чарльз (1846—1891) — английские радикальные политические деятели.

СКУЧАЮЩАЯ ПУБЛИКА

Цикл «Скучающая публика. Очерки, путевые заметки, рассказы», опубликованный в 1884 году в журнале «Русская мысль», состоял из пяти произведений: «Материалы, сообщенные фельдшером Кузьмичовым»; «Материалы, сообщенные купцом Таракановым»; «Общие свойства «скучающей публики»; «Трудами рук своих»; «Мечтания».

В новом цикле рассказов и статей Успенский противопоставлял оживленному настроению шестидесятников, которые чувствовали себя «на пороге новой жизни», унылое настроение интеллигенции эпохи «безвременья», т. е. периода после разгрома революционного народничества. Эта интеллигентная «публика», по утверждению писателя, не имеет ясных, определенных целей, она утратила «вкус, аппетит жизни», не знает, «что ей собственно нужно», у нее отсутствуют «живые интересы живых людей». Эту-то «публику» Успенский и называет «скучающей».

В 1886 году, редактируя тексты очерков для восьмого тома Сочинений, Успенский пополнил свой цикл двумя очерками («Побоище» и «Несколько часов среди сектантов») и значительно видоизменил характер третьего очерка «Общие свойства «скучающей публики».

В Сочинения вошла только вторая часть данного очерка («Верзило»), первая же, в которой Успенский раскрывал значение заглавия цикла и давал развернутые характеристики различных категорий интеллигентной «скучающей публики», оказалась опущенной.

Очерки «Побоище» и «Несколько часов среди сектантов», впервые опубликованные в «Отечественных записках» (1883), в составе цикла «Из путевых заметок», не связаны органически с очерками цикла «Скучающая публика».

В настоящем издании этот цикл печатается в своем первоначальном составе (пять очерков) по последнему прижизненному изданию Сочинений Успенского.

Последующие годы дали новый материал для характеристики Успенским нравов «скучающей публики», о чем он и писал в ноябре 1887 года В. М. Соболевскому. Эта характеристика была сделана писателем в новой серии очерков «Концов не соберешь» (1888—1889). Успенский дал одному из очерков этого цикла заглавие «Суетные попытки развеселить «скучающую публику», напоминающее об его более раннем произведении.

В текст «Скучающей публики» внесены следующие исправления:

Стр. 194, строки 15—16 снизу. Восстановлены пропущенные во втором и третьем изданиях Сочинений слова «все это мы всосали с молоком матери».

Стр. 194—195. Восстановлены выпавшие в третьем издании Сочинений слова «Дозволили» печь булки всякому. . , да за свои еще деньги!» и стр. 195, строка 13 «хоть для смеха».

Стр. 198, строки 3—4 сверху. Восстановлены выпавшие во втором и третьем изданиях Сочинений слова «на законах неизменных и повинующейся».

I. МНЕНИЯ ФЕЛЬДШЕРА КУЗЬМИЧОВА О СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Впервые рассказ напечатан в «Русской мысли», 1884, № 9, под заглавием «Материалы, сообщенные фельдшером Кузьмичовым». С новым заглавием «Фельдшер Кузьмичов» и стилистическими исправлениями текста включен Успенским в восьмой том Сочинений (СПБ., 1886). Под заглавием «Мнения фельдшера Кузьмичова о современном обществе», с небольшими стилистическими исправлениями, вошел в последующие Сочинения писателя.

В двух первых рассказах цикла «Скучающая публика» изображены новые типы пореформенной русской жизни.

Фельдшер Кузьмичов — интеллигент из крестьянской среды, посвятивший свою жизнь общественному служению. Успенский показывает, что он служит народу «не на словах, а на деле». Деятельность фельдшера противопоставлена хищнической деятельности представителей буржуазии.

Сохранившиеся в архиве писателя рукописные отрывки свидетельствуют о тщательной работе Успенского над рассказом о фельдшере Кузьмичове. Современная критика отметила высокое мастерство речевых характеристик персонажей писателя.

Первые рассказы были, повидимому, несколько сокращены редакцией «Русской мысли» из-за боязни цензурного запрета. В письме к Г. Успенскому секретарь журнала Н. Н. Бахметьев писал: «Вы несправедливо строги к «Скучающей публике». Все читавшие очень довольны этими очерками. Они настолько ярки, так доказательны, что даже в сильно оцензуренном виде представляют поразительно верную характеристику русского общества текущих дней. Простите мне выкидки, урезки. Ничего не поделаешь. «Плетью обуха не перешибешь», а обух этот у нас все еще над головой висит. Пришлось и о переселенческих неурядицах зачеркнуть: это один из цензурно-щекотливых вопросов. Есть даже особый по этому предмету циркуляр»

В 1891 году Успенский создал на основе своих произведений о фельдшере и купце новый рассказ «Аграфена».

Рассказ этот, предназначенный для народного издания, вызвал негодование цензора С. Н. Коссовича. В докладе от 16 мая 1891 года он обращал внимание Петербургского цензурного комитета на мрачные краски в обрисовке купца и требовал запретить рассказ, который может вызвать у читателей-крестьян «неприязнь и ненависть ко всему купеческому сословию». Однако комитет не согласился с доводами цензора. Указав, что Успенский отметил «дурные стороны не общие всему классу, а лишь присущие некоторым из лиц купеческого сословия», комитет разрешил публикацию рассказа (Г. Успенский. Аграфена. — Не знаешь, где найдешь. изд. В. И <кскуль>, М., 1892).

Стр. 122. *«Который был моим папашей! Который был моим мамашей!»* — Купец Тараканов приводит в искаженном виде слова из модной в те годы оперетты Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена».

II. ЗАТРУДНЕНИЯ КУПЦА ТАРАКАНОВА

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Впервые рассказ напечатан в «Русской мысли», 1884, № 9, под заглавием «Материалы, сообщенные купцом Таракановым». С новым заглавием «Купец Тараканов» и стилистическими исправ-

лениями включен Успенским в восьмой том Сочинений (СПБ., 1886). Под заглавием «Затруднения купца Тараканова» включался в последующие Сочинения писателя.

Материалом для рассказа послужили злободневные явления тех лет: крах ряда банков и обнаруженные в них хищения и растраты. Газеты 1883—1884 гг. пестрели сообщениями о банковских злоупотреблениях.

Внимание общественности особенно привлекло судебное дело против директора И. Г. Рыкова и его соратников, возбужденное в связи с крахом банка в г. Скопино. Мошеннические проделки этих банковских «деятелей», вскрытые на суде, были восприняты современниками как типичнейшее проявление капиталистического хищничества.

«Рыковщина» (этот термин широко бытовал в печати 80-х годов) привлекает внимание не только Г. Успенского. О ней пишут М. Е. Салтыков-Щедрин («Пестрые письма»), А. П. Чехов («Дело Рыкова и Компании») и другие писатели и публицисты.

В очерке «Общие свойства «скучающей публики» Успенский писал: «Слово «хищение» нисколько не исчерпывает всей сложности этого явления. Лопнувшие банки, опустошенные сундуки, опустошенные карманы обывателей, — это только самая ясная, популярная часть явления, определяемого словом «хищение». Во сто раз больше значения это явление имеет в нравственном смысле, в нравственных своих последствиях. Даже запутанные рассказы купца Тараканова рисуют это явление в размерах, далеко выходящих за пределы простой кражи».

В своем рассказе Успенский вскрывает механику хищнических действий в области кредита и «расширения торговли», а также использования органов самоуправления, подкупа деятелей земства, волостных судов и т. д. Рассказ купца свидетельствовал о том, что безнаказанному хозяйничанию Артем Артемовичей приходит конец.

III. ВЕРЗИЛО

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Данный рассказ представляет собою вторую часть очерка «Общие свойства «скучающей публики», опубликованного впервые в «Русской мысли», 1884, № 10. В качестве самостоятельного рассказа, с сокращением текста, стилистическими исправлениями и новым заглавием «Верзило» включен Успенским в восьмой том

Сочинений (СПБ., 1886). Почти без исправлений входил в последующие Сочинения писателя.

Рукописные отрывки, сохранившиеся в архиве писателя, свидетельствуют о тщательной работе над сценкой карточной игры на пароходе.

В первой, опущенной при включении в Сочинения, части очерка Успенский дал развернутую характеристику «скучающей публики». Подобная же характеристика, но в более сжатом виде, была сделана им и во второй части «Общие свойства «скучающей публики».

Перерабатывая текст в 1886 году, Успенский оставил в своем очерке «Верзило» несколько строк, неясных для читателя в связи со сделанным ранее сокращением. Успенский писал (стр. 159) о разряде «теоретиков всевозможных сортов, видов и цвета» следующее: «Одни, благодаря средствам, расчистив вокруг себя аршина два в диаметре кучи того неопрятного хлама, которым изобилует жизнь, ищут *настоящего* в совершенстве личном, проповедуют «неземную несправедливость», неземные *дела,* доходят в последовательном развитии своих идей до вопроса о том, из какой материи шьются «тамошние пиджаки». Эти строки связаны с вычеркнутой главкой, где давалась оценка высказываний К. Н. Леонтьева и Вл. Соловьева по поводу произведения Л. Толстого «Чем люди живы» и высмеивался спор известного пропагандиста спиритизма А. Н. Аксакова с Вл. Соловьевым о церкви, которая имеется «здесь» (на земле) и «там» (на том свете) («Русь», 1884, №№ 7 и 9).

Поставив перед собой задачу показать в цикле «Скучающая публика» новые явления «эпохи безвременья», Успенский обращает внимание читателей на рост люмпен-пролетариата и вредное воздействие этого «шлющего», «мусорного народа» на крестьян, оторвавшихся от земледельческого труда.

Успенский предполагал дать в специальном очерке характеристику различных типов этой «голытьбы», подобную характеристике, данной им в очерке «Общие свойства...» разнообразным типам интеллигентной «скучающей публики». Однако это намерение не было осуществлено писателем.

Успенский упрекает интеллигенцию в теоретических, оторванных от жизни, «мечтаниях» и, ставя вопрос о том, как следует жить человеку «свято», указывает на активную практическую деятельность интеллигентов среди народа. Этому же вопросу посвящены и последующие очерки цикла.

Стр. 157. *Я видел эту толпу тотчас после еврейских беспорядков...* — Успенский упоминает о еврейском погроме в Нижнем-Новгороде 7 июня 1884 года. С этой фразой связан был внешне очерк «Побоище» (тема — национальная рознь на юге России), введенный в цикл «Скучающая публика» в 1886 году.

Стр. 159. *...во время рабочего кризиса в Париже...* — Имеется в виду промышленный кризис, вызвавший безработицу более 150 000 французских рабочих.

Стр. 160. *...я читал... и еще рассказик в «Вестнике Европы».* — видимо, рассказ А. Р. Архангельской «По пути», напечатанный в «Вестнике Европы», 1884, № 2, за подписью «А. А.»

— *...чтение рецензий об «Эрмитаже», Лентовском и «Ливадии».* — т. е. рецензий об увеселительных местах Москвы и известном антрепренере М. В. Лентовском, арендаторе сада Эрмитаж.

— *Одна такая книга, как «Что читать народу?»...* — Отзыв Успенского о библиографии «Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения», СПБ., 1884, составленной учительницами Харьковской женской воскресной школы по инициативе Х. Д. Алчевской, вызвал благодарственное письмо последней к писателю. Это послужило началом их переписки. В письме к Х. Д. Алчевской от 4 марта 1885 года Успенский дал развернутую оценку значения данной книги и деятельности воскресной школы (Г. Успенский. Полное собрание сочинений, т. XIII, изд. Академии наук СССР, М., 1951, стр. 425—428).

IV. ТРУДАМИ РУК СВОИХ

Печатается по последнему прижизненному изданию Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Впервые очерк напечатан в «Русской мысли», 1884, № 11. Со стилистическими исправлениями включался в Сочинения писателя.

Успенский использует в своей статье рукопись крестьянина Тимофея Михайловича Бондарева «Торжество земледельца или трудолюбие и тунеядство».

Т. М. Бондарев (1820—1898) — крестьянин, отданный помещиком за вольные мысли в солдаты. В поисках справедливой жизни вступил в секту иудействующих (субботников). За отказ «от православной веры» был отдан под суд и затем в 1867 году сослан на вечное поселение в Минусинский уезд Енисейской губернии. Здесь Бондарев и написал сочинение в защиту земледельческого труда, направленное против «тунеядства» привилегированных

классов. Крестьянин-философ утверждал, что все люди должны самостоятельно обрабатывать землю, добывая хлеб свой. Рукопись свою Т. М. Бондарев послал в Минусинский музей. Попытки опубликовать эту рукопись в России при жизни автора были безуспешны.

С копией рукописи Бондарева Успенского, видимо, ознакомил Н. К. Михайловский. В начале мая 1884 года Успенский писал ему: «Пожалуйста, если поедете в Москву, загляните ко мне и захватите рукопись о Трудолюбии и Тунеядстве. Она мне теперь до крайности нужна. Надо бы работать. Я думаю обделать нечто беллетристическое, а самую рукопись возвращу Вам» (Г. Успенский. Полное собрание сочинений, т. XIII, изд. Академии наук СССР, М., 1951, стр. 363).

В своей статье Успенский ошибочно назвал Бондарева сектантом-молоканином (стр. 183). Это вызвало протестующее письмо Бондарева к писателю.

Успенский интересовался рукописью Бондарева и после опубликования своей статьи. По просьбе писателя, сокращенный вариант этой рукописи, а затем оригинал ее был выслан ему из Минусинска А. И. Иванчиным-Писаревым.

В статье «Трудами рук своих» Успенский затрагивает вопрос о дальнейших путях развития России.

В письме к С. Г. Рыбакову от 8 июня 1889 года Успенский сообщил, что он ставил в своем очерке задачу «...*на основании наблюдений* и *выводов других* русских писателей, определить, во 1-х, наибольшую *полноту* личного существования *человека вообще* и, во 2-х, те общественные условия, при которых полнота личного существования может быть наименее стесняема...» (Г. Успенский. Полное собрание сочинений, т. XIV, изд. Академии наук СССР, М., 1954, стр. 309).

Эти лучшие общественные условия, по мнению Успенского, были определены в сочинениях Н. К. Михайловского.

Писатель ссылается на Михайловского с целью подкрепить его «формулой прогресса» мысль Л. Н. Толстого о необходимости человеку самому удовлетворять «всем своим потребностям». Эта мысль была высказана Л. Толстым в статье 1862 года «Прогресс и определение образования». Признавая наличие прогресса в области науки и техники, Толстой в то же время утверждал, что этот прогресс не улучшает благосостояния народа и полезен лишь господствующим классам.

Развивая в своей статье мысль о том, что капиталистические формы жизни уродуют человека и потому «негодны, непривлека-

тельны, не возбуждают аппетита», Успенский выступил против общественного разделения труда. Свою точку зрения он подкреплял ссылками на работы публициста (Н. Михайловского), художника слова (Л. Толстого) и простого крестьянина (Т. Бондарева), в которых давалось противопоставление «форм жизни нашего крестьянства» формам жизни, выработанным «цивилизацией», т. е. капитализмом.

Статья Успенского в защиту натурального хозяйства, в котором крестьянин «сам удовлетворяет всем своим потребностям», вызвала горячие отклики современников. Критика обвинила писателя в желании повернуть историю назад.

М. Е. Салтыков-Щедрин дал ироническую оценку выступлению Успенского. В письме к Н. К. Михайловскому от 17 ноября 1884 г. он писал: «Ужасно любопытно мне знать, читает ли Г И. Успенский Вам свои новейшие произведения, и под Вашим ли наитием компонует их? Или только всуе призывает Ваше имя?

Мне кажется, лавры Сюслаева <Сютаева> (мужичок такой в Новоторжском уезде есть, который всех московских празднословов с ума свел), а отчасти Толстого, не дают ему спать, и он серьезно задумал сделаться пророком...» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Полное собрание сочинений, т. XX, ГИХЛ, М., 1937, стр. 112—113).

В следующем письме к Михайловскому Салтыков-Щедрин прислал свой «проект генеалогии», в котором устанавливал связь между крестьянским религиозным мыслителем В. К. Сютаевым, Л. Толстым, Г. Успенским и Златовратским (там же, стр. 114—115).

Статья Успенского, излагающая мысли Т. М. Бондарева, произвела большое впечатление на Л. Н. Толстого. Об этом он писал Т. М. Бондареву, Л. Д. Урусову и В. Г. Черткову (Л. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 275—276).

В последнем очерке цикла «Скучающая публика» — «Мечтания» Успенский под влиянием откликов современников вновь вернулся к вопросу о том, как жить «по-божецки», «по совести». Очерк «Несколько часов среди сектантов», включенный в цикл «Скучающая публика» в 1886 году, очевидно, должен был показать практическое осуществление теории «трудами рук своих».

Выступив пропагандистом взглядов Т. Бондарева, Успенский в то же время отлично понимал ограниченность его социальных воззрений. Весьма характерен отзыв Успенского о статье Л. Толстого «Как нам быть» (вошла затем в статью «Так что же нам делать»), в которой отразилось увлечение Толстого учением Бондарева. Статья Толстого предназначалась для январского

номера «Русской мысли», но была запрещена цензурой. Успенский читал ее в корректуре. В письме к А. И. Иванчину-Писареву (апрель 1885 г.) он писал по поводу своей статьи «Трудами рук своих»: «Рукопись молоканина сокращена, вычеркнуто множество, и потом ведь пишешь положительно с глубоким сознанием, что «не так», и это уже несколько лет подряд. Но она произвела большое впечатление, и массу писем я получил. В сочинении Л. Толстого, которое не напечатано, та же идея, и едва ли не этот молоканин вывел его из той чепухи, в которую попал Толстой с своей теорией благотворительности, которую практиковал на деле. Теперь он все это попрал и говорит: «пахать!» Я думаю, что и это не пристало к барину. Зачем же тащить из мужицкой теории в свою то, что для барина только извинение не вмешиваться в политику? Ведь пахать-то в самом деле не будет» (Г. Успенский. Полное собрание сочинений, т. XIII, изд. Академии наук СССР, М., 1951, стр. 448).

Стр. 168. *...господину Греви...* — Греви Жюль (1807—1891) — французский политический деятель, в 1879—1887 годах был президентом французской республики. Отличался изворотливостью в примирении враждебных партий. В 1886 году в «Письмах с дороги» (письмо четвертое) Успенский писал, что Греви «обязан за те деньги, которые ему платят, сохранять равновесие среди бесчисленного множества разнообразно мыслящих партий». В тексте данной статьи Успенский намекает на бытовую деталь из жизни Греви.

Стр. 170. *Упомянув... о мнении Маколея...* — Маколей Томас (1800—1859) — английский либеральный историк.

— *...полюбить чтение Пушкина или историю Соловьева...* — Имеется в виду «История России» известного историка С. М. Соловьева (1820—1879).

Стр. 173. *...книга г. Янжула «Фабричный быт московской губернии»...* — И. И. Янжул. Фабричный быт московской губернии. Отчет за 1882—1883 г. фабричного инспектора над занятиями малолетних рабочих Московского округа, СПБ., 1884.

На стр. 173—174 Успенский использует приведенные Янжулом сведения о работе на рогожных фабриках (см. стр. 44 указанной выше книги).

Стр. 178. *...что он хоть и говорит всю жизнь прозой...* — Герой комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» был удивлен: «Сорок с лишком лет говорю прозой — и невдомек!»

Стр. 179. *...разве бы он продавал с такою веселою беспечностью свое первородство за чечевичную похлебку...* — По библейскому

преданию, проголодавшийся Исав продал своему младшему брату Иакову право первородства за чечевичную похлебку.

Стр. 181. *«Горлушком» перемерло...* — т. е. умерло от дифтерита.

Стр. 182. *«Записки южнорусского крестьянина»*, напечатанные в журнале «Устои», 1882, №№ 1—2, говорили о мытарствах семьи крестьянина, «сбежавшего» от своих господ.

Стр. 186—187. *Но я таковым отвечаю: «Слышу голос Иакова, а осязаю Исава».* — Эта фраза, по библейскому преданию, была сказана ослепшим Исааком младшему сыну Иакову, который, желая получить наследство отца, обманул его. Обернув шею и руки козлиной шерстью, чтобы не отличаться от косматого брата своего Исава, и надев его праздничную одежду, Иаков пришел получить благословение отца. Слова Исаака стали употребляться в переносном значении.

V. МЕЧТАНИЯ

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Очерк, носивший в рукописи заглавие «Кое-что из недосказанного», был впервые опубликован с видоизмененным наименованием «Мечтания» в «Русской мысли», 1884, № 12. Со стилистическими исправлениями и сокращением текста вошел в Сочинения писателя.

В «Мечтаниях» Успенский, отвечая на вопросы своих читателей и критики, развивает мысли, высказанные им в статье «Трудами рук своих».

Статья Я. Лудмера «Бабьи стоны» («Юридический вестник», 1884, №№ 11—12), на которую ссылается Успенский, была известна ему еще в рукописи. Он прочитал ее в редакции «Отечественных записок». Так как автор долгое время не мог опубликовать «Бабьи стоны», Успенский предложил ему продать статью. Писатель предполагал использовать приведенные Лудмером факты о положении русской женщины в своих очерках.

«Понимая, что под пером Успенского, — писал позднее Я. Лудмер, — этот же вопрос получит неизмеримо более яркое освещение, чем какой я ему мог дать, и произведет более сильное впечатление на общество, я ни минуты не задумался над его предложением и ответил ему, что счастлив предоставить ему всю статью мою в полное его распоряжение без всяких условий. Но, спустя короткое время, я получил от Успенского телеграмму, что по случаю закрытия «Отечественных записок» он совершенно

*

лишен возможности осуществить свой первоначальный план. Таким образом, статья «Бабьи стоны» опять поступила ко мне, и после различных попыток напечатать ее в каком-либо журнале, не удавшихся вследствие цензурных условий, я устроил ее, наконец, по совету В. М. Соболевского, направившего меня к С. А. Муромцеву, в двух книжках «Юридического вестника» («Русские ведомости», 1911, № 224, 30 сентября).

Успенский откликнулся на появление статьи «Бабьи стоны» также в очерках «Несбыточные мечтания» (очерк первый) и «Якобы «дела».

Стр. 193. ...*Бисмарк недавно очень «пужал» германский парламент мечтателями...* — Успенский имеет в виду речь рейхсканцлера О. Бисмарка 10 мая 1884 г. в рейхстаге при обсуждении вопроса о продлении исключительного закона против социалистов.

Стр. 195. *Один Бисмарк пять миллиардов получил излишних...* — Речь идет о контрибуции, получаемой Германией с Франции после франко-прусской войны 1870 года.

Стр. 197. ...*крестьяне деревни Горелово-Неелово...* — Успенский использует наименование деревни из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

Стр. 201. *Джорж* — Джордж Генри (1839—1897) — американский публицист и экономист, считавший, что нищета трудящихся масс может быть уничтожена введением высокого налога на земельную собственность или национализацией земли буржуазным государством.

Стр. 205. ...*подводился в итогах операций скопинского банка* — См. пояснение на стр. 397.

Стр. 210. ...*два из них («Дошутилась» и «Магистр и Фрося») как нельзя лучше рисуют тяжкую бессодержательность семейных отношений буржуазной семьи...* — «Дошутилась» — повесть А. Алексеевой (А. А. Сорневой), опубликована в «Русской мысли», 1883, №№ 7—8; «Магистр и Фрося» — повесть А. Шабельской, появилась в «Русской мысли», 1883, №№ 8—9.

— ...*рассказ «Мои вдовы»...* — повесть Лесницкой (В. И. Беленко), напечатана в «Русской мысли», 1884, № 3.

ЧЕРЕЗ ПЕНЬ-КОЛОДУ

В архиве Г. И. Успенского сохранился листок с записью наименования цикла очерков «Через пень-колоду» и плана очерка, который под заглавием «Общие свойства «скучающей публики» был

опубликован в «Русской мысли», 1884, № 10. Это дает основание датировать замысел очерков «Через пень-колоду», которые впервые появились на страницах журнала «Русская мысль» в 1885 году, предшествующим годом.

В очерках «Через пень-колоду» Успенский вновь поднимал вопрос о неустройстве и путанице пореформенной жизни.

В журнальной редакции цикла (очерк «Куда девался один хороший русский тип?») писатель сам пояснил сущность избранного им заглавия.

«Название *Через пень-колоду,* — писал он, — дано настоящим очеркам потому, что русская жизнь вообще, а деревенская, из которой, главным образом, и будет почерпаться материал для этих очерков, в особенности, идут вперед (да! все-таки, вперед) с такими ненужными, нелепыми, жестокими случайностями и осложнениями, что выражение *через пень-колоду,* которым мне хотелось охарактеризовать это бестолково-трудное движение, можно упрекнуть разве только в некоторой мягкости, не соответствующей тому грубо топорному элементу, который в теперешней русской жизни неизменно сопутствует каждому, самому малейшему и простейшему явлению будничного обихода. Но, не исчерпывая всей многосложности явлений, из которых соткана настоящая минута русской жизни, выражение *через пень-колоду,* характеризующее эту минуту, хотя и в смягченном виде и смягченными чертами, выбрано мною также и для характеристики положения, в котором находится и наблюдатель этой минуты: через пень-колоду идет жизнь, и через пень-колоду волей-неволей должна идти и мысль наблюдателя: неожиданность, безрезонность, непостижимость, наконец, которыми испещрен сегодняшний день, невольно расшатывают, повергают в отчаяние, иной раз отупляют, а иной раз вдруг подъемлют для того, чтобы тотчас же «повергнуть» эту несчастную мысль наблюдателя, и все эти терзания, все эти неожиданности, сменяющие друг друга с быстротою, все более и более увеличивающеюся, не могут не класть своей печати на манеру и на способ литературного изложения того, что наблюдатель хотел бы рассказать читателю... Веселое, независимо от рассказчика, едва начавшего свою веселую речь, сменяется таким ужасным, что веселая речь надолго замираст на устах, и нужно долгое время, чтобы спомниться, прийти в себя, одуматься и, убедившись, что это «ужасное» имеет в конце концов хотя и отдаленную, но неразрывную связь с тем «веселым» сюжетом, разговор о котором был так нежданно прерван, чтобы можно было возвратиться к продолжению и тону прерванного рассказа.

Да не смущается поэтому читатель видимою нестройностью и беспорядочностью в передаче моих наблюдений; я уже сказал, что хотя жизнь русская и идет через пень-колоду, но она идет и идет вперед, идет к правде, к торжеству ее, то есть к тому самому, что нужно душе человеческой, что оставляет глубокий, не всегда, при настоящих условиях жизни, приметный, но вечно живой, несокрушимый центр. Вот такой же центр не может не быть и в наблюдениях, почерпаемых из явлений этой же самой действительности: быть может они покажутся на первый взгляд беспорядочными, мечущимися с предмета на предмет, прерывающими речь об одном для того, чтобы, начав о другом, также прервать и начать о третьем и т. д., но так как источник этой спутанной речи — только частица той же самой многосложной картины, которую представляет современная русская жизнь, то и в видимой беспорядочности передачи явлений этой жизни также будет центр, к которому сойдутся все эти якобы случайности отступлений от начатого, прерванных речей и т. д...»

Таким «центром», то есть мыслью, объединяющей весь цикл очерков, была мысль о неуклонном проявлении в жизни положительных явлений, они-то и позволяли мечтать о лучшем будущем народа.

Первоначально цикл «Через пень-колоду» состоял из шести очерков («Захотел быть умнее отца!», «Куда девался один хороший русский тип?», «Пинжак» и чорт», «Недописанная глава», «Выпрямила» (Отрывок из записок Тяпушкина), «Окончание недописанной главы»).

Картины деревенской жизни связаны в цикле с изображением отношения интеллигенции к народу и с вопросом о роли искусства и литературы в «выпрямлении» человека, «скомканного» современными условиями жизни.

В 1886 году при подготовке к изданию восьмого тома Сочинений Успенский, очевидно желая избежать многотемности, пересмотрел состав очерков «Через пень-колоду». Три последних очерка, явившихся своеобразным эстетическим трактатом писателя, были исключены из цикла. Один из очерков, «Выпрямила», вошел позднее в новый цикл «Кой про что» (см. том 7 настоящего издания).

Взамен исключенных произведений писатель ввел в состав цикла «Через пень-колоду» очерк из деревенской жизни «Перестала!»

В соответствии с сужением проблематики цикла Успенский вычеркнул из второго очерка приведенное выше пояснение заглавия «Через пень-колоду».

I. ЗАХОТЕЛ БЫТЬ УМНЕЙ ОТЦА!

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Впервые очерк напечатан в «Русской мысли», 1885, № 1, с подзаголовком «Из деревенских заметок». Включался Успенским со стилистическими исправлениями в собрания сочинений.

В очерке, открывающем цикл «Через пень-колоду», Успенский рисует неприглядную картину пореформенной жизни. «Рыковщина», по его утверждению, не только денежная спекуляция (см. очерк «Затруднения купца Тараканова» из цикла «Скучающая публика»). Это — типичное проявление хищничества растущей русской буржуазии, которое проникло и в деревню «во образе грабительства, кулачества и кабачества».

Отображая типические явления эпохи реакции, Успенский дал в своем очерке яркую зарисовку облика деревенского кляузника «мужицко-чиновничьего типа», выступающего в защиту старых норм жизни. Родственный тип, в том же 1885 году, был создан и А. Чеховым в образе унтера Пришибеева.

Людям, цепляющимся за старину, Успенский противопоставляет новые силы, появившиеся в деревне.

В очерке затронут злободневный, неоднократно поднимавшийся в печати вопрос о применении телесных наказаний волостными судами. Протест против употребления розог ярко выражен и в очерке Успенского «Дохнуть некогда» (см. стр. 346—371 настоящего тома).

II. ХОРОШИЙ РУССКИЙ ТИП

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Впервые очерк напечатан в «Русской мысли», 1885, № 2, под заглавием «Куда девался один хороший русский тип?». С исправлениями и сокращениями текста включался Успенским в собрания сочинений.

Поставив перед собою задачу показать, что «хотя жизнь русская и идет через пень-колоду», но все же неустанно «идет и идет вперед», Успенский в своем новом очерке так же, как и в предшествующем, останавливает внимание читателя не только

на темных, но и на светлых сторонах современной действительности.

Хороший русский тип — это тип человека, деятельно борющегося за улучшение жизни народа.

Успенский подчеркивает, что ценность человеческой жизни в практическом, реальном служении людям. В качестве иллюстрации писатель останавливается на деятельности представителей русской интеллигенции «старого, церковного» и нового, светского воспитания.

Успенского привлекает борьба Стефана Пермского с народным невежеством и теми, кто противится его искоренению. Заимствуя факты из брошюры Т. Толычевой «Пермский апостол» (М., 1883, стр. 34), Успенский, однако, дает иную социальную расшифровку этих фактов. Толычева обращает внимание главным образом на проповедническую деятельность Стефана Пермского, на его борьбу с жрецом Памой. Успенский вскрывает социальную сущность этой борьбы: Стефан Пермский разоблачает кулака Пиму, скупающего у зырян за бесценок дорогие меха.

В качестве современного образца хорошего русского человека Успенский приводит князя А. И. Васильчикова. Однако писатель оказался в плену народнической иллюзии о возможности улучшить жизнь народа путем мелких реформ. Это помешало ему понять истинное значение либерально-народнической деятельности Васильчикова, о котором В. И. Ленин писал: «Васильчиков, как и все народники, своими практическими мероприятиями представляет интересы одной лишь мелкой буржуазии» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 428).

Стр. 251. *Ремонтер* — офицер, командированный для закупки лошадей.

Стр. 259. *...шаблонность, выработанную на Никольском рынке...* — На Никольском рынке в Москве предприимчивые купцы-издатели организовали дешевую торговлю низкопробной литературой. Против деятельности этих издателей выступали Г. Успенский, А. Чехов, Салтыков-Щедрин и др.

Стр. 262. *...очерка «Трудами рук своих»...* — см. стр. 166—191 настоящего тома.

Стр. 263. *Васильчиков говорит...* — Далее Успенский цитирует книгу А. Голубева «Князь А. И. Васильчиков (1818—1881). Биографический очерк», СПБ., 1882.

III. «ПИНЖАК» И ЧОРТ

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Впервые очерк напечатан в «Русской мысли», 1885, № 3. Со стилистическими исправлениями включался Успенским в Сочинения.

В этом очерке, как и в ряде предшествующих, Успенский говорит о тлетворном влиянии капитализма на деревню: падение нравственности в крестьянских семьях связывается им с господством рубля.

Говоря об обусловленности жизни современного крестьянина капиталистическим способом производства, В. И. Ленин вспомнил творчество Гл. Успенского: «Раз крестьянин становится товарным производителем (а таковыми стали уже все крестьяне), — то «нравственность» его неизбежно уже будет «основана на рубле», и винить его за это не приходится, так как самые условия жизни заставляют ловить этот рубль всяческими торговыми ухищрениями». Эти слова Ленин сопроводил сноской: «Ср. *Успенского*» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 357).

Стр. 278. *Дипломат* — верхнее платье особого покроя.

IV. «ПЕРЕСТАЛА!»

(Из деревенских заметок)

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Впервые очерк напечатан в «Русской мысли», 1885, № 12, в качестве самостоятельного произведения. С небольшими исправлениями был включен в цикл «Через пень-колоду» в Сочинениях писателя.

Очерк о «власти земли», о благотворном воздействии земледельческого труда на человека был введен в цикл с целью подтвердить правильность теории существования трудами рук своих «для всего русского крестьянства», о чем Успенский писал во втором очерке цикла (см. стр. 262).

В 1891 году Успенский переработал свой очерк для серийного издания брошюр «для народа» («Перестала!», изд. В. Иокскуль, М., 1891).

Стр. 306. *«будет бить ее муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть»...* — перифраза из стихотворения Н. А. Некрасова «Тройка».

Стр. 309. *Оттоманская порта.* — Речь идет о Восточной войне 1853—1856 годов.

— *Николай Первый потребовал ключи от Ерусалима...* — Речь идет о требовании предоставить православной церкви право владеть ключами от Вифлеемского храма в Палестине. Отказ турецкого султана послужил внешним поводом к разрыву дипломатических отношений между Россией и Турцией и дальнейшему обострению международных отношений. В Восточной войне 1853—1856 годов против России сражались Турция, Англия, Франция и Сардиния. По мирному договору 1856 года (Парижский трактат) Россия лишалась права иметь военные крепости на Черноморском побережье и морской флот в Черном море.

Стр. 317. *Опять эта самая оттоманская порта чудить начала.* — Речь идет о русско-турецкой войне 1877—1878 годов.

ОЧЕРКИ

Включив в данный раздел очерки, рисующие разлагающее влияние капитализма на общественную и личную жизнь людей, Успенский создал образы новорожденного русского буржуа и интеллигентов, которые, в силу своей материальной зависимости, становятся пособниками эксплуатации и ограбления деревни.

I. БУРЖУЙ

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Впервые очерк с подзаголовком «Летние воспоминания» напечатан в «Русской мысли», 1885, № 10. С исправлениями включался в Сочинения писателя, в раздел «Очерков».

Редакция «Русской мысли», опасаясь цензуры, часто сама урезывала текст произведений Успенского. В связи с этим он писал Н Н Бахметьеву 10 сентября 1885 года «Корректуру моей статьи прошу прочитать *Вас*. Прошу также, чтобы *без цензурных оснований* сотоварищи Ваши по редакции не выбрасывали того, что им не нравится. Лично могут не нравиться и мне ихние произве-

дения» (Г. Успенский. Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 472).

Стр. 330. ...*буржуа... заимствую это слово из какой-то повести Тургенева...* — из романа «Новь», где буржуа назван купец Фалеев.

II. «ДОХНУТЬ НЕКОГДА»

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Рассказ, входивший в цикл «Очерки русской жизни. (Наблюдения и компиляции)», впервые был напечатан в «Русской мысли», 1885, № 8. Входил с исправлениями в Сочинения писателя, в раздел «Очерков».

В 1903 году цензура запретила отдельное издание «Дохнуть некогда», указав, что созданная Успенским «картина мужицкой нищеты и беспомощности, а также описание способов получения от голодающего населения недоимок являются совершенно недопустимыми в дешевом народном издании».

Стр. 337. ...*штундисты, менониты, молокане, баптисты...* — наименования различных сект, быт и социальные воззрения которых интересовали писателя.

Стр. 357. *Нобель.* — В 1874 году было организовано товарищество братьев Нобель для разработки русских нефтяных месторождений.

III. «ОДИН НА ОДИН»

(По поводу одного процесса)

Печатается по последнему прижизненному изданию: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова, СПБ., 1889.

Очерк, входивший вначале в цикл «Безвременье», был опубликован впервые в газете «Русские ведомости», 1885, № 272 от 3 октября. С сокращением текста и видоизмененным концом включался в Сочинения писателя, в раздел «Очерков».

В цикле «Безвременье» Успенский показывает, какие бедствия капитализм несет трудящимся массам.

Посылая редактору «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому пятый очерк цикла «Безвременье», Успенский писал в конце сентября 1885 года: «Из этой статейки вы увидите, какая обширная

тема может лечь в основание Безвременья. Этот очерк и будет основанием, даст возможность вполне понять суть времени, и я буду продолжать, если только очерк пройдет» (Г. Успенский. Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 480).

В этом же письме Успенский просил заменить слово «колесцо» словом «колесико». Однако, исправляя текст очерка для своих Сочинений, Успенский не внес в него этого исправления.

Очерк о нравственном одичании людей как результате неслаженной работы общественного организма был напечатан в цикле «Безвременье» и оказался в нем последним.

Освещение аграрного и рабочего вопросов в этом цикле привлекло внимание цензуры. В донесении Московскому цензурному комитету указывалось, что статьи Успенского, опубликованные в августе и сентябре, «мрачными чертами рисуют положение масс народных, в поисках за насущным куском хлеба покидающих места своей оседлости и уже сердитых, и с коими ухо нужно держать востро». Цензор считал, что статьи писателя опаснее других материалов газеты и потому «заслуживают большего внимания, чем те, кои посвящены общей государственной политике и отдельным мероприятиям правительства».

Видимо, по цензурным соображениям, Успенский не решился включить цикл «Безвременье» в полном составе в собрание сочинений.

Стр. 377. *...позволил себе характеризовать словом «безвременье».* — Эта характеристика была дана писателем в первом очерке цикла «Безвременье».

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. «Волей-неволей». Рисунок художника *А. О. Последович.*
2. «Волей-неволей». Рисунок художника *А. О. Последович.*
3. «Скучающая публика». Рисунок художника *А. О. Последович.*
4. «Через пень-колоду». Рисунок художника *А. О. Последович.*
5. «Через пень-колоду». Рисунок художника *А. О. Последович.*
6. «Буржуй». Рисунок художника *А. О. Последович.*

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ

(Отрывки из записок Тяпушкина)

I. Вместо предисловия 7
II. Наконец — нашли виноватого! 35
III. Возмутительный случай в моей жизни. — Опыт определения «подлинных» размеров и подлинных свойств «русского сердца» 57
IV. Подробности «возмутительного случая». — «Нам самим» ничего не надо 81

СКУЧАЮЩАЯ ПУБЛИКА

I. Мнения фельдшера Кузьмичова о современном обществе 109
II. Затруднения купца Тараканова 128
III. Верзило 146
IV. Трудами рук своих 166
V. Мечтания 192

ЧЕРЕЗ ПЕНЬ-КОЛОДУ

I. Захотел быть умней отца! 219
II. Хороший русский тип 244
III. «Пинжак» и чорт 265
IV. «Перестала!» (Из деревенских заметок) 302

ОЧЕРКИ

I. Буржуй 325
II. «Дохнуть некогда» 346
III. «Один на один» *(По поводу одного процесса)* . . . 372

Примечания 389

Список иллюстраций 413

Глеб Иванович
УСПЕНСКИЙ

Собрание сочинений, т. 6

Редактор П. П. Быстров

Художник А. Я. Мелков

*Художественный редактор
А. М. Гайденков*

*Технический редактор
Л. П. Крючкина*

Корректор И. Ф. Кузнецова

Подписано к печати 3/X 1956 г.
Бумага 84×108 1/32. — 13 печ. л. =
=21,35 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 20,62+
+6 вкл. =20,9 л. Тираж 150 000 экз.
Заказ № 1136. Цена 11 р.

Гослитиздат. Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической промышленности. 4-я тип. им. Евг. Соколовой. Ленинград, Измайловский пр., 29.

1 р.

ГОСТЕХИЗДАТ
1955